

841290-941
182

ОЧЕРКИ ИЗ ЖИЗНИ В СИБИРИ

НАДЕЖДА ЛУХМАНОВА

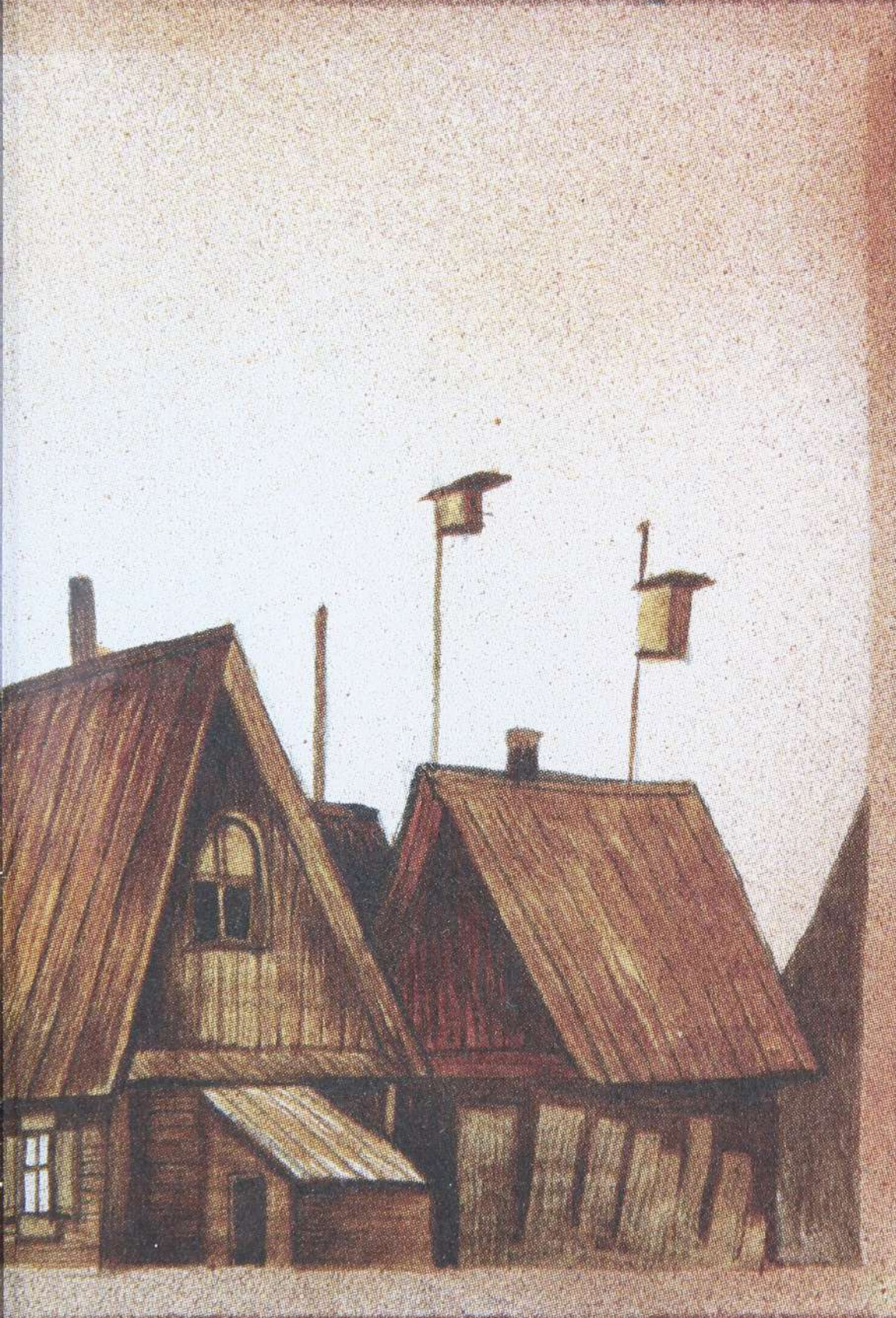


КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.





122

84(2Рос-Кус) /
122



Н. А. Лухманова

Очерки из жизни в Сибири

Избранные произведения

53735/19



Тюмень, 1997

Л 82 **ЛУХМАНОВА Надежда Александровна**

Очерки из жизни в Сибири: Избранные произведения/Составление тома Ю.Л. Мандрики, предисловие К.Я. Лагунова, примечания Н.Ф. Швейбельман. — Тюмень: СофтДизайн, 1997. — 464 с. («Невидимые времена»).

Сегодня имя писательницы конца прошлого—начала нынешнего века Н.А. Лухмановой знают лишь специалисты. А ведь в свое время ее романом из институтской жизни «Девочки» (в данном издании публикуется под названием «Двадцать лет назад») просто зачитывались.

Книга будет интересна не только тем, кто интересуется историей края.



- © СофтДизайн, 1997.
- © Дыба В.В. (название, общий дизайн серии), 1997.
- © Мандрика Ю.Л. (составление), 1997.
- © Швейбельман Н.Ф. (примечания), 1997.
- © Лагунов К.Я. (предисловие), 1997.
- © Кухтерин А.С. (рисунок обложки), 1997.



Надежда Александровна Лухманова

(1844—1907)

Издательство «СофтДизайн» выражает благодарность директору Свердловской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Надежде Евгеньевне ЦЫПИНОЙ за книги Н.А. Лухмановой, которые были предоставлены из фонда библиотеки для осуществления данного издания.

Неистовая Надежда

I

Маленький зеленокрылый самолетик Ан-2, натужно урча мотором, неотвратно напористо втискивался в густые облака. Его качало и подбрасывало, как на ухабах. Пассажиры охали, ахали, ойкали...

Рядом со мной сидела очаровательная Лариса Георгиевна Беспалова — известный филолог, упорно и много работающий в области литературного краеведения. Надо было отвлечь ее от самолетной болтанки, разговорить, но на все мои вопросы Лариса Георгиевна отвечала односложно и очень кратко.

Мы летели в Тобольск на собрание общественности города, посвященное памяти писателя-тоболяка Николая Наумова, где Беспаловой надлежало сделать заглавный доклад. Вот за эту струну я и ухватился. Расчет оказался верным: литературное краеведение — ее «конек», и, оказавшись на нем, Лариса Георгиевна вмиг разговорилась...

— Не повезло старой купеческой Тюмени, — сказал я. — И зияет на литературном небосклоне тюменская дыра...

— Ошибаетесь... О Тюмени написано достаточно. И неплохо написано. Возьмите хотя бы очерки Лухмановой «В глухих местах». Великолепная, мощная вещь...

Лариса Георгиевна не то что заинтересовала, а прямо-таки околдовала меня своим рассказом о тюменских очерках Лухмановой. Воротясь из Тобольска в Тюмень, я сразу же принялся за поиски книги Лухмановой «Очерки из жизни в Сибири», большую часть которой и составляют тюменские очерки «В глухих местах»...

II

Ровно сто лет назад, в 1896 году, в Санкт-Петербурге вышла первым изданием книга Н.А. Лухмановой «Очерки из жизни в Сибири. В глухих местах. Белокриницкий архиерей Афанасий. (Из личных воспоминаний автора, прожившего 5 лет в «глухих местах»)».

Я открывал эту книгу, как потайную калитку в неведомое, торопясь и волнуясь. Мне не терпелось увидеть родную Тюмень столетней давности — кондово-богомольную, купеческо-домостроевскую, старообрядческо-разбойную.

На первой же странице, у входа в эти загадочные неведомые «глухие места», меня встретил богатейший тюменский купец Артамон Круторогов — владелец огромного кожевенного завода. Могутный мужик, хребтом своим выбившийся в люди. Неукротимый и всевластный «самодур и зверь, прикрытый внешним лоском паносной цивилизации, не верящий ни богу, ни чёрту... единственной религией его была нажива».

Круторогов был не один. Вокруг него юлил, вымаливал гривеник разорившийся, спившийся купец Емелькин в халате на голое тело, с бледным лисьим ликом. На потеху отупевшим от обжорства и пьянства купцам в канун ледостава и в конце ледохода голого Емелькина швыряли с крутоярья в Туру. Трясушийся, посиневший, он вылезал на берег и под улюлюканье толпы снова летел в реку. И так продолжалось до трех раз. На «гонорар» Емелькина за подобное представление начиналась дикая пьянка пригретой им голытьбы...

Я читал не торопясь, будто хорошее легкое вино пил — по глоточку, по страничке. Смеялся до слез над проделками Емелькина, глубоко и искренне сочувствовал сыну Круторогова Ивану, «мозги которого не вынесли отцовской ломки и жизни, полной неразрешимых для него противоречий».

Все здесь было необычным, интересным. Непривычные имена: Минодора, Досифея, Агафоклея, Фелицата, Ссклетея. Невиданные дома с молельнями и подземельями, где решивший уйти в мир иной надолго скрывался от людских глаз, выдалбливая себе из бревна домовину, потом укладывался в нее и помирал. Странные взаимоотношения людей — своих и чужих.

Все непривычно. Все поразительно, захватывающе интересно. И все описано так неназойливо скрупулезно, так ярко и образно, что я не единожды позавидовал таланту и писательскому мастерству Лухмановой.

Посмотрите, как броско, впечатляюще и ярко всего несколькими мазками живописует она портреты своих героев...

«Местами на голове пролысины, словно моль выела. Лицо корявое, нос толстый, а глаза острые, черные, сидят во впадинах глубоко, как мыши в норах» (беглый дьякон Савка).

«...Высокий коренастый старик с лицом красным и грубым, как дубленая кожа, густыми светлыми, как серебро, волосами и глазами черными, гордыми и хищными, как у орла» (Самсон Глазов).

А вот в двух строках исчерпывающая характеристика Евмения Овечкина... «Взгляд у него был тяжелый, силища необыкновенная, характером прижимист, но справедлив...».

Столь же немногословно, но ярко и емко написаны картины сибирской природы во все времена года. Рассветы и закаты, ведро и непогодь. Читаешь описания тайги, и не приметно наплывает на тебя терпкий аромат багульника и разогретой сосновой

смола, слышатся треск валежника под чьими-то ногами, разноголосый птичий трезвон. Изобразительная палитра Лухмановой необыкновенно разнообразна и ярка, и пользуется писательница ею очень умело. Это видно не только на картинах природы, но и быта обитателей «глухих мест». О чем бы ни повествовала Лухманова — об охоте или злодейских проделках варнаков, о семейных ссорах или юродстве сломленного Ивана, или еще о чем-то ином, — она делает это удивительно красочно, впечатляюще, увлекательно.

Есть в повествовании и озорство, и веселье, и страсть. Они многоцветны и многоголосы. Но если внимательно взглядеться в это кажущееся разноцветье, оно потускнеет, обретя серый попурий цвет. Если чутко влущаться в, казалось бы, бескрайнее многоголосье той повседневности, непременно вздрогнешь от наплыва горестных мотивов, которые неприметно, но неодолимо обретут мощное трагическое звучание...

III

Трагическая нота возникает с первых эпизодов жизни тюменского купца Круторогова. Сперва, пока идет рассказ о проделках Емелькина, трагическое мешается с комическим, и трудно не улыбнуться, даже не захохотать, читая о пьяных «забавах» бывшего хозяина, бывшего богача, а ныне дешевого скомороха Емелькина.

Но вот появляется перед читателем красивый, умный, образованный, но спившийся, ставший юродивым сын Круторогова — Иван, которого сломали, «сняв все мягкое, человеческое с юной души», и, как только он появляется, комическое отслаивается от трагического, отслаивается и отлетает прочь. И разворачивается перед нами щемящая душу картина, полная сломленных судеб, стубленных чувств, несостоявшихся мечтаний, несбывшихся надежд.

Вот история богатого заводчика Евмения и его жены — молодой, неописуемо красивой, цветущей Фелицаты. Она — бесприданница. Ее выдали замуж не по любви, не по согласию — по воле благодетеля, пригравшего сироту Фелицату. Она не любит звероподобного мужа, до дрожи боится его пудовых кулачищ.

Иногда, раздев красавицу жену в дорогие наряды и украсив драгоценностями, Евмений вывозил ее в клуб. Там одинокая, тоскующая, жаждущая любви Фелицата встретила инженера Александра Вязьмина. Он заговорил, околдовал красавицу, и та без памяти влюбилась. Инженер тоже воспылал любовью. Приехав с друзьями на завод Евмения, чтоб поохотиться, Вязьмин спойл мужа Фелицаты и соблазнил красавицу.

Смертельно пьяный Евмений все-таки усмотрел грехопадение жены и утром учинил над ней расправу...

Так начинается эта рвущая душу история любви. Взбесившегося Евмения утихомиривает его мать и увозит грешницу Фелицату на покаяние и духовную казнь в Ивановский монастырь. Там измученная женщина уходит в зимний лес и погибает сознательно и добровольно.

В конце этого очерка на полях книги кто-то написал: «Это же не роман, а какая глубь психологическая и художественная. Еще одна трагедия неразделенной любви. Еще одна «Гроза» с еще одной Катериной»... Целиком согласен с этой оценкой.

Другая любовная драма, описанная в книге, сутью своей схожа с «Ромео и Джульеттой» Шекспира. Великое, прекрасное и святое чувство любви гибнет под ударом предрассудков. Эта горестная, великолепно написанная история прекрасной, но трагической любви Ильи и Варвары является осевой в очерке «Кержаки в тайге».

На этом, пожалуй, можно завершить разговор о книге Лухмановой «В глухих местах». Содержание книги надежно и необоримо подпирало ее название. Такой была Тюмень в восьмидесятых годах прошлого века. Оглядка на нее позволяет нам четче видеть и понимать все, что произошло и происходит в нашем, теперь уже не глухоманном и, пожалуй, не таежном, а нефтяном крае.

IV

Справедливо говорят: «Уши писателя торчат из его книги». Но ведь по ушам невозможно угадать, что за человек автор поглянувшейся книги, узнать его судьбу, его творческую и жизненную биографию. А мне очень и очень хотелось узнать о Лухмановой как можно больше.

В «Литературной энциклопедии» ей не уделили ни строчки. В «Большой советской энциклопедии» тоже не нашлось ей места. Словом, на блюдечке с голубой каемочкой нужные сведения не поднесли. Пришлось заняться «раскопками», по золотничку добывая желаемое. И с первых же шагов поиска я натолкнулся на странности, которые не могу объяснить и до сих пор.

По одному авторитетному печатному источнику Надежда Александровна Лухманова родилась в 1840 году, по другому, столь же авторитетному и печатному источнику, — в 1844 году, а по третьему, не менее авторитетному, — в 1848 году.

Я подрастерялся, не зная, какому же источнику отдать предпочтение. Гадать же на кофейной гуще мне не хотелось — не тот случай. Я прикидывал, высчитывал, искал новые источники, но так и не решался назвать дату рождения писательницы. И тут, словно бы специально для того, чтобы еще и еще раз доказать мне правоту евангельских заповедей... Помните?.. «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Так вот, вероятно, чтоб я не забыл, не разуверился в неотразимой правоте евангельского пророчества «ищите, и найдете», мне в руки угодила когда-то многократно переиздававшаяся, очень популярная в свое время автобиографическая книга Лухмановой «Двадцать лет назад (Из институтской жизни)».

На первой же странице своей автобиографической повести Лухманова сообщает, что в Павловский институт она поступила восьмилетней девочкой. А в конце первой части этого повествования (стр. 107—109) она рассказывает о своей неожиданной встрече с императором Александром II, «уже четыре года как вошедшим на престол». Узнав о несчастье в семье девочки, император распорядился «девочку отдать в Павловский институт». «Через несколько месяцев меня приняли в Павловский институт», — заканчивает Лухманова рассказ об этой встрече.

Теперь чуть-чуть займемся арифметикой. Александр II вступил на престол в 1855 году. Прибавим к этому четыре года, которые он уже царствовал, прежде чем встретиться с восьмилетней Надей Лухмановой. Получается 1859 год. Если тогда она была восьмилетней девочкой, стало быть, родилась она не ранее 1850 года.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Оспаривать Лухманову, доказывая ей, что она не ведает, когда родилась, — смешно и глупо. 1840 — 1844 — 1848 — 1850-й. Четыре ступеньки длиною в десять лет. Пробежаться бы по ним настоящим и будущим филологам-краеведам, документально обосновав, наконец, ту единственную ступень, с которой шагнула в этот мир прекрасная русская писательница Надежда Александровна Лухманова. Ну, дерзайте, господа филологи, литературоведы, историки отечественной литературы! Дерзайте. Ищите. Исследуйте. Сквозь чашу придумок, фальсификаций и откровенной лжи пробивайтесь к истине!

А мы еще немного поговорим о книге «Двадцать лет назад (Из институтской жизни)». В отечественной литературе есть немало великолепных произведений автобиографической прозы. К их числу с полным основанием можно отнести и названную книгу Лухмановой.

Книга состоит из двух частей. Первая часть — рассказ о безоблачном веселом детстве Нади в семье эконома Павловского кадетского корпуса (Петербург), потомственного дворянина, надворного советника Александра Федоровича Байкова.

Удивительно легко, нарядно и празднично написана эта часть. По маленьким сценам — живым картинкам, по неназойливым, хотя и подробным описаниям природы, обстановки, портретов действующих лиц, крепко подогнианным и связанным воедино, складывается незабываемо волнующая, объемная и яркая картина быта этой обеспеченной, избалованной достатком большой и дружной семьи.

Дом Байковых — полная чаша. Там умели повеселиться, знали цену себе, свято блюли дедовские порядки. Приживалки. Няньки. Гувернантки. Кухарки...

Нет нужды пересказывать эту книгу. Она написана настолько поэтично, образно, ярко и весело, что любой пересказ не принесет и сотой доли того удовольствия, какое получит тот, кто прочтет «Двадцать лет назад». Тут есть над чем от души посмеяться, есть над чем поразмышлять, есть о чем погрузиться. Но, пожалуй, главным достоинством лухмановской повести-исповеди о детстве является искренность.

Писательница не скрывает, например, своего сложного, двойственного отношения к матери — властолюбивой, деспотичной притворщице, помыкавшей мужем, повелевающей детьми, которых могла собственноручно высечь розгами за непослушание. Она не обеляет, не приукрашивает образ обожаемого отца — любителя повеселиться, перекинуться в картишки, доброго, честного, благовоспитанного, умеющего повелевать подчиненными, но не смеющего перечить капризам жены.

Повесть Лухмановой о своем детстве удивительно светла и ароматна. Из нее не только «торчат уши автора», в ней явственно слышится биение писательского сердца — доброго, всепрощающего, жаждущего непрестанно дарить людям радость и только радость. Вот на этом родовом корешке всепрощения и доброжелательства произрос, вызрел и закалился характер Надежды Александровны, характер неумный и страстный, характер мятущийся в поисках приложения своих духовных сил и таланта...

Вторая часть книги «Двадцать лет назад» — великолепная, ярчайшая картина жизни Павловского института благородных девиц второй половины прошлого века. Здесь перед нами открывается совсем неведомая нам страница прошлой жизни русского общества. До прочтения этой книги Лухмановой институт благородных девиц был для меня, например, пустым звуком.

Как всякий талантливый писатель, Лухманова не рассказывает, а показывает, живописует, рисует, изображает целую плеяду юных представительниц имущих классов России конца прошлого века. Все они — разные, несхожие и внешне, и характером, и мировоззрением, но есть то, что их единит, роднит — это высокая духовность и правдивая чистота.

Сколько благородства, трогательной наивности, сколько поразительной непорочности, необычной земной святости во взаимоотношениях девочек, юных институток, в их мыслях, чувствах и поступках.

Книга полна солнца, весенней свежести и веселья. Язык повествования сочен, ярк, выразителен. Короткими, четкими, резкими мазками рисует Лухманова портреты своих сокурсниц и препода-

давателей, классных дам. А с каким неподдельным юмором, озорно и достоверно описаны забавные похождения и проделки Надиных подруг по институту! Страницы повести об институтской жизни героини не прочитываются, а буквально проглатываются, как говорят, на одном дыхании. Читая их, вдоволь насмеешься и погрустишь, и о многом подумаешь. Как-то неприметно, неназойливо, между прочим писательница нет-нет да и коснется социальной струны, напомнив читателю о том, что в этом мире не все равны, что есть в нем богатые и бедные. Для юных институток солдат-истопник — не мужчина, а просто солдат, почти неодушевленный предмет. И лакей — не человек, а слуга, холуй, робот.

Не случайно книга Н.А. Лухмановой «Двадцать лет назад» много раз переиздавалась. В рецензии на нее, опубликованной в журнале «Русская школа» (№ 4, 1897 г.), указывалось, что «воспоминания несомненно правдивые... Книга написана талантливо, и девочки зачитываются ею до увлечения».

Глубоко убежден, что и нынешние девочки, и не только девочки, будут зачитываться книгой Лухмановой «Двадцать лет назад (Из институтской жизни)».

V

Одной из самых примечательных особенностей писательского мастерства Надежды Лухмановой является умение проникать в духовный мир своих героев, обнажать потайную «психологическую» пружину их поступков. С анатомической скрупулезностью и тщательностью исследует она природу каждого слова, каждого шага своего подлинного либо вымышленного персонажа романа, повести, очерка, пьесы. И не случайно у нее есть целая книга «Психологические очерки», в которую вошли пять больших очерков: «Переселенцы», «Около счастья», «Идеал», «Окно», «Винт».

Вот очерк «Переселенцы» — о переселенческих семьях, ринувшихся в Сибирь за мужицким счастьем, за счастливой долей, за вольною волей. Трудный и горький путь лежал у них за спиной по пути к Тюмени, где и нашли они временное пристанище в ожидании парохода. Очерк и начинается с описания переселенческого лагеря, «где были разбросаны шалаши, четырехугольные, конусообразные, сколоченные из досок, составленные из жердей, покрытые рогожами или войлоком...».

Внешне эффектный пестрый и яркий облик лагеря никак не соответствует настроению тех, кто в этом лагере живет. Из огромной «безотрадной переселенческой разнохарактерной толпы» писательница выхватывает всего две судьбы: красавицы Настасьи, у которой здесь умер от тифа отец, и Андрея, который в пути схоронил жену, оставшись с тремя малолетками на руках.

Вот эти «два одиночества», их душевные переживания, их путь друг к другу и составляют основное содержание психологического очерка Лухмановой. Очерк невелик — всего 30 книжных страниц небольшого формата. Но сколько человеческих страданий, сколько мыслей и чувств вобрали в себя эти страницы! В них сконцентрирован, спрессован, спружинен такой материал, которого достало бы на добрый роман. Психологическая глубина. Донный, мощнейший подтекст. Поразительная экономность, пружинная упругость и гибкость письма — типические черты многогранного творчества Лухмановой.

VI

Кто-то из современников назвал ее неистойвой Надеждой. На мой взгляд, этот «ярлык» всеобъемлюще и точно выражает суть характера и жизнедеятельности Надежды Александровны Лухмановой.

Она трижды выходила замуж. Родила и вырастила двух сыновей — Бориса и Дмитрия. Оба стали кадровыми офицерами, известными писателями. Активно сотрудничала в популярнейших журналах «Новое время», «Русское богатство», издавала свой еженедельный журнал «Возрождение», постоянно печаталась в газетах «Всемирная иллюстрация», «Правда», «Петербургская жизнь», «Петербургская газета», «Биржевые ведомости». Она переложила с французского более двадцати пьес, писала оригинальные пьесы. Будучи членом общества защиты детей, систематически выступала с публичными лекциями о воспитании молодежи. И писала. Писала. Писала. Повести. Романы. Рассказы. Очерки. Публицистические статьи.

А когда началась русско-японская война, Надежда Александровна добровольно едет на фронт сестрой милосердия и одновременно собственным корреспондентом газет «Петербургская жизнь» и «Южный край». Какой надо было иметь запас жизненной энергии, какой неистребимой, неукротимой жаждой жизни обладать, какое нести в себе гражданское мужество, чтобы в пятьдесят четыре года взвалить на свои плечи тяготы прифронтовых будней, скитаний по госпиталям, воинским частям, городам и поселениям Дальнего Востока. И при всем при том в этой обстановке, кроме газетных информации и статей, написать еще две книги: «Японцы и их страна» (1904 г.) и «Ли-туньчи (Из воспоминаний сестры милосердия о Маньчжурии)» (1906 г.).

Судьба русской женщины, ее место и роль в обществе, влияние среды на реализацию ее духовного и творческого потенциала — вот главная тема всего творчества Надежды Лухмановой, которая легко прослеживается в ее прозе, публицистике и драматургии.

Сюжеты и герои ее произведений ненадуманнны, выхвачены из жизни, из самой глубли жизненной, с ее стремнины. Потому романы, повести, очерки и статьи Лухмановой и замечались, и горячо обсуждались современниками — литературными критиками, учеными, писателями. Особенно много откликов приходилось на долю публицистических выступлений Надежды Александровны. И это неувидительно, ибо ее публицистика беспощадно хлестала по самым болевым точкам жизни общества.

В подтверждение сказанного достаточно сослаться на книгу ее публицистики «Вопросы и запросы жизни», изданную в Москве в 1904 году. В сборнике этом более шестидесяти статей Лухмановой. Если попытаться мысленно объединить их, выкристаллизовав главное направление, главные темы, их окажется три — нравственное состояние общества, положение в нем женщины, воспитание детей.

Об этих «проклятых вопросах» своего времени Лухманова не только писала, она разъезжала по городам России, выступая с публичными лекциями на те же темы, будоража общественное мнение, привлекая внимание общественности, прессы и властей к решению болевых проблем России. Просвещенная Россия с неослабевающим вниманием следила за развернувшейся в печати полемикой Н.А. Лухмановой с В.В. Розановым, который высоко ценил публицистику писательницы, решительно ограждал ее от незаслуженных критических наскоков. Среди раздраженных критиков Лухмановой были и такие именитые писатели, как В.Г. Короленко.

Она была воинствующей патриоткой России, страстной, непримиримой противницей космополитизма, любого проявления низкопоклонства перед иностранным и иностранщиной. Эта черта ее мировоззрения является своеобразным лейтмотивом многих публицистических произведений Лухмановой.

Вот, например, строки из ее статьи «Душа ребенка» в книге «Вопросы и запросы жизни» (Москва, 1904 г.).

«А мы — русские, в стране которых никогда не заходит солнце, мы, охранившие культуры Запада и сдержавшие своими силами напор диких азиатских племен, мы, орлы, летавшие и за Балканы, и через С.-Готард, пославшие в 13-м году войска в Париж отдать французам их визит и возвестившие оттуда мир и успокоение всей Европе, мы, гордые бояре, державшие долго в презрении иностранцев за их куцый наряд и короткую душу, мало-помалу дали им себя загипнотизировать, уверить нас, что мы неумытые татары, что наша сила не стоит их ловкости, что куцый фрак красивее золотом шитого охобня, что корсет и шиньон... оригинальнее записанного жемчугом сарафана и толстой

девичьей косы. Что русский язык груб, что не поддается он ни песне, ни ласке, что наша литература, наши поэты, наши художники — только скоморохи... Мы всему этому поверили... мало-помалу открестились от всего русского, выполоскали из души все самобытное, национальное...

И растет наш русский ребенок с нерусской душой, с критическим взглядом на все русское и страстным желанием быть «европейцем»... Что останется в нем русского, национального?..» (Стр. 176, 179).

Как современны, как своевременны, как бесспорно приложимы к нашей действительности эти рассуждения Лухмановой почти столетней давности! Правда, ныне эта проблема стоит еще острее, звучит еще трагичнее, чем во времена Лухмановой, ибо тогда Россия была великой державой, а ныне она — американские задворки.

VII

Двадцать лет возглавлял я Тюменскую областную писательскую организацию. За эти годы мы не единожды пытались издать однотомник наиболее значительных произведений Лухмановой в Средне-Уральском книжном издательстве. Областные власти нас поддерживали, книгу включали в проект издательского плана, но когда проект превращался в реальность, Лухмановой там не оказывалось. В конце концов наше благое намерение так и осталось висеть в воздухе.

И вот нашелся человек, который сделал то, что многие годы казалось невозможным. Не жалея сил и времени, не взирая на затраты, по всей стране по книжечке, по публикации собирал произведения Надежды Александровны Лухмановой. Свел в однотомник, который ты, дорогой читатель, держишь сейчас в своих руках.

Перелистай его внимательно. Глянь на оглавление.

Если тебе безразличны судьбы России и родного края. Если тебя волнует прошлое, в котором зарыты корни настоящего и будущего. Если ты хочешь вырастить своих детей достойными гражданами Отчизны... Если все это так, не раздумывая приобретай эту книгу и в тот же вечер принимайся за чтение. Уверен, ты узнаешь много интересного и нового о своем крае, о России, о жизни наших прародителей. Буду счастлив, коли, дочитав книгу Лухмановой до конца, ты согласишься со мной.

Константин Лагунов.

Очерки из жизни в Сибири

В глухих местах

I

*Артамон Степанович Круторогов
и Иван Семёнович Емелькин*

Старый деревянный дом Артамона Степановича стоял между двором и садом. С той и с другой стороны в длину фасада бежали просторные «галдарейки» с навесом и колонками. Галдарейка, выходящая на двор, представляла собой летом какой-то караван-сарай: на ней всегда что-нибудь сушилось и проветривалось, на перилах лежали перекинутые перины, беспомощные, недвижимые, как купчихи после сытного обеда, пестрели груды подушек в персидских шёлковых наволочках, болтались домотканые ковры из коровьей шерсти, красуясь зелёными, розовыми и голубыми собаками; тут же слонялись разные богомолки, нищие, старицы, пришедшие к Круторогохе по своим делам, сидели татары, ожидавшие «бачку Артамона» для расчёта за кожу; тут же шариком каталась Митродорушка, вся круглая, с пышной косой и румяными щеками, старшая воспитанница Крутороговых; она, побрякивая ключами, ныряла то в ту, то в другую кладовушку, на ходу перекидываясь с пришедшими весёлым смехом и шуточками.

Галдарейка, выходящая в сад, летом вся обвитая диким виноградом и хмелем, посещалась только своими домашними да близкими гостями. Тут, в укромном уголке, стоял широкий протёртый диван, перед ним стол створчатый, накрытый синим столешником, и шкафчик с висячим замочком. Здесь любила сидеть с «мил человеком» Настасья Петровна Круторогова. От затейливых куртин, расположенных звёздами и «планидами», шла приятная духовитость. Громадные берёзы кудрявились вдоль аллей, усыпанных красным песком. Среди лужаек стояли

три стройных тёмно-зелёных кедра, посаженных Артамоном в честь трёх сыновей, родившихся уже в этом доме: Ивана, Якова и Сергея. В глубине сада была круглая беседка из самоцветных стёклышек, налево «теплушка», где садовник из ссыльных, угрюмый Емельян, разводил всякую огородную «фрукту»: огурцы, редис и салат, которыми можно было щегольнуть и среди зимы; налево были устроены кегли.

Настасья Петровна любила свой сад и целые часы просиживала на галдареечке, беседуя то с тою, то с другою гостьюшкой, отворяя заветный шкафчик, который Митродорушка с раннего утра обставляла как следует вином и закусками. На створчатом столе бесменно чередовались пузатые самовары. Дом Крутороговых, как и все, впрочем, богатые дома города Т., был полная чаша. В кладовых его, просторных и прохладных, как сарай, хранились посуда, хрусталь и всякая утварь, которой хватило бы на много лет и многим семействам; стояли громадные кованые сундуки с полотнами и материями для годового домашнего обихода; на них высились нерасшитые кожаные цыбики чая, забитые гвоздями деревянные ящики с головами сахара; по углам целые закрома мешков и кульков с орехами, пряниками и другими лакомствами, покупавшимися пудами; на полу, как гигантская пластовая пастила, лежали вперегиб белые войлоки; груды персидских ковров, которыми в годовые праздники и семейные торжества убирался весь дом; по стенам на громадных крюках висели запасные сёдла, уздечки, сбруя. Словом, тут было всё, что возраставшее благосостояние купеческой семьи могло собрать по своим ежегодным скитаниям на ярмарках в Ирбите и Нижнем.

В подвалах и других закромах находились туши мяса, запасы мороженой рыбы, икра бочками и всякая снедь и выпивка. Словом, если бы городу Т. надо было выдержать осаду и кругом был глад и мор, семейство Крутороговых прожило бы сытно и привольно, пользуясь одними своими складами.

Артамон Степанович Круторогов родился шестьдесят лет тому назад на тятенькином огороде, где «маинька», не рассчитав времени, полола гряды. До восемнадцати лет он не сносил ещё ни одной пары сапог и околачивался кругом

«кобылки», на которой распяливали десяток-другой кож, работая на чужой завод. Здоровый, рослый, с лицом, изрытым оспой, Артамон рос сметливый, юркий, первый боец зимних кулачных боёв на городище, где «стенка на стенку» выходили каждое воскресенье фабричные. Молодым парнем он побывал уже в далёких татарских юртах, перезнакомился со всеми «князьями», устроил себе кредит и к двадцати пяти годам орудовал уже в собственном заводике. Тридцати лет он женился, взяв за себя невесту с деньгами из степенной, скопидомной семьи Балушиных. Настасья Петровна, выйдя за него шестнадцати лет, повидала на своём веку всякие виды и побывала во всяких переделках, но умная и добрая, она, несмотря на то, что внесла в дом мужа основной капитал будущего богатства, многие годы работала с ним наравне, приобретая и откладывая грош за грошом. Детей у них было много, но так как в то время и отцу, и матери некогда было с ними «возжаться», то их и отдавали на руки старухам бабушкам и тётушкам, которые от грыжи прикусывали им пупочек, от надрывного крика поили маковой настоечкой, а от любви закармливали мёдом, пряниками, поили суслом пивным и домашней бражкой. При этой системе дети не загащивались подолгу на земле, а отправлялись «к ангелам небесным», и только три сына и составляли в настоящее время семью Крутороговых. Спившийся Ванюшка жил в кухонной боковушке, рыжий золотушный Яшенька заведовал заводом, да младший Серёжа кончал курс «в России». Сам Артамон Степанович давно уже перестал «ногой сморкаться», громадный завод его исполнял казённые подряды, сам он одевался поевропейски, жене наряды выписывал из Москвы, читал газеты и журналы, почти ежегодно ездил в столицу, побывал даже в Париже и у себя в доме завёл такие «новшества», от которых ахнул весь город. Двух сыновей — Якова и Сергея — отправил сперва в гимназию, а затем и в университет, а со своей Настасьей Петровной стал жить на разных половинах. К шестидесяти годам это был здоровенный старик громадного роста с бритым лицом, как бы на смех всему городу, полному старообрядцев, с небольшими мигающими, но зоркими глазами, самодур и зверь, прикрытый внешним лоском наносной цивилизации. Заезжих важных гостей он умел обойти не только широким гостеприимством, но и

напускным добродушием и откровенностью. В душе он не верил ни Богу, ни чёрту, единственная религия его была нажива; но таким его знал только один человек, и это была его жена Настасья Петровна, с которой и жил он под старость на разных половинах.

Артамон Степанович обедал. Он только что съел жирный пирог с нельмой и потянулся запить его стаканом домашнего пива, как в прихожей послышался шёпот, дверь отворилась настежь и к столу подлетела странная фигура, по виду не то мужик, не то баба.

— Здорово, Артамон, дай гривенничек, друг!

Артамон, грозно сдвинувший брови при первом шуме, распустил теперь лицо в деланную улыбку.

— Ладно, ладно, здравствуй, брат Емелькин, гривенничек дам, садись, гостем будешь.

На бледном лисьем лице Емелькина мелькнула хитрая усмешечка, он осторожно присел на край стула и конфузливо прятал ноги, обутые в дырявые, стоптанные валенки. Одет Емелькин был без всякого признака нижнего белья в широкий ватный халат, подпоясанный верёвкой, отчего кругом его талии образовались складки, как у женской юбки. Шапки у него не было ни зимой, ни летом, и голова его с седыми кудрявыми волосами была всегда повязана по ушам пёстрым ситцевым платком. Когда-то Емелькин был богатым купцом, и Артамон работал на него, но друзья и приятели во главе с тем же Артамоном, пользуясь его слабостью к вину и картам, споили и обыграли его до нищеты. Теперь он спустил всё, кроме двухэтажного деревянного дома.

— Выпьешь? — Артамон налил ему большой стакан водки.

Емелькина передёрнуло, слюна заполнила весь его рот, но он ещё не был пьян, потому смекалка и ненависть к богачу Артамону пересилили.

— Не пью, — отвечал он и обернулся в угол.

— Что? Не пьёшь? — Артамон подозрительно взглянул на него и подумал: «Пронюхал, бестия».

— Ты не ломайся, а выпей, водка-то не кабацкая, а заводская.

— Не употребляю! — отвечал Емелькин и сплюнул. — Дай двугривенный, Артамон!

— Выросло! Бери уж рупь. — Артамон полез в карман и достал из кожаного бумажника аккуратно сложенную рублёвку, положил её на стол и прикрыл своей громадной ладонью. — Вот что, брат Емелькин, заместо того, чтобы нам кругом да около хороводиться, будем мы с тобой говорить начистоту. Хочу я, к примеру сказать, дом строить!

— Знаю, — Емелькин покосился на стакан водки и отодвинул стул. — Коли ты, Артамон, разговоры разговаривать хочешь, так ты водку убери, не пью я её и видеть больше не могу, нутро не принимает!

— Ладно, перейдём в горенку!

Перешли в соседний кабинет.

— Продай мне твой дом, Емелькин!

— Ой ли!

— Верно, я на его месте каменные хоромы выведу с зеркальными окнами на самую реку.

— Ой ли, ишь как тебя возносит-то!

— Потому я почётное гражданство получил, да это не в строку; продай мне, брат, дом, ведь одно место покупаю, дом-то тлен, весь червями изъеден.

— Вот что, Артамонушка, домик-то я не прочь продать, только дай мне умом раскинуть, сколько ты за него мне дать должен. Видел, я теперь не пью, снова с твоих денег торговать учну, только ты, Артамон, дай мне рупь-то; вот... валенки все разъехались, будь другом, дай! Вечор мы потолкуем!

Артамон нерешительно отодвинул ладонь, Емелькин выхватил бумажку, вскочил со стула и вдруг поднёс Артамону под нос кулак, сложенный фигой: «На, выкуси, вот тебе дом мой!». Раньше, чем Артамон опомнился, Емелькин вылетел из комнаты и понёсся галопом к своему дому, на углу которого был кабак.

Под гостеприимным кровом кабака в доме Емелькина, как всегда, сидела и галдела орава оборванцев, на обязанности которых лежало разводить и сводить Заречный мост для пропуска барок.

— Славьте вашего командира и благодетеля Ивана Семёновича Емелькина! Угощаю на целый рупь, — он бросил на кабацкую стойку бумажку.

Оборванцы подхватили его и с рёвом: «Слава, слава нашему именитому купцу, отцу благодетелю», трижды подкинули его, и затем началась попойка.

Пьянство и тщеславие раздирали душу несчастного Емелькина, богатство и надменность бывшего друга Круторогова мучили его, и теперь, сидя за грязным столиком и напиваясь скверной кабацкой водкой, от твёрдо клялся в душе, что Артамону как ушей своих не видать его дома. «Околевать стану, — решил он, — городу на богадельню отдам, а уж хоромам его не стоять на этом месте ни в жисть».

Дом Емелькина, которым решил Артамон завладеть во что бы ни стало, стоял на самом красивом месте в заречье. Одним углом он выходил на главную улицу, а другим глядел на безобразный Заречный мост и на открывавшуюся за ним панораму города. Сам Емелькин играл, в некотором смысле, в заречье роль рыцаря-грабителя: мимо его дома не проезжал ни один богатый купец, чтоб он не постарался сорвать с него подати. Спуск с заречья на мост страшно крут и в два поворота, задние колёса экипажей тормозятся, и привычные лошади идут осторожно, боком, наседавая на хвост, до самой середины моста. Емелькин в кабаке караулит каждый экипаж и, как только заметит направляющийся к мосту, вылетает на дорогу и, хватаясь за заторможенное колесо, идёт рядом. Все обыватели, конечно, ему известны, и потому, будь то старый или молодой, он обращается к нему фамильярно-заискивающим голосом и начинает:

— Здравствуй, Филимон (или Евлампий, Евстигней и т.д.)! Как поживаешь?.. Дай гривенник на водку! Ну, не жалея, раскошешься для друга! Дай душу отвести! Ну, давай, не упирайся... Ишь, пузо-то отrostил, мошну набил... Да ну же, давай!

И почти всегда получает. Если же проезжий не имеет с собой мелочи или зимой не хочет расстёгиваться и доставать, Емелькин не унимается никакими доводами, бежит долго рядом по мосту уже рысью, держась за подножку экипажа, и только при «взёме» на гору, потеряв всякую надежду, раздражается градом местных ругательств:

— О, будь ты проклят! Язви тебя... и т.д., — а иногда, схватив ком снега, пускает им в затылок проехавшего.

Замечательно, что все мысли Емелькина сосредоточены на двух пунктах: выпить или выкинуть какую-нибудь необыкновенную штуку. Емелькин подбирает и тащит на

улице всё, что только попадёт на глаза; нередко ограбленные преследуют его; несмотря на свои годы, Емелькин несётся с добычей галопом и, если успеет вбежать к себе во двор и захлопнуть на засов за собой калитку, то даже ограбленные (дело, конечно, идёт о каком-нибудь коромысле, ведре, подкове и т.п.) считают дело конченным и, всласть наругавшись у запертых ворот, уходят. Если же его поймают, то, конечно, бьют, но не сильно, во-первых, потому, что его все знают, а во-вторых, раз пойманный, он не сопротивляется, напротив, гордо кричит:

— Твоё! Ну так бери, давно бы ты сказал, что твоё... никогда и не тронул бы...

Украденная же благополучно вещь появляется к продаже в кабаке его дома или спускается в субботу приезжающим на торг крестьянам. Иногда неодолимая жажда заставляет его проникнуть и прямо в чей-нибудь дом; для этого он долго где-нибудь из-за угла сторожит, пока караульный татарин отлучится от ворот. Тогда Емелькин, подобрав полы, летит прямо перед хозяином в его кабинет; тут уж, во избежание скандала, приходится живо дать ему просимый гривенничек.

Тогда он выходит гордо, степенно и, если нарываяется на поражённого караульного (которым всем строго запрещено пропускать Емелькина), то объявляет ему, показывая гривенник:

— Видал? Завтра опять велел приходить...

Излюбленные забавы Емелькина тоже оригинальны. Осенью, когда река покрывается салом, и весной, когда по ней бегут последние льдинки, Емелькин даёт всему заречью даровое представление. Он идёт на крутой берег реки в сопровождении своего штаба, т.е. оборванцев, завсегдаев кабака в его доме, и объявляет им: «По гривеннику на рыло, только кричать громко и качать хорошенько!».

На виду у всех прохожих и проезжих перед окнами соседнего дома Емелькин торжественно снимает с головы платок, с плеч халат и остаётся в первобытном виде. Оборванцы подхватывают его и орут во всё горло: «Слава, слава нашему именитому купцу, отцу благодетелю. Слава! Урра!» — и, раскачав, бросают его в реку с высоты, по крайней мере, сажени. Емелькин летит в воду, через не-

сколько секунд над водой показывается его голова, и он выходит на берег; лицо его сине, зубы стучат, всё его тщедушное тело дрожит и ёжится, но он кричит на весь берег: «Ещё!».

Снова летит, снова появляется, и так до трёх раз. Затем, часто даже не напяливая халат, а только прижимая его к себе, он спешит обойти всё собравшееся посмотреть на него общество (состоящее частью из самых уважаемых купцов города) и уже от всех получает довольно щедрую лепту. С халатом в объятиях летит затем Емелькин к себе в дом, в кабак; за ним несутся славильщики в ожидании обещанных гривенников.

Так, на потеху купечества, Емелькин ежегодно «закрывает» и «открывает» реку.

Водопроводов в городе нет, а потому круглый год между тремя и четырьмя часами всё небогатое женское население отправляется с вёдрами за водой. Емелькин выбирает дождливый день, когда немощёный крутой спуск к реке особенно труден. Бабы и девки осторожно поднимаются с полными вёдрами по скользким земляным выбоинам, и едва потянутся они гуськом по улице, как из-за угла появляется Емелькин и вдруг перед изумлённой бабой сбрасывает с себя халат. Степенные и уже привыкшие к нему бабы плюют и проходят дальше, девушки бегут, хихикая и расплёскивая воду, но какая-нибудь новая или задорная не выдерживает, становится на землю вёдра и вооружается коромыслом. Емелькин только этого и ждёт. Он моментально бросается к вёдрам, с быстротой обезьяны опрокидывает их и исчезает. Случается, конечно, что баба все-таки успевает здорово огреть его коромыслом, но он, по местному выражению, «за тычком не гонится».

II

Свет Иван Артамонович Круторогов

Серые тени, как клочки прозрачной кисеи, поднимались с земли. Холодное, бледное солнце взошло и лениво осветило северный зимний пейзаж. По замёрзшей ленте реки бойко скользили деревянные сани, разрисованные синей краской. Шибко бежала запряжённая в них сытая

рыжая лошадка. В санях сидели две женщины: одна потолще, сторбленная, другая потоньше, прямая, обе закутанные в чёрные «матерчатые» шубки на беличьем меху и в толстых чёрных платках, почти закрывавших лица.

Потолще и, видимо, постарше правила ловко по «намётке», объезжая дыры и проруби, в которых и зиму и лето мочат кожи ближайšie заводы. Санки миновали татарские юрты, пролетели мимо махавших им бесформенными руками поставов, на которых толклась одубина для кожевенных заводов богача Круторогова, оставили за собой загородный городской сад и, наконец, въехали в самый город. Перед ними потянулись окрайные домики, низенькие, кривобокие, без крылечек или дверей наружу, все с дворниками и с наглухо запертыми воротами. Каменных построек совсем не было, но чем ближе подъезжали сани к городу, тем дома становились крупнее, заборы выше, ворота крепче. Доехав до моста, правившая ударила лошадь, и та рысью взяла на крутой «взъём». Несмотря на мороз и толстый слой снега, во всём заречье, куда направились сани, стоял особенный кислый запах. Можно было подумать, что здесь во всех домах проветриваются бочки из-под кислой капусты. Этот своеобразный аромат шёл со всех улиц, густо «высоренных» одубиной. Толчеи неустанно мололи дубовую кору, телеги подвозили её на заводы, а из дубильных чанов все негодные отбросы вывозились прямо на улицы и «высаривались», как песок. Солнце высушивало это своеобразное мощенье, лошади и пешеходы притаптывали почву; зато когда дожди растворяли всю эту благодать, то только носы зареченских жителей могли её переносить. Сани остановились у ворот высокого забора, окружавшего целую усадьбу.

— Здорова будешь, — приветствовал приезжих татарин Юшка.

— Здорово, здорово, Юшенька! — отвечала старшая.

Юшка отпер ворота, сани въехали в широкий двор, окружённый сараями, конюшнями и другими хозяйственными пристройками. Рыжий дворовый мальчишка Пётр в нагольном тулупе и валенках сорвал со своей кудрявой головы шапку и тоже подбежал к саням.

— Здравствуйте, тётенька! — он тоекратно поцеловался со старшей. — Здравствуйте, Прасковья Степанов-

на! — он поклонился младшей, красные щёчки которой и лукавые глазки блеснули теперь из-под платка.

— Небось, назяблись, сегодня больно студёно, пожалуйте на кухню обогреться!

— Ладно, ладно, ты лошадку-то убери!

И обе приехавшие, вылезши из саней, направились к большому, отдельно стоявшему домику. Через сенцы они вошли в большую светлую кухню, где у русской печи возилась румяная, здоровая кухарка Матрёна Сидоровна. На длинном столе, покрытом пёстрым, домашнего тканья «столешником», помощница Матрёны Сидоровны толстая, как обрубок, Акулина ставила блюдо с грудой мясных пирожков. По краям кухни на чистых лавках, покрытых серым рядом, сидели нищие. У каждого в руках был туесок и мешок за плечами. Вторая помощница кухарки, Агафья, тихая, немолодая баба, раздавала милостыню. В туеса накладывалось мёрзлое молоко, наливался густой домашний квас, или оделялись капуста, огурцы, словом, по просьбе каждого. В мешки опускались краюхи хлеба, крупная серая соль, завязанная в тряпочку, куски жареной рыбы. В доме богача Круторогова, как и во всех богатых домах города, нищие не получали денег, но щедро оделялись хлебом насущным. Матрёна Сидоровна поставила в угол ухват, обтёрла передником сочные губы и степенно, но ласково подошла к приезжим.

— Фаина Сергеевна, здравствуйте, матушка! — она трижды поцеловалась со старшей. — Паранюшка, как жива будешь? — она поцеловала молодую девушку.

— Раскидайтесь, дорогие гости, грейтесь, сейчас чайку приготовлю. Ты, небось, постничаешь, Фаина Сергеевна? Сейчас тебе груздочков и всякой снеди такой Акулинушка приготовит. Мигом, мигом на погреб слетает!

— Ну, а наш-то сокол, Ванюшка как?

— Всё так же, и слухом слышать не хочет о большом доме, как перешёл сюда к нам, в боковушку, так тут и поселился. Отдохни, мать, он никак теперь молится, потом и к нему толкнёшься!

В длинной боковушке уже несколько месяцев как по своей дикой фантазии жил старший сын Круторогова Иван. Это был когда-то статный, красивый парень, мозги которого не вынесли отцовской ломки и жизни, полной не

разрешимых для него противоречий. Иван пил и юродствовал. Он далеко не был сумасшедший, но и здравомыслящим назваться не мог. Время от времени у него пухли ноги, он весь как бы наливался водой, и мать и старухи бабушки, обожавшие Ванюшку, ждали его смерти, причитали над ним с рыданиями и приходили по очереди в боковушку читать над ним отходную. Но Иван переставал пить, принимал какие-то снадобья, приносимые к нему разными староверками, и снова выздоравливал, оправлялся до нового запоя. Иван родился, когда Круторогов ещё не нажился и работал сам как вол в крошечном сарайчике, из которого и разросся потом громадный кожевенный завод. Ванюша был мальчик тоненький, стройненький, тихий и ласковый, как девочка; он рос до десяти лет между ватными юбками старых тётушек и бабушек. Его поили сладким винцом, кормили медовыми пряниками, учили по старым засаленным книжкам настоящей, старой вере отцов, таскали по разным скитам, где его благословляли и наставляли разные старцы и «матери». С десяти лет мальчик пошёл в науку к отцу и стал за конторку. Рука у Круторогова была тяжёлая, нрав скоропалительный, и не раз мальчишку, избитого в кровь, мать укрывала в своей моленной, где снова старухи отхаживали, отпаивали и отчитывали своего любимца. Каждый грош у отца был на отчёт, и всё-таки подраставший мальчик изловчался вывернуться и на покупке сырья, на продаже выделки наживал синенькую, а то и красенькую. К восемнадцати годам Ванюшка вытянулся в красивого женоподобного юношу, тёмного старовера, подчинённого мельчайшему исполнению религиозных обрядов и толкований бабушек, тётушек и разных «стариц». К этому времени дела отца шли уже торной дорогой к богатству. Упрямый, тяжёлый, но умный Круторогов решил съездить в Москву, в Петербург, потолкаться по приёмным нужных людей, перехватить подряды, а затем проехать за границу, людей посмотреть, себя показать.

Ванюшка наряду с посещениями скитов и бабьего царства в деревне Пашенке, о которой у нас ещё будет речь, съездил уже два раза в Ирбит и Нижний, повидал цыган, побывал в таких вертепах, где сразу, как пенку со сливок, снимают всё мягкое, человеческое с юной души, и нако-

нец отправился сопровождать папеньку в Москву, Петербург и за границу. Вернувшись из Парижа с запасами духов, фиксатуара, модных галстуков и пёстрых костюмов, Ванюшка снова побывал у всех бабушек, помолился с лестовками во всех молельнях, «закурил» на три дня в Пашенку, за что попробовал снова тяжёлого отцовского кулака, и, не выдержав, свихнулся: запил и на каком-то стоянии в чужой молельне пустился в пляс, приговаривая:

*Стану плавать я в духах,
Со флаконами в руках!..*

К этому времени у Круторогова подрост второй сын — смирный золотушный Яша, и старик махнул рукой на старшего. Иван перебрался в боковушку большой кухни и стал дурить там во всю свою расшатанную, изнеженную и испорченную натуру.

Мать Фаина с крестницей Параней приехали приглашать Ванюшку в гости, в Пашенку, где приготавливался годовой праздник. Боковушка была длинная комната, сплошь устланная белой кошмой. Единственное окно её в глубине было затянуто красным коленкором; перед окном в ширину всей комнаты стоял большой белый стол, накрытый до полу толстым сукном, заставленный образами. Потемнелые лики святых с суровыми очами выглядывали из золотых риз, залитых драгоценными камнями и заниженных жемчугом. Перед иконами горели цветные лампы, бросавшие кругом колеблющиеся светлые пятна. На отдалённом столике, сбоку, лежали святые книги, лестовки и другие принадлежности старообрядческой молельни. Справа у стены стояла узенькая железная кровать с простым тюфяком, белыми простынями, вышитыми по краям красным кумачом, и тяжёлым одеялом на овечьей шкуре. Над кроватью висела грубо размалёванная громадная картина страшного суда.

Зелёные, красные и синие черти ловко поддевали на вилы грешников и с выражением неистового удовольствия поджаривали их на огне. Грешники стояли по разрядам; одни лизали горячие сковороды, другим черти лили в глотку расплавленное золото, третьи ели пуды печатной бумаги за приверженность к светскому сочинительству. Много любившие женский пол страдали ещё ужаснее; пьяницы

ловили зелёных чертей, которые десятками облепляли их, обвивали хвостами, дразнили длинными кровавыми языками; в открытом брюхе чревоугодника красненький чёрт играл на скрипке.

Направо целый угол полотна был залит розовым светом, изображавшим вход в рай; там по бокам стояли старцы седобородые и приветливым мановением руки пропускали вереницу таких же, как они, бородатых старцев и стариц в чёрных платках на головах, с ними шли и несколько генералов.

Свет Иван Артамонович, высокий, худой, со впалыми карими глазами, с приятным, но утомлённым и как бы растерянным видом, стоял перед иконами и бил поклоны, перебирая лестовку. Дрожащими руками он время от времени то перед одним, то перед другим угодником зажигал свечи тёмно-жёлтого воску, неровные, корявые, собственноручной работы знакомых старцев. Отбив условленное число поклонов, он остановился, осмотрелся кругом, нагнул голову вправо к дверям и, не услышав ничего подозрительного, подошёл к столу, нагнулся и из-под тёмного сукна, закрывавшего его до полу, достал бутылку перцовки; живо схватив левой рукой большую пустую лампаду, он налил её полную и выпил, затем водворил на место бутылку и снова опустил суконную скатерть.

Иван Артамонович был одет в чёрный подрясник на лисьем меху и подпоясан верёвкой; под низом у него было только бельё да высокие валенки. Похлопывая себя по бёдрам, он прошёлся по комнате, затем щёлкнул языком, нагнулся ещё раз, достал бутылку рябиновки, налил в ту же лампаду, отбил десять поклонов и снова выпил.

Когда все бутылки были по очереди им перепробованы, Ванюшка был пьян окончательно и, приплясывая, хихикая и приседая, вышел в большую комнату.

Фаина Сергеевна и Прасковья встали при его появлении, но Иван Артамонович вдруг взвизгнул и побежал к себе обратно. Полы его подрясника развевались, как крылья, и, зацепляя за полки, роняя решёта и банки, он скрылся за дверью. Параня хладнокровно осталась допивать чай с блюдечка, но Фаина Сергеевна степенно поднялась и направилась в боковушку. Свет Иван Артамонович стоял перед картиной страшного суда и скорбно рыдал, глядя на человека, ловившего зелёных чертей...

III

Овечкин-сын

Евмений Федорович Овечкин-сын проснулся с первым проблеском бледного зимнего утра. Его жилистые ноги, обросшие длинными чёрными волосами, спустились с кровати, нащупали войлочные туфли и обулись автоматически, без всякого ведома хозяина. Овечкин запустил пятерню в свои густые курчавые волосы и водил рукой по голове, точно разгоняя в ней последние следы вчерашнего пьяного угара. Повернув голову немного вбок, он взглянул на спавшую рядом жену, и его татарские, чуть-чуть раскосые глаза вдруг широко открылись: последняя картина вчерашнего вечера моментально встала перед ним так ясно, как если бы она фотографически отпечаталась в его зрачках.

Фелицата Григорьевна лежала на спине, вся пышная, розовая; густая бахрома ресниц бросала синеватую тень на щёки; волнистые, тяжёлые пряди волос спустились на лоб; она, казалось, не спала, а оцепенела в сладостной истоме. Овечкин вдруг обернулся всем телом, левой рукой сгрёб её чёрную косу, а правой с размаху ударил её по щеке. С безобразным испуганным криком молодая женщина рванулась было и снова припала головой к подушке, глядя в упор на исковерканное злобой лицо мужа.

— А, подлая! — прошипел Евмений Федорович и бросил жену с кровати на пушистую медвежью шкуру, разостланную на полу. — Ты думаешь, я пьян был вчера, не помню? Не-ет, всё помню! Всё видел!.. Винись!.. — и он толкнул её ногой в грудь.

— Виновата! — простонала она и, закрыв голову руками, зарыдала.

Евмений Федорович стиснул зубы и взмахнул кулаком. Но громадный кулак бессильно упал, а взгляд упёрся на вздрагивавшие голые плечи жены, гладкие и мягкие, как бархат, на нежную спину, по ложбинке которой спускалась трубой густая коса. Сердце его переполнилось жалостливым презрением к этой «бабьей слабости». «Долго ли тут искалечить, ну, а дальше? — думал он. — Кто же на такую бабу не позарится? А где мягкой бабе устоять про-

тиву ласки мужской? Выходит, сам виноват — не укараулил своё добро, на расхищение отдал! Ну, а ты, барин, красавчик, мне поплатишься!». И Овечкин, снова сжав кулак, погрозил им в пространство.

— Вставай! — прохрипел он жене и отошёл к умывальному тазу, около которого стояли наготове кувшин и два ведра с водой.

Он налил полный таз и стал мочить голову. Фелицата Григорьевна встала без слезинки, обулась, подвязала юбки и, взяв в руки бумазейный голубой капот, направилась к двери.

— Назад! — не оглядываясь, прохрипел Овечкин, и молодая женщина подалась, как если бы её кто толкнул от двери, и покорно присела на край кровати.

Евмений Федорович вымылся, оделся, расчесал свою рыжеватую бороду, помолился привычной «пустой» молитвой перед родительским благословением, затем надел валенки, шубку на лисьем меху, шапку тобольскую с ушами, снял со стены ружьё, зарядил его и надел ягдташ. Дойдя до двери, он обратился к жене:

— Я, Фелицата Григорьевна, только потому не бью вас, что убивать не намерен, а коли я да раз опущу кулак тебе на голову, то уж так и дотюкаю — потому я свой характер знаю! И судов я этих и полиции этой, ничего такого я у себя на заводе не боюсь! И скалечу я тебя всласть да ночью и выволоку на двор, так псы-то наши по кусочкам всю тебя разнесут, и суди потом, зачем, мол, ты по своей бабской дурости ночью на двор сунулась? А я, заплакавши примерно, похороню косточки ваши. Помин душе вашей справлю да через годик и другую жену за себя возьму. Только не затем мы, Фелицата Григорьевна, вас за себя брали, вашей красотой любовались, вас, нищую сироту, в шелка да в бархаты одевали, чтоб своим собачкам искормить. А только так как вы оказались очень уж слабы на счёт вашего естества, так теперь не взыщите: жисть ваша переменится, будете вы теперь здесь, на заводе, на манер как бы в крепости и в послушании, как бы в монастыре. Выпишу я сюда свою маменьку, и скрутим мы тебя по-своему. Слыхала?

— Слыхала, — прошептала побелевшими губами Фелицата Григорьевна, не поднимая глаз на мужа.

— Так и знай, что вся ты у меня в моей супружеской власти. Хочу — прощу, пуще прежнего разодену, в золото закую. Хочу — псам скормлю, а уж только никому не отдам! Так и помните, коли ещё что!..

Он двинулся к жене с исковерканным побелелым лицом и снова поднял над ней кулак.

Фелицата Григорьевна тихо ахнула и, закрыв лицо руками, скользнула с кровати и так и осела на полу, как узел белья.

— Так и помните! — прошептал Овечкин, вышел из комнаты и, заперев её снаружи, опустил ключ в карман.

В спальне было тихо, как в могиле.

* * *

Во флигелёчке у приказчика в просторной комнате на густо настланном сене, прикрытом белой кошмой, вповалку, полураздевшись, спали пять инженеров, съехавшихся к Овечкину на охоту.

Стук в дверь заставил и их проснуться спозаранку.

— Смерть спать хочется, — проговорил Козлов, вставая однако на ноги. — Эй, Вязьмин, Александр Павлович, очнись.

Но Вязьмин не спал, он давно уже проснулся. Его прекрасные синие глаза глядели в пространство, он думал о чём-то весёлом, потому что улыбка так и раздвигала его полные красные губы.

— Александр Павлович, — заговорил сосед его с левой стороны, худощавый поляк Бржезовский, — я бы не хотел быть на вашем месте.

— Вчера? — засмеялся Вязьмин.

— Да и вчера! Если бы вы видели лицо Овечкина.

— Какое там лицо у этого Ирода, ведь он был в лоск пьян, — и Вязьмин снова захохотал.

— Пьян, страшно пьян, ногами и языком, но не памятью! Когда вы начали целовать его жену, я как ни был сам пьян, а всё-таки взглянул на мужа: он головы не мог поднять от стола, но только повернул её в сторону и глядел на вас такими налитыми кровью глазами, что, ей-богу, у меня сердце захолонуло.

— Глупости! — Вязьмин махнул рукой. — Во-первых, не женись на такой непомерно-красивой и глупой жен-

щине, а во-вторых, не допускай её в пьяную мужскую компанию... Зачем он её пригласил к столу?..

— Позволь, — перебил его Козлов, — да ведь мы приехали к ним как гости и честь честью сели за семейный, так сказать, ужин, ведь это ты же привёз коньячищу и накати́л его...

— Да, Вязьмин, вы вчера того... — подал свой голос и Павлов, вставая и расчёсывая свою густую бороду. — Уж когда-нибудь снесёте вы свою буйную головушку за это самое бабское пристрастие.

— Эх, Павлов, да ведь это сама красота! Ведь я ещё третьего дня, как Овечкин в городе в клуб приехал звать нас на охоту, чуть не наделал глупостей, как увидел его жену. Пошёл я с ней танцевать, как увидел я у самого лица её глаза с поволокой, сочный рот с раскрытыми губами, так верите, я её чуть не расцеловал тут же, при всех в зале. Чёрт знает, что со мной случилось.

— Ну-с, готовы? — раздался в дверях голос Овечкина, и он вошёл в комнату. Его узкие, холодные глаза обвели подозрительно все пять лиц инженеров, он пожал им руки и стал торопить идти пить чай вниз к приказчику.

— Уж молодую хозяйку не обессудьте, ещё отдыхает! — сказал он и вышел.

Стеклянный завод Овечкина-сына стоял в 60 верстах от ближайшего города, окружённый лесом, обнесённый высоким забором с гвоздями и битым стеклом наверху, не так от лихого человека, как от толстолапого серого медведя, которого «блазнил» мелкий скот, гулявший по заводскому лугу, да от лесного разбойника — волка, всегда готового шарахнуть через забор за добычей. На ночь заводские ворота замыкались на запор, а старый сторож Николай, открыв засов железных решёток у тёмных ящиков, выпускал на двор сторожевых собак. Прыжками вылетали рыжие «лайки», встряхивали свои жёлтые «воротники», вытягивали крепкие лапы, онемевшие за целый день лежанья, и неслись, играя, кувыркаясь, по двору, оглашая окрестный лес своим радостным, злобным лаем. Собаки знали только своих и беспощадно разорвали бы каждого чужого, появившегося на двор без провожатого. Наутро Николай звонил в колокол и вывешивал на шест битую зайчину или оковалок мяса; все собаки собирались

к нему, он оделял каждую, и та с злобным рычанием уходила с добычей обратно в свой тёмный ящик.

Рабочие на заводе были большей частью варнаки, у которых паспорт на роже прописан, все «Иваны Непомнящие», и свидетельство им выдавалось «для правильности» с их же слов в заводской конторе, потому «держать беспаспортного нельзя». Настоящий мастер был на заводе один, да два-три человека, действительно что-то смысливших в стеклянном производстве, а все остальные так — сброд. Поступит, посмотрит, да и приноровится кто горн шуровать, кто варю мешать, а кто половчей, и халяву выдуть начнёт. Дело на заводе было немудрёное: стекло выделывалось только простое, оконное, небольших размеров, «с пузырьком и зеленцой», а сбыт был хороший, зимой не успевали нагружать ящики да рассылать.

На заводе Овечкина-сына каждый рабочий был страстный охотник. От сторожа у ворот, черномазого татарина Пашки, до пастушонка Сосипатра у всех было своё ружьишко, и каждый в свободную минуту только и норовил удрать в лес. Лес был настоящий отчий дом для всего сброда. Там в густой тайге чуть не у каждого была припасена своя нора «про всякий случай». Ружьё, порох, рубленый свинец, запас муки да соли — вот основное богатство варнака, всё остальное даст лес. Дичины всякой вволю: толстый рябчик-кедровик; красноглазый тетер, токующий до одури по зорям; куропаточка пёстрая, зайчина трусливая, богатый приводок в виде груздя сухого, рыжика, княженики, морошки, клюквы, «сибирского разговорца» — шишек кедровых — уйма непочатая. Там, в тайге, бегут ручьи студёные, а в них муксун да сазан полощутся, нырок кувиркается. Там мох, что твоя перина пуховая, а уж птичьих песен, звёздных ночей, зорек розовых, гроз громовых — этого языком не передать сибирскому бродяге, а только всё это лелеет его душу и неудержимо тянет к себе. На заводе были такие рабочие, что только и выдерживали зиму, а как стает снег, выползет травка зелёная, ручей шевельнётся, как покажется в небе первый треугольник возвращающихся журавлей, так сил его больше не хватает: отпустят — уйдёт, задерживать станут — сбежит и айда прямо в тайгу снова до лютого зимнего холода. Овечкин умел ладить со своим людом, взгляд у него был тяжёлый,

силища необыкновенная, характером прижимист, но справедлив.

Женившись против отцовской воли на сироте, воспитанной Крутороговым, он не взял за нею никакого приданого, отделился от семьи и перешёл из города, с отцовского большого кожевенного завода, в лес. Он мечтал расширить свой стеклянный завод, начать выдувать бутылки, что могло бы дать хорошую прибыль; время от времени отъезжал с женой в город, показывал её в нарядах и дорогих камнях в клубе, чтобы не говорили люди, что он запер жену из ревности.

В последний раз он в клубе познакомился с инженерами и пригласил их к себе на завод на охоту за зайцами.

В романовских полушубках, подпоясанных цветными кушаками, в меховых тобольских шапках, в высоких валенках гости вслед за хозяином двинулись на охоту. Ворота им отпер Пашка, и вся его тёмно-коричневая морда осветилась оскаленными белыми широкими зубами.

— И я на охоту за вами, — объяснил он, помахивая стареньким одноствольным ружьём.

— А у ворот кто? — спросил Овечкин.

— Сменялся, сменялся, и у ворот караулить будут, и я на охоту пойду, — отвечал Пашка весёлым своеобразным говорком. Меховые уши его треуха незавязанные болтались по обе стороны головы, всё лицо его то изрезывалось глубокими круглыми складками и походило на рожу старой обезьяны, то разглаживалось и молодело сразу.

Пашку все знали и все любили, он уже лет десять тому назад пришёл на завод откуда-то с дальнего татарского кочевья, да так и остался караульным у ворот; весёлый, услужливый, он не любил только говорить, откуда он и зачем пришёл.

— Ладно, ступай, — разрешил Овечкин. — Беги вперёд, пусть загонщики готовятся.

Пашка подхватил полы своего мехового халата и замелькал новенькими белыми валенками.

Гости и хозяин, перейдя мостик, перекинутый через глубокий ров, вступили в лес. Утро было морозное, ясное, без малейшего ветерка. На широких лапах кедра снег лежал

пышно, как вата; у стройных елей все пальцы были обёрнуты искрящимся инеем. Безлистые кусты облепили стояли шатрами ажурного серебра. Под ногами скрипел и хрустел снег, пригвождённый морозом. Загонщики, мальчишки и бабы из двух соседских заимок, давно обложили часть леса, но не двигались с места, пока господа не дадут знак.

Дойдя до широкой поляны, Овечкин остановился, инженеры выбрали места. «На нас гнать будут», — пояснил он им. Вязьмин распустил ворот у полушубка, отогнул на макушку уши «тоболки» и прислонился к высокой берёзе. Против него стоял Овечкин и тяжёлым, холодным взглядом окидывал всю жизнерадостную фигуру инженера. На душе у Овечкина было скверно, в груди точно скребло что-то, в правом глазу с утра дрожал нерв, и он время от времени прижимал глаз рукой, его знобило; и теперь, став на своё место, он прежде всего достал фляжку, висевшую на ремне через плечо, и прямо из горла выпил водки. «О, чтоб тебя разорвало! Гладкий чёрт! — ругался он в душе всё по тому же адресу. — Где тут бабе устоять? Чёртов прихвостень! Язви тебя! Да погоди, погоди, будешь Фелицату, мужнюю жену, помнить! Век свой будешь помнить!».

Лес вдруг словно дрогнул и ожил, слышались крики, щёлканье трещоток, улюканье, свист, и на поляну, расстилаясь по снегу, прижав уши к спине, вылетело с десятков зайцев-беляков.

«Трах, трах» — сухо раскатились выстрелы. Несколько зайцев перекувырнулось, один, раненый, присел у самых ног Вязьмина и завизжал, заувякал громко, надрывно, как зашибленный медведь.

— Пашка, добей его! — нервно крикнул Вязьмин.

В это время лес снова огласился гиканьем, криком, снова на поляну вылетели обезумевшие зайцы, грянул перекрёстный ружейный залп, и вдруг, заглушая всё, по лесу пронёсся отчаянный человеческий вопль. Под берёзой, на том месте, с которого только что нервно рванулся Вязьмин, в корчах валялся Пашка; его тёмное лицо, всё сведённое судорогой, билось о землю, изо рта бежала кровь, и снег «курился», всасывая горячую алую струйку. Овечкин с трясущейся нижней губой бросился вперёд и упёрся обезумевшими глазами в Пашку...

«Несчастный случай» прекратил охоту. Кто всадил бед-

ному Пашке, нагнувшемуся добивать зайца, полный заряд крупной дробы прямо в горло и голову, разыскивать не стали: мало ли таких okazji случается на охоте!

Инженеры, поблагодарив хозяина за радушный приём, уехали с завода, не пообедав и не повидав больше красавицы хозяйки. Когда кошева, запряжённая лихой тройкой, отхватила их уже на полдороги от стеклянного завода Овечкина-сына, Павлов обернулся к Вязьмину:

— Я бы советовал вам, Александр Павлович, поставить здоровую свечу вашему святому за сохранение ваших ног!

И Павлову показалось, что Вязьмин не смеялся: хотя его белые зубы блестели между усов, губы его дрожали. Очевидно, он простудился на охоте, и его била лихорадка.

Со дня невольного убийства Пашки Овечкин закутил. Завод шёл по-прежнему ни шатко ни валко под управлением старшего мастера Ефрема. Выть по Пашке было некому, схоронили его, поставили крест на всякий случай, хотя ровно никто не знал, к какой религии мог принадлежать черномазый Пашка. Фелицата Григорьевна, узнав обо всех этих «страстях», перетрусилась не на шутку. Муж не только не бил её, но ни словечком не поминал ни об уехавших инженерах, ни обо всём прочем. Он не мылся, не одевался, ходил в тулупчике на лисьем меху, обрюзгший, одутловатый, изредка пел какие-то жалобные романсы, ел мало, пил много и почти переселился во флигель к приказчику.

Фелицата Григорьевна присела к столу и написала большими крупными каракулями письмо к свекрови, прося её приехать. Как ни далеко стоял завод от города, как ни густо был окружён он дремучим лесом, а сорока на хвосте принесла-таки свекрови помимо письма весточку о том, как покутили инженеры на стеклянном заводе её сына.

Минодора Федоровна Овечкина была женщина высокая, костлявая, нрава строгого, толку старообрядческого. Она прежде всего поехала к купцу Круторогову, приёмному отцу и воспитателю своей невестки Фелицаты. Дом Крутороговых считался чуть ли не самым богатым в городе. Старик Артамон Степанович принял её не в парадных комнатах, убранных персидскими коврами, а в своём собственном кабинетике, тёплом, как баня, заставленном старой кожаной мебелью, сундуками с разным добром (а как многие говорили, и с деньгами) да громадной кон-

торкой, за которой он сам сводил счёты своих кожевенных заводов. Долгая и интимная беседа стариков привела к таким результатам: соблазнов разводить на заводе ни к чему; коли сам хозяин запил, то уж проку от его распоряжков не жди. Очевидно, что ему надо избыть свою наждаду; на заводе Ефрем пока и один справится с работами, а потому пускай старуха с Фелицатой съездит на богомолье в Ивановский монастырь, а за её сыном Евменьем старик зашлёт. Старший сын Круторогова Иван как раз собирается денька на три в Пашенку. Пускай лучше едут они вместе, там на просторе они свой хмель выветрят. На том старики и порешили.

IV

Ивановский монастырь

В восьмидесяти верстах от Тобольска, среди громадного леса вековых кедров и лиственниц, стоит женский Ивановский монастырь с чудотворной иконой Божьей Матери. Кругом монастыря людская жизнь как бы замерла. На далёкое пространство ни селения, ни деревни, один суровый вечно-зелёный лес и его таинственная жизнь берлог, нор и логовищ. Весной в лесу раздаются выстрелы дешёвых пицалей, нередко перевязанных лыком или верёвкой, и наземь падают толстые рябчики и кедровики, с ветвей срываются красноглазые глухари, затоковавшие до одури про любовь, падают, распластав крылья, пёстрые куропатки и голубые сойки. Под осень лес оживает и голосит нагрывшимися в него гостями. Мужчины и женщины наполняют громадные мешки кедровыми шишками, корзины — клюквой, морошкой, брусникой и поляникой. Мальчишки и девчонки копают верхний слой земли, и из-под него высыпает несметная армия «сухих» груздей, больших и малых, крепких, гладких и желтоватых, как слонобая кость. Мелкие рыжики сыплются золотым дождём в короба и плетушки. С первыми заморозками над стройными кедрами тянутся птицы в отлёт, с прощальным криком летят треугольником журавли. Зимой, когда всё цепенеет и замирает в природе, по лесу, неслышно скользя, несётся на лыжах бесстрашный сибирский охот-

ник и вызывает на единоборство громадного серого медведя; гоняется за голубой лисой, бьёт пушистую белку, сотнями губит зайца-беляка. А за лесом, в недоступной тайге, куда не залетает ни звон монастырских колоколов, ни ружейный выстрел охотника, где топь да болото загродили путь ноге человеческой, гостит временами самый опасный гость леса — беглый каторжник.

И вся эта жизнь леса с его тайнами, с влюблёнными трелями птиц, воем голодной волчицы, ароматом высоких трав, нередко опутавших труп убитого молодца, — всё это идёт помимо тихого Ивановского монастыря; вся эта жизнь кипит и рвётся кругом мирного убежища, не нарушая ни на йоту монотонного прозябания приютившихся в нём женщин.

Все монастырские строения обнесены высокой деревянной оградой с крепкими воротами.

Внутренний широкий двор по сибирскому обычаю весь замощён досками. Цветочный сад и пчельник окружают монастырь с одной стороны, с другой тянется мирное кладбище с простыми безымянными крестами на зелёных холмах, под которыми, скрестив на груди иссохшие руки, в чёрных клобуках и мантиях лежат, как и при жизни, безмолвные и покорные монахини.

В главной церкви стоит старинного письма большой образ чудотворной иконы Божьей Матери. Потемнелый лик глядит сурово из богатого золотого венца, украшенного жемчугом и камнями. Узкие тонкие руки, обнимающие младенца, видны сквозь прорезы золотой массивной ризы. Слава о чудотворной иконе, разрешающей самые тяжкие грехи человека, расходится далеко. Из Тюмени, Тобольска, Иркутска стекаются богомольцы, говеют, исповедуются или просто с немой мольбой приносят покаяние, и все получают душе своей успокоение, мыслям просветление.

Игуменья мать Досифея, ещё не старая женщина, со строгим и бледным лицом, встречает одинаково и бедного, и богатого посетителя, с той же молитвой и благодарностью принимает и тысячные дары, и простую лепту или пару серебряных серёг, принесённых в дар Богородице простой крестьянкой. Ласковые сёстры с удовольствием водят посетителей по своим чистым просторным мастерским.

Детские личики, робкие и любопытные, встречаются всюду — это сиротки, воспитывающиеся при монастыре. Они учатся в школе женским работам, поют на клиросе, помогают в работе по саду и огороду. Девочки-подростки сидят в больших рабочих залах и вышивают золотом и серебром роскошные пелены и покровы.

В этот-то Ивановский женский монастырь и решилась старуха Овечкина скрыть на время всех толков и пересудов свою провинившуюся невестку Фелицату.

V

Овечиха-мать

Звонко заливался колокольчик, когда к стеклянному заводу подкатили парные пошевни, в которых среди подушек и мешков прямо, как костыль, сидела старуха Овечкина.

У ворот её встретил караульный. Он ударил в висевший на шесте колокол и тем дал знать в контору о приезде старой Овечихи. Ямщик осадил своих мохнатых лошадей и сидел равнодушно, не обёртываясь и не слезая с козел. Старуха сидела тоже молча и глядела на прибитую к воротам громадную чёрную ворону, как будто ожидая, что пугало сдвинется с места и высадит её из кошевы.

Из конторы через двор бежал приказчик Ефрем, а за ним и уведомлённая кем-то Фелицата Григорьевна. Из-под большого коврового платка, накинутого второпях, выглядывали бледное лицо и тревожные чёрные глаза молодой женщины. За ними вприпрыжку бежал какой-то рабочий. Все трое кинулись высаживать суровую гостью.

— Здорово, невестушка!.. Как живёте-можете... Как бог носит?.. — приветствовала старуха.

— Здравствуйте, маменька! Уж я по вас стосковалась, думала, не приедете...

— Ой ли... А ты бы, невестушка, меня загодя пригласила, тогда, как гости-то у вас тут наезжали...

Женщины поцеловались. Старуха вылезла из кошевы и направилась во двор, а приказчик с рабочим и караульным начали выгружать захваченные с собой Овечиной пожитки.

Последние слова свекрови вызвали внезапную густую краску на лице Фелицаты Григорьевны.

— Я, маменька, не вольна была позвать или не позвать вас. Меня Евмений Федорович не упредили, когда с гостями наехали...

— Так... Ну да об этом с тобой разговор после. За Пашкину душу-то молишься? Она, быть может, и поганая... а всё-таки про всякий случай не мешало бы...

Фелицата Григорьевна молчала и только дрожащими пальцами перебирала у подбородка платок.

— Ну, а муж где?

— В конторе... у Ефрема всё обретаются...

— Так.

Старуха, грузно стуча намёрзлыми валенками, вошла в тёплую прихожую, села на сундук и стала «раскидаться». Оставшись в одном бумазейном капоте, в чёрном шёлковом платочке на голове и большом красном вязаном, надетом на плечи, она сняла валенки, обулась в «коты» с лисьей опушкой и направилась с невесткой во внутренние комнаты.

— Нукось, спосылай за Евменьем... вели сказывать: мать приехала... да давай чай пить...

Фелицата Григорьевна сняла с головы платок, выбежала в кухню, распорядилась, чтобы позвали мужа, и вернулась в комнату собирать закуску и чай.

Свекровь следила за всеми её движениями и тут только заметила, что молодая женщина похудела и что глаза её, окружённые тёмными кругами, выглядели печально и покорно. «Значит, ещё есть совесть», — подумала она.

В прихожей послышалась торопливая возня, и, споткнувшись в соседней комнате о какие-то встречные стулья, в дверях столовой, где сидела Овечиха, появился сын её Евмений Фёдорович. Лисий тулупчик его, застёгнутый и подпоясанный синим кушаком, от вечного лежания местами лоснился, как напомаженный. Лицо Овечкина было одутловато, бледно; глаза заплыли; взъерошенные, как рыжий войлок, волосы лезли на лоб и торчали вихрами из-за ушей.

Мать молча не сводила с него глаз.

Он подошёл, поклонился ей в ноги и остался на коленях.

— Маменька, маменька и родительница моя!.. Уж очень я обижен...

Он взглянул в сторону, где стояла жена, и глаза его снова загорелись бешеной злобой.

— Ведь избегал я, маменька, видеть её, окаянную, за себя не ручаюсь... вот так всё у Ефрема и валандался...

— Встань!.. — сказала старуха тихо, но так внушительно, что Евмений Фёдорович сразу поднялся. — Подойди-ка сюда, Фелицата...

Невестка подошла, не поднимая глаз.

— Поцелуйтесь!..

— Маменька!.. — Овечкин шарахнулся в сторону.

У Фелицаты Григорьевны задрожали губы.

— Тебе что, Евмений, материнское-то благословение не нужно, что ли?.. Без него нонче прожить можно?.. Ой, Евмений, покорись... не то ноги моей здесь не будет больше... ямщику-то я и отъезжать от ворот не велела...

— Маменька!.. — Евмений Фёдорович снова упал перед ней на колени, и пьяный хмель с горькой обидой полился из глаз его крупными слезами.

— А у тебя что, невестушка, спина не поклончива... ноги не сгибчаты?.. Не знаешь своего дела?.. Проси у мужа прощения... Встань, Евмений, не твоё место на полу при жене валяться!..

Фелицата Григорьевна повалилась в ноги мужу. Плечи её вздрагивали, но из сухих воспалённых глаз не текло ни слезинки.

— Подними жену, да поцелуйтесь!.. Будет вам народ православный мутить да своё нутро напоказ выставлять, ну!..

Овечкин поглядел на мать и не вынес её властного, сурового взгляда; он протянул руку к жене и тронул её за плечо.

Фелицата Григорьевна не вставала, а ещё ниже прижалась к полу и глухо зарыдала.

— Ну, ладно, ладно, вытьём дела не поправишь, теперь надо, чтобы быльё быльём поросло... Вы люди молодые, вам жисть вся впереди... назад оглядываться нечего... Эй, говорю, не вой, Фелицата!.. вставай!..

Невестка покорно поднялась, и старуха толкнула её к мужу. Муж и жена молча обнялись.

— Ин ладно!.. Давай, Фелицата, чай, садись, Евмений, говорить будем...

Когда невестка вышла, Овечкина ближе придвинулась к сыну.

— Ты это что же, сынок, последнего ума решился, что ли?.. Ты чего это с женой-то по клубам треплешься, да к себе этих инженеришков, чтоб им пусто было, прикармливаешь, да сам с ними напиваешься до бесчувствия.. Ты что же это, отцовский закон вовсе забыл?.. Бесов потешаешь, у себя гульбища да игрища устраиваешь?.. Чего человека жизни решили?.. А?.. Всё знаю, сынок, всё знаю, а Фелицату вместо того, чтобы за косу оттаскать да ремённой плёткой вытянуть, ты что комедь-то разыгрываешь?.. Жена в доме, а ты во флигерь, что же это, порядок, что ли?.. Э-э-эх, Евмений, рано отец умер, мало погуляла его плётка по твоим плечам, умней бы был... Я здесь прогощу у вас три дня. Больше во флигерь ты ни ногой, и винища этого чтобы ни-ни — будет!.. С сегодняшней же ночи ложись спать в своей спальне, а Фелицата будет со мною... Затем ты поедешь в город к Крутороговым. Ванюшка Круторогов в Пашенку собирается, тебя зовёт. Съезди, уходи своё сердце там на свободе, а я поеду с Фелицатой в Ивановский монастырь... там мы погостим... мать Досифея-то всё её нутро насквозь выскребет и дурь-то всю из головы выбьет... а вернёмся мы, и всё снова у нас по-божески пойдёт... Ефрем и один здесь на заводе управится. Не впервой!..

Овечкин слушал, повалившись на стол грудью и подперев голову руками; хмель его проходил, и суровый, властный голос матери, которому он привык покоряться с детства, и теперь успокаивал его и во всяком случае разрешал мучивший его вопрос. Материно решение было «отпуск». Он глубоко вздохнул и поднял голову.

— Ин быть по-вашему, маменька. Пойду умоюсь, приведу свой образ в порядок...

И Овечкин в первый раз со времени катастрофы перешагнул порог своей спальни.

VI

Мужняя жена Фелицата Григорьевна

Почти двое суток, считая с остановкой в Тобольске, ехала старуха Овечиха со своей невесткой Фелицатой в Ивановский монастырь.

Громадная кошева с широчайшими отводами ныряла

на выбоинах, накреньялась на косогорах, и две женщины, укутанные в шубы и одеяла на медвежьем меху, то лежали, то сидели и не перекатывались только благодаря тому, что были крепко укупорены среди всякой поклажи. Лица их, почти сплошь закрытые платками и капорами, поприпухли и потемнели от встречного ветра, а всё-таки Фелицата была довольна, что старуха храбро ехала в открытых санях, не желая запереться в возок, душный и тесный, как курятник. Всю дорогу свекровь и невестка избегали разговора, перекидывались только нужными словами на остановках и ночёвках.

— Молчать-то лучше, — высказала старуха в самом начале пути, — зубы не простудишь, да и я на своём веку уж наговорила, а тебе расторабарывать ещё рано...

А Фелицате было и не до разговоров: так смутно было у неё на сердце, что хоть ложись да помирай. Её думушку заветную разговорить было некому, ни у неё родной матушки, ни сестрицы старшей, как есть сирота круглая. Вскормили, вспоили в чужом доме, не дали девичьей красе расцвести, не дали с подруженьками по секрету себе милого выглядеть, приказали к венцу собираться и за постылого да богатого замуж выдали. И всем-то она и теперь чужая, живут-то они, как волк с волчихой, на заводе среди леса, а вывезет он её куда в город, уберёт её в шёлк да каменья, да потом и изведёт ревностью да попрёками... А теперь... накось, какой грех случился... И снова при одном воспоминании кровь полымем залила её лицо, тело в жар ударило, и колыхнулась грудь. Вспомнилось ей красивое, весёлое лицо, глаза лучистые, губы красные, вспомнились ей слова ласковые, каких в жизнь свою она не слышала. Весь разговор с мужем в утро охоты, смерть Пашки, отъезд гостей и пьянство мужа — всё, вплоть до приезда свекрови, у неё как туманом покрыто, всё как во сне пережито; зато с мельчайшими подробностями она помнила вечер в клубе, как она с *ним* танцевала, как *он* за её стулом стоял да ей такие срамные и сладкие речи шептал прямо в затылок, так что волосы её шевелились и уши рдели, да потом, когда к ним на завод приехали... да потом... А-а-ах! — сжалась острой болью грудь у Фелицаты, и заметалась она по кошёвке так, что старуха спросила:

— Ты чего?

— Ничего, маменька, так... маятно стало от пути, больно здесь раскаты велики.

— А ты не всё лежи, присядь, будет легче...

Фелицата приподнялась и присела, а неотвязные думы опять за ней.

«Ну хоть глазком взглянуть мне на моего погубителя, хоть бы ещё послушать его... А что, ведь бывает же и так, что вот эдакий молодец возьмёт да и выкрадет мужнюю жену и увезёт на свою сторону... да ещё и повенчается с ней... Тьфу, тьфу, — мысленно отплюнулась она. — В какое святое место еду и какие думы думаю... Наваждение, чисто наваждение на меня... забыть всё надо... покаяться, очиститься и вернуться к мужу, как примерная жена...

А что теперь, небось, говорят-то про меня.. что звону-то по городу!.. Разве что вот маменька не выдаст, отгрызётся... Ох, спасибо ей, она и Евменья-то живо отрезвила... А уж и постыл же он мне!.. Теперь закатится в Пашенку, знаю я это гнездо благочестивое, слыхала о честном житье вековушек-то этих... и всё ему ничего — поезжай... на тебя ни греха, ни стыда не ляжет... Эх, Александр ты мой Павлович, думаешь ли ты обо мне, сокол мой ясный?..».

И снова думы её, подхваченные волной воспоминаний, унеслись к тому, кто так мимоходом, как путник срывает красный цветок, пришёл да и взял её душу...

Не успела мать привратница отворить ворота и с благословением пропустить мимо себя кошеву, в которой приехали «приятные» гости, как кругленькая весёлая послушница Аглая, пробегавшая по двору в кладовую, повернула назад и стремглав понеслась докладывать матери игуменье, что «приехали гости купеческие, должно, издалека, судя по поклаже».

Овечиху с Фелицатой проводили во флигелёк для гостей и отвели им светлую, уютную комнату с двумя кроватями, ковром сибирского тканья, комодом, столом и стульями.

— Хорошо у них тут... — сказала старуха, глядя на белую штору, герань и бальзамины на окне.

— Хорошо!.. — подтвердила Фелицата, на которую тоже сразу благодатно подействовали после дороги тишина и чистота помещения.

Помывшись, прибравшись с дороги, Овечкина отправилась к матери игуменье, а Фелицата Григорьевна при-

легла на кровать и первый раз со времени катастрофы забылась спокойным и крепким сном.

Келья игуменьи была большая, светлая комната, единственную роскошь которой составляли цветы. Громадные олеандры цвели душистыми пунцовыми и белыми гроздьями, большие бледные и ярко-красные розы, раскинувшие, как в истоме, широкие лепестки, занимали у окон целую скамейку, резеда, гиацинты, левкои теснились всюду на подоконниках и столах. В углах в огромных кадках росли целые деревья китайских роз, на них, казалось, было больше цветов, чем листьев. Сладкий, приятный аромат мог непривычного человека довести до одури. Громадное распятие слоновой кости на кресте из чёрного дерева стояло в углу, окружённое перистыми туями; над ним висел образ Абалакской Богоматери, и перед ним целыми рядами звёзд горели неугасимые лампы; сквозь грань их хрусталей всюду кругом искрились и играли светящиеся пятна. На окнах висели белоснежные пышные занавеси, сквозь них виднелось безоблачное небо, казавшееся далёким и холодным голубым пологом. Простая мебель, вся покрытая белыми чехлами, белые вязаные скатерти на столах и узенькая кровать за белым же пологом дополняли скромное убранство комнаты.

Суровость и бедность монастырской обстановки скрадывались цветами, и чувство покоя, благоговения и надежды на что-то лучшее охватывало каждого, кто переступал порог этой горницы.

Игуменья, знавшая уже давно Овечиху, встретила её ласково: обеих женщин связывали строгость жизни и общность их не сложных, простых взглядов.

Молодая послушница Аглая, постучав с молитвой в дверь и услышав «аминь» от игуменьи, вошла в келью, стараясь держать вниз свои лукавые чёрные глаза, неся поднос перед своей пышной грудью; она поставила его на стол, сбегала за самоваром, быстро рассовала по всему столу тарелочки с мёдом, грибами, пышками, засахаренными орехами и другой снедью и вышла, плотно затворив за собой дверь.

— Не ждала я тебя, Минодора Фёдоровна, нонче к себе в гости, думала, летом авось в Петровки свидимся, а уж теперь, зимним путём, и в уме не было...

— Не думала и я, мать Досифея, этакую путину в зимнюю стужу осилить, да видно «человек-то молчком, а нужда-то его толчком». Не поехала бы и я, кабы нужда не вызвала... Наши дела-то до твоей святой обители не дошли ещё?

— Ничегохонько я не слыхала. Все ли вы там в добром здоровье? Крутороговы, Ситкины, Бровкины?..

— Все, все в вожделенном здравии, тебе поклоны с гостинцами прислали. Ужо зашли Аглаю к нам, чтобы обратала всё да к тебе предоставила.

— Спаси тя Христос. Не забывают меня добрые люди... — игуменья взглянула на образ и перекрестилась. — Ну, а сынок твой как со своей красавицей Фелицатой поживает?..

— О-ох, стряслась над нами беда неминуемая, привезла я к тебе Фелицату... что, говорить-то здесь можно?... — Овечиха опасливо взглянула на дверь.

Игуменья встала и сама ещё раз плотно заперла тяжёлую дубовую дверь.

— Любопытны они, правда, да только теперь уж не услышат. Ты пересядь-ко сюда, — и игуменья с гостьей, пересев в самый угол комнаты, близ кровати, повели тихую душевную беседу. Всё высказала Овечкина: и обиду свою на Крутороговых, которые сумели обойти её сына и женить его на своей бесприданной воспитаннице, и недоверие своё к невестке, которая даром что тихоня, «а вон каких делов-то теперь наделала». Она рассказала все слухи, все сплетни и собственные догадки насчёт инженера, охоты, убийства Пашки, в котором она, впрочем, видела только пьяный промах своего сына.

— Кабы не я, — закончила она, — тут и конца-края не нашли бы... вся теперь моя надежда на тебя, мать Досифея... Поговори ты с ней, вразуми ты её, мужнюю жену, что от этого бесовского наваждения одна погибель бывает, выпроси ты её, что да как, заставь покаяться и епитимью наложи, верни ты её снова в разум и покорность... И что нам с этими чужими людьми возжаться? А не поверишь, мать, все наши бабы и девки в городе голову потеряли... плясы да игры, из клуба не выходят... Вон уж жена пароходчика Натарова, да начальница гимназии Зверева, да учительница её какая-то верхами на лошадях стали ездить, чего от роду в городе не было, и того теперь на-

смотришься... Беса они нам с чугушкой своей провели, прости Господи!..

Долго беседовали обе женщины. Мать Досифея обстоятельно выспросила обо всех знакомых и пообещала Овечиной навести на путь истинный невестку её Фелицату.

А Фелицата спала, раскинувшись, и видела странный, диковинный сон. Стоит длинная галерея с колонками, «должно, это крутороговская», думает во сне Фелицата, и много на ней народа ходит, говорят, а на ступеньках, на самом вот юру, где проходить надо, уселся старик-странник: борода, что лён, белая, а глаза синие, как небо, и благостные такие, и смотрит он на неё, Фелицату, а она, по-прежнему, по-девичьи, косы распустив, тут же с ключами бегаёт то в амбар, то в кладовую.

— И чего ты, девонька, суетишься только, чего мечаешься?

— А как же, — говорит она, — дедушка, ведь всякому что-нибудь требуется, а я про всех одна...

— Полно, девонька, ты посмотри, что ты несёшь-то!

А она глядит: в руках её чашка большая да вся полная крови. Куда ей кровь эту девать, куда спрятать, чтобы люди не видали, что кровь она в чашке несёт... Бежит она к дверям, а они открылись, и из них её муж выходит.

— Вот, — говорит, — спасибо, жена, а я-то измаялся, пить хочу... — И припал он губами к чашке и пьёт, пьёт он кровь, а у неё руки трясутся, в уме мутится, в груди ноет, ноет, точно пьёт он кровь не из чашки, а из самой её молодой груди. Напился он, поднял голову, уста-то у него кровавые, а он смеётся, усы рукой утирает. — Вот теперь, — говорит, — хорошо, ублаготворила ты меня, жёнушка.

Смотрит Фелицата на старца, а у того из глаз слёзы капают.

— Жаль мне тебя, молодка, — говорит он, — не знал я, что ты замужем, не знал я, что и грех на тебе такой лежит, что только с последней капелькой крови и выйти-то из тебя может. Ну, что, легче ль тебе?..

А у Фелицаты и руки, и ноги, что стебель сухой у цветка скошенного, — ни жизни, ни сил, и чувствует она легче, легче стала, вот совсем, что перо, поднялась на воздух и летит, летит куда-то, а за ней вдруг крылья шумят, голоса кругом раздаются, а в глазах светло-светло,

словно солнце летнее всё озарило, и слышит она: «Весь грех в крови, весь грех в крови, отдала всю кровь свою и грех свой смыла».

Пришла Овечиха в комнату и ахнула: лежит Фелицата на кровати, лицо бледное, что плат, дышит тяжело, со стоном, и слёзы, что дождь, и текут, и текут из закрытых очей. Еле добудилась она её, а как очнулась молодуха, залилась слезами.

— Маменька, весь грех в крови, только с кровью с моей и грех мой изведёшь, — повторяла она, — смерть за мной, маменька, приходила, и недолго мне больше землю топтать...

Едва успокоила её старуха, едва в себя привела, водой святой отпоила и велела ей умыться, одеться и идти к игуменье...

Фелицата Григорьевна вошла в келью игуменьи и остановилась, переступив порог, в комнате никого не было.

— Матушка игуменья вышла в мастерскую, — дoloжила ей послушница Аглая, — а вас просила обождать. Милости просим войти.

Молодая женщина вошла и опустилась в ближайшее кресло; аромат цветов действовал опьяняюще на её возбуждённые нервы. Она закрыла глаза, и ею овладела сладкая истома. С детства не знавшая любви и ласки, она познакомилась со страстью только в той грубой, чувственной форме, которая была доступна её мужу. Первые слова любви, первую негу поцелуя она узнала из мимолётного сближения с Александром Павловичем. Красавцем инженером, бесспорно, руководила та же чувственность, но облечённая в утончённые манеры, прикрытая светским лоском, та же низменная страсть явилась перед ней в такой изящной, не знакомой ей форме, говорила ей таким сладким, гармоничным языком, что сердце бедной женщины проснулось, откликнулось и переполнилось неизведанным ею счастьем.

Теперь, когда она знала, что между ней и мужем легло большое расстояние, ужас и холод, которые он внушал ей, рассеялись, сердце её оттаяло и снова с непобедимой силой требовало любви.

О, Господи! Кажется, босиком прошла бы она весь этот обратный путь, если бы только знала, что увидит синие

глаза, услышит его ласковый голос. Она вспомнила его слова за ужином: «Вот возьму я тебя на руки, унесу в кошеву, ударю по лошадам, только тебя и видели здесь на заводе... Спрячу, что никто в мире тебя у меня не отнимет...».

И зачем она тогда не сказала *ему*, что согласна, что весь свет ей теперь без *него* опостылеет?

Что-то теперь *он* подделывает?.. А кабы Евмений да убил его?.. Ведь она хорошо поняла из вырвавшихся у мужа слов, в кого он метил, кого хотел проучить и как только случайным образом заряд попал в Пашку. Не попустил Господь Милостивый!

А только если бы он *его* убил, и она бы не стала жить на свете. Кровопивец он, вот и её сон! Да и её кровь выпьет он, потому изведёт он её своими попреками и ревностью!..

А-а-ах, житьё моё горькое!

— Чему размечталась, Фелицата Григорьевна, иль заскучала по мужу, родная?.. — раздался около неё ласковый голос матери Досифеи.

Фелицата вздрогнула и вскочила с места. Только теперь, когда она очнулась, ей бросились в глаза большое распятие и ряд хрустальных лампад перед потемнелым ликом Абалакской Божьей Матери. И в этаким-то святом месте она предалась таким мечтаниям!

— Грешница, окаянная я грешница, — вырвалось у неё из груди, и она, рыдая, упала на колени перед игуменьей.

Мать Досифея вдруг выпрямилась и приняла суровый вид. Она подняла за руку Фелицату и подвела её к распятию.

— Не мне кланяться, не я разрешать буду... Вот, гляди на страдания Христовы, гляди на плоть распятую, на Того, кто смерть предпочёл грехам и соблазнам! Вот, — она крепко сжала плечо рыдавшей Фелицаты и нагнула её к полу, — вот, вспомни, как в пустыне голодного и бесприютного Христа смущал дьявол, предлагая все камни превратить в хлеб, вспомни, как на горе Елеонской молился и страдал Христос, до пота кровавого... гляди, как Его распяли, как гвозди вонзили в руки и ноги... как кровь из-под тернового венца падает на Его очи... как бок прободали ему копьём... гляди и кайся. Что сделала ты, чтоб быть достойной таких страданий за тебя, за весь мир... ты боролась ли?... молилась ли?... страдала ли?..

Голос игуменьи был низкий, хриплый, и Фелицате казалось, что это снова сон, что она снова несётся вверх, что её настигают шумящие крылья и страшные голоса ангелов, сзывающих на суд живых и мёртвых, кричат ей все эти вопросы. Страстно и с рыданиями вырвалась у неё вся исповедь, в голове её помутилось, имена Александра Павловича, мужа и Пашки срывались с языка, она бессвязно рассказывала всю повесть своего греха, она рыдала, что нет у неё ни папеньки, ни маменьки. И вдруг и сон, и действительность, и все напряжения последних дней, и усталость, и простуда, схваченная ею в дороге, — всё сразу охватило её пошатнувшийся молодой организм, и со страшным криком Фелицата покатила по полу в истерическом припадке.

Игуменья схватила икону и стала над ней, громко читая молитвы.

Дверь кельи отворилась, в неё высунулись головы старых монахинь и молодых послушниц. Все широко открытыми глазами следили за движениями матери Досифеи и побелевшими устами шептали за ней молитву.

По коридору бежала, переваливаясь, как индюшка, толстая мать ризничая, за ней едва поспевала мать экономка, их перегнала сухая и жёлтая клирошанка сопранная.

— Что, кончила, выгнала?.. — спрашивали они на ходу, отмеривая громадные шаги.

— Ещё выгоняет... выгоняет бесов-то, — шептала ризничая, до которой долетели нервные, высокие звуки голоса матери Досифеи.

— Слава Те, Господи, застали ещё, застали... — шептала экономка, поддавая ходу.

Мать Досифея, отступив от Фелицаты и выпрямляясь, толкнула нечаянно головой одну из висевших лампад, и весь ряд закачался, заколыхался и в почти тёмной уже комнате побежали, запрыгали цветные огненные пятна.

Смотревшие в двери монахини шарахнулись, первые ряды наступили на последние, Аглая толкнула в бок набежавшую на неё сопранную клирошанку, та оселась на мать ризничую, которая громко вскрикнула и повалилась на мать экономку.

— Что, что... что видели? — спрашивали одни.

— Пролетел, пролетел, — лепетали другие, — сами видели, как бес из неё вылетел... тёмный да стра-а-

ашный... об лампадку ударился... отпрянул, да в трубу... да как завоет, заво-о-ет...

— А-ах!.. — молодые заплакали, а старухи, закрыв лицо руками, тихо стонали и шептали молитвы. Игуменья подняла обессиленную Фелицату и почти перенесла её к себе на диван, подложила ей под голову подушку и заперла снова свои двери.

Прошло три дня. В монастыре всем было известно, что Овечиха привезла свою невестку к матери Досифее, чтобы выгнать из неё беса.

Бес оказался упрямый, и игуменье пришлось долго бороться с ним и только с помощью трёх святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого — удалось ей его выгнать, только теперь молодая женщина ослабела и стала как бы не в себе. И точно, Фелицата была не в себе; её угнетал страх за содеянный грех, тоска по своему погубителю, красивое лицо которого день и ночь стояло перед её воображением. Холодный ужас охватывал её при одной мысли снова вернуться к постылому убивцу мужу.

Фелицата почти ничего не ела, ходила на все службы в церковь и ночью подолгу простаивала на коленях и без слов, без мыслей, со страстной мольбой смотрела на лик Богоматери.

Овечиха молчала и, не понимая душевного состояния невестки, радовалась видимым признакам её раскаяния и то тем, то другим жёстким словом старалась подчеркнуть и уяснить ей её вину перед мужем. Прошло ещё три дня, Овечиха полагала, что достаточно нагостились, и стала собираться домой. Теперь она решила, что невестке довольно каяться, что она о своей душе намолилась, пора и о теле подумать.

— Мы, Фелицатушка, ещё недельку погостим и домой пора... Ты, — старуха положила руку на исхудалое плечо молодой женщины, — тоску свою отбрось, будет, теперь ешь хорошенько да на воздух выходи, нагуляй тела-то себе, а то краше в гроб кладут... Как муж-то ласкать станет, что, спросит, с моей кралеею поделали, где её грудь пышная, где щёки румяные?

В строгом и несложном уме старухи всё складывалось ясно — согрешила, покаялась, отмолилась и забыла. На всякий грех есть и отпущение. Всё своим порядком и в своё время.

Фелицата густо покраснела и снова побледнела от слов свекрови. В её душе процесс выздоровления ещё не наступал; она переживала, напротив, самое острое чувство тоски. Если бы она смела кинуться в ноги свекрови и умолять оставить её здесь на несколько месяцев, на год, может быть, покой и вернулся бы к ней. Тишина, молитва, суровая обстановка и величественная картина окружающего леса залечили бы, может, её больную душу, изгнали бы тревожные образы из её сердца, и молодость вместе с восстановленным здоровьем уравнили бы снова колебленную и истомлённую душу молодой женщины.

Ехать теперь назад, опять на завод, к мужу Фелицате казалось ужасным.

Как встретиться, как говорить?.. И он вздумает для того, чтобы прекратить сплетни, в город с нею приехать... в клуб... а как там *его* встретишь? — задрожала вся Фелицата и сжала руками голову. Нет, не вынесет она этого... не в силах она будет на *него* глядеть и с *ним* говорить... Увидит она *его* и помрёт со стыда, с радости, с горя... с чего там, всё равно... а только разорвётся сердце её... не вынесет...

Через два дня старая Овечиха назначила отъезд. Фелицата покорно выслушала приказ собираться в обратный путь; в последний раз она решила выйти за ограду монастыря и подышать на просторе вольным воздухом.

Поверх своей меховой шубки, одетой внакидку, Фелицата набросила на голову большой серый пуховый платок и, приветливо поздоровавшись с матерью привратницей, вышла за ограду.

Монастырь лежал на узкой равнине, отрезанной как ломоть от окружающего его леса. Направо шла скованная морозом, безгранично широкая лента реки, а влево, совсем близко, начинался лес; передовые громадные сосны одиноко, отчётливо вырезывались на ясном фоне зимнего дня, протягивали к монастырю, как объятия, свои широкие лапы с тяжёлой пеленой снега, за ними стоял сплошной стеной вечнозелёный лес пихт, елей и сосен, а за лесом шла глухая тайга, и, когда сильный ветер буше-

вал в ней, она колотилась своими обледенелыми иглами и выла протяжно, долго, как стая голодных волков. Прямо перед монастырём равнина замыкалась перелеском с «колками», в которых крестьяне из ближайших заимок засевали пшеницу; дальше тянулись высокие гривы, длинные, узкие, покрытые блестящим снегом.

Холодное зимнее солнце бесстрастно стояло над всей этой картиной, золотя верхушки леса, скользя румяной полосой по гривам, раздвигая окрестность, как волшебную панораму.

«Словно сказка, — подумала Фелицата, — безмолвно, тихо всё кругом... ни человеческого голоса, ни крика звериного...».

Она пошла дальше, миновала сторожевых великанов и вошла в самый лес; над её головой с ели снялась громадная ворона и, помахав тяжёлыми крыльями, понеслась над лесом с пронзительным громким карканьем.

«Смерть предвещает...» — мелькнуло обычное суеверие в душе Фелицаты. Она пошла лесом, крепкий снег хорошо выдерживал её шаги, и она незаметно углубилась в чашу.

«Должно, по этой дороге в монастырь дрова возят, — подумала она, — полозья видны.. а это в стороне заячий след, ишь, крестов-то, крестов поотпечатал... кружил ко-соглазый, видно!».

Долго Фелицата шла всё вперёд, бессознательно поворачивая то направо, то налево, двигаясь, как в забытьи.

Лес впереди её расступался, а позади смыкался, словно отрезал её понемногу от мира скорбей, из которого она уходила. Под влиянием величественного покоя природы утихало её наболевшее сердце, и ослабевший ум не вызывал больше ни манящих, ни пугающих призраков. Сухие тревожные глаза её теперь снова приняли своё прежнее прекрасное выражение доброты и нежности, на истомлённом лице её появилась улыбка, и чувство тихого, счастливого покоя туманило её голову.

Однако холод пробирался под шубку и платок и пронизывал её, она инстинктивно куталась плотнее и шла быстро, постукивая замерзавшими ногами. Ресницы её побелели, брови легли седой полосой, дыхание перехватывало в груди. Кутаясь, вздрагивая, она смутно чувствовала, что надо вернуться; остановилась, огляделась кругом

и, увидя плотный сугроб под громадным кедром, раскинувшимся, как шатёр, подошла к нему и опустилась, невольно повинувшись страшной усталости и холоду, сковывавшему её тело.

Присев на сугроб, Фелицата оперла голову о ствол кедр и сквозь спустившиеся ветви стала глядеть вверх на клочок голубого неба.

— Хорошо... тихо, как в пустом храме!.. И не холодно... вот теперь совсем не холодно, только спать хочется... Что, как теперь вот по этой дорожке... — она слипающимися глазами стала глядеть вперёд себя. — Да и дорожки-то нет никакой... как это я только шла-то? — И ей стало смешно, она тихо, по-детски, рассмеялась. — Ровно меня кто за руку вёл... И что, как по этой дорожке да придёт сейчас... сюда Александр Павлович... да возьмёт меня на руки, да обнимет, подымет и унесёт... Куда унесёт?... А туда, далеко-далеко... где никто нас не найдёт... Александр... Павлович... Александр...

Ей показалось, что красивое лицо инженера нагибается к ней, синие ласковые глаза смотрят близко-близко, вот румяные уста коснулись жарко её уст...

Затрепетала она вся, руки разомкнулись, платок упал с головы, чёрные пышные косы скользнули, что две змеи, и легли на снег белый, распахнулась шубка, и истома блаженства охватила всю грудь.

— Милый... милый, — шепчут побелевшие губы. — Ах, что же это? — Судорожно метнулась она. Милого нет... исчез. И вдруг слышит она шум, стук, словно в ушах, в голове у неё колёса какие-то вертятся, и видит она: по дорожке прямо на неё бежит Евмений, лицо страшное, белое, вихры рыжие торчат за ушами, а глаза раскосые. «Моя, говорит, жена Фелицата, не отдам, никто не смей трогать мужнюю жену... собакам скормлю, а ему не отдам...». И кинулся к ней, а кедр, старый громадный кедр, у пня которого она сидела, спустил вдруг ветви и заплёл её, закрыл, что стеной, и уж только глухо-глухо слышит она, как шумит и рвётся муж её, и всё тише, тише кругом, ничего не видно, только... ах! — сквозь ветви сияют звёзды, синие, красные, нет, то не звёзды — это неугасимые лампы, а вот из-за них видны чьи-то благостные очи, глядят... глядят... и ровно солнечные лучи из них ис-

ходят, светло кругом стало и тепло-тепло, что летом на припёке, и вот пальцем не шевельнуть, губы не размыкаются, совсем разомлела Фелицата под жаркими лучами синих очей. Чу!.. Звон тихий... далёкий, словно музыка, нет, это не звон и не музыка, это *его* голос, зовёт... Иду... иду... и...ду...

Фелицата замолкла. Кругом неё стоял суровый лес, и деревья, поникнув ветвями, словно приглядывались к своей неожиданной гостье, словно прислушивались к её лепету. Страшно, тихо в лесу, только изредка прыгнет белка и с гибкой верхушки посыпятся иглы снега, щёлкнет где ветка сухая, и снова всё тихо-тихо, и только изредка далёкой музыкальной волной пронесётся звук монастырского колокола, нежно, протяжно ударит и замрёт, и снова ударит, и снова замрёт, как робкий и нежный призыв, не получивший ответа...

VII

Пашенка

Неподалёку от города Т., верстах в семи, а не то в десяти, тянется невеликий посёлок, так, домов пятнадцать, все тёсом шитые, все с вышками, крышами в два ската, и все глухой стеной на дорогу смотрят, а окнами во двор да на широкие божьи поля. Станный то посёлок: не сеют в нём, не жнут, ни бороны, ни сохи там ни в одном доме не найдётся, а в полях привольных ходят кони сытые да лосные, за изгородями пасутся круторогие холмогорские коровы, а в амбарах и закромах стенки трещат от насыпанного хлеба, в клетях и гумнах, что семена в огурце, стоят мешок к мешку с крупчаткой, с крупами разных сортов. В ледниках пересеки наделаны, и лежат там осетры да белуги, а кругом них, что дети малые, ютятся муксуны, нельма, толстопузые золотые караси. В сухих кладовых висят жирные донские балыки, вязига, вяленые судаки, лещи да сазаны, так и мотаются без счёту, а в половушах и пряники медовые найдутся, и урюк, и мёд пчелиный, и варёные меда, и брага, и квас сычёный; всё на своём месте стоит и круглый год не переводится. В боковушах стоят ящики с катаными свечами жёлтого воска,

бочки дубовые с лампадным маслом, чистым, как слеза праведника, лежат там и мешочки ладана росного, висят запасные лестовки, расшитые шёлком и бисером.

Урожай ли Господь пошлёт на окрестную страну, или гнев Его голодом разразится, в Пашенке ни думушки, ни заботы. Никому из её обитателей не надо будет печалиться, как концы с концами свести: была ночь, будет день, были полны закрома и впредь будут; и с юга, и с запада, и с востока, и с севера пришлют друзья весточку, а в той весточке и капиталец будет завёрнут. К каждому празднику придут возы на околицу, и косою, хромоногий пастух Филимон заковыляет к угловой избе, ударит в било деревянное, и побегут из домов женщины в чёрных сарафанах с белыми рукавами, в чёрных платках на головах. Станут они встречать возы, отбирать грамотки и благодарить христиан-благодетелей, никогда, ни к какому празднику не забывающих своими дарами тихую Пашенку.

Мужчин, кроме старого Филимона, нет в Пашенке. Это старообрядческое женское общежитие, где только вдовы да девушки, есть и дети, сироты — при общежитии воспитываются. Девочек растят, учат пению, уставу, разным белоручным работам, а затем — какая хочет, при общежитии останется, какая беличкой куда в какую другую обитель уйдёт, у иной голос объявится, и пойдёт она в «головщицы» на клирос в какой-нибудь богатый скит. Иная собой выйдет, и грамота дастся ей — такую в любой город пошлют к богатым старообрядцам стоять «негасимую свечу»¹ да грамоте учить малолетних деток.

Сирот мальчиков в Пашенке не держат дольше 5—7-летнего возраста, их охотно берут ближние и дальние купцы сибирские в воспитанники, и надо правду сказать, что в этих семьях воспитанника мало чем отличают от своих детей, а коли хорошо выйдет, так и в наследстве стоит на правах родного сына.

Образовалась Пашенка уже полвека тому назад и выросла она вся от одной избы.

В ту пору жило в городе Т. семейство истинных христиан Телятниковых. Сыновей им бог не дал, а одна дочь

¹ Стоять «негасимую свечу» — читать заупокойные и другие молитвы.

Глафира росла и воспитывалась в истинной вере, только лицом она не вышла, да и вся как бы с изъянцем была, здоровья плохого, и лет шестнадцати порешила она с родительского согласия в «вековушах» остаться. Прожили старики годов до шестидесяти и решили промеж себя, что пора оставить мир греховный, очистить тела свои последним огнём смертным и предстать перед Господом чистыми, как сосуд елейный.

Даром что Парамон Степанович был тысячник, имел свои крупчатые постова и рыбный промысел, он не пожалел ничего оставить, распределил все свои «богачества» по разным делам богоугодным, обеспечил свою Глафиру, купил ей по её собственному желанию небольшую землицу с пашнями, лугами и леском прилежащим, выстроил ей две большие бревенчатые избы, отдалённые одна от другой тесовыми холодными сенями и крытыми переходами. Обе избы с чуланами, с каморками, тайниками, а внизу, в тёплой половуше с толстыми глухими стенами, устроил ей скрытую часовню, иконостас в два «тябла» с иконами в дорогих золото-серебряных ризах с неугасимыми лампадами.

Порешила Глафира жить в этой избе после смерти родителей и принимать к себе туда таких же девиц, голубиц чистых, как она сама, или брать детей-сирот на воспитание и обучение. Назвала она своё убежище Пашенкой.

Между тем родитель её, Парамон Степанович, наложил на себя сорокадневный пост, в течение которого он ежедневно после «часов» и долгого метания перед иконами ездил в лес, рубил собственноручно намеченные заранее сосны, обдирал их, обтёсывал брёвна и клал у себя во двор в сушильню. Когда всё было готово, он сам, без всякой помощи, на заднем огороде сложил себе сруб небольшой, безоконный, а затем в один зимний день, хороший да тихий, когда солнышко ясно, словно божье око, глядело на землю, простились старики, и муж, и жена, со своей милой дочерью Глафирой, расчистили снег кругом нового сруба, обложили его весь соломой сухой, взошли туда в белых домотканых рубашках и заперли за собой низенькую дверь, а сруб внутри по колено или больше был полон стружками, что от работы накопились. Долго молились там старики, затем открылась тихонечко дверь,

поджёт Парамон Степанович «смолянкой»² соломю кругом сруба, снова запер за собой наглухо дверь, поджёт и стружки внутри, и запели они с женою истошным голо-сом канон пустынноиу Парамону.

Набежали соседи, и Глафира тут же стоит среди всех, снимали все шапки, двуперстным знамением крестят-ся и громко воздают хвалу Создателю за христианскую кончину Парамона и супруги его Евпраксии.

Так и сгорели Глафирины родители, и хотя это было давно — полвека тому назад, а до сих пор помнят в городе Т. смерть этих, как оказалось, последних самосожигателей.

Слава о Глафире, как об начётчице и девице самого чистого житья, разнеслась далеко. Скрытая молельня её, не имевшая тогда и била, стала служить местом сборища для многих «верных». Умирал ли кто, болел ли кто тяжко, все посылали за Глафирой и получали большую усладу и помощь от её тихого ровного чтения, от её поучительных бесед.

Были и такие случаи, что доставалось ей и выморочное наследство, и возле её первых изб стали строиться и другие.

Уже давно померла Глафира, из Пашенки выстроили целый посёлок; в больших, просторных домах и в высоких светлицах живут вдовы, вековушки и девицы-сироты, молельня разрослась. Созывая всех на моленье, громко бьёт в деревянное било старица Софья. Всякие дары в избытке стекаются в Пашенку, два раза в год съезжаются туда и гости, все купцы — молодые и старые, изблизи и издалека — слушают службу в часовне, которую правят старицы, хвалят пение молодых клирошанок, а затем устраивают по избам посидки. Словом, живёт Пашенка не тужит, а только далеко-далеко ей от того духа и права, который придавала ей умершая её устроительница мать Глафира.

Смеркалось, на землю ложилась вечерняя тень; там за полями тёмной кудрявой полосой вытянулся лес и окаймил небо. Вспыхнула звёздочка, одна, другая, из-за леса выкатился полный месяц и стал на небе, всё серебря и освещающая кругом. Высокие острые крыши домов в Пашен-

² «Смолянка» — скатанная берёста, пропитанная смолой.

ке пересекли дорогу чёрными прерывчатыми тенями. В небольших оконцах замигали огоньки керосиновых лампочек под цветными самодельными колпачками. У домиков слышалось движение, топот ног, голоса. Степенно шмыгали окутанные в тёплые платки матери, старицы и христовы невесты. Накинув на плечи шубейки, повязав вроспуск шерстяные платочки на голову, вперегонку бегали келейные девицы, молоденькие клирошанки, сироты и воспитанницы; всем было дела в досталь. Сегодня к ночному бдению ждали гостей наезжих, нужно было всё досмотреть и приготовить. Три «стряпушие» сбились с ног у кухонных очагов, а заботливые «матери» всё подносили провизию да всё разнообразили кушанья, готовившиеся к ужину. Паранюшка, крёстная дочь Фаины Сергеевны, что приезжала к Крутороговым звать Ивана Артамоновича в Пашенку, то и дело выбегала за околицу и зоркими чёрными глазками всматривалась в тёмную даль дороги и, отстранив с головы тёплый платок, чутким ушком вслушивалась, не несутся ли издали знакомые кони...

По ровной, как белая скатерть, дороге, залитой лунным светом, летят казанские расписные саночки, и в них сидят два друга — Иван Артамонович Круторогов и Евмений Фёдорович Овечкин, оба тверёзые, весёлые, оба в романовских мягких, как бархат, полушубках, в смущатых шапках-папах и в ирбитских рукавичках, расшитых поверху цветистой синелью; на шее намотаны шарфы шёлковые двуличные, кушаки опоясные тоже шелковые с аграмантными с кистями. В ногах у них и в ящике под сиденьями стоят коробка с разными тонкими гостинцами, с конфетами в затейливых коробках от Трамбле из Москвы, с шоколадом, пряниками, с мороженым, виноградом и яблочками, со свежими лимонами и другими дорогими лакомствами. Для Ванюшки Круторогова это всё наплевать — так, девичьи заедки, у него сердце болит, как бы не разбились бутылки с ликёрами и винами, которые он сам тщательно перевернул соломой и уложил рядышком в ящик под кучерское сиденье. Ванюшка очень нервен, и воображение его часто играет, иную минуту ему так ясно представится, как вдруг осядет простая доска, обитая сукном, на которой сидит кучер, и толстый Тимофей рухнет всей тяжестью на корзинку с бутылками. Ва-

нюшка даже крикнет: «Сиди легче, проклятый!» и тут же одумается, отплюнет и сотворит в сторону молитву.

Евмений Фёдорович хоть и расчесал свою рыжую бороду на две стороны по-московски, хоть и болтает, и зубоскалит, а все-таки на душе его грусть-тоска чёрной кошкой свернулась и нет-нет да и подавит его. Где-то его ясынька Фелицата? То-то, поди, кается да плачет... А маменька да мать Досифея в два хвоста её началят, изведётся моя молодуха постом да молитвой! Весь жирок свой пуховый сдаст!.. Эх!.. Думы невесёлые, выпить бы теперь да забыть-ся... Да выпить-то нельзя: обещали они сразу на большое стояние в часовню прибыть. Ну, погоняй, что ли, Тимофей! И подхватили кони грудастые, далеко выкидывают ногами передними и, пофыркивая, быстрее несут лёгкие казанские саночки-самокаточки. А за этими санями другие летят с гиком, перегнать стараются, а там и ещё, и ещё, а вот из просёлка, совсем им наперерез, вылетел конь соловый и понёс вперёд лёгкий коробок молодого купца железоторговца Тетёркина.

— Ан, врёшь! — крикнул Ванюшка. — Наддай, Тимофей!

Рванулись звери крутороговские и оставили позади себя солового.

— Накось, выкуси! — кричит ему с хохотом Овечкин.

Хромой Филимон два раза дёрнул деревянное било в знак того, что гости приехали, и заковылял отпирать околицу. Чинно, шагом, кони за конями, въехали гости званные и, повернув налево от посёлка, остановились перед большой двухэтажной «въезжей», где для всех готов был и приют, и ночлег.

Помылись гости, поприправились, прифрантились и слышат, как бьёт било и зовёт их в часовню на большое стояние.

Резче и резче в сухом морозном воздухе сыплются удары деревянного била. С узкого крыльца вглубь по лестнице, идущей в молельню, сходят старицы, матери, певчие девицы, словом, всё общежитие, кроме тех, что задержала неотступная домашняя работа. Вместе с ними, теснясь немного в сторонку, идут и гости, разглядывая в полутьме румяные лица и лукаво потупленные ясные глазки молодых богомолок.

Ванюшка Круторогов чуть не нарушил весь чин вхождения в молельню: метнулся, придавил ноги Овечкину, а тот не стерпел — выругался. Параня, как шла мимо, больно-пребольно щипнула за руку Ивана Артамоновича и, глаз не подняв, не улыбнувшись, так и прошла в молельню.

Давно уже часовня в Пашенке расширилась и украсилась, хотя по-прежнему оставалась скрытой в обширном подполье. Вся передняя стена её обставлена образами старинного тёмного письма в дорогих тяжёлых кованых ризах, украшенных и камнями самоцветными. Иконостас в четыре тябла, под каждым образом висит пелена, бархатная или атласная, шитая жемчугом и золотой битью. Перед иконами горят лампы неугасимые, а кругом их большие «налепы»³ тёмно-жёлтого воска, катанные руками богомольных стариц.

Мать Фаина правит службу, читает громко, ясно; уставщица Аглая отвечает ей, клир подхватывает. Параня высоким, чистым сопрано ведёт весь хор, а молящиеся — женщины направо, мужчины налево — кладут поясные и земные поклоны.

Часа полтора продолжалась служба, затем мать Фаина провозгласила прощу.

Пропуская мимо себя всех гостей, мать Августа, заведовавшая столовой, с поклоном просила всех в келарню откусать вечернюю трапезу.

За ужином гости сидели опять-таки отдельно, молодые сироты да воспитанницы обносили их кушаньями и угощали, ласково прося откусать, попринудиться, не брезгать хлебом-солью сиротскою. Подавали четыре блюда: капуста краснозапечённая и капуста просто квашеная с осетриной и белужиной, уха с налимыми печёнками и молоками, пироги со стерлядью, с нельмой и луком, с вязигой и белужиной — крытые, с сухой коркой, нежные, как пух, с расстёгнутой серёдочкой. Затем шли пельмени с рыбьим фаршем, затем пшённая каша с изюмом и молоком. Обносили всех и брагой, и квасом сычёным, только вина не было, и у Ванюшки вся внутренность горела: давно уже жаждал он и с тоской вспоминал, что у него на въезжей всё стоит приготовленным.

³ Свечи

Окончилась трапеза, гости сотворили обычное метание перед матерями, и все удалились во въезжую. Матери попрощались с молодыми девицами, и все разошлись. Смолкла Пашенка, загасли всюду огни, и только месяц, чуть-чуть скривив лицо своё и с какой-то лукавой недоверчивой улыбкой, глядел на посёлок...

Видно, крепко спали матери и христовы невесты, видно, спокойные были им сновидения, коли ни одна из них не слыхала ни стука, ни шума, ни смеха взрывчатого по всем тайникам и переходам. Всюду на вышках, в светлицах зажглись, замелькали снова огоньки пёстренькие под цветными колпачками; столы накрылись белыми вышитыми столешниками, и молодые клирошанки-сироты после сытного ужина в келарне забавлялись с приезжими гостями сладкими «заедками» да выпивали одну-другую рюмочку дорогого иноземного вина.

В большой просторной комнате, что занимала Параня черноглазая да подруга её, толстая беличка из соседнего скита Секлетея, ожидали тоже гостей. Параня сбросила платок с головы, и чёрная густая коса её упала и до половины рассыпалась причудливыми кольцами; открыла Параня свою маленькую шкатулочку, достала оттуда коралловые серёжки и вдела в уши, встряхнула пышные кисейные рукава белой сорочки и оправила синий кубовый сарафан. Глядя на неё, и Секлетея сняла головной платок, со смехом швырнула «покрывашку» на комод и стала помогать подруге собирать чай.

Параня давно знала семью крутороговскую, она родилась и выросла на их кожевенном заводе, не раз гащивала в большом доме, сладко ела, сладко пила и свободно с Ванюшкой играла в прятки да жгуты. Ванюшка хоть и старше был её, да духом прост и любил возиться с ребятами.

Когда Параня подросла, между ней и Ванюшкой промелькнуло что-то похожее на более нежное чувство, но тут умер Парашин отец, старший приказчик кожевенного завода, и пока шли суды да толки, как быть с сиротой, приехала её крёстная мать Фаина из Пашенки и увезла её в общежитие. С тех пор она всего три раза видела Ванюшку, и то всё под надзором.

У Парани были свои заветные мечты: хотелось ей войти в дом Крутороговых невесткой, женой старшего сына

Ивана Артамоновича. Знала она, что Ванюшка пьёт, и потому хорошая невеста не пойдёт за него, знала она и то, что сам он ни за кого не посватается, а потому и хотелось ей так подвести, чтобы иного выхода, как под венец, не было для Ванюшки.

— Идут! — громким шёпотом упредила Секлетея Параню, вертевшуюся перед маленьким зеркалом. По лестнице слышались шаги, и в светёлку вошли Иван Артамонович Круторогов и Евмений Фёдорович Овечкин. Оба успели «освежиться» на въезжей и теперь являлись весёлые, нагруженные пакетами, тюричками и кулёчками; из всех карманов, даже из расстёгнутой пазухи, глядели бутылки с винами, романеями и ликёрами.

— Паранюшка, черноокая, помоги... родная! Сей же час всё из рук выскользнет... — шептал Ванюшка.

— Свет Секлетеюшка, потревожьте ваши пышности, опростайте карманы мои... — молил Овечкин.

Девушки с хохотом принялись освобождать гостей от их сладкой ноши.

Вскоре весь стол покрылся тарелочками и блюдами, поставец посудный стоял пустой, обе его распахнутые дверцы, как раскрытые руки человека, казалось, говорили: «Ну, господа, всё, что имел, отдал, больше не спрашивайте».

Овечкин с Секлетеюшкой откупоривали бурачки с зернистой икрой, резали розовую, нежную, как масло, сёмгу и тихонько, как из-под полы, оглядываясь по всем сторонам, разложили на мелкие тарелки ветчину вестфальскую и скорее прикрыли «погань» другой, глубокой тарелкой.

Ванюшка раскупоривал бутылки, а Параня возилась со сладостями, ровно кошечка игривая, то с тем, то с другим обращаясь к Круторогову: то нагнётся к нему и прижмётся пышной грудью, то коса её обовьётся вокруг его шеи, то жаркое дыхание обожжёт его щёку. Ванюшка отодвигается, бормочет «свят... свят», но заигрывание красивой девушки бросает его в жар и в холод. Он с самого приезда из «поганого» Парижа соблюдает себя и, не выходя из своей боковушки, молится, постится, пьёт, правда, но от всех других грехов воздерживается.

Овечкин, усадив Секлетеюшку, угощает её ванильным

ликёром, и глупая девушка пьёт с удовольствием вкусный, сладкий сироп. Пышные рыжеватые кудри выбились из её косы, длинными кольцами висят на лбу, за ушами; полные щёчки, покрытые, как персик, нежным пушком, так и пылают, большие голубые глаза стали влажны, пунцовые губы свежего рта открылись, высокая грудь так и волнуется. Овечкин пьёт, и смеётся, и смешит девушку, точно стараясь забыть горе горькое, что шевелится на сердце. Секлетей чуть-чуть напоминает его красивую тихую Фелицату, и Овечкин льнёт к девушке теснее, теснее... Девушка с коротким нервным смехом встаёт и направляется к низенькой двери.

— Ты куда?.. — кричит ей Параня.

— Самовар ставить, — говорит Секлетей.

— А ты куда же?.. — вопит Ванюшка.

— Без меня где же ей управиться с самоваром!.. — смеётся Овечкин и исчезает за девушкой.

— Ванюшка, кус ты мой сахарный, сокол мой поднебесный... сластень мой!... — шепчет Параня и вдруг обвивает руками вокруг шеи Ванюшки и начинает жарко-жарко целовать его.

Ванюшка всё тише и реже шепчет «свят... свят», истома охватывает его, руки горячо, жадно обвивают стройный девичий стан.

Борется Ванюшка с соблазном, но силён дьявол, что промеж людей ходит и аки лев рыкающий ищет, кого поглотить, и — поглощает Ванюшку. Где же и бороться слабому человеку с дьявольскими кознями!..

На другой день солнышко всходит ясное, холодное и далёкое от всех дел мирских, одинаково светит и правым, и неправым.

Изо всех сил старается старица Софья бить в клепало, и чинно, пара за парой, идёт всё общежитие слушать и петь утреню. Из гостей никто не присутствует, вся въезжая спит и храпит, как один человек.

Проснулся Ванюшка Круторогов позднеенько, схватил свой халатик на лисьем меху да валенки, оделся, подстелил коврик под ноги, встал около столика, на котором с минуты своего приезда поставил икону Моисея Мурина, того самого, кому от винного запойства молятся, взял лестовку в руки и стал справлять уставные поклоны. Стукнулся раз лбом о пол, стукнулся два, да вдруг его и осе-

нило, остался он на полу лежать, и всё, что произошло ночью, как в огненной картине перед ним предстало.

— Уловила-таки меня в сети свои прелестница окаянная!.. — мысленно завопил он. — Погубил я деву чистую, овцу стада истинного!.. Ждёт меня теперь на том свете тьма кромешная, червь бесконечный, тягучий станет точить меня... Дьяволы зелёные станут меня на жгучем огне поджаривать!.. — и залился Ванюшка горячими слезами.

— Чего ревёшь... чего ревёшь? — спрашивал его Евмений, трясая за руку.

Ванюшка встал и поведал другу своему Евменью Фёдоровичу весь свой грех окаянный.

У Овечкина и без него сосало под ложечкой и самому ему было и соромно, и тяжело за своё житьё непутёвое, горько во рту было, хоть снова напиться: он и потянулся за бутылкой и стал наливать себе стаканчик за стаканчиком.

— Знаешь, брат Ванюшка, что! Поправь ты беду свою, жалко мне стало Паранюшку... женись на ней!..

— Жениться?.. Мне?.. — Иван Артамонович вскочил на ноги, хмель его почти прошёл, худой, высокий, со впалыми тёмными глазами, горевшими недобрым огнём, он был теперь настоящий фанатик, воспитанник своих бабушек и тётушек.

— Да знаешь ли ты, что всяк грех, кроме еретического, оплаканный не только прощается, но ещё и возвышает душу провинившегося через слёзное покаяние!.. Но брак есть грех, тягчайший из всех, и никакими искуплениями не очищается, ибо в браке человек каждый день блуд совершает и не кается, а в похвальбу себе грех тот смертный считает!.. А мой грех замолимый, покаюсь я — и снова чист от греха буду... — и, бросившись перед иконой, Ванюшка стал бить поклоны покаянные.

— Окстись, окстись, — бормотал Овечкин, — это уж ты, брат, перехватил!.. Выходит, что мы с тобой одного толка да разного верования люди... Нет, брат, брак — дело святое... Спаситель сказал...

— Отступись!.. — крикнул на него Ванюшка и, бросив лестовку, принялся тоже опохмеляться.

Три дня Круторогов и Овечкин вели душеспасительные споры и пили, не выходя из въезжей; на четвёртый пора было гостям по домам, и Тимофей, распрощавшись

с Евстафьей, молодой стряпушей из общенской кухни, снял сиденье в казанских саночках, навалил туда вровень сена, прикрыл запасным ковром, положил два тела хозяйских, сел на облучок, свистнул и помчал обратно из Пашенки купецких сыновей, съездивших на богомолье.

Поплакала Паранюшка и завила горе верёвочкой, не по силам ветку клонила, ну та и вырвалась, а вырвавшись, её же в лоб ихватила. Что будешь делать?.. Всяко бывает...

На пятый день и остальные гости распростились с добрыми хозяевами, поблагодарили кто чем мог за хлеб-соль и чинно, как въехали конь за конём, так и выехали на широкую ровную дорогу, и до 23 июня, до самой Аграфены Купальницы, запер за ними хромой Филимон околицу.

Закурились трубы у двух больших изб, что стояли в Пашенке на самом выгоне. Это сироты топили баню и с закато́м солнечным всё общежитие перепарилось, перемылось и с молитвой отошло на мирный сон.

На другой день после бани все сходили на часы, пропели канон на два лика с катавасиями, и все принялись за обычную работу. Кто ткёт ковёр, кто золотом облачение вышивает, кто на ручном станке пояски с молитвой прядёт, всё чинно, смиренно, все при деле, везде кипит непокладная работа. Мать Фаина с матерью Софьей счёт сводят. Первая смотрит на роспись прихода, где поименовано всё, что гости привезли с собой в дар общежитию, а вторая читает всё, что израсходовано за эти пять дней на приём гостей. Лицо матери Фаины стало светлее да добрее, потому ясно видит она, что далеко приход деньгами и яствами превысил расход. Мать Софья крестится — слава Тебе, Господи, не оскудела ещё рука дающего.

VIII

Беглый дьякон Савка

На чистой крутороговской кухне сумерничали. В большом доме хозяева отобедали и полегли отдыхать: теперь, значит, вплотную до паужина стряпушие были свободны.

По лавкам, покрытым чистым рядном, сидели бабы, девки и мужики, работавшие на крутороговском дворе.

Все собрались послушать рассказы беглого дьякона Савки. Сам Савка, мужчине матёрый, что твой медведь, сидел на коротенькой лавке между двух окон и, опершись на тяжёлую суковатую палку, перекидывался словами с собравшимися слушателями.

Савка появился в городе Т. всего два года назад, да и то проживал тут не сплошь, а так, набегами.

— Нет Савки, провалился, собачий сын, — скажет о нём кто-нибудь.

Глядь, Савка уже в городе объявился и в чьей-нибудь молельне правит службу. Купцы его любили особенно за голос. Как выпьет он, да во всю, как есть, гаркнет «Многая лета», так по ту сторону реки лошади сперепугу шарохаются. Вот какой голосина!

Все называют Савку беглым, а никто доподлинно не знает, откуда он бежал. Сам он говорит, что убёг из града первопрестольного, от лютых врагов веры истинной, а людишки болтают: бежал он от плетей из-под самого Берёзова, куда угодил по приговору односельчан за конокрадство. Он себя дьяконом величает, ну, а по обличью — чистый варнак, ничего в нём духовного нет, кроме подрясника, да и тот на тёплой зайчине. Волосы у Савки короткие, клочьями и с плешинной, местами на голове пролысины, словно моль выела. Лицо корявое, нос толстый, а глаза острые, чёрные, сидят во впадинах глубоко, как мыши в норах.

Иван Артамонович — первый друг и покровитель Савки за то, что тот хорошо об аде рассказывает. Так у него всё ясно и толково выходит, словно он сам родом оттуда. Весь ад, по его словам, на восемь частей разделён. Семь округов по числу семи смертных грехов, и в каждом округе свой набольший с мелкими чертенятами и с особыми приёмами, как и чем кого мучить. А восьмой округ — это как бы главная квартира сатаны и канцелярия, где он судит и правит.

Как заберётся Савка в боковушку к Ивану Артамоновичу, так домашние и знают, что теперь заюродствовал Ванюшка, станет кадить, петь стихи покаянные, бить себя в грудь, плакать и пить мёртвую. Тут уж никто не суйся, припасай только бутылки да всякую кислую и солёную прикуску и ставь всё снаружи на пол около дверей. Просунется

волосатая лапища Савки, захватит что ни есть и снова заперёт двери. И так бодрствуют они и молятся, смотря по силе и вере, сколько выдержат. Как затихнут окончательно, так, значит, готово: отпирай дверь смело, входи и поступиай с двумя телами, лежащими без движения, как знаешь.

С Савкой — короткий разбор: выволокут на двор, кликнув татарина Юшку и велят ему лить на буйную дьяконскую головушку ушат за ушатом студёной воды, пока очушается. Ну, а Ванюшка всецело поступает в ведение своей матушки родимой и тётушек. Его отчитывают, оттирают маслом четверговым, отпаивают водой с наговором и мало-помалу приводят снова в человеческий вид.

— Саввушка, я те «спасённой» бражки приготовила, — говорит румяная кухарка Матрёна Сидоровна и ставит перед дьяконом берестовый туес, полный пенящейся браги.

— Спаси тя Христос! — отвечает Савка и, облизав губы, расправив щетину свою, отхлёбывает браги. — То ись где ни пей, а уж такой бражки, как Матрёна Сидоровна варит, в жисть не найдешь... Вот и «шанижки» тоже...

— Ах ты, роженный!... А ведь «шанижки» то есть. Нонесь к полднику пекла. Сейчас в закутке ещё тёпленькие, небось, лежат... Глянь, Акулинушка!..

Толстая, как ступа, Акулина с тихим смехом поднялась со скамейки, отодвинула заслонку русской печи и из закута (бокового круглого отверстия) достала плоску с шаньгами и поставила её перед Савкой.

— Ровно ты, Саввушка, у нас дед-всевед, так сквозь печку и увидел наши шаньги... Кушай во славу Божию.

Дьякон мигом спровадил две-три ватрушки сдобного, крутого теста, отхлебнул чуть не половину туеса браги, обтёр рот полой, перекрестился трижды двуперстным знаменем.

Матрёна Сидоровна подседа к нему.

— Дельце есть до тебя, Саввушка...

— Секретное, что ль? — спросил Савка, уписывая шаньги и запивая брагой.

— Каки таки у меня с тобой секреты?.. — рассмеялась стряпуха. — Алёна Митриевна утресь прибежала, тебя спрашивала...

— Глазиха? Ну, чего так?

— Беда неизбытная... уж она, сердешная, выла-выла, у

тебя всё совету спрашивать хотела. Ведь их из свово-то гнезда родного гонят.

— Знаю, — Савка погладил бороду. — И выгонят, ничего тут не поделаешь, предел, значит.

— Да какую же они такую праву имеют, собственное, родителями нажитое гнездо скрыть и землю, в которой их, значит, кости лежат, взять в казну?

— Да вот поди тут судись! Так и будет, не уйдут сами — выгонят их из дому, дом как есть сроят и по земле той пойдёт чугушка. Знаю я это, не впервой вижу, проводили уж такую дорогу и в других местах, где бродить пришлось... Отчуждением это они называют, то ись было твоё, а теперь, мол, чужое, получай деньги и отходи в сторонку.

— Чудак человек, да коли она продавать не хочет!.. — слышался чей-то голос.

— Всё едино возьмут, — отвечал Савка.

— Ну, вот, вот и она говорит, — продолжала стряпуха, — прислали ей, вишь, бумагу, сколько она хочет за дом с землицей, ну, она и говорит: золотом засыпьте, свой дом не отдам, да ещё плюнула на посланного, бесстыдники, говорит, вправду бесстыдники... Тут у меня под спудницей дедовская душа живёт, а они — на!.. Продай дом!.. Да только этим, Саввушка, она не отбоярилась, за плевков он содрал с неё своим порядком, иначе, говорит, засужу, а коли, говорит, такого-то числа ты не выйдешь, выволокут тебя за хвост и на твоих глазах крышу ломать учнут... Вот с этого дня Глазиха как бы ума решилась, воеет да ищет всё, кто бы защитил.

— Уж тут вой, не вой, а защиты ей не найти, потому казна!.. Все дома по берегу сроят, и тут пойдёт подъездной путь, товары, значит, с реки, с барок и пароходов будут грузить и перевозить на главную чугушку, а с главной чугушки обратно на реку.

— Да там не один дом Глазихи, — вступился конюх Сергей. — Там домов, почитай, тридцать аль сорок будет, окромя хозяев, сколько там тёмненьких (беспаспортных) ютится, потому место вольготное, по пристаням им заработок есть. Дадут они такие дома разорить-то!.. Ребята тёплые, в топоры пойдут...

— В топоры? А солдаты на што? Ружья на што? Бунт, сопротивленьё?.. Н-н-е-е-т, брат, шалишь, локти назад.

— Да что это за страсти такие стали говорить, — заголосили женщины.

— Чтоб ей пусто было, этой самой чугунке, — вступился второй конюх Василий. — Ещё ничего от неё не видали, а уж сколько озорства от этих самых анженеров натерпелись! Роют, роют, как кроты, прости Господи, всю округу изрыли, ровно клад ищут, а толку всё нет. Надьсь возвращался я с нашим прикащиком Михал Петровичем из-за юрт, куда он на рыбалку ездил... Ну, выпили мы там здорово, он пил и мне подносил. Ладно... едем.. места знакомые... Верите, родные, три часа плутали, да где! У самого города. Едешь вправо — канавищу вырыли, возьмёшь влево — гору вздули, прямо взял, знаю, мосточек тут был, глянь — сняли его и запруду тут сделали... Взвыл я — ни тебе дороги, ни проезду. Опаскудили, можно сказать, весь наш город! Сижу это я на козлах и вою, а Михал Петрович сидел в «коробке» да и тоже заплакал, потому обидно: видим город, а попасть в него никак нельзя.

— Ну и как же вы выбрались? — спросил Савка.

— Да как, сказать зазорно... Баба вывела... Идёт это с коромыслом, да и остановилась... Поставила вёдра на землю, да и к нам. Чего, говорит, оголтелые, в реку лезете? Повернула лошадь взад, да и хлестнула, ну та, известно, и побегла. Я едва вожжи собрал, а там хватать, а уж мы и у своих ворот.

— Да, может, это и не баба была, а оборотень, — сказал кто-то.

— Я и сам мекаю — оборотень... Где же бабе такого ума набраться, чтобы двум мужикам дорогу указать... А только ничего из этого не выйдет, выстроют они дорогу, а только чугунка бегать не будет...

— Почему, почему так?.. — раздалось со всех сторон.

— А потому что слышал я от верных людей. Ямщики да гужевые из лесов такого старика праведного привозили, он по всей той линии в самое новолунье на чёрной кобыле проехал и такое слово сказал, что шабаш! Будет шипеть эта чугунка, а с места не двинется. Потому её дьявол везёт, а дьяволу от такого слова ходу нет.

— Полно молоть-то тебе, Василий, чего зря звонишь-то! При чём тут дьявол, паром та чугунка ходит.

— Ладно, паром! В бане-то сколько пару бывает, дых-

нуть нельзя, а, небось, баня-то с места не бежит, а ты говоришь паром!..

— Да буде вам, буде, — вступилась Матрёна Сидоровна, — уж ладно там, сами увидим, чем она, проклятая, побежит... А ты лучше, Саввушка, скажи, правду ль Глазиха говорит, будто у них в подполье живёт душа деда её Самсона Силыча?

— Слыхал я... — протянул дьякон. — Верно... говорят, ту душу слыхали многие.

— Расскажи, роженный, — пристали все кругом к Савке. Вмиг перед Савкой появился новый туес браги, и все сдвинулись на лавках теснее, ближе к рассказчику. Савка отхлебнул, отёр рушником густую пену с усов и крякнул...

Не успел Савка рот раскрыть, как в наружную дверь кухни раздался громкий стук, кто-то нетерпеливо дубасил в дверь. Все повскакали с мест и в смятении метались, крестились и ахали. Неистовый стук повторился, слышался заглушённый шум голосов.

— Да кто же её, проклятую, запер? — очнулась наконец Матрёна Сидоровна. — Где же это видано, чтоб дверь в кухню запиралась изнутри на крюк?

— Я запер, тётенька, — откликнулся рыжий дворовый мальчишка Пётр. — Хотел, чтобы заводские не шныряли за всяким делом, пока дяденька Савва рассказывает.

— О, чтоб те разорвало! Отпирай скорей, ведь это никак Никифоров голос, видно, из Пашенки оборотились. Все бросились отпирать дверь и теперь ясно услышали со двора крик.

— Ишь, сумерничают, оголтелые, и дверь на крюку держат... примайте, что ли, Ивана Артамоновича привезли!..

Матрёна Сидоровна метнулась в боковушку.

— Саввушка, будь брательник, пособишь внести Ивана-то Артамоновича, чать, без чувств привезли...

Саввушка пошёл к саням. Там рядом чинно, как две селёдки на блюде, лежали и спали богатырским сном свет Иван Артамонович Круторогов и Евмений Фёдорович Овечкин. Саввушка окинул их холодным взглядом: строг он был к людям, когда они без него напивались.

— Вымай прежде всего Божье Милосердие, что с собой в путинку брали, — приказал он.

Открыл Никифор сбоку в саях ящик под изголовьем и вытащил оттуда завёрнутые в пелены и сверху ещё в чистый убрus три иконы. Савка с трёхкратным крестным знаменем принял их и затем распорядился:

— Теперь тащите осторожно за мною наперёд хозяина, а потом и гостя!..

Вытащили и разложили тела купеческих сыновей, вернувшихся с богомолья: Ванюшку — на кровать, Евмения — на сундук, крытый толстой кошмой. Матрёна Сидорова послала за тётушками, а сама стала готовить всё, что полагалось для вытрезвления.

— Эх, народ, народ... — говорил Савка собравшемуся люду, — ничего-то вы не понимаете... Икон выбрать для дороги не смогли, а туда же, истинными христианами зовётесь... С чего Моисея Мурина с собой таскали?.. Нешто ему от винного запойства молиться?.. Вонифатия мученика должны были с собой взять...

И Савва, достав с тябла св. Вонифатия, поставил его на подмогу рядом с Моисеем Муриным. Затем, не обращая никакого внимания на прибежавших женщин и на всю их возню кругом пьяных, он наложил ладана росного в кадьницу, разжёл его углём запасным, что в особом горшочке припасён был, затем засветил налепы кругом икон и стал громко молитвы править...

Прошло три дня. Ванюшка, вытрезвлённый, худой, жёлтый, как упокойник, слонялся по боковушке; он больше не пил, а только каялся. Когда, как луч солнца сквозь тёмную непогоду, в душе его вставал образ Парани и непокорная плоть загоралась от воспоминаний её страстных ласк, Ванюшка хватал лестовку, становился перед девственником целителем Пантелеймоном и клал до изнеможения уставные поклоны.

Протрезвился и Овечкин. Хмурый и гневный, собирался он домой. До него дошла страшная, непонятная весть: мать его вернулась на завод из Ивановского монастыря одна и ни слова никому не сказала про Фелицату. Тряслись руки Овечкина, когда он затягивал последние ремни своего чемоданчика. Простившись в большом доме со стариками Крутороговыми, он расцеловался с Ванюшкой и нетерпеливо ждал почтовой тройки, за которой послал Юшку.

На чистой крутороговской кухне Матрёна Сидоровна с Акулиной пекли пряженцы и «шанижки» к полднику; в крошечное оконце в стене, закрытое деревянной втулкой, то и дело раздавался стук «подожка», и тихая Агафья отгыкала отверстие и подавала положенную «тайную» милостыню хлебом и всякой оставшейся снедью. На лавках, покрытых рядом, сидели две странницы — сегодня недосуг было впускать всех нищих: в большом доме ждали гостей к обеду. Странницы были старые знакомые, их «пещуры» стояли открытыми на столе, и то Матрёна Сидоровна, то Акулина наполняли их горячими пряженцами и шаньгами, туса их уже были до краёв налиты тёмной брагой.

— А ты, Матрёна Сидоровна, жди скоро радости себе... Гость неожиданный, но желанный у тебя будет, — говорила нараспев странница Анафролия.

— Ой ли!.. — отозвалась Матрёна Сидоровна и с повеселевшими глазами отложила ухват в сторону. — Кого такого милого гостя ждать надо?.. Уж не Сидорка ль прибудет?

— Верно твоё слово, вещун, баба, у тебя сердце. Бредём мы из-под Тобольска от самого монастыря пресвятой Абалакской Божьей Матери и слышали там от верных людей, что идёт из-под самой Кяхты твой сыночек Сидорка с караваном чаёв, идёт он на Катеринбург через ваш город и у вас и остановку иметь будет.

— О-о-х, мне тошнёхонько, — причитывала Матрёна Сидоровна и, опустившись на лавку, закрыла голову передником. — Идёт ли сокол ясный гужевым по далёкой пути-дороженьке... Притомилися резвые ноженьки его, попритуманилися ясные глазоньки... и нудно, и студно дитятку без родимой матушки...

— Чего убиваешься, Матрёна Сидоровна, вот уж именно сказано: баба, что мешок — что в неё положат, то и тащит. Да ты наперво узнай ещё, правду ль тебе сорока-то на хвосте принесла.

— Не греси, свят человек, — остановила Савку вторая странница, Виринея. — Не пустым сорочьим словом обмолвилась, а правду истинную сказала. Вышел тот караван давно из китайщины, и будет он, сказывали нам, не позже, как через пяток дней здесь, в городе. Крюку мы

дали с мать Анафролией, чтобы только ту радостную весть донести до Матрёны Сидоровны.

— Ну, ин быгь по-вашему, слышал я тоже о том караване, как сюда брёл, да думал, пустая молва, — и Савка, протянув руку, потряс за плечо плакавшую: — Будет надрываться-то, Матрёна Сидоровна, Акулина-то одна с шаньгами и не управится.

Очнулась Матрёна Сидоровна, сбросила передник с головы и снова хватилась за хват и сковородники.

— Спаси, Пресвятая Богородица, их по пути гужевому. В Ежовском перелеске близ овечкинского завода, вот где белые волки озорничают. Не у одного каравана там поотрезали они цыбики, а чью душеньку так и вовсе порешили.

— Ладно, ладно, будет причитывать-то, молись лучше. Молись да милостыни подавай, а криком своим бабьим не утруждай Господа Бога, — перебил её Савка и вышел из кухни.

Спустившись в тёплую повалушу, что из-под крыльца шла под кухней, он достал там свой посох страннический, пещур свой, который хранил от всех глаз и рук человеческих, взвалил его на плечи и, никому не сказав ни слова, ни с кем не простившись, побрёл по двору, вышел на улицу, спустился мимо Емелькина дома на мосту — будто в город собрался, и только миновав Царскую улицу, где шёл поворот к городищу, остановился и присел на лавочке у знакомого кабака.

Не прошло двадцати минут, как услышал он скач лихой тройки, вышел на дорогу, стал на самой середине и замахал палкой. Осадил ямщик лошадей, и из кошевы высунулась сердитая голова Овечкина — чего такого стали? Дьякон Савка подошёл к нему с низким поклоном.

— Яви, Евмений Фёдорович, божескую милость, возьми с собой, пробратся хочу в дальний Абалакский монастырь, довези до своего завода...

— Садись! — махнул ему Овечкин. — Да лезь проворней!.. Ну, пошёл! — и тройка снова поднялась, и замелькали перед ними дома, низенькие заборы, огороды, все мельче и мельче, словно таял перед ними город, пока с последней банькой, вросшей в землю, не перешёл в низины, покрытые снегом.

IX

Бунт и покаяние Овечкина

Крупным шагом, тяжело ступая на ногу, ходила по горницам заводского дома Овечиха и всё думала свою тяжёлую думу. Волосы её со смерти Фелицаты поседел, лицо осунулось, и ещё строже, ещё суровее глядели большие чёрные глаза из глубоких впадин.

Третий день так ходит старуха... Положила она на себя пост великий и, кроме хлеба да похлёбки из кваса, никакой пищи не принимает, спит мало, и утром, и вечером, и в полудни бьёт поклоны. Не хотелось ей подымать гомон по городу и посылать к Крутороговым за сыном. Спешить нечего, горе всегда слишком рано придёт, сделанного не вернёшь, и не уму человеческому вершить судьбу людскую, на всё промысел Божий.

Порешив это в уме, старуха стала ждать сына и — дождалась.

Ворвалась тройка в заводские ворота, что звери бешеные, и осели кони лихие на хвосты у самого крыльца дома; турманом вылетел Овечкин и, как был в шубе, валенках и шапке, так и предстал перед матерью. Глаза красные, лицо бледное, нижняя губа трясется.

— Фелицата?.. — проговорил он хрипло.

Овечиха выпрямилась, подошла близко к сыну, положила обе руки ему на плечи, уставив свои властные сухие глаза в самую глубь тревожного взгляда сына, проговорила:

— Умерла!

Ровно подкошенный, метнулся в сторону Овечкин и побелел, как плат.

— Как умерла?.. Кто умерла?.. Маменька, ой, не шути со мной смертной шуткой!.. Тебе доверил я свою Фелицату!.. Где жена моя?.. Где моя ясынька?.. Где?.. — и как безумный, сжав кулаки, он напирал на мать.

— Окстись, непутёвый! Чего на мать с кулачищами лезешь! — крикнула старуха. — Померла твоя жена Фелицата в одночасье, видно, так Богу угодно было покарать и её, и тебя... Пашкину-то кровь помнишь?..

Евмений грузно упал на колени и пополз к матери.

— Маменька, маменька, не пытай меня... Всё забуду,

всё прошу, пальцем на трону, духом суровым не дохну на жену... Пить перестану, пост положу сорокадневный, отдай мне мою Фелицату! Отдай, маменька, горлинку мою, ластовку белую, жену мою милую...

Подёрнулись туманом суровые очи матери, впервые с приезда крупные капли слёз полились по худым её щекам.

— Евменьюшка, сын мой роженный, не вольна я отдать тебе того, что Господь Бог к себе прибрал... Не в силушках я вырыть из сырой земли тело усопшей жены твоей и снова вложить в неё душу отлетевшую... Молиться ты должен!.. Склони свою голову, прими крест Господень на рамена свои... Покорись, Евмений, покорись, как христианин... Умерла твой Фелицата... Умерла и земле предана на кладбище святого Ивановского монастыря...

Глухо зарыдал Овечкин, забился головой о пол, не смирился дух его строптивый с такой смертной новостью, не налаживались мысли его, чтобы представить себе мёртвой пышную красоту жены своей, распалилось гневом его сердце, и против людей, и против Бога... Вскочил он на ноги.

— Сказывай, маменька, как померла... Какая такая болезнь приключилась?.. Сказывай, как извели вы её!

Побледнела ещё больше Овечиха и крепко взяла за руку сына. Инстинктивно она как бы искала этим прикосновением снова покорить его себе.

— Вот те Христос и Пресвятая Матерь Божья порукой, что поколь не покоришься ты, не отдашь себя в руки промысла Божия, не услышишь ты от меня ни слова!.. Иду я в молельню и там буду молиться... Ни крохи хлеба, ни капли воды не возьму в уста, пока не придёшь ты к ногам моим и не станешь покорен и кроток, как агнец!.. Лучше мне умереть, чем слышать богохульные речи и брань строптивую от сына родного!.. Пошла твоя Фелицата в царство небесное, очистилась она от грехов своих горнилом страдания, и стоит она теперь около отца твоего, и смотрят они на тебя и ждут молитв твоих за себя, — сказала Овечиха и ушла в молельню, не обернув больше головы к сыну.

Овечкин остался один, как громом приглушённый. Только теперь он сознал всем существом своим, что Фелицата умерла, исчезла, утрачена для него навсегда. Снова безумный гнев охватил его: замучили... запилили... Говорят, умерла в одночасье, а что коли она да руки на себя наложила?

— Маменька!... — крикнул он диким голосом и ринулся к моленной.

Со стоном, криком, с мольбой и проклятиями рвал он дверь, заклиная мать открыть её, но дверь моленной была из цельного дуба, снаружи не имели ни ручки, ни щеколды, вся как литая, а изнутри запиралась громадным железным болтом. С налитыми кровью глазами бросился Евмений на кухню и схватил топор, но тут его за руку, как клещами железными, стиснул Савка.

— Положь, — сказал он ему громко. — Положь, Евмений Фёдорович, не искушай Бога. Подумай, с кем на брань идёшь и за оружие хватился... Супротив матери идёшь... что теперь перед аналоем Божьим за тебя молитвы правит!..

Опустились руки у Овечкина, выпал топор из них, и залился он слезами, а Савка налил ему громадный стаканце вина и подносит:

— Выпей.

Пьёт Евмений, и будто сердце его на огне расплавляется и легче ему становится, выпил он и сам теперь протянул стакан: налей, говорит. И Савка снова налил, и снова выпил Овечкин, и горе с вином надломили силы его, упал бы как пласт, да Савка подхватил его и снёс, как дитя малое, в спальню и положил на кровать. И тот день, и ту ночь, и следующий день до ночи пил Евмений мёртвую и лежал без движения, и тот день, и ту ночь, и следующий день стояла на молитве мать его, и когда не в силах были держать её ноги, лежала она на полу перед иконами и шептала молитвы. Ни крохи хлеба, ни капли воды не вкусила она, губы её запеклись и растрескались, лицо ровно земля потемнело, в ушах шум стоял, в глазах круги огненные мелькали, она всё стояла и молилась.

К вечеру второго дня, когда Овечкин хрипло крикнул «Водки!», Савка подал ему стакан ледяной воды с каплями нашатырного спирта. Овечкин, мучимый жаждой, проглотил с наслаждением холодную влагу. Через четверть часа густой туман хмеля стал редеть, разрываться на клочки, и сознание, как бледный луч солнца, прояснило мысли Овечкина. Он выпил ещё квасу, встал и долго держал свою голову под струёй холодной воды. Пройдясь по комнате, он спросил, не глядя на Савку, сидевшего сумрачно у окна:

— Маменька?..

— В молельной, так и не отпирала дверь.

Овечкин направился к молельной. Он постоял минуту, прижавшись лбом к двери, и вдруг, полуспустившись на пол, зарыдал с глухим стоном.

Услышало чуткое сердце матери рыдание сыновнее, открылась дверь молельни, и, едва держась на ногах, но все такая же непреклонная, мать позвала его к себе.

— Подь, Евменьюшка, подь, дитятко... Выплачь своё горе горькое, авось со слезами-то и сердце твоё непокорное уgomонится...

Старуха опустилась на лавку, покрытую ковром. Евмений на коленях дополз до неё, положил на колени матери свою рыжую, включенную голову и рыдал уже без злобы, без отчаяния, рыдал, проникаясь покорностью. Овечиха сидела прямо, своими жёсткими, жилистыми руками она гладила голову сына, а сухие чёрные глаза её со страстной верой были устремлены на почернелый лик Спасителя. В тёмной молельне пахло ладаном, налепы жёлтого воска горели трепетным красным огоньком, играя и отражаясь в камнях самоцветных, украшавших иконы. Из золотых сканых риз сурово глядели тёмные лики святых, как бы осуждая людское отчаяние по бранным земным радостям.

Овечиха, подкрепив силы свои пищей, так и заночевала в ту ночь на скамье в молельной. Евмений Фёдорович ушёл к себе и, не прикасаясь больше к вину, в первый раз после катастрофы заснул мёртвым крепящим сном.

На другое утро мать снова позвала его в молельню, заперла дверь и всё передала ему: страстное покаяние Фелицаты, её слёзы, пост, молитву неустанную, её прогулку одинокую, во время которой она, видно, заблудилась в лесу, и то, как только на другой день монастырский работник Кузьма, поехав за дровами, нашёл её в лесу под развесистым кедром; рассказала, как плакали монахини, как торжественно справляли по ней последнюю службу, как сама она, Овечиха, раздала всё, что при ней было, на свечи, милостыню и поминание. В гробу Фелицата лежала белая да ясная, словно душенька её, очистившись от греха, витала над телом её просветлённым.

Всё-всё рассказала Овечиха, а одно утаила. Утаила она

свой испуг смертный, когда пропала Фелицата, страшные заветные подозрения, что не обошла ли всех невестка хитрая, не дала ль себя выкрасть чуженину проклятому, смутьяну ненавистному инженеришке. Труп-то её найденному обрадовалась Овечиха, смерть-то лютее позорища!..

Ой-ой-ой, как смутились людишки на заводе и в городе, да и всюду, куда только залетела весть о том, что в Ивановском дальнем монастыре умерла в одночасье молодая красавица, мужняя жена Фелицата Григорьевна, но только все помалкивали: богаты были Овечкины, да и суровы, и мать, и сын, тягаться с ними никому не было охоты!

Евмений Фёдорович съездил в Тобольск, сделал богатый вклад в церковь Ивановского монастыря, поставил часовенку с неугасимой лампадой на могиле своей Фелицатушки и надпись на ней вырезал: «От неутешного супруга и почётного гражданина Евмения Фёдоровича Овечкина незабвенной супруге его Фелицате Григорьевне».

А на другой стороне тобольский мастер монументов и стихов на надгробных памятниках высек на мраморе:

*Млада душа, взлетев на небеса,
На супруга своего взглянула,
С ней канула слеза
И снова в небо упорхнула.*

Х

Конец Савки

Ежовский перелесок шёл верстах в трёх от стеклянного завода Овечкина-сына и примыкал как раз к Ежовке — деревне, лежавшей у глубокого оврага, на дне которого бежит речонка Пагуба. Сонная, маловодная речонка в конце лета, а весной, как хлынут в неё снега окрестные, бурлит, ревет, пенится, что брага хмельная, и редко-редко, что год обойдётся с ней без греха: либо забор чей по пути взмоет, либо скот потопит, а то так и ребятёнка какого слизнёт с берега и закрутит. Бедовая река, недаром и Пагубой зовётся! Дома в Ежовке все небольшие, невысокие, стоят врозь, словно рассорившись, каждый своим

двором окружён. Всех-то их не больше сотни наберётся, широкая проезжая дорога столбовая идёт посередь села и за выгоном в лес уходит. И в той, и в другой половине деревни идут переулки, там домики ещё беднее, одностёсом крытые, тут всё больше вдовы да бобылки живут.

Нехорошая слава идёт про ежовских крестьян: разбойниками да белыми волками ругают их, а только, может, и за напраслину обносят их, потому ни одного ещё не поймали. Гужевые куда не любят ежовского перелеска и в самой Ежовке никогда без нужды ночлег не держат, все норовят как бы в те места ещё засветло попасть, а уж ночевать дальше, в богатом селе Сватьянском — верстах в пяти за Ежовкой лежит. Мужики ежовские все медвежатники, народ здоровый, лоб на лоб на медведя идёт, у каждого ружьё есть, порох с оказией из Екатеринбургга достают, а заместо пуль идёт свинец рубленый.

Пала на землю зимняя ночь, ранняя и холодная, тихо в лесу, только мороз по старым елям пощёлкивает. Вышел месяц молодой, бледный, ровно испуганный, осветил широкую гужевую дорогу, что пересекала ежовский лес. Чуть не у начала леса, в самом тёмном густом чернолесье, между трёх громадных сосен сидят люди, те самые, что белыми волками прозываются, и ведут между собой тихий разговор.

— Доподлинно ль ты знаешь, Савка, — говорит здоровенный красно-рыжий детина Илья Кузнец, первый пьяница и кулачный боец всей Ежовки, — доподлинно ль, говорю, ты известен, что нонешней ночью здесь пойдут гужевые с чаями?

— Кабы не знал, — говорит беглый дьякон Савка, — не припёр бы на овечкинский завод. Мне какая корысть с ними вожжаться. Три дня с пьяным протенькался, а что взял? Ел да пил разве, так и то не больно сладко, стряпня-то у них на один завод идёт. У них ничего и не смажешь, всё на запоре.

— Что говорить, сами загребисты, с них не разживёшься. А где же тебе слух подали о гужевиках-то?

— Крутороговых знал?

— Это старика-то кожевенника Артамона Степаныча? Как не знать, не раз шкуру медвежью сбывал ему. О-ох, торговаться охоч он, всё норовит на грош пятаков намять. Умный мужик!

— Ну вот, у него на кухне странницы говорили, старшей-то стряпущей Матрёны сын Сидорка с караваном идёт, так им и лестно было упредить её — всё за добрую весть кусок послаще в пещур перепадёт.

— Та-ак!

— Я справлялся, — продолжал Савка, выколачивая о пень трубочку, набивая её табачным зельем и закуривая с видимым наслаждением, — беспрременно будут они сегодня к ночи здесь.

— А как крюку дадут на Котловины да там и заночуют?

— Небось, не заночуют, уж коли я на дорогу вышел, так пустого места не будет, не таков Савка молодец. У них по пути и так заминки в дороге были, теперь гнать будут до Сватьяновки, там заночуют.

— Раскаты попристроили?

— Уж говорил, не беспокой себя. Коли с Савкой вышли, так всё дело обтяпаю, что яичко облуплю. Раскаты при-сновлены и заруды снеговые при них наложены, не миновать отводинам о них шарахаться, только знай на отводину привались и работай, отрезай цыбики да сваливай.

— Как погляжу я на тебя, Савка, да послухаю тебя, — заговорил третий товарищ, Ванька Козёл, сухопарый длинный кабатчик из Ежовки, — дивлюсь только, как тебя земля досель поверх себя носит, тоись нет и не будет такого второго чёртова сына, как ты!

— Ты что пасть-то распустил, чего лаешься? — огрызнулся Савка.

— Чего мне лаяться, диву даюсь, как тебя на всё хватает? Службу по молельнам правит, устав ихний слопал так, что никто за ним не угоняется, а сам на большой дороге варначит!

— Нашёл чему дивиться. Веру переменить — не рубаху сменить, а я и ту променял, только я насчёт Господа Бога таких мыслей держусь: что чем тяжче я нагрешу, тем горячей отмолюсь, и кто бы я ни был, и что бы я ни делал, услышит Он, коли горячо я ему молюсь, потому я тоже создание рук Его. А теперь возьмём купцов толстопузых — не варначат они, не выходят с доброй дубиной на большую дорогу, а всё-таки плут на плуте, мошенник на мошеннике, чревожадники, развратники...

— Да не ори ты, оглашенный, не «Многая лета» поёшь, распустил горло, на три версты, небось, слышно. Помешался, что ли? — и Козёл, прервав разговор, первый вышел на дорогу, за ним тронулся Савка, всё ещё ворча, а за ними полез и Илья Кузнец.

К самому лесу ежовскому подходил караван чаёв. Доверху нагружены были возы громадными цыбиками, обшитыми толстой кожей. Вся кладь хорошо прилажена, надёжными верёвками поприкручена. У каждого воза свой гужевой шагает, всё здоровый народ, матёрый, все люди, много-много пути исходившие, много видов перевидавшие; один промеж них слётыш, впервые с караваном идёт — Сидорка, Матрёнин сын.

Сидорке всего девятнадцать лет, а силищи он непомерной. Густые кудрявые волосы, что шапкой золотой, прикрывают его голову, глаза голубые да ласковые, сердце горячее да отходчивое, и на все руки расторопный парень. Ни ему устали, ни ему скуки — первый весельник и балагур. Все Сидорку любят, везде он гость желанный, и не одна девка рукавом прикрывает заалевшее лицо в ту пору, как мимо неё идёт красавец молодец Сидорка...

— Тпру-у, стой, что ль! — остановил седобородый великан Софроний свой первый воз. Обоз начал стягиваться, мужики, видя, что Софроний отошёл к сторонке, стали по одному подходить к нему. Софроний снял свой меховой треух, перекрестился и снова надел его. — Вот что, хрещёные, — начал он, — как-никак, а доводится нам к ночи идти ежовским лесом. Место — хвалить погодить, пошаливают здесь волки белые, а потому, слышь, все быть настороже. Кто в хвосте идёт?

— Я, дяденька! — отозвался Сидорка.

— Тебя, паренёк, не перенять ли к себе, туда Вавилу поставить разе. Бывал в переделке.

— Не трожь, дяденька, за себя постоим, не слопают никакая скотина, — и Сидорка с тихим смехом показал свой богатырский кулак.

— Ну ладно, пожалуй, что и справишься, — согласился Софроний, окинув ласковым взглядом всю стройную, здоровую фигуру парня. — Слухай все: поляжьте на возы и зорко глядите кругом. На возу-то безопасней. Кистени все наготове держать, заприметить, куда раскат, и с той от-

водины глаз не спущать. Лежать, не шелохнуться, покель ворог на воз не полезет, тут и глуши его, проклятого, кистенём, да не по шапке — навачена она, а прямо в рыло норови, чтоб о всю жисть память была. Оглушишь, и коль скатится, не прыгай с воза, не вались на душегуба, у волка поганого завсегда нож наготове, а свисти, что мочи, значит, чтобы каждый на опаске был, каждый за себя стоял, от возов отбегать не смей. Ну, кажись, всё! Лошадей не распускать, сдвигай ближе. Крестись, робята, полезай на возы.

Все поснимали шапки и осенили себя крестным знаменем, затем забрались на возы, полегли, ровно спят. Потянулись кони один за другим длинной вереницей, вступил безмолвный караван в лес и пошёл широкой дорогой между угрюмых чёрных сосен да елей. Белеет снеговая дороженька под трепетным лучом месяца, тянутся по ней резкие тени деревьев придорожных. Бьётся, колотится сердце Сидоркино, зорко глядит паренёк направо, куда раскат забегает, где белеют большие снеговые загроуды.

Вот раскатились сани Сидоркины, всей своей громадой хватили о загроуду, лошадь его пегая чуть не поперёк дороги стала и напряглась выравнивать воз. Слышит Сидор, как дышит волк белый и, уцепившись за перетяжку, старается ее пересечь⁴. И вдруг по лесу свист раскатился, и ещё, и ещё. Со всех возов несётся — знать, и впереди дело завязалось. Шарахнулся Сидорка, вскочил на колесо, а перед ним, как угли, глаза чёрные разбойничьи горят. Взмахнул Сидорка кистенём тяжёлым, как звезданёт сверху вниз, так и покатила с воза груда белая, и стона не расслышал Сидорка. Глядь, мужики с возов повскакали, забыли слова Софрония, вожатого, галдят, голосят, лес словно ожил, ревет эхом ответным, стонет от топота коней и людей. Мужики лошадей погоняют, понатужилась скотина сердечная, словно тоже чует, что из места недоброго выбираться надо. Сидоркина пегашка спешит, так вся и вытянулась, а парень лежит на возу и тупо смотрит на свой кистень, по которому багрец по каплям стекает...

Вот и конец леса, заредели деревья, заперемежились,

⁴ Перерезать верёвку.

потянулись кусты низкорослые, и снова лежит дорога открытая, широкая под необъятным звёздным небом. Въехал обоз в Ежовку, все мужики поспешили, идут сурово около своих возов, лошадей даже не понукают, одна дума у всех — до Сватьяновки добраться. В трёх-четырёх избах деревни мелькает ещё огонёк, стукнуло где-то волоковое оконце, выглянуло чьё-то лицо на проходящий обоз, и снова всё тихо, собака не лайнет.

Ещё час шёл обоз тем же спешным шагом и, наконец, достиг деревни Сватьяновки. Остановились гужевые, сняли шапки и истово перекрестились. «Слава тебе, св. Мироний, сохранил странных людей в далёкой путине от злой напасти».

Далеко откатился Илья Кузнец, когда его, как молотом, по уху оглушил здоровенный гужевой, что шёл третьим возом. Кровь хлынула из уха Ильи, не ожидавшего отпора от мужика, казалось, глубоко спавшего на возу. Задал стрекача в кусты кабатчик Козёл и ничком упал за ограду, как услышал свист и гомон, что подняли гужевники. Как замолк опять лес, вышел он на дорогу и видит: сидит Илья под кедром развесистым и снегом голову трёт себе. Ну, этот очухается, и не из таких перепалок жив выходил. Пошёл дальше Ванька, да и ахнул: лежит среди дороги, распластав руки и повернув к небу искровяненное, безобразное лицо, дьякон Савка. Угодил ему Сидорка кистенём в самый лоб, да так, что и череп не выдержал, а как летел ничком с воза Савка да хрястнул затылком оземь, и душа из него вон выскочила. Потрогал кабатчик дьякона за руку, за другую и стал сволакивать с него шубу заячью, валены белые и треух: не след оставлять на мёртвом позорную одежду волка белого, пусть лучше люди думают, что убили в лесу разбойники беглого дьякона Савку и обобрали его.

Зарыл до времени в верном месте кабатчик и свою, и снятую с Савки одежду и поспешил домой на деревню, поплёлся и Илья за ним, тоже сняв и убрав свою волчью шкуру.

Бежит ночь, и близится алый рассвет. Побелел месяц,

слился с облаками и исчез в поднебесье. Подёрнулись серебристой дымкой верхушки леса. Заредела тень между густых кустов, брызнул с востока сноп ярких солнечных лучей, и ожил лес, зачирикали воробьи, закаркали вороны, прыгнула белка с сучка на сучок, вылетел заяц-беляк, попрядал ушами и снова скрылся. Поднялось выше солнышко и осветило дорогу проезжую, и приласкало лучами своими богатырский труп беглого дьякона Савки. Лежит он, распластавшись, на мать сырой земле. Лежит один-одинёшенек под холодными лучами зимнего солнца. Лежит силач, буйная головушка Савка, и не крикнет он больше зычным голосом на потеху купцам «Многая лета», не станет он Ванюшке Круторогову про ад рассказывать, хотя, может, и побежала туда его многогрешная душенька. Не нужен ему больше его пещур заветный, куда опускал он всякий грош, добром или силой нажитый. Некому о Савке плакать, некому горевать. А был когда-то Савка отецкий сын! В далёкой России учился он в семинарии и затем в уездном городском соборе служил заправским дьяконом, и там любили его и баловали купцы за неслыханный голосище, да дьявол попутал: пил Савка и бил свою кроткую Прасковью Петровну, да так раз угодил ей в грудь кулачищем, что покашляла кровью она дней пять, да и отдала Богу душу. Закурил, закутил с того дня Савка. Приехал владыко в тот город, стал его укорять, а Савка и молвит ему такое-то слово неподобное, что — ну! Уволили Савку за штат, а там и покатило его от дела до дела, от суда до самосуда крестьянского, был он бит боем смертным за разные дела свои пакостные, угодил в Сибирь, бежал из-под самого Берёзова, скрывался годами по скитам у старцев, обычаи их перенял, стакнулся Савка и с молодцами придорожными. Понравились ему леса тёмные и вольная сибирская волюшка, раздвоилась жизнь его: умом понял он, где выгода лежит, и стал у купцов и кадить, и в молельнях службу по старому обряду править, и божественные рассказы рассказывать, а буйная головушка его да сила неизбытая потянули его на широкую дорогу, одели его в шкуру волка белого, заложили за пазуху ему нож булатный, да и довели до лихого конца. Лежит Савкин труп на проезжей дороге, из-под раны глубокой, что во лбу пробита, смотрят глаза его мёртвые в небо далёкое, и

ждёт Савка: либо добрый человек по дороге пройдёт, на него наткнётся и, может, христианскому погребению тело его грешное предаст; либо волки серые да враны чёрные пададь почуют и придут, растерзают, разнесут по ключкам тело доброго молодца, беглого дьякона Савки.

XI

Почему у Глазихи в подполье жила душа её деда

Полсотни лет тому назад дом мещанки Аграфены Петровны Глазовой, или Глазихи, как её звал весь город, стоял на том же обрыве над рекой и так же угрюмо и неприязненно смотрел своими четырьмя подслеповатыми окнами в мутные воды реки. В узком треугольнике под высоким коньком крыши был вделан медный осьмиконечный крест. Окна единственного этажа без занавесок, почти сплошь закрытые внутри цветами и выющимся плющом, играли на солнце своими мелкими зеленовато-сизыми стёклами и с раннего вечера уже закрывались тяжёлыми ставнями на железных болтах. Ни дверей, ни ворот со стороны реки не было — надо было обойти кругом высокого глухого забора и со стороны, примыкающей к пустырю, постучать большим железным кольцом в дубовые, всегда наглухо запертые ворота.

Полвека тому назад в этом доме жил суровый старик Самсон Силыч Глазов со своим единственным сыном Парамоном Самсоновичем и его женой Василисой. В молодости Самсон Силыч ходил с обозами, имел своих лошадей и нажил хорошую деньгу. Это был высокий, коренастый старик с лицом красным и грубым, как дублёная кожа, густыми светлыми, как серебро, волосами и глазами чёрными, гордыми и хищными, как у орла.

Сын старика Парамон был весь в покойную мать: белокурый, сероглазый, стройный, тонкий, покорный и тихий. Все эти качества, что привлекали к себе сурового Самсона в покойной жене, вызывали в нём чуть не ненависть к сыну. «Одно слово — мозгляк» — говорил он про него.

Жена Парамона, бесприданница Василиса, взятая им за красоту и силу с Пашенки из Глафиринского общежития, была баба ядрёная, румяная. Волос у неё был долгий,

чёрный, станет наутро расчесывать, почитай, вся до пят, что шубой, прикроется. Станет песни петь Василиса — засмеётся старик, буркнет: «Чего беса тешишь?», — а сам так и вопьётся в её уста алые, зубы белые, ровные, что кипень. И работать баба была ретива: лошадь запряжёт и отпряжёт, и в доме всё починит, состряпает на славу, и в огороде, и во дворе со скотиной — везде управится. И сама, что лебёдка белогрудая, чистая, повадная. Гляди, да не ахай!⁵

«Где Парамону, пащенку, с этакой бабой вожжаться», — думает Самсон и распаляется, глядя на красавицу сноху. Играет в нём кровь. Суров, суров старик, пора бы ему и о домовине думать, а у него совсем не то на уме. Станет он снохе что наказывать и руку на плечо ей положит, а плечо у молодухи, что камень, солнцем пригретый: крепкое, кругло, тёплое. Начал свёкор улещать её и словом, и подарками, да не на таковскую бабу напал. Ни в жисть ни таской, ни лаской не возьмёшь! Озорная и смелая была баба.

— Нашто, — говорит, — мне твои старые кости тешить, захочу, — говорит, — утеху, так и лучше найду, да мне, окромя Парамона, никого не нужно.

«Врёт, проклятая», — думает старик и как пёс-злыдень день и ночь сноху караулит.

Вот и весна пришла. Расковалась река и зашумела под окном резвыми волнами. Налетели пичужки малые, защебетали, разбились по парам, гнёзда строят; прилетели и журавли долгоносые, повисли углом над лесом и стонут, словно устали с пути-дороги. Лес оделся, зацвели в нём цветики голубые и алые, пахучие, поднялась трава зелёная, и ровно спешит земля отдохнуть после долгого холода, с каждым днём, с каждым часом так всё и расцветает и оживает вокруг.

С весною Парамон с рассвета до сумерек, а то и на всю ночь закатится, сети закидывает, на реке рыбу ловит, а Василиса всё дома одна и словно пышный мак распускается, и ещё пуще старика в соблазн приводит.

Садилось солнце, лес затихал, косой луч золотисто-красный задержался в верхушках и далеко, в самом небе, запылал в облаках, словно зарево. По дороге из леса ровным, бодрым шагом шла серая Ушанка — мохнатая, здо-

⁵ Сибирская поговорка: не ахай, т. е. не сглазь.

ровая лошаде́нка с глазовского двора. На дровнях лежала большая сосновая коряга, а возле шагал Самсон Силыч. Чем ближе подходила лошаде́нка к береговой дороге, откуда напрямик было до дома, тем суровее и холоднее становилось лицо старика, а сердце так и колотилось. Знал он, что в этот час встретит Василису одну и станет его баба озорная изводить отказом и смехом. Зверь-баба, ну да и на зверя есть своя ухватка!

Почуяла Ушанка овёс домашний и прибавила шаг.

Вот и улочка береговая, а вот и дом. Завернул старик к пустырю и брякнул в железное кольцо. Послышался топот бегущих ног, отодвинулся деревянный засов, и в раскрытых воротах появилась Василиса, румяная, в кубовом платье, туго схватывающем пышную грудь, с засученными рукавами, с платком, сбившимся на затылок от упрямых пышных кудрей.

— Здравствуй, батюшка! — крикнула Василиса и, взяв Ушанку за повод, повела её под навес. — Ты пошто такую колодину приволок? — спросила она.

Старик запер ворота на засов и, обернувшись к Василисе, криво усмехнулся.

— Небось, думаешь, сношенька, домовину долбить начну? Не рано ль меня в скрыню упрятать хочешь?

— Куда тебе, батюшка, в скрыню, гляди, каким ещё женихом выглядишь, — отрезала Василиса и блеснула своими белыми зубами.

— Ладно, смейся, коли смешлива так, — проворчал старик. — Парамон где?

— А где ж ему быть, — с сердцем отвечала молодуха, вся вспыхнув, — вестимо — рыбачит. Река ему весной — милый батюшка с матушкой, милей жены молодой, — и, смахнув рукавом непокорную слезу, молодуха схватила дровни за оглобли и, выгибаясь вперёд всей пышной грудью, вдвинула их под навес.

— Ужинать готово? — спросил старик, стараясь не глядеть на сноху.

— Ахти мне! — крикнула она и, привязав распряжённую Ушанку к кольцу, ввинченному в столб навеса, бросилась на кухню.

Как ни были состоятельны Глазовы, а старик не позволял взять в дом ни работника, ни работницу. «Не вели-

ки наши нужды, — говаривал он, — чтобы нам батраков держать. Не то обидно, что рот в доме лишний, — не объест, а то, что в чужом рту и чужой язык звонит, ну, а нам этого не требуется...».

Самсон Силыч вошёл на крылечко, хозяйски ошупывая перила и оглядывая безукоризненную чистоту ступенек, вошёл на галдареечку и через неё в первую комнату. Весь домик Глазовых состоял из четырёх комнат и большой кладовушки. В одной была спальня молодых с громадной кроватью, полной пуховых перин и подушек. Пол её был сплошь покрыт домотканым сибирским ковром из крашеной коровьей шерсти; единственное окно, низенькое, но широкое, выходило на улицу. Дверь была массивная и тоже такая низкая, что, проходя в неё, приходилось нагибать голову. На ночь и дверь, и окно закрывались изнутри деревянным щитом с двумя боковыми ручками, сквозь которые закладывался железный болт. Тут же у стены стояли укладки счётом до четырёх, одна на другой, одна меньше другой, каждая самостоятельно покрытая ковриком, — это были наряды молодухи, её собственный обиход. Затем ещё большая укладка с платьем Парамона. Небольшой комодик с узеньким наклонным зеркалом среди двух точёных колонок довершал всё убранство спальни. Вторая комната, приёмная, исполняла редко, раза четыре в год, своё назначение — она имела официальный холодный вид. Ореховый гарнитур, крытый синим атласом, узенькое простеночное зеркало с палочками, белые занавесы на двух оконцах, густо, почти сплошь заставленных геранями и ползучей зеленью. На круглом столе — скатерть, расшитая гарусами и шелками, работы Василисы. Под стульями и креслами, стоявшими почти круглый год в чехлах, — ковровая дорожка, тоже прикрытая серым рядном. Затем шла комната старика, в ней стоял большой стол, клеёный чёрной клеёнкой, на нём лежали книги и счёты, несколько карандашей и перьев и банка с чернилами; простые берёзовые стулья, железная узкая кровать, зиму и лето прикрытая громадным одеялом на медвежьем меху; единственное окно в комнате из мелких зеленоватых стёкол было всегда завешено пёстрой ширинкой. Оно, как и дверь, имело тоже щиты и железные болты. Посреди пола этой комнаты был люк с ввинченным в него железным кольцом, а под

ним узенькая лесенка шла в скрыню. Не любил старик наступать на подъёмные половицы люка. Было время, когда он спокойно и твёрдо ступал на них, но с тех пор, как Василиса поселилась в их доме, изменился старик, смутился разум его, расхвилилось сердце, и вместо мыслей о доброй бессрамной кончине, стал он жаждать жизни и плотских наслаждений. Издавна, от деда к внуку, Глазовы держались веры истинной, а потомки принадлежали к «скрывшимся». В их семье старики умели сами себе предел положить и конец жизни проводить о Боге, а не среди греха смердящего. Как рассудит глава семьи, что он вдосталь нажился, что в семье и без него теперь всё ладно, — вперёд пойдёт и объявит он всем: так и так, мол, брюхом и плотью пожил, пора о душе позаботиться. Побьёт он всем челом, прощения попросит и наутро или в ночь, чтобы людской глаз не видал, съездит он со старшим сыном в лес, купит или так раздобудет дубовую колоду. Привезут они её тайно домой и спустят в подполье, дадут ему туда же топор, рубанок, всякий инструмент, пук свечей восковых, саван возьмет он с собой, чистое бельё посмертное и спустится вниз. С той минуты, как спустится он с молитвой в скрыню, закроется люк, больше не увидит он лица человеческого и не услышит голоса людского. Станет он долбить себе колоду — домовину готовить. Каждое утро кто-либо из семьи на чистой зорьке откроет люк и с молитвой поставит на ступеньку лесенки туес воды и хлеба, и ежедневно ставят так пищу до тех пор, пока найдут её нетронутой. Ну, тут оставят его в покое, станут о душе его молиться, и в подполье с неделю никто не заглядывает. А потом всё его семейство возьмет по свечке в руку и сойдет вниз. Иного найдут по-хорошему: домовина выдолблена и крыша готова, стружки под себя уложены, и сам в белом саване лежит упокойником. Иной, бывает, что недомогся, возле помер, работу не кончил, ну, тому помогут и положат. Бывает и такой, что не вытерпит искуса, у самого подполья найдут его, значит, на выход просился, да сил не стало приподнять люк тяжёлый. Да только редко. А такого позора, чтобы не выдержал подвижничества и назад в семью вернулся, никогда ещё не бывало, всегда найдут все по-хорошему, по-христианскому.

Вот какого строгого обряда были Глазовы, вот о какой

скрыне и напомнила старику лукавая Василиса. Последняя комната, длинная и узкая, без окна, служила в доме молельной, в ней было два тябла образов в исправных ризах, висели лампы неугасимые, стоял аналой, на нём лестовки и книги священные в чёрных кожаных, лосных от старости переплётах, в ящике лежали связки катаных жёлтого воска налепов. Тут Василиса читала «Скитское Покаяние», пела стихири, а иногда, помимо священного служения, для услаждения мужа и свёкра читала им повесть об индейском царевиче Асафе, о лесах керженских, о чудном городе Китеже, что стоит более ста сотых лет скрытым от всех глаз людских на Нестиаре озере. Затем была ещё большая кладовушка с полками, полными посуды и всякого домашнего скарба, с укладками запасных мехов и материй — добра было много, да некому было на него радоваться, потому что ни света, ни свободы, ни говора людского не было в глазовском доме.

Вернувшись из леса, старик помыл руки, расчесал крупным гребнем свои седые кудри и длинную бороду, снял озям, надел домашний архалук и собрался идти ужинать. На пороге кухни он остановился, шибко билось его сердце. В большой чистой кухне на шестке пылал огонь, на столе, покрытом белым столешником, стояло блюдо с горячими шаньгами, на тарелке лежали грузди сухие солёные, посредине кипел самовар. Василиса, с платком, совсем почти слетевшим с головы, с громадной толстой косой, наполовину висевшей на спине, вся красная, кончала поджаривать леца с кашей. Большим поварским ножом она только что перевернула его на другой бок и, припустив на сковороду масла, потянулась за солью.

— Василиса, — хрипло, сдавленно проговорил старик. Молодуха вздрогнула.

— Да что ты, батюшка, и впрямь у тебя голос, как у упокойника, да и подкрался же ты неслышно, — и она спешно стала приводить в порядок косу и натягивать на голову платок.

— Оставь, и так ладно! — свёкор подошёл к ней вплотную и взял сзади за локоть. Он дышал тяжело, и глаза его горели, как угли. — Василиса!

— Ну, чего ещё, — молодуха рванулась, — сейчас леца подам, мигом готов.

— Оставь, — снова повторил свёкор и вдруг обхватил за грудь сноху, пригнул её к себе и жадно впился сухими горячими губами в её шею.

— Батюшка, опомнись! Батюшка, помилосердуй! Батюшка! У, дьявол старый! — крикнула вдруг Василиса, чувствуя, что ей не под силу бороться с сильным стариком, потерявшим окончательно сознание от прикосновения к её молодому, жаркому телу.

Рванулась Василиса, платок слетел с её головы, косы размотались; в безумной злости она вдруг плюнула свёкру в лицо и, вся трясась, стала торопливо оправлять покрывашку на голове.

— Дьявол старый, право слово! Парамону скажу, вот те Христос, скажу Парамону. Да ни в жисть тебе не владеть мной, ни в жисть! Да я лучше... — растерянный взгляд молодой женщины упал на большой поварской нож, и она в ту же минуту схватила его.

— Шалишь! — крикнул старик. — Довольно ты помытарилась надо мной, буде! С медведем справлялся, неужели с бабой не совладать, не хочешь добром—силой возьму, — хрипел он и снова полез к снохе.

— На, бери, коль нашёл! — крикнула она и вдруг полоснула себя ножом по горлу.

— Василиса, ума ты решилась! Василиса, ахти!

Старик отскочил в сторону, нож у Василисы выпал из рук и со звоном упал на пол. Молодуха сделала два шага, опустилась на лавку, вся обливаясь кровью.

— Святой Боже, святой крепкий, Никон-угодник! Пантелеймон целитель! — бормотал бледный старик. Волосы на голове его шевелились, он невольно пятился и вдруг, как безумный, бросился вон из кухни на двор и как был без шапки, едва справившись с засовом калитки, выбежал на улицу, в первый раз в жизни оставив честной дом Глазовых нараспашку открытым для всякого татя и вора проходящего.

За поворотом улицы, через три дома от Глазовых, в небольшом бревенчатом срубе жил молодой ссыльный доктор, в незапертом ставней окне его горел огонёк. Михаил Петрович Вошанов сидел у стола, подпёрши свою чёрную кудрявую голову рукой, и писал на родину. С каждым словом письма в душе и уме его вставали картины и люди

порванной прошлой жизни. Досадные слёзы, как крупные капли дождя, со стуком падали на дерево стола. Жуткая, чужая тишина стояла кругом его, и только большой серый мотылёк назойливо кружился над пламенем свечи, будто решив, но не имея ещё силы выполнить самоубийство. Остромордая Москва, лежавшая у его ног, вдруг зарычала и, оскалив белые зубы, поставив щетиной свой рыжий воротник, бросилась к двери.

Ясно было слышно, как кто-то топтался в сенях, шаря и не находя кольца двери.

— Цыц! — крикнул Вошанов на собаку. — Кто там? — и, захватив со стола свечу, пошёл к двери. — Кого принесло?

— Батюшка, дохтур, отвори дверь! Отвори, помирает она! Помрёт Василиса! — растерянно кричал чей-то голос, и рука всё так же тщетно царапала дверь.

— Назад! — крикнул ещё раз Вошанов озлобленному псу и отпер дверь: перед ним стоял старик Глазов, бледный, с безумными глазами и трясущейся бородой.

— Порезалась Василиса! Василиса, сноха... Спаси, Христа ради... По горлу ножом полыснулась. Озорная баба — стал укорять её за мужа, поучить хотел, а она ножом — зверь-баба!

— По горлу ножом?

Молодой человек быстро схватил свою шапку, крикнул собаке остаться, запер за собой дверь, и оба бегом пустились к глазовскому дому.

Окрутив передником горло, инстинктивно прижимая голову к груди, Василиса сидела на скамье, прислонившись к спинке, и чёрными, горящими, как уголь, глазами глядела на дверь. Всякая злоба замерла в ней, страх перед сделанным, жажда жизни и надежда на помощь смутными мыслями мелькали в её голове. Послышались торопливые шаги, в кухню вбежал молодой доктор, а за ним, как затравленный волк, дико поводя глазами, вошёл и старик.

— Льду, воды, уксусу, перевязок-тряпок, — кричал доктор, распорядясь.

Старик бросился исполнять.

— Ну, Василиса, показывай, что ты натворила, — спросил её ласково доктор и, подойдя, отвёл её руки от горла.

Нож, схваченный Василисой, по счастью, оказался тупой, да и рука её дрогнула, рана была не опасная: молодуха порезала себе только наружные покровы. Через час, перевязанная и успокоенная, она лежала одетая, как была, на лавке с подушкой под головой.

Как ни убеждал её доктор, не решилась она при чужом-то человеке, да раздевшись, лечь в кровать.

— Нет ли у вас знакомой женщины какой? Позвали бы к себе походить за Василисой.

— Сами выходим, никого нам не требуется, — угрюмо проворчал старик.

— Тётку Арину позвать, — сказала тихо Василиса, задрожавшая от одной мысли, что доктор уйдёт и она снова останется целые дни, а часто и ночи с одним свёкром.

— Тётку Арину хочет видеть больная.

— Недляче... — упрямо тряхнул головой Самсон Силыч.

Доктор читал в лихорадочных глазах больной, следивших за ним с невыразимой тоской, какую-то тайну и не только не выдал, в сущности, неопасного её положения, но, напротив, отвёл старика в сторону и объявил ему, что считает нужным дождаться её мужа, чтобы объяснить, как следует делать больной перевязку. «А за тёткой Ариной вы всё-таки сходите, как только вернётся ваш сын», — прибавил он настойчиво.

Из леса вырвался первый утренний ветерок и пробежал по реке, рябя и колыхая её сонные волны. Лёгкий туман беловатой, фантастической дымкой поднялся с воды и, редая, разрываясь, потянулся вверх. Из-за чёрного соснового бора вдруг брызнул пурпуровый луч, и затем медленно выкатилось на небо солнце, всё золотя и озаряя кругом. Вот на берегу в прибрежных кустах встрепенулись птицы, зазвенели песни, защебетали, зачирикали воробушки. Откуда-то снялись журавли и пронеслись стаей, оглашая воздух жалобным клёкотом. На реке показались две лодки, одна за другой, вёсла, как громадные крылья, мерно взмахивали и падали в воду; в первой лодке плыл Парамон, в другой — мальчик лет четырнадцати, Ларька Мачихин, сосед Глазовых.

Причалив к берегу, Парамон выскочил, держа чалку, привязал лодку к вбитому пню и осмотрелся кругом. Лицо его было светлое, довольное, белокурые волосы кудрями

висели на лбу; серые, лучистые, задумчивые глаза глядели вдаль на восходящее солнце.

— Ишь ты, какое благодное, ласковое, — бессознательно говорил он сам себе, — чай, сколько людей теперь на тебя, око божье, глядят и радуются. Всё-то ты пригрешь кругом, всё осветишь, от горы высокой до малой козавки, что в траве ползает, впрямь ты божье око, — и Парамон, глядя на солнце, истово крестился двуперстным знаменем. Затем он снова взошёл в лодку и стал отвязывать от кормы сажалку — ивовую корзину, полную наловленной им рыбы, которая так и плыла за ними в своей сквозной темнице. Он вытащил корзину на берег и, приоткрыв, глядел на рыбу, быстро упавшую теперь на дно. — Что, рыбушка, плохо тебе без воды живётся, куда плохо, да только ещё плоше будет, как в ушицу да на сковородочку к Василисе попадёшь, а только, милая, ничего не поде-лаешь. Мне дан предел ловить тебя, а тебе положено кормить меня. Вот что. Эй, Ларька, подсоби, что ль!

— Ай подсоблю, — зазвенел голос мальчугана. — Кидай тутотка! Один справлюсь, — и, причалив, Ларька в свою очередь выпрыгнул на берег и стал возиться с вёслами и ключинами обеих лодок.

Парамон с корзиной шагал уже к своему дому.

«Спит, небось, молодуха, — мечтал он. — Спит моя красота Василиса, поди, гневалась вчера, как я не вернулся». И, подойдя под окно своей спальни, он три раза ударил в оконницу. Не успел он дотронуться до кольца калитки, как она перед ним распахнулась, и Парамон отшатнулся, чуть не выронив корзину с рыбой. По первому взгляду он не узнал своего отца. За ночь старик осунулся, лицо его приняло землистый оттенок, седые спутанные пряди висели на лбу и на щеке.

— Батюшка! Ты чего? — промолвил, очнувшись, Парамон.

— Ладно, входи, не на улице толковать, — и, заперев за сыном дверь, старик зашагал вперёд. — Рыбу-то поставь под навес, цела будет, ступай ко мне!

— Василиса... — начал было робко Парамон.

— Сказано, ступай за мной, дело есть, — ещё суровее проговорил отец, и оба от сеней повернули налево, в комнату старика.

— Недужится твоей молодухе, дохтур у неё.

— Дохтур? — Парамон рванулся к двери, но старик держал уже его за руку.

— Чего мечешься? Наперёд выслушай. Избаловал ты бабу, стала она у тебя, как порченная. С тоски аль с чего там, рвёт и мечет, подступу нет. Приехал я вчера из леса, слово за слово и согрubiла мне твоя Василиса, хотел я её отецким способом поучить, да она у тебя, говорю, не баба — зверь, нож схватила, с ножом было на меня бросилась, а как отшвырнул я её, так тем же ножом себя польснула.

— Василиса... себя ножом? О, Господи! Жива ль? — губы Парамона побледнели, и весь он трясся. — Жива ль? — Повторил он ещё раз, с мучительным страхом глядя на отца.

— Жива... Чего бабе достанется. Да чего ты трясёшься-то сам, словно в лихорадке, говорю: жива, за дохтуром бегал, а только ой, Парамон, зла она у тебя, лукава, ехидна, обнесёт она тебе меня. Ну да ладно, ты мой нрав знаешь, в дугу согну, в щель заколочу, а мытариться над собой не дам, на то я отец в доме, — и старик снова выпрямился, сверкая глазами. — Ступай теперь к жене, да помни — со мной разговоры коротки...

Прошёл почти месяц. Василиса выздоровела. Парамон, как прикованный, сидел дома; и сын, и невестка ходили покорные, но сквозь их тупое, угрюмое молчание старику слышалась ненависть. Пригнула их тяжёлая сила. Но безмолвный и полный разлад царствовал в этой маленькой семье. Сурового старика ровно пришибло, из гордого своеволья осталась одна озлобленность, и та не чуждая какого-то безотчётного страха. Когда по-прежнему все трое собирались в молельной, голос Василисы, читавшей молитвы, звучал страстной угрозой: «Грядет мира помышление греховно, борют человека страсти и помыслы мятежны, помилуй, Господи, раба своего, очисти его, окаянного, скверного, безумного, неистового, злопытливого, неключимого, унылого, вредоумного, развращённого». Эту молитву Василиса стала читать теперь утром и вечером, и каждое слово её — мерное, холодное — как хлыстом ударяло старика. Когда она подавала ему обед, старик со страхом дотрагивался до отдельной мисочки. «От-

равит, окаянная, окормит, как пса шелудивого», — и он со страхом и отвращением принимался за пищу. За этот месяц старик одряхлел, как за долгую болезнь, борода его и волосы стали окончательно седые, глаза потухли и только изредка горели недобрым огнём, как у затравленного волка. Всё чаще и чаще старик стал оставаться один, и тяжёлая, неотвязная дума угнетала его. Подъёмная половица, казалось ему, скрипела под его ногами и без слов напоминала ему о скрыне. Брался ли он за топор или за другой инструмент, точно голос ему шептал: «Пора, пора и за настоящую работу». Ночью Самсону снились отец и мать, похороненные тут же, под домом; он просыпался, весь облитый потом, и бессвязно шептал: «Ладно, без вас знаю! Скоро ужо!».

Наконец, после одной из бессонных ночей, после молитвы, которую Василиса прочла с особенным злобным ударением, старик не выдержал и кликнул сына.

— Скажи жене, чтоб весь дом прибрала, три дня, окромя хлеба и воды, не есть и огня не раскладывать, а на четвёртый едем с тобой в лес за домовиной.

— Ой ли? — вскинул на него Парамон холодные серые глаза.

— Сказано... — и старик повернул в молельню.

Парамон вошёл в кухню к Василисе и шёпотом передал ей наказ старика.

— В скрыню хочет.

— Ох, не верится, — покачала головой Василиса, — улестит он тебя, и станешь ты молить его подождать, — и молодуха прижалась к мужу, глядя на него глазами, полными страха и тайной надежды.

— Отсохни язык мой, коли слово скажу, — уверял её Парамон, прижимая к груди и как бы сам пугаясь своего голоса, он шептал ей в ухо: — Годи, Василиса, отдохнём.

Три дня семья Глазовых питалась хлебом и водой. Весь дом был прибран и очищен, как перед светлым праздником. По вечерам молодуха шила из нового холста рубаху и саван. Крупные капли слёз непрощёной обиды, не выговоренной злобы падали на шитво. На четвёртый день, раньше утренней зари, по безмолвному лесу шла та же Ушанка и тащила на дровнях громадную дубовую колоду, а по обе стороны, точно разделённые этим будущим гробом,

шли отец и сын. Парамон угрюмо молчал и глядел в землю, старик, напротив, осилив себя и решившись на последний долг, как бы нашёл спокойствие. Грудь его дышала ровней, голова поднялась, и в гордых орлиных глазах снова загорелся огонь силы и власти. Он глядел на алевшие верхушки деревьев, слушал первый полусонный щебет птиц, и давно желанное спокойствие нисходило в его душу. Инстинктивно, без определённых мыслей он прощался с мати-природой, обрывал всякую связь с этим миром и, положив правую руку на колоду, с каждым шагом, казалось, становился бодрее и спокойнее. «Ладно, — повторял он по своей привычке мысленно, — пожито брюхом, пушай теперь душа тешится».

В последний раз вся семья собралась в молельной, старик истово крестился и неустанно бил земные поклоны. Василиса громко и отчётливо читала: «Изми мя от врагов моих и от восстающих на меня, избави мя, изми мя от руку дьяволи, отжени от мене омрачение помыслов, дух нечист и лукавствующий; избави мя от сети ловчи и не вниди в суд с рабом своим». Каждое слово отдавало в сердце старика особым сокровенным смыслом, и он беззвучно повторял молитву. Затем старик поклонился в ноги сперва сыну, потом снохе, но вместо обычной и длинной формулы он мог только проговорить: «Простите, коль согрешил».

— Бог простит, — отвечали молодые люди и в свою очередь сотворили троекратное земное метание перед стариком.

Затем все трое, взяв по восковой зажжённой свече в руки, спустились в скрыню, куда заранее уже отец с сыном успели скатить колоду. Там снова прочли молитву, снова безмолвно поклонились друг другу. Затем старик, прилепив к колоде три свечи, встал на молитву, а Парамон с Василисой поднялись в горницу, заперли за собой люк и молча разошлись каждый к своему делу.

С того дня зажили молодые одни. Повеселела, поздоровела Василиса, снова голос её, властный и весёлый, зазвучал по всему дому и на дворе. С особым злобным звуком стучали её каблуки, когда ей случалось проходить по комнате с люком: там в скрыне долбит старик свою последнюю домовину, и Василиса ежедневно, открыв на ут-

ренной заре люк, со словами молитвы, в которых звенит торжество, ставит ему на лестницу хлеб и воду.

Ожил и Парамон. Знал он, что, раз сойдя в потайник, старик не обесчестит свою седую голову, не навлечёт на себя проклятия божеского и уж свидится с ним только на том свете. Новая забава завелась у Парамона: он устроил себе в дальнем саду пчельник и стал дневать и ночевать на пасеке. Рои отсаживает, новые колоды заводит и снова глядит ясно на весь свет божий, и снова ласково и громко разговаривает и с лучом солнечным, и с былинкой нежной, и с пчёлкой трудовой. А к Василисе тем временем повадился ходить гость молодой — тот самый доктор из ссыльных, что рану ей залечивал.

Подошёл июль месяц, лето разыгралось, ночи пошли жаркие, звёздные, воздух размор нагоняет. Молодуха расцвела, что розан садовый, порой забудет обряды строгого глазовского дома, зальётся песней какой, и обрывки её грудного сильного голоса страстными, сдавленными звуками доносятся до слуха старика.

Заслышит старик эти звуки и задрожит, прислонится к домовине, наполовину выдолбленной, и станет шептать молитвы.

«Грядёт мира помышление греховно, борют мя страсти и помыслы мятежны...» — шепчут уста его, а в душе просыпается другой голос и заглушает молитву: «Ах, Василиса, красота писаная, щёки алые, что маков цвет, горят, уста жаркие, грудь пуховая, очи звёздчатые, обнять бы, прильнуть хоть раз к тебе, пагуба женская! Небось, одна ночи коротаешь? Не умеет блюсти тебя Парамон мозглявый. Выйти, подкараулить ночью? Не отобьёшься, нехватишь нож больше!». Вздрогнет Самсон от мыслей своих греховных и снова забьёт поклоны. Шепчет: «Согрешил есмь душой, и умом, и сном, и леностью, во омрачениях бесовских...».

А сверху вдруг снова доносится до него топоток. Видно, бежит сноха Василиса, бежит резво, весело, ровно встречает кого. В сени ринулась, и новое чувство ревнивой тоски охватило «скрывшегося». А что как завёлся у неё мил-дружок? Что, коли тут, в его честном доме, над его живым гробом да коротает она жаркие летние ночи с другим потайным, заветным?

Ой, много крови ещё в Самсоне, ни пост, ни молитва, ни подвижничество не уходили старого ворона, загорелись глаза его белым огнём, выпрямился стан и пополз он по лесенке под самые половицы, припал к ним ухом, да нет, колотит в нём сердце, шумит, гудит кровь в ушах, блазнит его сатана. Слышатся ему поцелуи, смех, что горлинкино воркованье, и чьи-то сильные мужские шаги. Блазнит ли лукавый, или взаправду то слышит он?

«О, Господи, Господи, отжени, спаси!» — шепчут потрескавшиеся, запёкшиеся губы, и лезет он снова назад и со стоном бьёт поклоны, пока без сил не упадёт на стружки возле своей домовины.

День и ночь Самсон узнавал в своей добровольной темнице по звукам, доносившимся к нему сверху. Зная хорошо обычай своего дома, он почти по часам угадывал весь день. Он чувствовал, когда Парамона нет дома, когда Василиса уходит одна в свою спальню... Но последние дни он совершенно сбился с толку: казалось, в доме всё переменилось, пошли новые порядки, резче доносился к нему смех Василисы, чаще слышались высокие ноты её пения, а то вдруг среди дня наступала странная, жуткая тишина, томившая, давившая старика, заставлявшая его метаться в странном подозрении.

И вот Самсон не выдержал — пришёл его страшный день.

Проснувшись как-то, весь измученный жарким, не старческим сном, он сделал уставное число поклонов, прочёл молитвы, нащупал в полной темноте сернички, зажёл свечу восковую, снова помолился и принялся за работу. Прошло немного времени, как он услышал шаги Василисы. Затем стукнула половица, бледный дневной свет скользнул в его подполье, молодая женщина ставила по обыкновению на первую ступеньку хлеб и воду. Против правила она не произнесла при этом условной молитвы и, не думая о силах старика, не постаралась поставить пониже питьё и пищу. «Ровно псу поганому», — подумал, дрожа, старик. Половица стукнула, закрылась, и слышались удаляющиеся шаги молодухи. До сих пор обязанность ставить пищу исполнял Парамон, но очевидно, что сегодня он не ночевал дома и скорого возвращения его не ждали. Прошло ещё сколько-то времени, старик не дотронулся ни до воды, ни до хлеба, его била лихорадка.

Вот снова он слышит тот быстрый, радостный топот Василисиных ног, который последнее время так смущал его. Звякнула входная дверь, и глухо, как сквозь вату, долетел до него смех молодухи. Сердце старика заколотило, он бросил топор и, не помня себя, полез по лесенке, дрожащей рукой он коснулся крышки люка, но тут же, как обожжённый, отдернул руку.

«О, Господи, Господи, что творю? Чего жажду? Царство небесное меняю на огонь дьявольский неугасимый, — он быстро сошёл вниз и, снова схватив лестовку, стал на начало. — Запрещаю тебе, вселукавый душе, диаволе, не блазни мя мерзкими и лукавыми твоими мечтаниями, отступи от меня и отыди от меня, проклятая сила неприязни, отыди в место пусто, в место бесплодно, в место безводно, иде же огонь и жупел и червь неусыпающий... Смеётся Василиса... вот, вот смеётся, — зашептал он, уловив звонкий смех молодухи, — и не одна она, не одна. Кто бы быть то мог в моём дому? — И старик встал с пола, лестовка выпала из его рук... — Верно, верно, голос слышу... и не Парамонов то голос».

Снова старик полез вверх и на этот раз трепетной рукой приподнял половицу. Узкая полоска света резанула его усталые глаза, и он невольно нагнул голову, но через минуту с ужасом приподнял её и стал прислушиваться: теперь до него ясно долетел чужой, но как будто знакомый ему голос.

— Так Парамон не вернётся?

— Говорю нет, — весело затараторила Василиса. — Вечор прибежал на минуту, велел старика блюсти, захватил с собой обиходцу и сказывал, до ночи не будет.

— Ну, а старик жив ещё?

— Не слых, старый грехотвор! Рази такой преставится, его и смерть не возьмёт! Веришь ли, дружочек мой облюбованный, душа моя изныла от думы, что бродит там, как дух проклятой, под полом, ино думаю: вылезет он и придушит меня...

— Что ты, голубка, что ты, ясынька, зачем у тебя мысли такие? Помер твой старик, такой он крепкой веры, что ему не может быть возврата; родные-то знают, что он «скрылся».

— Вестимо: все, кому ведать надлежит, знают, что пошёл он на подвиг. Все молятся за него.

— Ну, видишь, ласточка, а ты боишься! Эк ты неразумная.

Послышались поцелуи.

— Яхонт ты мой самоцветный, сладость безмерная, — повторил, замирая, голос Василисы.

«Дохтур! — прошептал старик. — Это дохтур! Его голос» — и, отворив люк, он вылез из подполья, встал и выпрямился. Лицо его теперь выражало такое безумие, которое согнало с него всякое человеческое подобие. Беспорядочные космы его седых волос сбились в войлок и падали на лоб и на виски. Глубоко впавшие чёрные глаза горели бешенством. Из-под жёлтых щетинистых усов белелись ещё крепкие широкие зубы, которые щёлкали и скалились, как у голодного волка. В саване, в валенках высокий худой старик был больше похож на привидение, чем на живого человека. Постояв минуту и оглядевшись кругом, он неслышно скользнул из комнаты и схоронился за выступом большого шкафа.

Теперь голоса, смех и поцелуи доносились до него ясно. Целуются, милуются, ведут промеж себя речи медовые, любовные Василиса и доктор.

Слушает старик и трясётся, в голове его ровно туман стоит, обморок ошибает его. Страхнулся он да вдруг шась из своего угла и вошёл в боковушку.

Василиса сидела на кровати в объятиях молодого доктора Вощанова. Её тёмно-серые глаза с поволокой были полузакрыты длинными ресницами. Волосы, не прикрытые платком, рассыпались пышными волнистыми прядями, ворот её тёмного ситцевого платья был расстёгнут, и в разрезе его стояли две упругие белые волны груди. Доктор сидел лицом к дверям и первый увидал старика.

Он страшно вздрогнул и, оттолкнув от себя молодую женщину, вскочил на ноги.

Испуганная Василиса повернула голову и закричала истошным голосом. Старик, не сводя со снохи горящего, как угли, взгляда, сделал шаг вперёд. Доктор бросился вон из комнаты и без шапки, пробежав двор, не заперев за собой калитки, исчез за поворотом улицы.

Старик и глазом не повёл за ним. Как зверь бросился он на молодуху, схватил её поперёк тела, донёс до открытого люка и бросил её в подполье, как сноп пшенич-

ный. Затем он сам спустился туда, приперев за собой люк. Василиса, оглушённая падением, лежала без движения. Старик сел около неё. Теперь молодуха была в его руках, но порыв бешенства прошёл, старик, прислонившись к колоде, весь опустился в изнеможении, нижняя челюсть его тряслась, веки упали на глаза, он с трудом переводил дыхание. Так прошло несколько минут.

Вдруг Василиса шевельнулась и застонала; падая, она инстинктивно ухватилась за лестницу и, только сильно зашибив плечо, на минуту потеряла сознание.

Услыхав стон, старик встрепнулся. Длинные тёмные ресницы Василисы дрогнули, и глаза её, ещё затуманенные, встретились с диким взором батюшки свёкра. Минуту одна пара глаз впиалась в другую, и к обоим вернулось сознание того, кто они и где находятся. Несмотря на страшную боль в плече, Василиса попробовала вскочить на ноги, но тут же осела снова, голова её кружилась.

— Проклятый, проклятый, — с бешенством кричала она, — обет нарушил, из скрыни выполз. Анафема и срам на твою голову! Годи — дай вылезть, всем, всем про подвиг твой расскажу: не молитва, а блуд обуял тебя...

— Молчи, змея, молчи, сука похотливая... пришибу, — заикаясь, шептал старик, у него не хватало голоса. — Молчи, голова непокрытая.

Василиса хватилась за голову — платка на ней не было...

— Ты содрал, ты, старый дьявол, годи, годи, Парамон сейчас вернётся, учну я голосить, небось, услышит, и не выйду отсель, пусть всё знает, всё как есть.

— А дохтур? — заревел старик.

— Какой такой дохтур? — нахально закричала Василиса. — Где дохтур? Приверзилось тебе, старому блудне. Дьявол блазнит тебя, одна я была, как есть одна, когда ты вылез из скрыни, притаился за шкапом, да в то время, как я волосы свои чесала, и свалил меня к себе ровно лесовик проклятый.

— Так и скажешь? — старик поднялся.

— Так и скажу, всем скажу, всему народу оповещу, каким ты делом в скрыне занят.

Старик блуждающими глазами оглядел скрыню: казалось, он теперь только пришёл в себя и понял весь ужас своего положения. Голос Василисы доносился до его боль-

ных нервов, как если бы она кричала ему в уши, тогда как её он едва мог разглядеть. На громадной колоде, стоявшей на низеньких козлах, горели прилепленные три довольно толстые свечи жёлтого воска; их трепетное пламя освещало небольшой круг, в нём нежным пятном выступало бледное лицо Василисы, на котором ярче свечей горели ее злобные глаза. Кругом в углах скопилась темнота, и только в одном, переднем, крошечной синей звёздочкой мерцала неугасимая лампада, за которой тускло поблёскивала старинная сканая риза на иконе Богоматери. Итак, всё рухнуло, последний приют посрамлён. В той самой святой скрыне, «куда имут бежати и хорониться от многопрелестного мира», он был уловлен антихристом в бесовские его сети и должен теперь погибнуть погибелью вечной. Всему причиной Василиса, она уловила его прелестью бесовской, или нет, не она, а сам дьявол воплотился в неё, позавидовал его подвигу и отнял с главы его венец мученический, не дал ему обрести себе конец праведный. «А, будь ты проклят, анафема! Уйди, уйди от меня, окаянный!» — вдруг закричал он, осеняя Василису крестным знаменем.

— Реви, реви больше, скликай чертей! Вот Парамон вернётся, он те покажет, каков ты угодник, он те выволочет на свет-от божий! — Василиса злобно расхохоталась.

Старик вдруг схватил топор, лежавший в колоде, и бросился к Василисе: «А, дьявол, смеёшься?».

Василиса не успела вскочить на ноги, как он, замахнувшись обеими руками, ударил её топором по голове...

— Господи Иисусе, Господи Иисусе! — зашептал он, почувствовав струю горячей крови, брызнувшей ему в лицо и на руки. — Господи Иисусе... Свят, свят, свят Господь Бог! — пятясь, он выронил топор из рук и, опустившись на дрожавшие колени, отполз в самый угол подполья, упал ниц и замер, закрыв руками голову.

Село солнышко, оставив на небе потухать последнюю румяную полосу. Замолкло гудение пчёл, заснули колоды. Спят и цветы духовитые в палисадничке при пасеке. Па-

рамон распрощался со стариком Пахомом, который жил тут всё лето в рогоженном шалаше, и направился домой.

— Беспременно завтра ведро будет, — твердил он себе по привычке вполголоса. — И хорошо же на божьем свете! Ахти хорошо! — Он окинул глазами весь свой сад и цветничок, и полянку с колодами. Не ушёл бы от эдакой благодати, да к Василисе надо. Небось, соскучилась молодуха? А и впрямь одной скучно. Поспешать надо. Э-эх, виноват я перед ней, всё обещал работницу в дом взять — не для помощи, а чтобы одной время не коротать. А и то взял бы, да сама Василиса последнее время брыкается, то нудила взять, то теперь не надо — одной сподручней, то-то бабы!

Парамон тихо засмеялся и быстро зашагал к дому. Вот повернул он за угол, и захолонуло сердце его. Дело невиданное: калитка благочестивого дома Глазовых, ровно непотребная кабацкая дверь, стоит открыта для каждого проходящего. Он вошёл во двор и с ужасом наткнулся на отпертую же дверь дома. Шагнул дальше, ещё, глянь — в боковушке на пороге шапка чужая лежит. Ай воры-лиходеи посетили дом? Но кругом было всё тихо, тихо, как в могиле... Парамон обошёл весь дом... ни души! У него не хватило сил кликнуть Василису. Наконец он остановился над люком, а там что? И, не дав себе никакого ответа, он приподнял люк, нагнулся в его тёмную пасть и, объятый страшным предчувствием, крикнул дрожащим голосом:

— Батюшка! Ай батюшка!

Ответа не было.

— Батюшка, аль преставился?

— Парамон! — услышал он ровно чужой голос. — Подь сюда, Парамон, здесь я...

Парамон сошёл вниз. Три восковых налепа догорали, оплывая по краям колоды, синенькая неугасимая вспыхивала неровным трепетным пламенем, курясь и дымя последними каплями масла, тяжёлый, странный запах стоял в подполье, но Парамон ничего не мог разглядеть, кроме колоды.

— Батюшка, аль помираешь? — спросил он ещё раз неровным голосом.

— И то, помираю, нету силы встать, ступай сюда.

— Ай Мать Троеручица, Богородица Всепетая, неуга-

симая-то хилится, помрёшь, батюшка, без огней ангельских. Годи малость! — и Парамон, схватив из угла большую маслянку, наполнил лампаду, от неё шагнул к колоде и одну за другой зажёл толстые «катанки». Затем, встряхнув кудрями, занёс Парамон правую руку для креста и вдруг замер: яркий свет больших свечей осветил какой-то лазоревый клочок, и Парамон тупо подумал: быть Василисино платье? Он вытянул шею и остановившимися круглыми глазами глядел — за лазоревым клочком обрисовалась белая рука, высокая грудь и... что-то красное, страшное.

— Василиса! Василиса! — вырвался вдруг страшный крик из груди Парамона.

Он бросился к трупу, припал на колени, как безумный, стал руками ощупывать её лицо, грудь, руки.

— Батюшка! Батюшка! Упала, знать, молодуха, тебе пищу ставивши! Знать, омор ошиб её! Мертва, слышь, мертва!

— Не падала жена твоя, убита она, я её жисть топором решил, — проговорил ясно и громко старик.

— Топором... Василису? Ты, батюшка?

Парамон нагнулся к старику. Теперь свет трёх налепов и лампы дозволил ему видеть отца. Старик сидел, вытянув ноги, опираясь спиной о стену, лицо его было бело как мел. Сын нагнулся ещё: глубоко провалившиеся глаза глядели на него сурово и спокойно, бескровные губы ясно произносили слова: «Садись, Парамон, слушай, а то, неровён час, помру, ничего не узнаешь».

Словно оборвалось что в груди Парамона, туманом глаза застелило, ноги подкосились, он опустился на землю.

— Сказывай... слушаю, — проговорил он, как во сне.

И старик повинился во всём: и в похоти своей греховой, и в ласке насильничей, от которой полыснулась молодуха ножом; и как порешил он искупить грех свой в безмятежной скрыне, стоя на молитве несходно, от работы над домовиной рук не покладая, уст не смыкая от словословия Божия; и как стал его дьявол подустивать. А силен дьявол, враг рода человеческого, горами качает! И стал он ему творить сонные мечтания, представлять видения неподобные и в них обнажать перед ним всю Васили-

сину красу пагубную. Голос старика надорвался, трудно было сказать ему последнюю, страшную истину: И распался я, и вышел из скрыни...»

— Из скрыни? Вышел? Батюшка! Из скрыни? — Парамон затрясся.

Невиданное, неслыханное то было дело — надругался старик над крепкой верой предков, накось, какое дело, из скрыни!..

Сказал старик, как за шкафом он притаился, как, тайну Василисину узнав, обуял его гнев непоборимый, как схватил и бросил он сноху в подполье; и как стала она язвить и грозить и змеёй быть, самим дьяволом перед ним извиваться; и как, себя не помня, сотворил он брань с нечистым, рассёк топором ей голову.

Встал Парамон и подошёл к Василисиному трупу, припал головой к груди её мёртвой и глухо зарыдал:

— Ой, молодуха, молодуха, не моя ль на тебе вина? Не ухоронил я тебя, не уберёг от дьявольского соблазна, променял я тебя на речушку бурную, на солнышко жаркое, на пчёлку гудящую. Ой, Василиса, Василиса моя, не откроются больше уста твои алые, не блеснут твои глазоньки ясные!

— Ладно, буде, — сурово раздался голос старика. — За мученическую кончину простится ей грех её, и в смерти своей приобретёт она бессмертие. Ступай, Парамон, не смущай скрыню стенаньем и рыданьем твоим, смерть и ко мне подходит, знаю, слышу. Прощай. Прости, коли можешь.

Парамон встал.

— Прощай, коли так, батюшка. Богу прощать тебя, я тебе не судья. — Он дошел до порога, поклонился трижды земным поклоном. — Прощай, Василиса! Нет у меня больше ни жены, ни отца, ни дома — гнезда родного. Прощайте!

Парамон поднялся по лесенке, вышел в горницу, закрыл за собой люк и остановился. Снова ему бросилась в глаза валявшаяся в дверях второй комнаты шапка. Сразу всё сказанное стариком ожило, воплотилось. Вот шкаф, где притаился старик, а вот... Он сделал несколько шагов вперёд: вот горенка спальная открыта, вот поруганная постель брачная, вот — он нагнулся к полу и, весь дрожа,

поднял Василисин лазоревый платочек, вот и покрывашка головная, стыдобушка женская покинутая лежит. Шатнуло Парамона, ровно в грудь кто его ударил, горло сдавило, зарыдал парень без слёз, одной мукой несказанной, что грудь его рвала. Всё поругано, всё. Молодуха честь потеряла, старик из скрыни вышел! Подсёкся кедр ливанский незыблемой веры честного дома Глазовых. Погасился «свет тихий», отступилась Мать Троеручица от дома сего! И вдруг, всё прерывая, всё превышая, охватила его лежавшая на дне души, несознанная им вовремя любовь к жене Василисе.

— Василиса! Василиса! — закричал он, бросился назад к скрыне, припал на запертый люк и забился головой о половицу. — Василиса, молодуха моя! Лебедь белая, зорька румяная, ластовка сизая. Ой, Василиса моя! Померла, померла! — Он вскочил. — Сам твой гроб забью, сам и склепу твою навеки закрою. Пусть ничья нога не ступит здесь больше, пусть ничья рука не рушит здесь ничего. — Он бросился в кладовушку, принёс оттуда молоток и большие гвозди.

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». Он трижды поклонился земно, трижды поцеловал подъёмные доски и ударил молотком по первому гвоздю. Гулко раздался по пустому дому первый стук молотка. Парамон забивал скрыню. Глухо отдавались удары в скрыне, сыпалась с потолка мелкая земля на мёртвый лик Василисы, и ровно колокол вещей отдавались те удары в ушах старика.

«Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею... иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Со святыми упокой...» — шептал старый Самсон, припав к земле головой.

Забив скрыню, Парамон вышел из дома. Положил на пороге его три земных поклона и, ничего не трогая, ни крохи не вынося из него, повесил на двери большой железный замок. Проходя двором, он услышал ласковое ржание — то Ушанка почуяла хозяина.

«Добро, лошадушка, не пропадать скотинке! Годи, Пахома пришлю». Заперев калитку большим железным ключом, Парамон, не оглядываясь, покинул дом. Миновав пустырь, он пошёл берегом реки. Она по-прежнему несла перед ним свои стальные волны, на дне её весело играла

рыба, и там под кудрявой сосной у выгона чернела лодочка, и оттуда с тихим ночным ветерком доносился голос Ларьки Мачихина, ставившего верши:

*Как по речке по широкой
Мимо гор Кирилловых,
Мимо горы Оползень
Святой старец держит путь...*

Парамон вошел в густой зелёный бор, тот самый, из которого недавно ещё вывез он с отцом домовину — колоду дубовую. Ночь наступила совсем, в лесу было темно и тихо. На небе одна за другой вспыхивали яркие звёздочки, вот и полный месяц выкатился из-за верхушек кудрявых кедров и облил серебристым лучом все лесные прогалки. Зашагали по ним тени узорчатые. Смолистый знакомый аромат обвеял больную голову Парамона, и природа, которую так бессознательно, страстно любил Парамон, словно отогрела его страдающую душу. Растопился горе-камень, лежавший на сердце его, потоком хлынули из глаз его слёзы, вздынул он руки к небу высокому: «Ах, ноченька, ночушка тёмная! Ах, звёздочки, божьи лампадушки! Ах, ветер, дыхание ангельское! Ах, бор зелёный, дремучий! Отныне вы — мои и дом, и родина, вы и судьбы, и милостивцы мои!»...

Полвека прошло с тех пор. Тайна глазовской скрыни не была нарушена. Соседи и сородичи были всё такие же «верные христиане», у каждого дома была своя жизнь, а может, и своя тайна, свары варить, доглядывать да дослушивать некому было. Парамон скрылся в дальний скит и там отдал в своё время душу Господу Богу. Нашлись Глазовы сродники, племянники старика Самсона, и снова отперли дом и тихо, степенно зажили в нём. Только измельчали людишки, скрыня не манила в себя никого, и на подвиг иноческой кончины не было охотников. Скрыня стояла забитая, но все верили, что в ней живёт душа старика Самсона, по временам под полом слышался стон и было похоронное пение.

В тот год, как пошла постройка Т-ской железной дороги, и инженеры объявили, что для нового подъездного пути будут отчуждены и скрыты дома, шедшие по косогуру реки, в Глазовом доме жила вдова Глазиха со своим

малолетним сыном Гришуткой. Она поклялась умереть на пороге своего дома честного, но не дать его на поругание и разрушение пришлым анженеришкам.

XII

Александр Павлович Вязьмин

Инженер Александр Павлович Вязьмин вместе с товарищем своим Сергеем Петровичем Козловым нанял в Т. дом с тремя дворами, пристройками, баней и садом, словом, целую усадьбу за 25 рублей в месяц, т.е. по небывало высокой цене для города. Рассчитывая, что судьба закинула их сюда на целых три года, они решили жить со всевозможным комфортом: купили себе в татарских юртах пару лошадей, выписали из Екатеринбурга два коробка казанской работы для лета, две кошёвки — для зимы, сёдла, чтобы на тех же конях ездить верхом, наняли себе кухарку Татьяну, жирную, продувную бабу, ловкую на все руки. Та пристроила к ним для «убирки» комнат и чинки белья свою племянницу Аришу, девицу скромную и круглую, как репа. К лошадям понадобился кучер, и взяли какого-то парня Семёна из «рассейских» ссыльных, а так как дворы не могли остаться без караульного, то сам собой завёлся у ворот какой-то черномазый Абдулка. С ним вместе на дворе появились и две громадные рыжие лайки — Шайтан и Камка. Словом, дом наполнился и, несмотря на то, что всё это существовало на счёт инженеров и тянуло с них чем попало, им жилось привольно, покойно и сравнительно с Петербургом недорого.

Дом, нанятый инженерами, стоял в заречье, недалеко от крутого моста через реку, соединявшего эту часть города с центром. Главные ворота выходили на широкую улицу, всю выложенную одубиной. Напротив и рядом с домом стояли такие же дома-поместья разных кожевенных заводчиков, за задними же воротами третьего двора шла длинная пустая улица, по которой с противоположной стороны тянулся бесконечный высокий забор, выкрашенный в цвет крови. За этим забором день и ночь слышалось бряцанье цепей и свирепый лай собак, охра-

нявших громадный кожевенный завод богача Круторогова. По всей улице стоял тяжёлый запах крови и одубины.

Дом, занимаемый инженерами, был деревянный одноэтажный, в нём по сибирскому обыкновению было удивительное количество окон, что придавало некоторым комнатам, густо заставленным притом цветами, вид каких-то оранжерей. Мебель была времён Александра I: тяжёлые жёсткие кресла и стулья красного дерева с медной прожилкой; узкие длинные зеркала, перевязанные палочками; громадные пузатые шкафы с бронзовыми ручками у ящиков; потолки, расписанные амурами и гирляндами фантастических цветов и фруктов; стены под белый мрамор и железные круглые печи, окрашенные по местному обычаю «золотухой».

Хозяин дома, Игнашкин, жил с женой и детьми в подвальном этаже этого же дома. Когда-то Игнашкин был богатым купцом, давал банкеты и сам был званым гостем на всяких купеческих торжествах, но прогорел на каких-то подрядах, затем спился и теперь считался «нестоющим» человеком, с которым и кланяться-то зазорно. Подавленный воспоминаниями прежнего величия, он жил в своём подвале, как крот, и в трезвом состоянии его не видели и не слышали. По два раза в месяц он обязательно напивался и тогда, вооружившись кочергой, начинал стучать в потолок, предупреждая инженеров о своём нашествии. Затем он выскакивал на двор и начинал неистово ругаться, требуя непременно, чтобы «анженерные антихристы» оставили его дом, что он, «имянитый» купец Игнашкин, никогда в жизни своего честного дома не позорил и в наймы не отдавал.

— Выходи, Александра Павлович, выходи, Сергей Петрович, добром, пока я не выволок тебя сам из своих хоромин. Отчуждения моим собственностям я не дозволю, искр-рр-овеню!..

И, размахивая кочергой, он лез на крыльцо. Сцена всегда кончалась одним и тем же: Абдулка летел в полицию и затем являлся на извозчике с каким-то блюстителем порядка. С помощью кучера Семёна начиналась комедия: все трое подкрадывались к Игнашкину, затем Абдулка хватал его за локти, а Семён необыкновенно ловко давал ему «под жилки». Игнашкин летел навзничь, его подхватыва-

ли, усаживали или укладывали, смотря по степени опьянения, на извозчика и увозили в часть для вытрезвления. Оттуда Игнашкин являлся обыкновенно пешком, дома мылся, причёсывался и со степенным и добродушным видом поднимался к «анженерам», неизменно извиняясь, «что, может быть, маненичко обеспокоил». В саду, прилегавшем к дому Игнашкина, не было никакого плана, он был накрест пересечён двумя аллеями; в первых двух квадратах были гряды с земляникой и кое-какими овощами, два задних квадрата густо заросли малинником, который к забору переходил в целый лес сорных трав: колючий репейник, жгучая крапива да громадные кусты шиповника заграждали туда всякий путь. Зато поперечная аллея была засажена высокими липами и такими густыми акациями, что верхние ветви их сплетались и образовывали над аллеей ажурную крышу, сквозь которую лучи солнца падали на жёлтый песок подвижными золотыми нитями и пятнами. В конце этой аллеи стояли полукруглая скамейка и перед ней стол. За забором лежал громадный пустырь, на котором, как с неба упавшая, стояла крошечная изба без двора, без ограды и без сада. Высокая тяжёлая крыша нависла до половины двух маленьких подслеповатых окон, низенькая дверь, всегда запертая, а перед ней, вероятно, остов исчезнувших ворот: два столба, перекрытые балкой, напоминавшие виселицу. В этой избе жили какие-то евреи, тайно торговавшие, как говорили, водкой. Мимо избы шла широкая серая дорога, пыльная, пустынная; она вилась, куда глаз хватал, и там, вдали, сливалась с горизонтом. По этой дороге никогда не ездили экипажи, не шли пешеходы, только время от времени — и зиму, и лето — по ней неслись тринадцать троек, на грядке каждой из них, свесив ноги, сидел усатый солдат, держа ружьё наготове. Далеко слышны были бубенцы лошадей да лязг потряхиваемых железных оков.

Со времени смерти Фелицаты прошло уже несколько месяцев. Сибирское могучее лето стояло в полном разгаре; солнце жгло, сочная трава с пахучими медовыми цветами лезла отовсюду, куда только проник живительный луч солнца; гремели голоса налетевших птиц; всё ликова-

ло, дышало жизнью, всё, казалось, спешило насладиться коротким летним роздыхом суровой природы.

Вязьмин, только что вернувшийся с работы, сдал верховую лошадь Семёну и, поджидая запоздавшего Козлова, остановился за калиткой задних ворот. Машинально он глядел на красный соседний забор и на тянущуюся перед ним пустынную улицу. Тишина города как-то давила его; он чувствовал, что это не то обыденное, ленивое спокойствие, которое он привык встречать в полдень в петербургских дачных местностях. Там чувствовалось, что жизнь как бы притаилась где-то в беседках, в прохладных комнатах за спущенными портьерами. Молчание же этого чужого города, казалось ему, было полно какого-то смутного недоброжелательства. Тут, возле, за высокими заборами, под охраной диких собак и сторожевых татар кипит человеческая деятельность, вся сводящаяся к одной жажде наживы. Тут идёт обособленная семейная жизнь, в которой нередко разыгрываются страшные драмы насилия и деспотизма. Он вспомнил Фелицату и отмахнулся рукой, как будто назойливое видение воплощалось и лезло на него с неотступными вопросами.

Слух о смерти молодой женщины со всевозможными сплетнями и комментариями давно дошёл до него. Первое время он даже думал бросить Т. и просить о переводе, но потом остался.

Последнее время Вязьмин сильно скучал, хотя несколько не считал себя виноватым и ни в чём не раскаивался. Он просто не подходил к грубым и простым нравам, царствовавшим здесь. Он был себялюбив, брезглив и привык жить готовыми весёлыми наслаждениями, которые так легко даются человеку со средствами в Петербурге; он даже завидовал своему товарищу Козлову, который перезнакомился чуть ли не со всеми и от души пользовался местными удовольствиями и развлечениями.

Гортанный крикливый голос вызвал Вязьмина из его мечтаний; мимо него прошли мужчина и женщина, оба старые, сгорбленные, в лохмотьях, и Вязьмин узнал в них тех самых евреев, что жили в низеньком домике на старом пустыре за садовым забором.

Женщина остановилась почти против него и, обернувшись в ту сторону, откуда пришла, крикнула несколько раз резким неприятным голосом:

— Лия! Лия! — За этим именем последовало ещё несколько слов на непонятном ему языке.

Старуха прислушалась, крикнула ещё несколько раз: «Лия!» и, не получив никакого ответа, догнала ушедшего вперёд мужа, и оба они, разговаривая и размахивая руками, пропали в сероватой пыли улицы.

Вязьмин снова остался один и уже повернулся, чтобы идти к себе, как услышал торопливые мелкие шаги и остановился как вкопанный. По улице шла совсем молоденькая девушка, почти ребёнок, стройная, грациозная и тонкая. На ней была только простая белая рубашка с открытым воротом и пёстрая яркая юбка. Лицо бледное, жаркой южной бледности, напоминающей светлый янтарь; она остановилась перед молодым человеком и, подняв густую бахрому ресниц, устремила на него широкий влажный взор больших карих глаз.

— Не видал ли ты, не проходили ли здесь старик и старуха евреи? — спросила она.

Вязьмина поразили и очаровали детская смелость и доверчивость вопроса, а красота девушки согнала сразу с него всю сонливую скуку.

— Тебя зовут Лия?

Девушка с недоумением поглядела на него.

— Да, Лия.

— И ты живёшь на пустыре, в домике?

— Живу, — и она вдруг рассмеялась, блеснув ровными белыми зубами. — А ты тот господин, что всё лазит у себя в саду на скамейку и глядит через забор?

— Так ты меня видела? Отчего я тебя не видал? Разве ты никогда не выходишь?

— Как же не выхожу, вот вышла же! Только, правда, я редко куда хожу, мать не любит, потому и дома дела много.

— Какое же у тебя дело дома?

— Разное... — отвечала девушка и потупилась. — Так ты не видал моих стариков?

Вязьмин указал ей, в какую сторону ушли евреи. Девочка кивнула ему головой и быстро побежала по указанному направлению.

В это самое время из пыли, клубившейся вдали дороги, стал обрисовываться всадник, погонявший коня, и через несколько минут Козлов осадил у ворот свою разгорячённую лошадь.

— Александр Павлович! — крикнул он, не слезая. — Садитесь-ка на лошадь, едем к пристаням, там чёрт знает что делается — целый бунт!

— Бунт?

— Говорю, бунт! Характерная картина, стоит посмотреть... Пожалуй, дойдёт до серьёзного... Военский начальник там с солдатами...

— Да в чём дело?

— Эва! Забыли! Ведь сегодня последний срок. Идёт насильственное отчуждение береговых домов. Наши рабочие приступили к ломке. Что там делается — страсть!

ХIII

Отчуждение

Июльская жутко-тёмная ночь спустилась на город; облака, как разорванные куски чёрного крепа, неслись по небу, догоняли друг друга и сливались местами в один непроницаемый полог. Бледные звёзды, как испуганные, мелькали то тут, то там и снова прятались за тучи, ничего не осветив, не скрасив даже своим трепетным огоньком безотрадную темноту. Из города в заречье, из городища за Тюменку, переключаясь, как спугнутая стая птиц, сухо защёлкали деревянные колотушки сторожевых татар. Злобно и отрывчато залаяли по дворам ночевики⁶, выпущенные из своих ящиков. У самого берега Т-ы, тускло мигая, закачались на протянутых верёвках три фонаря; свет от них опрокинулся в воду и длинной огненной зыбью зарыбил по её поверхности, обозначая три пароходные пристани, расположенные неподалеку одна от другой.

Тёмная ночь поглотила и «улочку», тянувшуюся как раз за пристанями. Бесформенными грудями стояли в ней домики-особнячки, за наглухо запертыми ставнями не видно было огней. Не было слышно тут ни колотушек, ни лая ночевиков, но если бы кто-нибудь остановился у средней пристани, приходившейся как раз против дома Глазихи, он был бы поражён глухим, странным шорохом, отрывками как бы задушенного шёпота, точно вся улочка, как

⁶ Сторожевые собаки, которых на день запирают в темные ящики.

развороченный муравейник, бесшумно, злобно и торопливо копошилась во тьме.

Дом Аграфены Петровны Глазовой — Глазихи, как её звал весь город, стоял, как и полвека тому назад, как раз посередине береговой улочки. Он глядел своими четырьмя подслеповатыми окнами в мутные воды Т-ы; всё так же, как и прежде, зеленоватые стёкла его окон были изнутри заплетены зубчатыми листьями дикого винограда, сквозь прорези которых круглые цветы герани льнули к самому стеклу, как красные губы невидимого лица. Сама Глазиха — худая, высокая, с выдающимися лопатками, шадровитым лицом, нижняя часть которого выступала вперёд, напоминала нескладную, но сильную лошадь. Только глаза её, небольшие, глубоко лежащие, глядели зорко, умно и не упускали из вида, что происходило вокруг. Глазиха имела своё ремесло — она шила меха из лисьих хвостов. За хвостами она ездила далеко к бурятам, скупала у них шкуры за гроши, затем сама подтемняла, подбирала и делала пушистые красивые меха, которые продавала, смотря по случаю и покупателю, от десяти до сорока рублей за штуку. Овдовев, бездетная, она жила одна со стряпухой Агафоклеей, которая управлялась со всем её немудрёным хозяйством и помогала ей в возне с мехами. Домом своим Глазиха дорожила, как спасением души. На заветных половицах, забитых когда-то рукой дяди её — Парамона, под которыми он оставил умирать отца своего Самсона у трупа убитой Василисы, Глазиха поставила аналой и днём и ночью в указанные часы читала на нём покаянный псалтырь и делала установленное метание.

Испокон века все домики-особнячки береговой улочки со всеми амбарушками, переходами, тайниками и скрытыми служили на ночь верным надёжным прибежищем для «слепиньких»⁷ и разных божьих людей. Хозяева, — степенные старообрядцы, не спрашивали ни паспорта, ни свидетельства от того, кто входил в их дом именем божьим и крестился двуперстным знаменем; а днём для всего этого пришлого люда на пристанях не переводилась подённая работа и можно было зашибить копейку. И вот дошёл конец покойному береговому житью: задумали проклятые

⁷ Не имеющих паспорта.

инженеры строить от пристаней к самому вокзалу новой железной дороги подъездной путь и наметили линию вдоль самой улочки. Пришла к владельцам домиков-особнячков бумага; читали её и хозяева, и другие посетители, читали, покачивали головами и в толк не могли взять, как такая оказия могла случиться! В бумаге той предлагалось владельцам оценить их землю, постройку и получить деньги от городского головы. Оценить родительское благословение, оценить кров, под которым дед и отец кончину приняли! Покачали хозяева головами, плюнули на такую мерзость и продолжали жить, как жили. Только ещё угрюмее стали одинокие домики, ещё плотнее замкнулись их ворота. Не любо слушать срамные толки пришлых людей. А время шло; всякие сроки, обозначенные в бумаге, истекли, местная полиция обошла все дома и объявила, что на следующее утро всех, не желающих добром подписать бумагу и выехать из своих домов, силой выведут вон и начнут над их головой ломать крыши. И вот в июльскую тёмную ночь закопошилась береговая улочка. У ворот дома Глазихи, вплотную прислонившись к калитке, стояла Агафоклея, закутанная в громадный чёрный платок, и то и дело шептала вопрос подходящим к ней теням, которые вслед за ответом шмыгали в приотворённую ею калитку. Пришедшие шли по двору торной дорожкой до крыльца и там, поднявшись на ступеньки, чуть слышно брякали медным кольцом и проглатывались бесшумно отворявшейся дверью. Сама Аграфена Петровна, сторожившая каждый звук, приотворяла изнутри двери, и по двору, как судорога, то и дело мелькала красноватая полоса света. Наконец, около двенадцати часов вечера за последним гостем Агафоклея заперла калитку на тяжёлый засов, прошла в самый тёмный угол двора, приоткрыла тяжёлую лазейку в подвал, и оттуда с глухим рёвом выскочили три мохнатые лайки и полетели по двору, обнюхивая следы чужих людей, и залились бессильным бешеным лаем. Агафоклея прошла задним ходом к себе на кухню и заперла за собой дверь на тяжёлый болт. Глазиха тоже заперла своё крылечко и с молчаливым поклоном собравшимся гостям прошла к себе в молельню, где скитская старуха Феоклита уже затеплила все лампы и катанки. Моления особого на сегодняшнюю ночь не полагалось, но всё же эта ком-

ната без окон, глухо расположенная среди разных кладовушек, была самым верным и надёжным местом для тайных бесед. Все гости вслед за хозяйкой вошли туда, сотворили метание, затем сели кругом по лавкам.

— Спасибо тебе, Назар Софроныч, — начала хозяйка, отвешивая низкий поклон, — что не погнушался ты прийти к нам из своего издалека.

Назар Софроныч, худой чахоточный старик с седой редкой и длинной бородой, степенно встал с лавки и отдал поклон Глазихе и всему собранию.

— Ваше дело — общее дело. Воздвиг дьявол козни свои на вас, и кажинному брату во Христе защита прав ваших лежит близко к сердцу.

— А как здоровьишко твоё, Назар Софроныч? Как охотишка твоя идёт? — спросил его сосед, рыжебородый плотный старик Никанор Орешков, кузнец по ремеслу, живший в своём доме на самом дальнем краю улочки.

— Здоровье что, грудь больно сдавлена, ровно клещами схватил кто и держит, порой, смотришь, кровь горлом откроется, ну и полегчает.

— А тебе бы её время от времени давать спущать, — заметила скитская баушка Ефросинья, — куда сподручнее, коли банки накинуть.

— Так-то так, баушка, да лесной я человек, живу по таким логовам да трущобам, где и накинуть-то мне их некому.

— Так, родимый, верно так, — согласилась баушка.

Собравшиеся помолчали.

— Пора и к делу, — промолвил вдруг угрюмо самый старший из собравшихся Пахом Силыч Зайков, сосед Глазихи.

— Говори, Пахом Силыч, — слышалось со всех сторон.

Пахом Силыч, широко осенил себя истым крестом и, встав, прислонился к притолке двери.

— Собрались мы все тут, — начал он ровно и не спеша, — чтобы найти средство избыть беду неминуемую. Хрещённые, аль край веку дошёл? — Из-под нависших клоков седых бровей чёрные глаза Зайкова обвели всё собрание. — Небывалое дело! Разве могут пришлые люди отнять у родовых, законных владельцев их кров и обитель? Назар Со-

фроныч, ты грамотный будешь и в Рассее бывал, скажи, есть такой закон, что могут против совести отнять, отчуждить нашу землю, наши дома? Статочное ли дело, чтобы кто из нас сам назначил цену домам своим родовым и пошёл бы искать себе другой дом и крышу? Статочное ли дело, чтобы тот, кто не согласится на такую срамную продажу, был силой выведен из-под крова своего?

Пахом замолчал, но всё собрание загудело: «Кто может праву иметь разломать крышу, где всякая тесина дедовскими руками кладена!». Глазиха, вся трясясь, обернулась к иконам: «Угодники святые, да как же я за деньги продам не только прах, но и душу деда своего, что в подполье у меня витает?». И снова все загудели: «Неслыханное дело!». Назар Софроныч вышел на середину и низко поклонился собранию.

— Попустил Господь на вас беду великую, и нету вам заступы акромья Божеской. Жил я в Е. о ту самую пору, как туда впервые чугунок проводили, и там отчуждали, и там брали чужие дома и чужие поля; нашлись и там люди, что рады бы кровью были отстоять своё добро, да ничто не помогло: пришли солдаты со штыками, повывели из домов и баб, и ребят малых и на глазах у людей разверзли крыши домов их и срыли, до земли сгладили их обиталище, и бежит теперь там чугунок, и памяти нет о тех домах и пажитях, что прежде там были.

— И попустил Господь? — спросил Пахом.

— И попустил, — угрюмо ответил Назар.

— И люди так и отдали свои кровы на разорение? — спросил кузнец.

— Отдали, — отвечал Назар, — которые и не отдавали, за топоры хватились, ружьишки зарядили было, да куда! Скрутили им солдаты руки назад, да тех, что побойчее, в тюрьму послали о том деле пораздумать, как против начальства идти.

— Угодники! Угодники Божьи! — шептала побелевшими губами Глазиха. — Да неужто мой дом, моё собственное гнездо чужие люди по бревну размечут?

— И размечут! — ответил Назар.

Опять помолчали, понурились старики, а женщины, точно безумные, глядели на иконы, ожидая только от них и помощи, и вразумления.

— А ежели теперича, — начал кузнец, обращаясь опять к Назару, — кликнуть нам клич по лесам?

— Поздно, батюшка! — остановил сын его Александр, здоровенный детина лет девятнадцати, курносый, плосколицый, с узкими татарскими глазами. — Поздно, батюшка! Говорил я тебе, как впервой пришла бумага, чтобы ты меня в тайгу отпустил с кем надоть посоветоваться, так нет, и верить-то не хотел, чтобы этакое дело случилось.

— Не поздно, не рано, — заговорил молчавший до тех пор кожевенник Молюгин, — ниоткуда нам пособи быть не может, не в том тут сила, что нужна наша земля под чугунок; и акромя её нашёлся бы путь, а сами-то мы здесь помешали им, нас рассеять хотят, до наших душ добираются, понадобилось им подсечь нас под корень, взрыть землю, где дедовский прах зарыт, чтоб тоись дети наши на чужой земле выросли, среди мирян поднялись. Вот так-то и пропадает вера правая!

Зайков кинулся к нему, борода старика тряслась, глаза горели, как угли.

— Верно твоё слово, сосед, ах, верно! Не земля им наша нужна, а души наши, вот почему и не отстоять нам домов наших. Ни деньгами не откупиться, ни силой не оттягаться. Одно осталось у нас — вера наша, наши деды, те не боялись поджечь сами хоромины свои и, славословя Господа, в нетленном том пламени очистить животы свои от всякой скверны...

Тяжёлое молчание снова охватило общество: давно то было, когда деды предавали себя самосожжению, измельчала душа человеческая, и никого-то не манила к себе смерть огненная!

— Не миновать отчуждения, — снова заговорил Назар, — супротив силы да закона ничего не поделаешь, а вот коли бы сняться всем да перейти к нам туда за Ирбит в леса, вот куда ещё далеко не добраться дьяволу с чугунок, вот где сплотиться бы могла братья и оберегать свою веру истинную Христову.

— Кто как, — угрюмо проговорил Зайков, — а я, окромя огню, не отдам свои хоромины.

— Ой, свете, свете тихий! — заголосила Глазиха. — Выйдет душенька из тела моего грешного, а не сволокут меня

с тех половиц над скрыней, где жила у меня душа дедовская.

Бешено лаяли встревоженные ночевики, носясь по Глазихинскому двору, таким же свирепым завыванием отвечали им с других дворов сторожевые псы. Звонко щёлкали колотушки сторожевых татар, бледнели звёзды в небе, подул свежий ветерок, разогнал тучи, заголубело летнее небо, а в Глазихинской избе всё ещё молились. Не было придумано никаких мер сопротивления, не было и надежды на избавление от грозившей беды. Всех охватила тупая, бессильная покорность, с которой человек встречает неизбежную судьбу свою, и после последней молитвы, пропетой всем хором, скитская баушка потушила все катанки, задула лампы, кроме неугасимых. Агафоклея, отодвинув тяжёлый засов заднего крылечка, созвала своих лаек и, заварив им целое корыто мездры с овсяной крупой, заперла их снова в подполье. Печальные, понуря головы, один за другим вышли гости на двор, и снова в приотворённую калитку шмыгала тень за тенью и пропала в сереющей дали прибережной улочки.

Взошло солнце, яркое, тёплое, закурилась река, а пристани, начинавшие раньше всех свою жизнь, не гомонили: варнаки не явились на подёнщину, а правильно нанятого рабочего не хватало, и работа правилась там тихо и вяло. По улочке брякнуло кольцо, брякнуло другое, и из калиток одиноких домиков стали выходить «хрещёные», стали степенно собираться в кучки и ждать. Бабы оставались в домах, из хлевов слышался рёв скотины, удивлённой, что на сегодня лишилась своей обыденной прогулки в поле. Перебегая от одной кучки к другой, Емелькин, явившийся с рассветом из-за реки на береговую улочку, ударял ладонями о полы халата, ерошил свою седую кудлатую и, как всегда, непокрытую голову, стараясь об одном — о родном кабаке, куда, как всегда, тянуло его пропойную голову.

— Пахом Силыч, — бросался он к Зайкову, — Никанор Митрич, — совался он к Орешкову, — хрещёные, хрещёные, — созывал он всех, — что и толку-то галдеть нам здесь на улице, в кабак бы нам, там на простуде лучше бы поразмыслить. Где здесь ответ давать? Ишь, пыль крутится, ишь, пыль крутится! — вскрикивал он, при-

кладывая козырьком руку к глазам. Либо исправник, либо воинский начальник, того гляди, с солдатами сюда явится. Лазоревы цветики, — бросился он к женщинам, то тут, то там начавшим появляться из калиток, — вы только хозяев своих выгоньте в город к Захарычу либо к Силычу, а вас кто бабёнок тронет? Знамо, бабе ответ не держать, так, покалякают, покалякают промеж себя, рыла скоблёные, да и отойдут с миром, опять бумаги писать учнуть. Так, что ли, люди милые, цветики алые?

Мужчины не обращали на Емелькина никакого внимания, бабы огрызались и отмахивались руками.

— Тебе хоть к хвостатому, лишь бы он кабак держал, — крикнула молодая женщина.

— Отшатнись, непутёвый, и без тебя тут тошнёхонько, — отбросила его сильной рукой Глазиха, перед которой он юлил.

Осветило солнце длинную дорогу, что лентой бежала из города, и блеснуло в глаза угрюмому толстому воинскому начальнику, который ехал шагом в казанском коробе на сытой рыжей кобылке. Рядом с ним шагала рота солдат с ружьями на плечо. «Невесёлое дело, — казалось, думал каждый из них. — Сколько стоит город на месте, ещё не видали в нём бунтов, а теперь, как пошла эта самая железная дорога, и супротивники закону нашлись, диковинное дело!».

Осветило солнышко и другой конец дороги. Там с городища шагом ехали верхами инженеры со своими десятниками и кучкой шедших пешком рабочих, вооружённых кто ломом, кто топором. И всё это, наконец, сошлось, стеклось и сгруппировалось у самого обрыва, насупротив глазовского дома.

Урядники, прибывшие ещё раньше с исправником, подогнали в кучу всех береговых домовладельцев. Сам тучный исправник Емельян Иванович, мил человек, встал перед ними и громко, как на смотре, прочёл ещё раз ту же мудрёную бумагу об отчуждении, приглашая всех немедленно расписаться в готовности сегодня же оставить свои дома. Послушал народ, послушал, молча сняв шапки, и, словно ни у одного из них слова не нашлось в ответ, все снова разошлись к своим домам. Емельян Иванович окинул своими обычными серенькими глазками всю

картину и сразу понял, с какого угла надо начать рушить. Он подошёл к воинскому начальнику, грузно вылезавшему из своего коробка, и оба без слов, по чутью поняли друг друга, крикнули и подошли к тому месту, где кучкой собрались варнаки. Солдаты, переминаясь с ноги на ногу, стали стеной за начальством.

— Эй, дворяне таёжные, давно ли на свободе ходите? Надоела чистая работа, устали вольным воздухом дышать; смуту да бунт почуяли, вороньё проклятое! А батоги, браслеты железные забыли? Давно ли милостью царской вернулись из-под Берёзова, да и все ли из вас по бумаге правильной ходят? Расходись, пока целы! Слышь? Сидор Карнаухий, Федул Малый, Степан Медвежатник, всех ведь поимённо знаю, каждое рыло в лесу ночью на ощупь отличу. Уходи, пока целы, ступай подобру-поздорову работать!

Исправник замолчал, глядя в упор на суровые лица. Воинский начальник ещё раз крикнул и начал высоким голосом:

— Прикажу солдатам цепь смыкать, и кого из вас живьём захватят... — он помолчал минуту. Затем как бы набравшись духу, крикнул таким высоким дискантом, что даже привычные солдаты, знавшие его норы, вздрогнули: — Кого живьём захватят, и до острога не дотянет! Слыхали? Марш по местам!

И исправник, и воинский начальник, как бы желая доказать варнакам свою полную уверенность в том, что они оценят оказанную им милость, отвернулись к реке и молча закурили.

Насупились суровые лица. Да только старый воробей Емельян Иванович, да и воинский начальник съел с ним не один пуд соли — не любят они дразнить варнака, не тронут они его без особой причины, не толкнут на бунт, а, напротив, оглушат правдой-маткой по голове и дадут опомниться, так и теперь: двинься на них хоть один солдат, и такое бы закипело дело, что ах, а начальство отвернулось и курит, а солдаты, как братушки, стоят смирно, беззлобно.

Федул Малый первый качнулся из рядов и, не глядя ни на кого, вскинул за пояс свой железный крюк и угрюмо побрёл к первой пристани. За ним шагнул Степан Медвежатник, а там и Сидорка Малый взмахнул лом на пле-

чо и заколыхался прочь; за ними один за другим поплелись все таёжные дворяне.

Обернулся лихой исправник и ус покрутил от удовольствия. Зыркнул в спину уходившим и воинский начальник. «Не долго, мол, вам, тетеревам, летать по деревьям, придёт зима, и коль до тех пор не зарекомендуешь себя рабочим, то можешь и в городе остаться, не миновать тогда бесприютным тенёт исправничьих».

Сильно поредела кучка случайных береговых защитников, только Емелькин по берегу от одного дома к другому размахивал руками, не заботясь о том, как нескромно распахивались полы его халата. Перспектива кабака с даровым угощением носилась перед ним, слюна била у него изо рта, он беспрестанно утирал рот и слезящиеся глазки рукавом халата. «Хрещёные, хрещёные! В кабак, в кабак бы нам, вот те Христос, так ни с чем и останутся! Пахом Силыч, Назар Софроныч, соблаговолите только вы, а за вами и все двинутся, бабочек ваших не тронут и дома ваши рúшить не могут без вас, так и отлыняем, так и отлыняем!».

Емелькин наскочил на Никанора Орешкова. «Отцепись!» — заревел кузнец и здоровым ударом кулака отбросил юлившего пьяницу. Емелькин с визгом пришибленной собаки покатился по улочке и растянулся пластом у самых ног исправника; руки его раскинулись крестом, как у убитого, полы халата, как смятые крылья летучей мыши, легли по обе стороны, и всё его тощее тело предстало перед начальством во всей своей наготе.

— Ишь, отощал! — проговорил исправник. — Должно быть, с утра маковой росинки во рту не было. Приберите в сторонку.

И Емелькина, потерявшего на минуту сознание от здорового кулачища кузнеца, отнесли к стороне и положили к чьему-то забору, как никому не нужный, выброшенный хлам.

— Ну, будет, что ли, переговоров? — крикнул снова воинский начальник совещавшимся в сторонке домохозяевам.

Те сразу смолкли.

— Что ж, братцы, подписывать будете бумагу? — подошёл к ним исправник. — Пахом Силыч, ты как? — обратился он к Зайкову.

— Нет уж, чего же, — почесал за ухом Зайков, — какие там подписи. Покорно благодарим на милости, денег нам ваших не надо, а только и домов своих мы отдавать сами не согласны, а там во всё воля Божья.

И Зайков, степенно поклонившись в пояс, вышел сквозь молчаливо расступившуюся кучку и побрёл к своему домишке.

— Не согласны, не согласны, — слышалось ропотом от других.

— Не согласны? — исправник двинулся вперёд. — Последний раз говорю вам: молчать! — рывкнул он на весь берег, и всё галдевшее замолкло, не успел он закрыть рот.

— Ни разорять вас, ни гнать вас с родного гнезда никому неохота; на вас крест, да и мы с крестом на шее ходим и одному с вами богу молимся, не враги, не супостаты пришли к вам отнимать дома ваши. Нельзя нам реку отвести в другую сторону, нельзя пристань перенести на землю да подальше от вашей улочки. С пристаней как кладь на главный вокзал доставлять? Грузить, перегружать на воз да с воза? Разор будет для торговли. Эй, старики, уразумитесь! Сколько лет живёте и на свободе свою веру правите, кто вас тронул? И здесь, и везде, где проводилась дорога, было отчуждение, деньги вам за дома ваши полностью заплатят, место город отведёт, и стройтесь себе с Богом, у царя-батюшки все слуги его равны, и только супротивники воли его — враги. Не без крова останетесь, новые переселенческие бараки пока под вас отведут, всякое вам пособие от властей будет. Попомните все милости государевы, раскиньте умом, где иначе провести дорогу? Одна прямая линия. Ну, слышали?

Замер берег, и только, как одна грудь, дышали собственники береговой улочки, как туманом забрало крепкие головы: и слышат, да не понимают и знать не хотят.

— Ну! Последнее слово! Не хотите добром — поступлено будет по закону. Я сам слуга царёв, и коли его неизречённой милостью дарована городу нашему железная дорога, вам же пути к торговле и честной наживе открыты, и кабы мой собственный дом лежал по пути, я бы не ропща его отдал, ибо закон и долг — первое для каждого русского человека. Крестись, старики, своим правым крестом и ступайте подписывать бумагу — ещё срок дам вам на выселение.

Сплотились старики, хлынули к ним бабы и, забыв всю свою бабью покорность, завыли, заревели, запричитали и хуже сбили тяжелодумные мужнины головы.

Выступил кузнец Никанор Орешков, а к нему шагнул старик Пахом.

— Не согласны! Ни ныне, ни завтра не согласны.

— Не согласны? Ладно! Жаль мне вас, ребята, не считал я вас никогда супротивниками.

Пождал Емельян Иванович ещё минуточку, крякнул и кивнул головой близ стоявшему уряднику. Вперёд выступил громадного роста детина, чёрный, усатый, с весёлыми зоркими глазами, и ясно, отчётливо, как в трубу, прогремел на весь берег:

— Выходи все из домов, сейчас крыши ломать учнут. А коли больных баб, робят али скот не выведете, солдаты выволокут.

В ответ берег застонал стоном: рёв баб, плач детей, причитания голосивших старух, рёв выводимой скотины — всё слилось, всё, как один безумный вопль, поднялось к небу и пропало в его холодной бездушной синеве. Солдаты сомкнулись, мигом охватили прибежавших было из города мешан и рабочих, оттеснили их к самому краю дороги на пустырь и загородили улочку с двух концов. Толпа полицейских, урядников и железнодорожных рабочих боролась с женщинами, которые с остервенением дрались у своих ворот, ложились на пороге своих домов, шаг за шагом, пядь за пядью отстаивая отцовский кров. Свалка загорелась со всех концов, из домов выносили больных, ребят, отрывали руки стариков, с воем и плачем хватавшихся за ступени своих домов, тащили скарб, как на пожарище; кое-где рабочие живо забрались на крыши, и оторванные тесины полетели вниз — отчуждение началось.

— Ваше благородие, господин исправник, ваше высокоблагородие, — шептала белая, как плат, Глазиха, дотрагиваясь дрожащими руками до рукава исправника.

— Тебе что? А? Аграфена Петровна, да ты ли это? Чего супротивничаешь начальству, гляди, вдова ты честная, лица на тебе нет!

— Ваше высокое высокоблагородие, господин исправник, ведь я не бедный человек, не разориха какая, пощадите, позвольте им на их проклятую дорогу денег дать,

мигом соберём, ничего не пожалеем, а только дома моего не рушьте.

— Эх ты, бабья голова, Аграфена Петровна, самой тебе казна за домок твой заплатит, переедешь в город, на Царской улице себе палатину поставишь.

— Нельзя этого, господин исправник, Амелян Иваныч, нельзя дом мой рушить, скрыня ведь в нём.

— Ну так что ж, что скрыня? Было, да и былём поросло.

— Не поросло былью, не поросло, Амелян Иваныч. — Глазиха, вся трясясь и заикаясь, дёргала его за рукав. — Кости там деда моего Самсона, да не токмо кости, душа евона в том подполье живёт. Знаю я то, слыхала сама её, молитвы там правлю, ночи за аналоем простаиваю. Эй, ваше высокое благородье, не бери греха на душу, не рушь моего дома!

— Жаль мне тебя, Аграфена Петровна, да ничего я тут не поделаю. Берегись! — исправник схватил Глазиху и дёрнул её в сторону. На неё летела тесина.

— Будь ты проклят! Анафема тебе по душу! Разрази тебя пресвятая Троица, — завопила Глазиха и как львица ринулась на защиту своего дома.

Ворвавшись в ворота, она успела задвинуть за собой щеколду и с рыданием, похожим на вой, бросилась в дом.

По всему берегу кипела работа, мужчины и женщины таскали свои пожитки, мебель, кровати и всё сваливали в одну безобразную кучу.

Исправник и воинский начальник, убеждённые теперь, что дело пойдёт своим порядком и что всё, что совесть и присяга требовали, было ими высказано и всякие льготы были даны, умерили пыл своей команды, поотозвали солдат, приказывая им только по-прежнему стеречь от напора набежавших из города любопытных оба конца улочки. Решено было не раздражать попусту береговое население, дать им самим выбраться и вынести всё, что хотели, затем предоставить им временно пользоваться запасными городскими бараками.

Видно, всё равно добровольного выселения от них не дождёшься, а в бараках домовитый хозяин долго не проживёт, либо там, либо тут начнёт снова пристраиваться. Кучка инженеров, стоявших сзади всех безмолвными лю-

бопытными зрителями, присоединилась теперь к местному начальству.

Козлов, бледный, со сверкающими глазами, заговорил первый, горячо обращаясь, сам хорошенько не зная к кому:

— Ведь вот, ведь вот народ, вразуми их! Ну, кто им зла хочет, кто их теснит, ну куда проведёшь путь помимо? Свайную бойку бить, фашинником берег укреплять, и что это будет стоить, почём верста обойдётся?

— Да уж бились, бились, — подхватил длинный инженер Степанов, — не нашли другого пути, десять чертежей представили — всё кривая выходит, да и, Господи, ну а если по берегу, параллельно их улице, провести дорогу — да разве они станут жить о бок с чёртовой затеей?

— Вот-вот, вы думаете, я им не говорил, — перебил его Козлов, — да как ещё вехи тут ставили, так я из избы в избу ходил и толковал им, что во сто раз лучше им уйти с этого места, а между нами говоря, сколько бы крушений они нам наделали, борясь против дьявола, что машину везёт. Нет, или им здесь не жить, или и дороги не строй.

— Да вам чего? Ну чего вы, Козлов, распинаетесь, всё обошлось миром, надо же было кончать эту канитель, нигде не обходилось без драм, где только ни проводили дорогу, вот меня так интересует совсем другой вопрос...

Вязьмина интересовали больше всего молоденькие бабы с холодным, гордым видом и потупленными глазами.

— Вот где, — говорил он, — свобода-то женская, тут, вы только посмотрите, Емельян Иванович, — подталкивал он исправника, — ведь у нас в Петербурге за гробом вдова идёт и то заметит, смотрят на неё или нет, и сама нет-нет да и вскинет заплаканными глазами, а тут мы все для неё, что хмель на заборе, глазом не поведёт.

— Так в чём же свобода-то? — обратился к Вязьмину товарищ его Павлов.

— Как в чём? Да вся свобода, вся эмансипация женщины зависит от того, насколько она освободилась от полового рабства.

Исправник захохотал.

— Да, батенька, здесь мужчина хозяин, или работник, а уже пол, в смысле кавалерства, играет самую небольшую роль.

Разговор сделался общим, перешёл на игривую тему, из собравшейся кучки слышались даже остроты и смех.

— Огонь, огонь! — вдруг взвизгнул кто-то. — Огонь! Огонь! — подхватила толпа.

Инженеры, исправник и воинский начальник обернулись. Огненный столб вылетал из трубы наглухо запертого домика Глазихи, длинные языки огня показались из щелей деревянных ставней, лизнули сухую, нагретую июльским солнцем обтёску домика, и весь дом, как гигантская коробка спичек, вспыхнул, разбрасывая огненные искры на соседние заборы и прислонённые к ним поленицы дров. Глазиха, вбежав в свой домик, заперла на внутренние болты ставни окон, дверей, как безумная бросилась в кухню, перетаскала оттуда весь запас сухой щепы, дров, окружила ими аналой, стоявший на заветных половицах, подожгла всё сама огнём от неугасимой лампы и, видя, что пламя занялось, бросилась в молельню и, упав перед святыми иконами на колени, замерла в фанатической молитве.

Не успела команда солдат броситься к дому Глазихи, как на краю улочки запылал дом Зайкова. Занялась кузня Орешкова, стоявшая на уgone, и скоро вся цепь береговых домиков представляла собой одну сплошную огненную полосу.

Солдаты, полицейские, рабочие, оставив теперь на произвол судьбы хозяев берегового жилья, бросились отстаивать пристани и грузы хлеба и другого товара. Когда из города донёсся первый звук набата, а за ним загремели пожарные тройки, ни спастись, ни разобрать было уже нечего. Огонь замер на берегу, не найдя себе более пищи. Побережная улочка выгорела, домики сравнялись с землёй. Отчуждение было кончено...

XIV

Варнаки гуляют

Поздно вечером в день отчуждения, когда Козлов уже спал в своём кабинете, Вязьмин в одной тужурке вышел на двор и свистнул собак. Откуда-то с третьего двора Шайтан ответил ему радостным лаем, и через минуту

мохнатая серая масса уже вилась и ластилась у ног инженера. Камка не явилась, она или дежурила с караульным, или сладко спала, забившись на сеновал. Вязьмин приласкал собаку и направился в свой дальний садик, расположенный на третьем дворе. Тихо скрипнула отворённая калитка, и жуткая тёмная тишина густого заброшенного садика охватила вошедшего. Вязьмин любил заглохший садик; каждый раз, когда он заходил туда покурить и помечтать на уединённой скамейке в конце густой аллеи акаций, его охватывало особое чувство — оторванности от всего мира. Подняв голову, сквозь мелкую сеть спутанных ветвей он глядел на звёзды, и они казались яркими и таинственными. Кругом всё в провинциальном городе покоилось ранним глубоким сном, ни шума, ни даже малейшего шороха не доносилось до него. Какое-то отречение от всех земных мыслей охватывало его душу и наполняло её чувством одиночества. Нервы его молчали, покой заменял обычное течение эгоистичных мыслей, и он только всем своим существом впивал невыразимо грустную прелесть летних северных ночей.

Но если случайно Вязьмин дотрагивался до какой-нибудь ветки дерева, над ним раздавались испуганные птичьи голоса. Дерево будило дерево, и вся аллея наполнялась шорохом испуганно трепетавших крыльев, нежным щебетаньем, острыми криками. В тёмной ночи аллея казалась сказочным царством, в котором деревья жили, двигались и сообщали друг другу какие-то таинственно-страшные сказки.

Взволнованный картиной, которую пришлось ему днём наблюдать на береговой улочке, Вязьмин не мог заснуть, и, зайдя в свой садик, он с нервным возбуждением отыскал в конце тёмной аллеи свою любимую скамейку у забора и сел на неё. Шайтан, покрутившись несколько минут на песке, улёгся у самых ног его. Вязьмин нащупал рукой портсигар в боковом кармане и только что хотел вынуть его, как Шайтан, толкнув его в колени, вскочил и глухо зарычал. Сердце Вязьмина забилося. «Tont beau!» — крикнул он собаке, но Шайтан, обнюхав дорожку, вдруг с гневным рокотом бросился вперёд, повернул в запущенную часть сада и залился громким злобным лаем.

Стараясь овладеть встревоженными нервами, Вязьмин

громко засвистал собаку. Шайтан вернулся, весь дрожа, прижался к его ногам и снова с бешеным лаем бросился в кусты. Казалось, он чуял врага, который и пугал его, и возбуждал его собачий гнев. Не имея при себе оружия ни даже палки, Вязьмин, стараясь идти не спеша, спокойно вышел из аллеи, повернул направо и с облегчённым сердцем, снова скрипнув калиткой, вышел на двор. Уже подойдя к своему крыльцу, он едва досвистался Шайтана, который, наконец-таки, прибежал к нему, всё ещё дрожа, повизгивая и скаля зубы на невидимого врага. Дёрнув призывной колокольчик, Вязьмин дождался, пока пришёл караульный Абдулка, приказал ему взять фонарь и осмотреть сад.

Абдулка пошёл за фонарём в кучерскую, растолкал сладко спавшего Семёна, и оба они с фонарём отправились в сад. Вязьмин поднялся на крылечко и, не отгоняя от себя Шайтана, отказавшегося следовать за Абдулкой, прошёл в свой кабинет и сел у окна, открытого на улицу. Необъяснимое предчувствие какой-то беды сжимало его сердце; впервые жуткое чувство страха охватило его. Темнота города, не имеющего нигде фонарей, тяжёлое безмолвие немощёных, густо высоренных одубиной улиц, на которых шаги отдаются только глухим шорохом, вой сторожевых собак — всё в этой чуждой, неприязненной ночи расстроило его нервы. Объяснение Абдулки, уверявшего, что в саду были только кошки, напугавшие Шайтана, не удовлетворило Вязьмина, и только под утро он, наконец, лёг в кровать и забылся сном тяжёлым и мучительным, как кошмар.

Не успел Шайтан выскочить из сада на повелительный свист Вязьмина, как из густых кустов бурьяна и крапивы вылетела высокая тёмная фигура, за ней поднялась вторая и без слов, махая длинными руками, нырнула в тёмную аллею акаций. Послышался тупой шлёп валяных сапог, и два человека, один за другим, встав на скамейку, перепрыгнули через невысокий забор игнашкина сада и очутились на сером безлюдном пустыре. Не двигаясь с места, прижавшись к забору, они выждали короткий поверхностный обыск сада Абдулкой и Семёном. Небо заволкло тёмными тучами, и ветер, предвещая дождь, пробежал в густых ветвях липы и акаций садика, разостлался по пустырю, набрал сухого песка, сорного вереска, за-

клубил его, бросил в низенькие окна одинокого домишки, стоявшего на пустыре, и помчался дальше по широкой серой бесконечной дороге.

Два человека, прижавшиеся к забору, отделились от него и, тихо шурша валенками, направились к домику. Один встал, прижавшись вплотную к самой двери, другой остановился под окном. Два волка, инстинкт которых был возбуждён жаждой крови, так же мало нуждались бы в переговорах, как и эти два человека, безмолвно и согласно вышедшие на разбой.

На высокой перине с грудой тёмных ситцевых подушек, под ватным одеялом из бесчисленных пёстрых лоскутков шёлка спали Хаим и Гессея — хозяева одинокого домика; в сенях, свернувшись калачиком на тоненьком матрасе, покрытая своим же платьем спала красавица Лия. Дробный стук с перебоем по наружной ставне окна дошёл до чуткого уха Хаима.

— Эге! — сказал старый еврей и приподнял с подушки свою трёпаную рыжую голову.

Стук повторился, сохраняя те же условные промежутки. Рядом с головой Хаима поднялась седая голова жены его, Гессеи.

— Эге! — сказала и старая еврейка, и оба, нагнув голову в сторону окна, стали слушать продолжавшуюся дробь осторожных ударов в ставень.

— Свои! — кивнул головой еврей и запустил всю пятерню в голову, соображая, сколько у него ещё дома вина.

— Взгляни, Хаим, в ставень, сколько их там, — посоветовала еврейка, кутаясь в своё ватное тряпье.

Хаим, отыскав под кроватью драные головки сапог, надел их на босые ноги, натянул на свои острые плечи засаленный кафтан, не спеша подпоясаясь тёмным ситцевым платком, боком, как не раз битая собака, осторожно приблизился к окну и припал глазом к сердцевидному отверстию ставня.

— Один как есть, только признать не могу, — проворчал он.

— Из незнакомых так выстукивать не станет. Ты гляди, варнак или из «беляков».

Старуха сердито завозилась. Хаим молча ещё раз прильнул к ставню.

— Лия, а Лия, вскинься, отвори дверь, да цепь не снимай, Лия! — но девочка, разметавшись в крепком сне, ничего не слыхала, и мать, ворча, зашаркала сама к двери.

Стоявший за дверью подался глубже за угол, а стучавший в ставень подвинулся и остановился за полшага от порога. Осторожно, понемногу, как бы зевая, дверь приоткрыла свою чёрную пасть. В ней белесоватым пятном обрисовалась фигура Гессеи, державшей зажжённый фонарь; за ней, вытянув шею, стоял Хаим.

— И что от нас надо людям ночью и в такую тёмную пору? — спрашивала осторожная еврейка стоявшего перед ней человека.

— Аль не узнали? — спокойно, не меняя позы, спросил пришедший. — С Пагубы пришёл, давно ль ежовским белякам Хаим дверей не отворяет? Илью-кузнеца знаешь?

Хаим отстранил жену и прижал своё острое рыжее рыло в самую щель двери.

— И зачем только по ночам шататься, разве нельзя дела днём делать?

— Днём? Ну так прощай, жид, жди, пока днём «беляка» у себя повидашь, а я тем временем «тёмное» на городище к Абрамке снесу, — и говоривший повернулся спиной к домику.

— Н-ну, не уходить же доброму человеку от моих дверей. И что Абрамка даст? И зачем сердиться?

За дверями лязгнула цепь, человек, притаившийся за углом дома, протянул свою громадную лапу и, ухватившись за наружную щеколду двери, распахнул её во всю ширь. Перед изумлёнными евреями неожиданно появились две тёмные фигуры, которые ворвались в домик, прихлопнув за собой тяжёлую входную дверь.

В дрожавшей руке еврейки запрыгал фонарь, и светлые пятна огня, вырываясь сквозь прорези жести, пробежали по лицам вошедших людей. Хаим и Гессея поняли, что перед ними не ежовские «белые волки», кабацкие загуляи, зачастую сбывавшие у них отрезанные с возов цыбики чая или тюки красного товара, а варнаки, беглые гости из далёкой тёмной тайги, пришедшие по серой пыльной дороге, что бесконечно змеится за одиноким домиком.

Видал на своём веку Хаим всякого народа, случалось ему и с варнаками дело иметь, и бит он был «смертным

боем», и из-под ножа живым уходил, а тут вдруг захоло-нуло сердце его, и из быстро захлопнувшейся двери дохнуло на него ровно ледяным смертным дыханием...

Минуту, или секунду, или гораздо более четверо людей — два против двух — стояли не шевелясь. Варнаки осматривались в темноте чужого им дома, евреи же, как овцы, врасплох застигнутые кровожадным хищником, потеряли на мгновение не только сознание опасности, страх смерти, но даже чувство самосохранения.

Еврейка опомнилась первая и вдруг завизжала высоким обрывистым голосом.

— Отвори дверь, Хаим, отвори скорее, пусть идут к Абраму, зачем насильно врываться, зачем двое, когда один говорил, зачем...

— Кончай бабу, — прохрипел вдруг высокий чёрный, очевидно, руководивший предприятием, и вырвал у старухи из рук жестяной фонарь.

— Сам посвечу, вернее будет.

Сверкнул, попав в луч света, небольшой отточенный нож, который выхватил из-за валенка белобрысый молчаливый варнак, и старая еврейка, недоговорив своего вопроса, без крика, почти без стога осела на пол. «Хлюп, хлюп, хлюп...» — послышалось с пола какое-то клокотанье, и вдруг кровь горячим фонтаном брызнула из перерезанного горла на стену и в лицо нагнувшегося над ней убийцы. Стон Гессеи и падение её тела ударили по нервам оцепеневшего Хаима, и отвратительная действительность со смертным страхом сознательно мелькнула в его уме. Нагнув голову, он как зверь бросился под ноги чёрному варнаку, который, поскользнувшись в кровавой луже, потерял равновесие, упал на пол, ударившись головой и загородив собой дверь.

Хаим, поняв невозможность выскочить в наружную дверь, опрометью бросился в заднюю комнату и изо всех сил захлопнул за собой дверь. Теперь ему оставалось только продёрнуть внутренний железный засов, и он был бы спасён. Но руки его тряслись, как тряслась и прыгала его длинная узенькая борода.

Как подавленный кошмаром, Хаим хватал железную полосу и тянул её не в ту сторону, сердце его билось, вот-вот сейчас будет спасён... Засов, как заржавленный,

не двигался в своих пазах, и... дверь распахнулась под напором белобрысого детины. Хаим турманом полетел в противоположный угол.

Чёрный варнак встал, пощупал голову и с помутившимся от злости и боли лицом бросился также во вторую горницу — спальню старых евреев. Там на столе в пустой бутылке горел огарок, зажжённый разбуженными евреями. Чёрный, отыскав глазами притаившегося в углу за кроватью Хаима, шагнул к нему и с бешеной злобой схватил еврея за густые рыжие вихры, приподнял его от пола и потряс в воздухе.

— Дух выпущу, коли пискнешь, жидовское мясо! Где деньги?

Хаим глядел, как затравленный волк. Сознание вернулось к нему. В минуту смертельной опасности хитрость и нажитый опыт помогли ему опомниться. Он вдруг заговорил почти спокойным голосом.

— И зачем убивать людей? Кто на такой проклятой дороге жить станет? Хаим, один Хаим. Кто пригреет, накормит и спрячет варнака? Хаим. У кого и стакан воды, и грош для беглого человека найдутся? У Хаима. Зачем же его убивать? Деньги дать можно. А вина? Вина — сколько хочешь.

У Хаима блеснула надежда напоить варнаков.

— Сами знаем, где водку хоронишь. Придёт время, достанем. Где деньги, жид? — Чёрный снова шагнул к нему и вдруг обернулся. — Ты чего? — Крикнул он белобрысому, снова бросившемуся в переднюю комнату.

Переговоры стариков с варнаками сквозь полуоткрытую дверь разбудили Лию. Привыкшая к ночным посещениям бродяг, она только глубже задвинула за громадный пузатый комод свою тощую постельку и снова свернулась на ней калачиком.

Но когда варнаки ворвались, она, вся дрожа, привстала в углу на колени и, вытянув свою тонкую шейку, глядела сквозь щель за комодом.

Как малиновка, увидавшая на краю своего гнезда голову змеи, она замерла загнилотизированная, без мысли, без силы шевельнуться или крикнуть. Убийство матери произошло так быстро, что она едва поняла случившееся.

Когда Хаим сбил с ног Чёрного и бросился сам в соседнюю комнату, куда за ним метнулись и убийцы, Лия

всё ещё стояла на коленях и тупо глядела вперёд. У самого потолка, сквозь крошечное волоковое окно, проскользнул луч месяца и трепетной серебряной полоской лёг на чёрную лужу крови, осветив знакомые ей жёлтый лоб с правильно изогнутыми тёмными бровями и глаза, казавшиеся Лии двумя чёрными дырами. Девочка не могла оторвать своего взгляда от трупа матери, шум споривших голосов, угрозы Чёрного, увёртливые ответы отца доходили до неё только бессмысленным гулом, но вот несколько раз повторённое слово «инженер» вдруг ударило по её больному мозгу, и она стала прислушиваться.

Хаим выкрикивал: «Тут не большая дорога, тут люди живут, инженер рядом, у него караульные, кучера, работники, инженер услышит крик, вам же горе будет, тогда куда убежать? Кругом пустырь, на версту человека не видно, зачем убивать. Хаим добром поделится...».

Лия вслушивалась в отцовские выкрики, и вчерашняя встреча на улице, ласковые синие глаза инженера воскресли перед ней. Убили мать, убьют отца, надо бежать, искать спасения, ведь «он» тут, близко, сосед, только бы добежать, разбудить... Вся дрожа, она встала с колен, тело убитой еврейки загоразживало ей дорогу, секунду она остановилась, затем, закрыв глаза руками, шагнула через труп и, не оглядываясь, вздрагивая голыми плечами, неслышно, как тень, еле дыша, скользнула к двери и стала тихо-тихо тянуть её к себе. Вот уже образовалась крошечная щель, на Лию пахнул тёплый летний воздух, в глаза блеснула большая яркая звёздочка, она потянула ещё дверь, старый корявый войлок, обивавший её внизу, зашуршал, и... Лию грубо схватила какая-то страшная рука, подняла на воздух, и через секунду белокрысый великан Иван Рассейский внёс её в комнатку, где еврей, желая протянуть время, соблазнял Чёрного деньгами и вином и грозил инженером. Хаим при виде Лии крикнул и присел на корточки. Он нарочно кричал громко и говорил об инженере, давая тем знать дочери, куда бежать за спасением, теперь все надежды его рухнули; при виде своего ребёнка на руках у варнака острая боль резанула его по сердцу, он вдруг выскочил из своей засады и бросился с кулаками на Ивана Рассейского, как тощая хохлатая деревенская наседка бросается, не соразмеряя своих сил, на коршуна.

— Не тронь ребёнка, не тронь, отпусти, — завизжал он, вцепляясь тонкими крючковатыми пальцами в плечо варнака. Но Чёрный снова схватил еврея за волосы и, как мешок, отбросил его в дальний угол. Хаим, ударившись о кровать, растянулся без памяти на полу. Чёрный схватил со стола свечу и осветил личико Лии. Широко открытые газельи глаза девочки встретились со вспыхнувшим взором двух маленьких чёрных, глубоко сидевших глаз.

— Давай! — протянул он руку и дотронулся до голого смуглого гладкого плечика Лии; инстинктивно девочка отбросилась всем своим трепетным телом, прильнула к груди Ивана Рассейского и тонкими похолодевшими ручками обвила его шею.

— Давай девку! — снова потянулся за ней Чёрный.

— Не трожь! — вдруг рявкнул Ванька и с бережной нежностью уже сам прижал к себе девушку. Странное, непонятное чувство вдруг шевельнулось в груди разбойника. Смутно он вспомнил что-то далёкое, забытое и, прижав к своей могучей груди хрупкую ношу, улыбнулся широкой глупой улыбкой.

— Небось, птица, не обижу, — проговорил он, отстраняя Чёрного. В тяжёлом мозгу его, залитом кровью и водкой, вдруг как молния блеснула картина далёкого прошлого детства.

Мальчишкой, белоголовым Ванькой он как-то шапкой накрыл у себя в огороде убегавшую по меже молодую куропатку, схватив её руками, он почувствовал тёплое тельце, гладкие пёрышки, на ладони его трепетало и билось крошечное птичье сердечко, два чёрных глазка испуганно глядели на него, ему вдруг стало жаль зверюшку. «Небось, птица, не обижу», — сказал он тогда и, отпустив куропатку, глядел, как та, переваливаясь, трепеща крылышками, бежала, бежала и пропала из глаз его, слившись с серыми комьями земли.

Гладкие руки девушки, сердце, шибко стучавшее на его груди, вдруг воскресили воспоминание, и через двадцать лет он бессознательно проговорил ту же фразу под напором того же чувства жалости.

«Небось, птица, не обижу», — повторил он ещё раз и, заметив маленькую дверь за изголовьем кровати, около которой всё ещё лежал оглушённый ударом Хаим, Иван

шагнул к ней и толкнул ногой, дверь подалась, и он внёс Лию в крошечный тёмный чуланчик, где евреи держали свой разный скарб.

«Сиди, птица, запрись, коли можешь». Он осмотрел каморку без окон и нашёл, что бежать из неё невозможно, спустив девушку с рук, он усадил её на какой-то ящик. «Небось, птица, не трону», — и, еще раз широко глупо улыбнувшись, вышел и запер за собой дверь каморки.

Недобрым взглядом встретил его товарищ, но молчал. Чёрный был только гиена, он по нюху отыскивал падаль, могущую служить им добычей. Ванька же — матерый медведь, минутами добродушный, не способный убить щенка завалящего, — под его влиянием распался, и тогда его кулачище, громадный, как молот, громил и уничтожал всё кругом.

Заступничество Ваньки, его просиявшее лицо, эта тоненькая красивая девчонка, запертая в чулане, точно углей горячих подбросили в сердце Чёрного, мозг его замутился, жажда крови и мести охватила всё его существо; как зверь бросился он на еврея, начинавшего приподыматься с пола, он схватил его за горло и начал душить. Ещё не опомнившийся от удара, Хаим боролся бессознательно, конвульсивно, махая перед собой худыми крючковатыми пальцами; бескровная голова его с глазами, вышедшими из орбит, моталась в руках Чёрного, его худая безжизненно-покорная фигура напоминала собой падаль, терзаемую рассвирепевшим волком.

— Буде рвать-то, не видишь, что ль, что порешил человека, чего лютовать над упокойником. Слышь, оставь! — заревел Ванька, распалаясь гневом в свою очередь и, бросившись на Чёрного, поднял над ним свой громадный волосатый кулак. Чёрный опомнился и швырнул, на этот раз уже бездыханное, Хаимово тело.

— Стервятник, как есть вран-стервятник, от падали не отдерёшь. Затем, что ли, сюда пришли, чтобы кровью упиться? Светать учнёт, а мы здесь. Блазнил вином и деньгами, показывай где? — приступил Ванька к Чёрному.

— Годи, — прохрипел Чёрный и, проведя рукавом по вспотевшему лбу, оглянулся кругом, затем нагнулся под кровать и вытащил оттуда небольшую укладку, обитую железом с кривым замком. Ванька, как медведь, облапил

тяжёлый сундук и, засунув в его щель стальное зубило, понатужился и отодрал всю крышку.

Вскоре обе комнатки, составлявшие внутренность одинокого домика, были перерыты варнаками, как нора крота, на которую напали ищейки. В углу на грязном сосновом столе стояла громадная почти уже пустая бутылка водки, лежали остатки пирога и жареной рыбы, а возле грудой возвышались мёд, серебро и пачки засаленных кредиток, связанных бечёвками. Эти деньги Чёрный нашёл зашитыми в перину, из которой он догадался выпустить пух. Варнаки ходили по груде пуха, как по толстому белому ковру, и как хлопья снега отдельные пушинки вились и летали по всей комнате; местами пух, намоченный в пролитой водке, комьями липкой грязи приставал к подошвам их валенок, широкая кровать выставила напоказ свои грязные доски с наваленной на них грудой тряпья.

Варнаки, разодрав холщовые простыни, делали себе из них прочные котомки, укладывая туда деньги, бельё и платье. Этого хлама, очевидно, заложенного евреям, были груды в разных ящиках и укладках. Ванька был пьян, широкая плоская рожа снова приобрела идиотскую ясность, улыбка то и дело раздвигала толстые отвислые губы, он мотал рукой по направлению двери чулана, в котором заперлась Лия, и бормотал бессвязно: «Небось, птица, не трону, а что таперича мы жида с жидовкой ухлопали, к примеру, твоих тятеньку с маменькой, так без этого нельзя; душа в них, значит, поганая, что пар, и теперь ли пыхнула из тела, апосля ли по собственным обстоятельствам — всё едино... а ты, птица, крестись... в христьянскую веру переходи, право слово, крестись...». И Ванька грузно поднялся, чтобы идти к чулану и всё это сказать самой девочке. Но Чёрный не выдержал: с глазами, налитыми кровью, набросился на товарища. «До свету, что ли, здесь валандаться будем, — злобно зашипел он, — в гулюшки играть собираешься? Аль соседей на поседки ждёшь? Айда в дорогу!» — и, взвалив котомку на плечи пьяного Ивана, захватив свою, он вытолкнул его из комнаты. Иван на пороге выходной двери запнулся о труп еврейки и полетел бы, если бы злобная рука Чёрного не удержала его.

— Чёрт толстопятый, валит, как медведь, пути не видит, — выругался он. — Идём.

Варнаки вышли из входных дверей и, как волк, унося-

щий на спине добычу, крадучись прошли в торчавший остов ворот, держась забора игнашкина сада, взяли направо, оставив в стороне серую большую дорогу, достигли крутого оврага, разделявшего заречье от «песков».

Иван шёл грузно, валко, как громадный медведь, и хмель разобрал его окончательно; предрассветный ветер, набегая сбоку, казалось, гнал его в овраг и, оступившись, парень с глупым хохотом осел на самый край крутого глубокого обрыва.

— А, будь ты проклят, язви тебя, — вдруг вырвалось из груди осатаневшего от злости Чёрного и, выхватив в свою очередь из-за валенка короткий нож, он пырнул им в бок сотоварища, и Иван Рассейский, не успев оборвать хмельного хохота, покатился на дно обрыва.

Вытянув шею, весь подобрившись, Чёрный глядел вниз. Там лежала ещё ночная тьма, не дававшая разглядеть даже очертания упавшего человека. Чёрный медленно выпрямился, торопливо шагнул вперёд и остановился, взглянул на небо, туда, где на окраине уже серела ночная тьма, и снова рванулся вперёд... опять остановился, оглянулся назад, постоял минуту и вдруг, круто повернувшись, быстро пошёл к ограбленной избе.

Испуганная насмерть, Лия сидела, едва дыша, в тесной каморке. Бежать было некуда, кричать, звать на помощь некого. Забившись в дальний угол, она сквозь тонкую дверь ловила напряжённым ухом обрывки разговора и спора варнаков. Не слыша голос отца, она боялась догадаться о его участи. Наконец всё смолкло, замерли тяжёлые шаги уходящих людей и хлопнула входная дверь.

Бежать! Бежать! Лия вскочила, а там у дверей убитая мать, опять шагать через её труп? Не лучше ли подождать? Может, отец откликнется откуда, а то, может, уже светает, кто из людей толкнётся в дом, и Лия, не смея шелохнуться, ждала... Вот снова что-то стукнуло, зашуршала дверь, ей послышалось тяжёлое дыхание запыхавшегося человека... «Отец, отец!» — Лия откинула крючок и бросилась из каморки. Перед ней стоял Чёрный. Две свечи, забытые варнаками, догорали в бутылках, их трепетное мигающее пламя легло странными светлыми пятнами на лицо Чёрного. Глаза его горели, как угли, рот и чёрная густая борода лежали одним тёмным пятном.

С глухим стоном шарахнулась от него девочка. Варнак подхватил её, сжал в жадных лихорадочных объятьях всё трепещущее тоненькое тело, молча внёс в комнату и молча швырнул на доски разрытой отцовской кровати...

Лёгкий утренний ветерок гнал туман, подымавшийся с земли, рвал его и уносил вверх, как клочки фантастического ночного покрывала, серая мгла редела. Ближайшие предметы вырисовывались определеннее; забор, кудрявые деревья, свесившиеся с него, высокая крыша с коньком на доме игнашкина приняли более резкие контуры; на небе одна за другой потухали звёзды, точно невидимый в своём полёте ангел тушил небесные лампы.

На востоке вспыхнула огненная линия, вздулась в одной точке, из неё брызнули лучи, и огненный шар, всё живя, всё освещая кругом, медленно выплыл из-за пурпурных облаков; поднялся и стал над просыпавшейся землёй. Ожили деревья игнашкина сада, каждая ветка акации задрожала под трепетом крошечных крыльев, и воздух сразу огласился щебетом, пением, высокой трелью жаворонка, повисшего в воздухе, и нежным говором налетевших голубей.

Ласковое тёплое солнце, равнодушное к радости, горю, к страстям и преступлениям человека, осветило остов ворот, перекинутую через него верёвку и на ней тонкий, всё ещё грациозный девичий труп повешенной Лии.

Светились тёмные длинные кудри, закрыли страдальческое детское личико; шевелит ветер кудрями, играет, обвивает ими страшно вытянутую тонкую шейку. Смуглые ручки бессильно висят вдоль тела. Из-под красной коротенькой юбки видны маленькие босые ножки. Дверь домика открыта настежь, в комнаты забрели чужие куры и с жадным инстинктом голода бродят спокойно по кровавым следам, с квохтаньем набрасываясь на крошки и куски хлеба, оставшиеся от трапезы варнаков.

Александр Павлович Вязьмин проснулся рано и с удивлением приподнял голову. На дворе стоял какой-то странный, непривычный гул голосов, слышен был топот куда-то бежавших людей, в открытое окно его спальни врывались восклицания и отдельные, не имевшие смысла фразы, и вдруг среди всей суматохи он уловил протяжный злобный вой своей собаки. Тоскливое предчувствие чего-

то ужасного охватило молодого человека, он вскочил и начал быстро одеваться, когда дверь его комнаты распахнулась, вошёл Козлов.

— Чёрт знает, что за сторонка! Вы ничего, Вязьмин, не слышали?

— Нет, а что? Пожар, что ли?

— Какой пожар! Убийство, батенька, в двух шагах от нас. Знаете домок на пустыре?

— Ну?

— Так вот ночью, оказывается, варнаки вырезали целую семью: еврея, еврейку и...

— И... — Вязьмин едва выговорил этот звук, губы его побелели, язык высох: неужели убили. Лию, маленькую, тоненькую. Лию, с которой он болтал вчера за воротами?

— И... девчонку их, — продолжал Козлов, — совсем ребёнка, повесили на воротах перед домом. Мерзость!

Козлов плюнул, выругался и вышел из комнаты. Вязьмина трясло. Едва застегнув тужурку, он выскочил на двор, пробежал оттуда в сад и в глубине аллеи из акаций вскочил на скамейку, стоявшую у забора.

Перед ним снова лежал пустырь, на нём одинокий, как брошенный с неба, маленький домик, за ним, сливаясь с горизонтом, вилась бесконечная серая дорога, а перед домиком на уцелевшем острове ворот висело что-то тонкое, беззащитно-жалкое. Он понял, что то был труп маленькой красавицы Лии. Как безумный, Вязьмин глядел на красную юбочку, горевшую ярким пятном под лучами весёлого летнего солнца; машинально он взглянул на забор, потом на скамейку и ясно увидел следы чужих грязных ног.

Вязьмину вдруг ясно стало, что именно здесь, в этом саду скрывались вчера убийцы. Если бы вчера он не струсил малодушно, а, взяв револьвер, вернулся бы с людьми в сад, может быть, убийства не случилось бы и Лия была жива.

Лия, маленькая Лия, Фелицата!

Вязьмин опустился на скамейку, припал грудью к столу и вдруг неожиданно для самого себя зарыдал: не выдержали тонкие, балованные нервы суровых картин насилия и смерти.

За забором гул голосов становился всё гуще и гуще,

народ прибывал толпами и, окружив домик, стоял, глядя на висевший труп, на открытую дверь, куда уже проникли полицейские власти.

XV

Иван Рассейский

— Стой, робята! — небольшая артель землекопов, вышедшая с рассветом на работу по линии железной дороги, остановилась.

— Что те попритчилось, Степаныч? — спросил вожака рыжий парень, шедший рядом.

— И то померекалось, ажно стон... и то стон, братцы, слушайте!

Кучка землекопов сбилась у края глубокого оврага, откуда ясно слышались перемежающиеся стоны.

— Ой, нечисто дело, робята, знать, варнаки и впрямь эту ночь гуляли, там жидов прирезали, а тут какого прохожего порешили.

Рыжий парень Сашка лёг на живот и свесился кудрявой головой в овраг.

— Степаныч! Ровно ведмедь там урчит и ползает!

— А ты покличь, с чаго тут чёрной немочи⁸ быть, не рука, да и стонет по-человечьи.

— Дядя, ай дядя? Добрый человек, откликнись, чаго стонешь?

Шевельнувшаяся на дне фигура приподнялась и приняла в глубоком овраге громадные нечеловеческие очертания.

Сашка отпрянул от края и вскочил на ноги.

— Боязно, робята, должно «сам» елозит там, огромный, страшный и на человека не схож.

— У, дурень, заячья душа! Рази «сам» станет после петухов на земле сидеть, а стонать-то ему с чаго? Аль бо там бык свален; вот у Крутороговых намеднясь варнаки украли бычка чёрного, так поджилки ему перерезали; а он всё-таки разбодал их да на брюхе в огород уполз, тоже дуры бабы думали, «сам» у них меж гряд захоронился.

Степаныч нагнулся сам над оврагом.

⁸ По-сибирски медведь.

— Эй, православный, откликнись, коли спасения хочешь! Аль расшибся?

Из оврага слышались стоны, перемешанные со словами, смысл которых было трудно распознать, но зато теперь Степаныч различал мохнатую голову и громадную человеческую фигуру.

— Сашка, беги назад к жидовской хате, там ещё исправник и команда, скажи ты, мол, нашли в овраге не то убитого, не то самого погубителя жидовских душ; всяко бывает, може, порешил с ними, ограбил, да сам с того так улюлюкался, что и дороги не нашёл, жида-то ведь по тайности вином торговали. Ягор, ты посторожи здесь, а уж мы на работу, околачиваться-то тоже здесь нечего!

— Нет, уж я тоже один не останусь, мы артель, значит, или все останемся, коли случай такой вышел, или вместе уйдём, чаго меня выделять в сторожа.

— Эх, сутырить⁹ ты ловок, артель! Знаю артель, да я-то кто тебе, старшой али нет?

— Старшой, а всё же артель, как канались тебя в начальство ставить, ты хрест целовал, все вместе, ни одного не покидать из артели.

— Во, дурья голова! Иван! Останешься, что ль, сторожить?

Иван, черномазый парень, почесал голову.

— Ягор правду баит, чаго от артели отбиваться, чаго я здесь караулить стану?

— О, чтоб те ободрало, ишь, олухи, нехристи!

— Чаго лаешься? Старшому не подобает, потому артель, все вместе! — заговорили в кучке. — Да и уйти теперь нельзя, пока Сашка не оборотится, опять же и начинать работать без него нельзя, потому артель, при расчёте как его прогул вычтешь, а мы на него не батраки.

Степаныч махнул рукой, в силу артельного начала он понимал, что они правы, да уж случай-то такой особый выпал. Он снова прилёг на край оврага.

— Человече, лезь, что ль, наверх, мы те подтянем. Я те спущу что ни на есть в подмогу. Братцы, нет ли у нас верёвки или сажени с собой?

— Брось, Степаныч! Не надо затевать, — остановил его

⁹ Сутырник — спорщик.

Тихон, старый и бывалый работник. — Не знаешь, что ли, что до начальства не могли вызволить угнетенника из петли аль поворошить убитого. Тронешь, а кровь на тебя капнет, вот потом и уясняй, что не ты убивал, и будут видеть, что не ты убил, да всё же на допросы затаскают, потому — кровь...

— Верно твоё слово! Мы что — сторона, вожжаться нам с полицией не рука, дали знать — подождём Сашку да и айда. Человек-то никак побывшился!

Нагнулись рабочие, смотрят в овраг, а туда уже прокрался свет утренний, и всем ясно видна стала грузная, неподвижная фигура человека.

— Отойдём, робята, чего вклёпываться! — Степан отошёл на дорогу, а за ним и вся артель.

Несложны были мысли каждого, да и не близок был им человек, погибавший, может быть, на их глазах. Чужая неприветная сторонущка, чужие, суровые люди кругом, а этот, може, и варнак еще беглый, упаси Господи! Сами они все володимирцы, гости нахожие, дело ихнее работать да, собрав гроши на зимний хлебушко, назад вернуться.

— Бягут! — заметил один, и головы всех обернулись к городу. Впереди лёгкой рысью лупил Сашка, боявшийся больше всего, чтобы артель не ушла без него; за ним беглым шагом трусили два полицейских солдата и толстый урядник.

Урядник, добежав до оврага, хотел что-то крикнуть артели, да задохся, махнул рукой, захлебнулся воздухом и, весь багровый, кашлял минут пять, затем перевёл дух и начал ругаться отборной сибирской руганью...

— Пойдём, робята, не то их урядное благородие на-смерть заругается, — артель двинулась дальше.

— Стой! — заревел урядник. — Как смеешь уходить, помогай вытаскивать, где верёвки... Эй, люди!

От артели отделился Степаныч.

— Не ладно так-то, твоё благородие, горланить, мы те не люди, мы железнодорожная артель, и нам работать с часов надоть, валандаться нам не приходится, так по христьянству, потому на вороту хрест, дали мы тебе знать об убивственнике, а теперь прощенья просим, у нас начальство своё, анженерное, — и, отвесив поклон, не отвечая ни на крик, ни на ругань, артель двинулась дальше и скоро совсем скрылась за перелеском.

Долго возился урядник, пока вытащил из глубокого оврага почти бесчувственного Ивана Рассейского, посылал в город за помощью, спускал двух солдат вниз, обвязал верёвкой громадного парня, причём тот два раза сорвался и, как туша безжизненная, снова скатился на дно, наконец, всего окровавленного, избитого, изодранного вытащили и положили перед лицом приехавшего исправника.

Поглядел на него Емельян Иваныч орлиным своим взглядом и велел лить из ведра холодную воду ему на голову.

Вылили ведро. Хоть те что. Вылили второе — очухался и глаза приоткрыл; грязь и кровь смылись с его морды, и исправник зорко оглядел парня.

— Знаю! Вот имя не припомню, а знаю я эту образину; год тому назад прогоняли его через наш город, была у него нога засечена, так от партии до другой пролежал в нашем госпитале; парень силы страшной, а тихий, смирный. А! Вот и доктор! Павел Семёныч, осмотрите парня, из рва достали, что с ним такое, расшибся сам пьяный или тут преступление?

Подоспевший доктор тут же на месте осмотрел Ивана. Нож Чёрного угодил ему под лопатку, но только скользнул по ребру, рана была порезная, неглубокая, но как летел грузный парень в овраг, то хватился головой о камень. Череп у Ивана был, должно, не нежнее медвежьего, а потому, несмотря на то, что верхние покровы были раскроены, голова осталась цела. Много потерял Иван крови и долго лежал во рву в беспамятстве, но коли не вышла из тела душа его этой ночью, то уж теперь, в умелых руках Ивана Семёныча, нечего было и думать о смерти.

— Что? Может он говорить? — спросил исправник.

Доктор кликнул фельдшера, наложил на раны первые перевязки, благо догадливый фельдшер, позванный на место убийства, захватил кое-что с собой, затем дал Ивану понюхать спирт, потёр виски, и парень окончательно пришёл в себя.

— Здорово, парень! Знакомы чать с тобой! Как звать-то тебя? — спросил исправник, подходя и нагибаясь к Ивану.

— Иван Трофимов по прозвищу Рассейский, — машинально ответил тот.

— Так, верно, не врёшь, теперь вспомнил. Кто тебя ножом-то пырнул?

— Ножом? — Иван помолчал. — Верно твоё слово, ножом пырнут я?

— Вот чудак малый, верно ли? Да под лопатку-то тебя кто, как корову мясник, хватил? С кем шёл-то?

— С кем шёл? — переспросил Иван.

Медленно, но сознательно заработали мысли пришедшего в себя парня. В тяжёлом мозгу прояснилась картина вчерашнего убийства, «птица», запертая в чулане, пьянство, дорога, толчок, острая боль, а дальше... ночь тёмная. «А! Каин треклятый! Так ты во как! — воскликнул он мысленно и налитыми кровью глазами огляделся кругом. Чёрного не было. — Знать, не пымали, убёг. Годи, падаль, от меня не уйдёшь!».

— Не припомню, кажись, никого со мной не было, ваше вскродие! — отвечал Иван, узнав, наконец, исправника.

— А жидов при дороге ты порешил?

Ещё раз Иван оглянулся кругом, как медведь, попавший в капкан. Значит, крышка пришла, не вывернешься! И путать не стал.

— Моё дело жиды, значит...

— С кем был?

— С кем был? — снова переспросил Иван и помолчал, своеобразная честь бродяги не позволяла ему выдать товарища. Всё равно, мол, рано ли, поздно ли снова столкнёмся и счёты свои сами сведём.

— Один был... один и порешил их! — мрачно и апатично ответил Иван и стал смотреть в сторону.

— Ну а девчонку зачем замучил и повесил? Иль креста на тебе от роду не было? Ведь ребёнок совсем ещё!

Иван уставил глаза на исправника. Хотя он не понял ещё смысл сказанного, но дрожь уже прошла по его телу.

— Каку-таку девчонку?

— Ту, еврейскую дочку, зачем убил, что она тебе?

Иван вдруг рванулся и вскочил на ноги, весь дрожа, бледный, лязгая зубами, он глядел на исправника.

— Птицу? Птицу, говоришь, убили?

— Не птицу, чего мелешь, девчонку, дочь еврейскую придушили да на воротах повесили.

— Покажь! Покажь! Глазами должен видеть. Идём, веди меня туда, Христа Бога ради дозволю видеть!

— Может он идти, доктор? Дойдёт он?

Доктор взял Ивана за руку и посмотрел ему в глаза.

— Дойдёт, ведь это богатырь, а теперь в этом возбуждении он чёрт знает чего ещё натворить может. Прикажите обыскать его.

Ивана обыскали, за валяным сапогом его нашли нож, онучи, как и вся одежда, были в крови, но была ли то кровь его жертв или текла она из его собственных ран — кто знал!

Громадный парень стоял смиренно, глаза его, добрые, как у израненной собаки, не отрывались от лица исправника.

— Твой нож?

— Мой, мой, вишь у меня?

— Им, что ли, еврейку резал?

— Им, им самым, вишь в крови... Покажи, что ль, птицу, то бишь девчонку... идтить можно? — молил он.

— Есть ещё что при тебе?

— Да вот не знаю, кажись, голыш оглушный¹⁰ ещё за пазухой был, да должно выкатился. Идём, что ль, ваша милость... Всё отдам, волоса ничьего не трону, идём только, ваше вскродие.

Двинулись в путь, с каждым шагом силы Ивана, казалось, крепили, с полдороги он уже не шатался, а весь подался вперёд, словно вся душа его стремилась скорее увидеть, узнать то, что так страшно томило и волновало его.

Весть о том, что железнодорожные рабочие схватили на дороге варнака, уже сообщилась народу, собравшемуся вокруг еврейского домишки. Досужие люди, жадные до кровавых случаев, бежали по дороге, присоединяясь к солдатам, сопровождавшим Ивана. Когда вся эта галдящая толпа показалась у поворота дороги, к ней прихлынула новая масса любопытных.

Увидя громадного детину со всклокоченными волосами и перевязанной головой, полураздетого, замаранного кровью, бабы заревели, мужчины глухо заволновались: «Пымали, пымали душегуба-убивцу! Ведут, ведут к трунам!» — слышалось всюду.

¹⁰ Гладкий гамень, которым оглушают жертву.

— Коли он порешил — кровь у убитых на глаза выйдет!
— орал кто-то.

— Под девку-то, под девку проводите его, коли он побывшил¹¹ её, ни в жисть не пройти ему под ейными ногами — не пропустит она его, — кричал другой.

Иван шёл, ничего не слыша, всё так же страстно глядя вперёд. Вот и поворот направо, вот угол нависшей, как бы съехавшей с домика, громадной крыши, вот... На перекладине ещё висел труп Лии, ветер играл чёрными кудрями, и мерно, ласково покачивалось тонкое тело девушки.

Не то рёв, не то стон с такой дикой силой вырвался из груди Ивана, что кругом его отшатнулись люди. Парень протянул руки вперёд, затрясся, упал на колени и прильнул головой к земле... Иван Рассейский, душегуб, беглый варнак, в первый раз в жизни рыдал, рыдал, захлёбываясь, шепча со стоном: «Птица ты моя, птица, не ухоронил я тебя!».

— Кается, кается! У, каторжник, варнак, висельник, будь ты проклят, разрази тя Мати-Заступница! — слышалось в толпе.

Отдельные кучки людей стали напирать на солдат.

— Назад! — зычно крикнул исправник. — Назад, оголтелые! — Заорал он ещё раз, выступая грудью перед Иваном. — Поднять его! — Обратился он к солдатам. — Ввести в избу, — и, обернувшись к доктору, добавил: — Голову прозакладываю, что это не его работа.

Проходили дни, длинные, пустые, перемежали их ночи малосонные, а Иван Рассейский всё ещё содержался в тюремном госпитале. Дознание об убийстве евреев тянулось, Иван не называл помощника, а исправник упрямо искал его. Раны Ивана зажили, да, как злая жёнка, привязалась к нему лихоманка трясучая и извела парня. Волочит он ноги, худой, жёлтый, молчаливый, будто речь потерял, и только если кто с умыслом или невзначай заговорит при нём об убийстве жидов, потемнеет он в лице, сожмёт зубы, на щеках обозначатся кости скульные, нижняя челюсть выдвинется и лицо озверееет, аж страшно станет тому, кто с ним в разговор вступил.

¹¹ Убил

А в городе всё пошаливают, рвёт и мечет исправник Емельян Иваныч, а поделать ничего не может: обокрали кладовые купчихи богатой Елисейевой, да ведь как хитро — под деревянными уличными мосточками канаву прорыли и всё её добро ночами повытаскали; убили какую-то старушонку, жившую одиноко на окраине и торговавшую небезвыгодно штучными мехами; и всякий раз дело было чисто, улики налицо, а душегуба ни следа. Знал Иван, чей грех то был, знал он и логово, где Чёрный притон держал — больно хорошо сошло ему с рук убийство евреев, и Ивана он не боялся, должно быть, прослышал, что болен он и сидит за крепким замком. Ох, как трудно было Ивану язык за зубами держать и исправнику не дыхнуть о том, что знал, и только потому молчал он, что крепко держался надежды встретиться с Чёрным рано или поздно лицом к лицу в лесу дремучем и под небом божьим свести с ним свои счёты. Только накануне того дня, как у Нефёдовых девичник был назначен, смутилось совсем сердце Иваново: прослышал он от сторожа госпитального, что исправнику был дан слух, что варнаки хотят воспользоваться девичьим праздником в доме и очистить кладовые нефёдовские. Всю ночь не спал Иван, не ел и наконец потребовал дежурного.

— Вот что, милый человек, доложи ты господину исправнику, значит, Амельян Иванычу, что хочу я с ним по откровенности поговорить, очень тоись важное дело сообщить хочу, да не мотай только душу мою, проси его, чтоб тоись скорей.

Через час приехал в больницу Емельян Иванович, позвал в отдельную комнату Ивана; вошёл парень и в ноги ему поклонился.

— Ну, что надумал, Иван Рассейский, аль сообщника назвать хочешь?

— Вот что я тебе скажу, Амельян Иваныч, господин исправник, прослыхал я, что хочешь ты сегодня на поимку воров, значит, идти, возьми ты меня с собой, вот те Христос, помогать стану, не токмо не убегу, что пёс верный, караулить буду, сдаётся мне, что тот самый душегуб, что ту... ту, — Иван потупился и весь побелел, — ну знаешь, птицу повесил, орудовать станет, так вот я его тово...

— То есть что того? Твоё дело только указать будет да помочь нам изловить его.

Иван молчал.

— Слышишь?

— Слухаю, слушаю, так что же, ваше скродие, возьмёте, что ль, меня?

— Так, значит, не ты в девочке повинен?

Снова потемнел и понурился Иван.

— Сам знаешь.

— Ну, а еврейку?

— Сказывал, я евреев тронул.

— Так ведь уж не легче тебе наказанье-то будет: тоже воровство с душегубством.

— Што мне будет — твою ума дело, а што я сделал аль не сделал — моя душа знает, — Иван смолк и стал глядеть в сторону; исправник подумал, побарабанил кольцами по столу.

— Ну, ин ладно, готовься, как стемнеет, зашлю за тобой, а что ты насчёт побега...

— Не убегу, моё слово крепко. Спаси ты господи, Амелян Иваныч.

И в первый раз что-то вроде улыбки мелькнуло на истомлённом лице Ивана.

XVI

Девья баня

На песках в угловом доме средственных кожевенных заводчиков Нефёдовых уже несколько дней стоял зазвонистый пир. Матрёна Яковлевна и Иван Тихоныч Нефёдовы играли сговор дочери своей Маремьяши с молодым купцом-железником Тетёркиным, то есть собственно даже уже не сговор, так как и рукобитье, и смотрины отбыли, роспись с приданым молодому вручили, подарки приняли и день свадьбы назначили, а на сегодня пир касался одного женского пола, то была Маремьяшина последняя девья баня и девичье угощение. Мужчин всех: и отца Ивана Тихоныча, и сыновей его, Маремьяшиных братьев, Евграфочку и Сёмушку, и дединьку Мокся Силантыча, и кучера, и работников, — кого удалили на тот день в гости, кому велели

держаться своих хоромин и не показываться, не смущать игр девичьих, забав и песен невестиных.

В белой стряпущей под руководством дошлой стряпки Акимовны, что жила на покое и только при больших okazиях у купцов стряпала, три помощницы орудовали, засучив рукава.

Подруги-девушки в парадных горницах ставили столы и убирали их всякими лакомыми заедками, а Матрёна Яковлевна в боковой горенке устроили для матерей и тёток угощеньице из сладких вин, наливочек, медов сычёных, штучек домашних и разных солёных и маринованных прикусочек. Но из всех дел первым стояло дело банное — мытницы¹², подымая хвосты, бегали по двору из дома в баню и обратно.

Баный домик Нефёдовых стоял во втором дворе особнячком, окружённый, как изгородью, молодыми ёлочками, внутри его было всё чисто и прибрано, как в любой комнате, полки, лавки ясные заново застроганы. Окна в бане со светлыми стёклами, изнутри прикрыты белыми створками, отделанный предбанник для раздевания, в котором пол и лавки выстланы белой кошмой, а поперех прикрыты чистым рядом, в больших медных тазах берёзовый щёлок разведён, в других горой взбита мыльная пена. В ведрах приготовлен тёплый ароматный мятный и колуферовый квас, чтобы им пар на спорник¹³ поддавать. На полочках в бане из самых молодых берёзовых ветвей веники навязанные приготовлены, мыло душистое — казанское для тела, яичное для лица — и тонкие жёлтенькие мочалки.

То и дело в баньку забегали девицы-подружки узнать, всё ли готово, и наконец мытницы внесли в предбанник стол и на тарелочках разложили груды мочёных яблок, брусники, морошки, расставили стаканы, бутылки с разными ягодными и фруктовыми водами для банной остуды и прохлаждения. Во дворе слышалось пение, прерываемое смехом. Затопали резвые ноженьки девушек, и более десятка подруг хлынуло в баню, увлекая за собой и невесту Маремьянушку. Маремьянушка была не то чтобы

¹² Прачки.

¹³ Каменка в бане.

красавица, а девушка добротная, обещавшая быть мужу женой и деткам маткою. Белая, гладкая, что речка молодая, щёки алые, глаза тёмные, косы толстые, длинные, грудь высокая, нежная, будто атлас розовый на лебяжий пух наложен; смешливая, говорливая, что гусли переливчатые, сердцем добрая, норовом кроткая. Следовало бы девушке, для порядка и прилику ради, помыть в бане, поплакать над красой своей девичьей, над косою своей трубчатой, да больно жених завидный — Андрюша Тетёркин, всем собой хорош, и речист, и с достатком; выглядели они давно друг друга — с детства домами знакомы были, и теперь оба захват свадьбы ждали. Тут не до слёз!

И банька, и двор весь, и сад густой Нефёдовых полны были смеха, песен, крика и говора.

Мыли девушки невесту, резвились и, приподняв край занавесочки, зорко выглядывали из окна, чтобы не подошёл, по обычаю, кто к баньке из парней знакомых «попугать», ну, тогда не прогневайся, кто как, накинут платьишки, вылетят с разных сторон, а уж окатят парня озорного с головы до ног. На это раз, как на грех, не на ком и шуток шутить: в заречье у богатеев Крутороговых вечер назначен был, и вся молодёжь с женихом туда и отправилась. У богатеев Крутороговых было три сына. Старший Ванюшка родился, когда ещё отец его на кобылке¹⁴ собственными кулаками кожи мызгал. Тоненький, с большими мечтательными глазами, Ванюшка до юношества за бессильность да тихость свою выдержал немало трёпок от отца. Спасаясь от гнева отцова в ватных юбках староверок бабушек и тётушек, он прирастал к их тихому келейному житию. Все его радости сосредоточились в тайных молельнях, где пахло росным ладаном, где, мигая, как усталые очи ангелов, горели катанки жёлтого воска и гнусливо, нараспев читались длинные молитвы, вызывавшие в душе его мистические образы.

Учён Ванюшка был на медные деньги и дальше старых священных книг не пошёл.

Дела Круторогова росли, ширились, вместо одной кобылки на дворе заводчишка поднялся, в доме родились ещё два мальчика — Гришенька да Яшенька, ребята весё-

¹⁴ Козлы для растягивания кожи.

лые, своевольные, начавшие с девяти лет учиться уже у настоящего учителя; сам Круторогов к тому времени уже сбрил себе бороду, от старины отшатнулся, примкнув к щепотникам, стал в Питер ездить, с нужными людьми снюхался, заручился крупным казённым подрядом и младших сыновей своих, как те покончили гимназию, всему городу на «ах!» в университет отдал.

Настасья Петровна, жена его, всему покорилась, преклонила голову долу, и стала жить, как супруг указывал. Погневались бабушки, да на том и поприумерли, как время пришло, а тётушки, сёстры самой Круторогихи, отреклись от большого дома и, глухо ропща, проклиная новшества, заперлись в своих флигелёчках и ещё крепче привязали к себе фанатически преданного старой вере Ванюшку.

Ванюшка попробовал было бороться с новым влиянием, да, выдержав две-три «науки» от батюшки, запил, проштрафился как-то большой растратой товара и денег на одной из Нижегородских ярмарок и, совсем отрешённый от всяких отцовских дел, запил запоем и перешёл жить из большого дома в боковушку около белой стряпущей¹⁵.

Проснувшись рано в тот день, как у Нефёдовых справляли девичник, Ванюшка вспомнил, что и у них в доме сегодня справляют немалое пиршество вернувшиеся из университета Гришенька и Яшенька, вздумавшие чествовать помолвку друга их Андрюши Тетёркина. Взгрустнулось Ванюшке, да вдруг и осенило — вспомнил он, что то была седмица, разрешавшая вино и елей. Вскочил он с узенькой жёсткой кровати своей, плеснул в лицо себе свежей водицы. Прочёл уставный начал, затем трижды поклонился иконе Алексея Мурина, хранящего человека от винного запоя, и повернул его к стене в знак того, что на время бдительность его упраздняется и... разрешил, а разрешив, вспомнил, что у Нефёдовых девичник, вдруг задумал пренебречь зваными отцовскими гостями и отправиться к Нефёдовым Маремьяне Ивановне конфет свозить. Никому Ванюшка не сказал о своём намерении. Надел он атласный чёрный халатик вроде подрясника, на голову шапочку, позвал караульного татарина и велел какую ни на есть лошадишку запрячь себе, мол, прока-

¹⁵ Хозяйская кухня.

таться пришла охота. Подали ему к крыльцу линейчку, сел на неё бочком Иванушка, ножки на подногу поставил, запахнул полы халатика, засунул руки рукав в рукав и затрусил на водовозной пегинькой в город. Все знали Ванюшку, все знали коней выездных крутороговских, а потому никого не удивлял чудачный его выезд.

На горе татарин затирукал лошадь, и та остановилась перед большим бакалейным магазином Черёмухина. Два приказчика выбежали за дверь и смотрели на Ванюшку, а Ванюшка, склонив голову набок, дремал и даже носом посвистывал.

— Хозяин, а хозяин! Иван Артамонович, бачка! — будил его татарин, повернувшись на козлах и трясая его одной рукой за плечо.

— Цыц, проклятик! — крикнул он на какую-то юркую шавку, вывернувшуюся из-под ворот и яростно кидавшуюся в самую морду лошади. Лошадь дёрнула, Ванюшка клюнул носом и наверняка вылетел бы на дорогу, кабы оба приказчика, бросившись к линейке, не поддержали его.

— Иван Артамонович, пожалуйста!

Ванюшка открыл глаза.

— Шишь, язви вас, чего в рожу лезете? Не Пасха, чтобы христосоваться.

— Бачка, к магазееи приехали, наказывал сам.

Ванюшка вспомнил, улыбнулся и стал пальцем манить одного приказчика.

— Подь, милый человек, сюды, вот что, любезненький мой, вынеси ты мне фунтишка три конфет обёртышных от Трабля или кого другого московского, да коробку позатейней, да в кулёчек мармелада, шеколада, ну ещё там какого девьяго «фантафанта», да положи у кучера. Слышишь, касатик? Да вот ещё что, денег у меня, брат, с собою — ау! Маменьке потом счёт предоставишь. Чать Круторогиху знаешь? Да норови так подать, чтобы папенька не видел — не люблю спросов.

Приказчик, хорошо знавший, с кем имеет дело, скрылся в лавку, а Ванюшка снова задремал и уже очнулся только во дворе у Нефёдовых.

Встречать незваного, неожиданного редкого гостя вышла на крыльцо сама Матрёна Яковлевна.

— Здравствуй, Матрёна Яковлевна, добродетелью си-

яющая, бедным и убогим сиротам помощница, смирием, како жемчугом, украшенная, кума моя и душевная родственница! — запричитал Ванюшка.

— Здравствуйте, Иван Артамонович, здравствуйте, батюшка! — отвечала ему приветливо хозяйка, знавшая его привычку ласковости ради всех звать кумой.

Ванюшка слез с линеечки, а татарин подал ему объёмистый кулёчек гостинцев.

— Зачем беспокоиться изволили, Иван Артамонович, что за приношения такие, довольно конфузливо мне и принимать-то — гость вы редкий, а всегда с гостинцами.

— Не тебе, кума, не уростья¹⁶, Маремьяне Ивановне конфетишки привёз, да так жемочки для подруг её. Где же девицы-то все?

— Да... Евграфочка и Сёмушка, должно полагать, на вашем же крутороговском дворе пируют, братец твой, Гришенька, вечер ещё приглашеньице присылал, а... девушки-то все... в саду дальнем... известно, день у них сегодня такой... девичий.

— Сём-ка я в сад пройду! — расхрабрился вдруг Ванюшка.

— Не ходи, родненький, не трожь девок, у них свои теперь песни да игры, даже мы, матери, к ним не клеиваемся.

— Я, Матрёна Яковлевна, особ статья, я, значит, чтобы всё по старинке, в порядке, я даже указать могу. Я всем в таких случаях наука.

Ванюшка двинулся в сад, а старая Нефёдова только посмотрела ему вслед и рукой махнула — не обессудь, мол, сам на издёвку девичью лезешь.

Из сада Ванюшка прошёл на двор и спокойно зашагал к баньке. Крепко знал он обычай и решил «попугать».

Олюшка Тетёркина, женихова сестра, воструха и своебытница, первая подглядела и узнала Ванюшку, вмиг тревога была дана всем девушкам быстрее птиц перелётных, накинули они на себя платишки, и в ту минуту, как Ванюшка, с хитрым видом хоронясь под оконницей, протянул руку и хотел побарабанить по стеклу, двери открылись с двух сторон — из бани и из предбанника, — и

¹⁶ Уроситься — упрямиться.

вылетела гурьба девушек, и с десятков полных шаек моментально вылилось на голову свет Ивана Артамоновича, сына Круторогова.

Крепок был атлас халатика, а ниточки сухой не осталось на Ванюшке. Далеко отлетела с него шапочка, волосики намокли и, что у утопца, повисли по личику длинными тощими прядками, худой да высокий, весь он облип, что палка, и такая обида вдруг закипела в сердце его, что схватил он кирпич накалённый, лежавший тут же на скамеечке, и пустил им в окно.

Визг, крик, брань девья поднялись в бане, а Ванюшка, подобрав полы халатика, дул на въезжий двор, навалился на свою линеечку и, как был без шапки, крикнул татарину, не успевшему ещё уйти из-под навеса, ехать домой.

Выскочила снова на крыльцо Матрёна Яковлевна и ахнула — сидит Ванюшка, как утопец, на линеечке и знай татарина погоняет, а вода ручьями бежит с него, с подножки льётся и по двору след оставляет.

Гурьбой с шумом, смехом и девичьей весёлой бранью вернулись девушки из нефёдовской бани. У всех на языке один Ванюшка. Простить ему не могут брошенного кирпича — шутка ли сказать, чуть Маремьянушку не зашиб, во-о-т как близко пролетел, в лохань шмякнулся, и вода фонтаном взметнулась. Как вспомнят девушки, как обливали Ванюшку, как бежал он, так и покатаются со смеху. Забрались подруги в невестину комнату. Смелая Олюшка Тетёркина утащила из молодецкой гитару и стала представлять цыган, что слышала в Ирбите на ярмарке.

Одна, другая подхватили напев, и пошла общая хоровая. В большой гостиной комнате сидят маменьки и тётушки, одна перед другой щеголяют самоцветными камнями и бриллиантами, у иных надето по три, по четыре брошки подряд, все пять пальцев унизаны кольцами, шея обмотана золотыми венецейскими цепями из тонких золотых колец, больших и гладких, как обручальные, хитро переплетённых между собой, с массивными золотыми «формулярами», как старая Икониха фермуары зовёт.

Сидят, судачат, перебивают косточки, перетапливают жирок отсутствующих, не забывая изредка и друг другу правду-матку отрезать, посчитаться за прежние провинности.

Играют в мушку да в рамс, цифирь пишут не все, а потому три проверяют ту, которая записывает, считают долго, со спором, да благо время есть, мужчины-то дома остались, некому надсмехаться и выпить помалости можно — оно и пользительно, и куда как вольготно в своей компании.

Кучера и конюхи приезжих давно отпущены восвояси, потому хозяйка решила, что незачем им подглядывать да подслушивать за своими хозяйками, а развезут всех по домам и на своих долгушах. Своя же прислуга вся уже поужинала и, кроме двух караульных, спать полегла. А караульные тоже спят за воротами, потому праздник в доме и за ужином их ублаготворили. Собаки ещё не выпущены и тихо, жалобно подвывают в своих темницах. Шумно и весело в доме, из всех окон в прорези ставень мелькают огни. Изредка сквозь быстро открывающуюся и захлопывающуюся дверь вырвется аккорд гитары или трель весёлого смеха.

По дворовому настилу тихо ходит месяц, прихотливо рисуя тени крыш, заборов и свесившихся с них кудрявых деревьев, и ничьё сердце не чувствует присутствия незваных, страшных гостей, ничьё ухо не слышит потайной воровской работы. В громадной завозне, ворота которой заперты на большой железный замок, ключ от которого висит в камерке доверенной экономки Силантьевны, рук не покладая работали двое людей.

Ещё солнце не село, как уже в нефёдовском огороде в глубокой меже между грядками сочных громадных кочней капусты лежали два придорожных товарища — Чёрный и Федька Карнаухий, лежали и ждали, когда зайдёт за окраину небесную солнышко усталое, когда проснётся снова за оврагом тень ночная и ползет по земле, всё завлакивая дымчатым туманом, как на небо выбегут любопытные месяцевы детки — звёздочки ясные и станут, мигая, на землю глядеть. Прислушиваясь к резвым голосам девушек, бежавших из бани домой, дождалось, как мало-помалу кругом в саду и во дворах всё разошлось и смолкло, тогда, приподнявшись на четвереньки, ползли они по огороду до самой стены завозни, потом без труда по навыку вытащили из стены завозни две широкие доски и пролезли туда, осмотрелись, обсиделись, затем принялись за

боковую стенку, примыкающую к главному подвалу Нефёдовых, где хранились сундуки с мехами и серебром запасным.

Федька Карнаухий работал когда-то на нефёдовском кожевенном заводе и давно вызнал ходы и выходы, мало того, в ту пору он в такое доверие вошёл к Силантьевне, что даже и в подвал тот не раз с ней спускался и от неё слышал, в каком сундуке какое добро лежит.

Товарища у него в ту пору надёжного не было, а как один на такое дело пойдёшь? Несподручно. Живо взломали теперь они два сундука, перетащили в завозню серебра немало: ложки, вилки, ножи тяжёлыми пакетами, удобно свёрнутыми, надёжно перевязанными, много риз серебряных, кованых, с венцами золотыми, низанными жемчугом и убранными камнями, сняты те ризы были ещё в Улангерском скиту, где тётка Нефёдовой, мать Арина, настоятельницей была; как разоряли да прикрывали скит тот, то заранее она иконы древние неопенимые в леса керженские переправила, а ризы на сохранение к сродственникам своим Нефёдовым тайно перевезла. Немало дедовских кубков, стаканов, бражень серебряных и золочёных вытащили они и всё связали, сложили в удобные котомки.

— Будем, что ль, брать меха? — спросил Чёрный.

— Ну, куды те, с мехами накроют, тащить грузно, одного серебреца похватали и буде, немала толика.

— Верно. Ты, Федюха, того, справляй пещура аккуратней, тащить далеко.

— Чего далеко? Медвежатник за огородом в телеге на саврасом сторожит, свезёт небось.

— На кой дьявол впускал ты сюда медвежатника, делись теперь, да и третий язык, что пятое колесо у телеги, — только помеха.

— Нельзя. Медвежатник был с нами как старуху-меховщицу решали, теперь не возьми-ка его в долю, а дыхни ему кто со стороны, что здесь наша рука была.

— Вот те Христос, зарежет то есть, как курёнка, где-нибудь встретит и побывшит. Не, брат, говорю, плюнь на меха, не рука вожжаться с ними, в гряде не пролезешь, увидит кто из окна — и всё пропало.

— И то плевать, пора и ехать, на девишниках-то подо-

лгу не медлят, того гляди, всполыхнутся старухи по домам. Айда вперёд! Неси свой пещур, складывай у медвежатника, коли так, и жди меня, я ещё что пошарю.

— Ой, чёрт Чёрный, опять затеваешь что недоброе? Скажи лучше.

— Ну, растабарывай! Сказано, ползи и жди, аль меня не знаешь?

— А ну те к лешему! И впрямь, что с тобой возиться, а только помни: коли что — вожжами по саврасому и ждать тебя не стану.

Федюха крепко привязал себе на спину пещур, вылез из сарая, быстро прополз в высокой траве и исчез в громадной канаве.

За нефёдовским огородом у самого пустыря стояла сытая рыжая лошадь, запряжённая в простую телегу, в ней лежал на брюхе медвежатник, накрывшись пыльным хлебным мешком, будто мельник, ждущий клади с ближайшей нефёдовской ветрянки, тихонько посвиетывал в ожидании Фёдора Карнаухова. Рыжая лошаде́нка его со злой вороватой мордой прыдала ушами и время от времени вздрагивала, точно предчувствуя и кладь воровскую, и погоню, от которой ей снова придётся удирать во все лопатки.

«Коли теперь Чёрный сухим оврагом уползёт, что по ту сторону огородов лежит? — рассуждал про себя медвежатник. — Завтра же разыщу его и нож в брюхо, потому, значит, меня здесь как татарина на стороже поставил, чтоб, значит, для отвода глаз. Ох, жутко! Ладно, смерклось, а то здесь на голом месте, что на ладони, торчишь, опять вот...», — медвежатник не договорил свою мысль, припал на дно телеги и замер, его рыжий заржал тем особым беспокойным, жалобным ржанием, которым встречал и провожал чужих лошадей.

На гнедой кобылке в лёгонькой кибиточке тихонько, не торопясь, по тому же пустырю ехал исправник Емельян Иванович, рядом с ним сидел солдат, а на козлах другой, бок о бок с Иваном Рассейским. Сразу Иван узнал и рыжего, и телегу и, несмотря на наступавшую темноту, распознал медвежатника, лежавшего под мешком, но и виду не подал, и глазом не повёл — не за той добычей он выехал.

Исправник, как страстный охотник, пущенный по следу красного зверя, тоже уже был не способен на мелкую травлю, и потому совсем не заметил одиноко стоявшей телеги. Ещё пыль не улеглась из-под копыт гнедой кобылки, как возле медвежатника выросла тень Федьки Карнаухова.

— Подсобь, что ль! — услышал он голос.

Откинув с головы веретьё, медвежатник осторожно глянул в сторону голоса, признал Федьку и принял из рук его тяжёлую котомку, наполненную серебром.

— Видал? — шепнул медвежатник.

— Пронесло чёрта! — буркнул Федька. — Тут в канавке ухоронился. А видел, кто на козлах?

— Не!

— Иван Рассейский!

— Иван!.. — медвежатник тряхнул вожжами, побелевшие губы его не выговорили дальше мысли, знали они оба конец Чёрного, коли только судьба столкнёт его с Иваном.

Рыжий мчался, как ветер, весело закидывая ногами, без указаний вожжей, зная свои повороты и свою остановку там, за татарскими юртами, в корчме кривобокой солдатки Маланьи.

Из стряпущей в горницы Нефёдовых бежала Матрёна, круглолицая, весноватая, белозубая, бежала, держа в обеих руках по бутылке домашней шипучки, да вдруг посередь двора дрогнула и чуть не выронила из рук обе бутылки, до слуха её долетело протяжное, звонкое мяуканье; тяжело переводя дух, девушка, остановившись как вкопанная, слушала. Должно заблудившийся голодный кот мяукнул ещё два раза.

— Он! — прошептала девушка и, слегка побледнев, побежала в дом.

Ещё когда Федька Карнаухий служил у Нефёдовых, его проведаль как-то Чёрный, как добрый друг-приятель; в ту пору у Чёрного были свои дела, и руки у него не дошли до нефёдовских кладовых, но он приглядел Матрёшу, весёлость и смех которой впервые закинули что-то

подобное чувству в сердце разбойника. С тех пор завязался между ними несложный роман, и всякий раз, когда Чёрный мог вызвать к себе на свидание Матрёшу, он давал ей знать условным протяжным мяуканьем. Знала ли Матрёша, что милый её был душегубом, Бог весть! Чёрный даром язык не чесал, а, улучив минуту да найдя укромное место, крепко прижимал девушку к своему озлобленному сердцу, горячо целовал её, сжигая огневыми очами, не жалел подарочков, а, уезжая по своим тайным делам, говорил ей только: «Вернусь, обманешь — зарежу». И Матрёша не обманывала.

Выбежав из горницы, Матрёша шла тихо по двору, прислушиваясь к малейшему шороху.

— Мяу! — слышалось неподалёку вправо. — Мяу! — девушка ясно поняла, что голос шёл из завозни.

— Ишь, лешой! — засмеялась она. — Ему и замки не преграда! Глянь, где обитель себе нашёл. — И она ещё раз рассмеялась, вспомнив Силантьевну, берёгшую, как душу, ключи от завозни.

Месяц зашёл за тучку, Матрёша тихо кралась по стенке завозни, ловя на звук ту лазейку, в которую звал её милый.

Вот ещё раз мяукнул влюблённый кот, девушка прошептала: «Здесь!», но не успела нагнуться, как что-то мягкое, тяжёлое закрыло ей рот, две сильные руки подняли её от земли, и она очнулась, лёжа уже в коробке исправника. Над ней было усатое лицо полицейского солдата.

— Дыхни — тут же и кончина! — скорее назидательно, чем злобно, объявил ей блюститель порядка и тут же добавил: — Ловко! Это я же шапкой морду заткнул.

Чуткое ухо Чёрного уловило шорох и шум. Как волк попавший в западню, метнулся он вдруг в завозню, и надёжный обоюдоострый нож очутился в его руках. Выхода, кроме вынутых досок, из завозни не было. Прежде всего он начал соображать. Матрёна была ещё шагах в десяти от пролаза, значит, коль кто её накрыл, то были домашние и следили не за ним, Чёрным, а за девкой. Снова подполз Чёрный к дыре — ни шороха, ни света; он тихо мяукнул последний раз и не видел, не чуял, как на это мяуканье к самой дыре двинулась громадная фигура Ивана Рассейского.

Исправник с другим солдатом по настоянию Ивана, кликнув на подмогу ночного караульного, стояли у противоположной стороны.

— А ну те ко всем чертям! — проговорил Чёрный, мысленно обращаясь к Матрёне. — Не до нетелов мне тут пестаться с тобой, а только коль что... — он сделал неопределённое движение рукой, всё ещё державшей нож, затем осторожно засунув его снова за голенище, Чёрный ощупал свой крепко связанный пещур, просунул его в дыру, отстранил чуть-чуть налево и полез сам.

Воспалённые глаза Ивана ясно видели вылезавшую мохнатую тень, вот тут сейчас же нагнуться, хватить душегуба за горло, раньше, чем вылезет он из норы, раньше, чем шевельнёт рукой достать свой нож, но Ивану казалось то слишком малой мезтью, он чувствовал, как бешеная злость растёт в нём, прежние силы вернулись, мускулы окрепли — это снова был богатырь Иван Рассейский, ходивший один на один на медведя.

Чёрный вылез, нащупал ногой пещур, но не успел нагнуться за ним, как Иван рванулся и схватил его за обе руки. Ошеломлённый Чёрный, прижатый спиной к забору, чувствуя в клещах свои руки, застыл.

— Нашёл! — задыхался Иван. — А птицу помнишь? А, дьявол Чёрный, меня ножом, а птицу, птицу.... — и, выпустив руки Чёрного, он мгновенно схватил его за горло.

Опомнившись, Чёрный потянулся за ножом, но Иван сбил его с ног, и завязалась отчаянная, нечеловеческая борьба.

Всё доброе, тихое, нежное, что зачатками лежало на дне Ивановой души, было оскорблено, поругано насильственной смертью Лии, всё разрослось и слилось теперь в одну жажду мести. Бессознательно он боролся за искру человеческого чувства, поруганную в нём этим самым человеком, которого он теперь держал под собой.

Иван душил Чёрного не как человека, а как свою беспроблемную каторжную судьбу.

— Буде, буде лютовать! — повторял он. — Довольно, да, жисти довольно, не хочу! — И с последним порывом бешенства Иван, накинувшись на Чёрного, впился в него.

Когда исправник со своими помощниками прибежали на стоны и крик борющихся, фонарь караульного осветил

посиневший раздутый труп Чёрного, голову которого Иван, не выпуская из рук, колотил о землю, о брёвна завозни, о пещур, полный награбленного серебра, а когда поставили его на ноги, он только мутным взором окинул небо с мелькавшими звёздами, проговорил бессознательно своё «буде» и упал мёртвый к ногам исправника.

Чёрному удалось-таки выхватить свой нож и на этот раз по рукоятку вонзить его в бок Ивану.

А из дома Нефёдовых, где и не чуяли о драме, разыгравшейся на их же дворе, неслись весёлые песни девушек, величавших невесту.

XVII

Слётыши

Вечерело. Угрюмый кожевенный город Т-нь стихал. Степennые обитатели его, покончив с делами на заводах и заводишках, в магазинах и лавчонках, раскинули умом на барышах, пересчитали выручки, поучили собственноручно приказчиков и заводских, коли кто того стоил, и засели по домам за жирный ужин с горячим, разварной или жареной рыбой, телячьим или бараньим стёгом, запивая всё домашним пивом или густым хлебным квасом. В простой день в Т-ни редко кто справляет званые вечера, а потому большинство обитателей, позевав, покрестив рот, погладив живот для облегчения приятной отрыжки, залегло на боковую, только в двух домах — в заречье у Крутороговых да на песках у Нефёдовых — шло весёлое пированье, и то для одной молодёжи.

У Крутороговых Яков и Александр Артамоновичи справляли мальчишник; сам старик Артамон Степанович, бодрый и здоровый, любивший всегда попить с молодёжью, заведовал выпивной частью. Без сюртука, в одной синей шёлковой рубахе, расстегнутой на мохнатой груди, он откупоривал херес и мадеру, вина заграничные собственного розлива родных братьев Змиевых. Александр заведовал бутылочным пивом, которое осушали ящиками, а золотушный Яшенька придерживался больше домашних шипучек и медов. В доме Крутороговых были питьё и еда на широкую ногу в количественном смысле,

правда, были в запасах и качественные вещи, но те береглись для гостей именитых или нужных, которым хорошо было пыль в глаза пустить, доказать им, что тут не Азия и люди не ногой сморкаются.

Настасья Петровна, жена старика Артамона Степановича, в мужскую компанию не мешалась, а сидела за домом на своей уютной галдареечке, обвитой красноватыми листьями дикого винограда да хмеля. Перед протёртым кожаным диваном, излюбленном её сиденье, стоял створчатый стол, покрытый синим столешником, с приготовленной на нём рукой сироты-воспитанницы Митродорушки, ходившей в ключах, обильной солёной закуской, а рядом в заветном шкапике была спрятана изрядная рюмка и бутылка мадеры. Отворит Круторогиха шкапик, вздохнёт, выпьет рюмку, назад поставит и за каждым разом дверцу шкафика припрёт, потому не пьянство оно, а всё будто зазорно. Сегодня супротив неё сидела завсегдашняя её гостыюшка вдова Кочетова, женщина степенная, умная, но малость торговавшая на дому матерьяцами, вышивочками и другой женской модностью. Фелицатушка Кочетова любила Круторогиху как мать родную, а сбоку, что корова в марте, с её сыном Яшенькой заигрывала, всё думала не оженится ли он на вдове, здоровьишка ради своего плохого. Сама вдова была и тельна, и добротна, да только одну обиду Господь наслал на неё — флюсовата, т.е. отбоя не было ей от зубной опухлости либо с правой щеки, либо с левой, без повязки она и сама-то себя разве во сне когда видела, да и то, должно, давно, потому что и сонные её видения уже приноровились к её флюсу. На сегодняшний день, как на зло, когда она рассчитывала видеть Яшеньку под шофе и поиграться с ним, у неё разыгрался такой флюсище, что Кочетова обложилась камфарой, как шуба ради мольного избыта, и со слезами, отказавшись от всякой попытки повидать милого, грустно сидела на галдареечке, почти молча выслушивая всё одни и те же рассказы словоохотливой Круторогихи.

— Хоть бы Митродорушка пришла порассказать нам, что там на молодцовской половине деется! — вздохнула Настасья Петровна. — Потому, наверно, бесстыжая там околачивается, хоть и без неё спсылки справились бы, её дело было бы только в стряпушую заглянуть да из кла-

довой сухую закуску выдать! Ох, Митродорушка, больно востра, заносится девка, потом учнёт слезами умываться, а поди, скличь её и теперь да пришпиль возле себя за хвост — сейчас обида пойдёт! Послать, что ли, завтра за Артемьевной, та живой рукой обработает, жениха ей немудрящего найдёт, ну и окрутить бы, пока без греха.

— Беда, беда пришла на наш город с наездом молодёжи, а главное, анжинеров этих, — помолчав, начала она снова, — то-то проклятики весь город смутили, не только девки, бабы головы потеряли, хвосты себе повесили, на лошадях боком скачут — срамота! Опять эти театры возьми, Фелицатушка, влезут это они на помост, срамные речи говорят, говорят, а потом целоваться учнут.

Замолчала Круторогиха, пьёт, вздыхает, смотрит на планиды цветов духовитых да на лужайку, где три кедр зелёных высятся в честь её трёх сыночков. Старший кедр посажен давно, как ещё и сада здесь не было, один пустырёк расстилался, посажен он, как свет Ванюшка родился; второй кедр для сына Яшеньки, тот ниверситет кончил и прямо отцом к заводскому делу приставлен, здоровьишком слаб — с детства золотушка пристала, и всё то из ушей какая ни есть дрянь лезет, то кашель с харкотинной одолеет, то писяк на глаз вскочит, а в общем парень хоть куда! Деньгу ох как любит! И как вернулся домой, не только никаких разорных новшеств не завёл вроде каких школ аль лазаретов, вон как дурной племянник богача Игнатьева, а, напротив, так-то народ скрутил, что все у него по ниточке ходят, за всякий проступок штрафом обложил, куда отец дошлый, а Яшенька и его перешеголял, на его копейку полторы выколачивает, слава те Господи, недаром в науку отдавали.

А третий кедр — тот для Сашеньки, тот и ещё того лучше вышел, вот волосиков отчего-то на голове у него мало и глазки, быть, на людей не смотрят, а всё с подмигом да по сторонам бегают, так это, должно, с большой науки, зато уж вышел совсем по-дворянскому — мундирчик с зелёным кантом и чином анжинер. А уж дошлый, дошлый какой и радетельный до дому — страсть.

Тут восхищение и гордость сыновьями так переполнили сердце Круторогихи, что она в сотый раз начала рассказывать Кочетовой, как Сашенька помог им устроить дела.

— Поразмысли ты только, Фелицатушка, до чего он умствен-то, ещё за год до открытия постройки этой самой пишет это он отцу-то: скупайте, мол, папенька, лес, брёвна тоже, быть большую постройку затеваете, сыновья, мол, обратно едут, дома строить хочу. Ну, и закупил отец, да и лес-то на ту пору дешёвый был. А потом пишет это он опять: стройте, мол, папенька, за городом на нашем пустыре кирпичный завод и мастеров, говорит, зовите и кирпич гоните, вот, говорит, такой-то формы, такого-то веса, и образец прислал. Прошло мало времени, а он уже опять старику шлёт: соберите, говорит, папенька, все деньги, что вам должны, поприжмите кого надо, а только ко времени открытия наших инженерных работ чтобы, значит, вы при капитале! И старик мой, не будь дурак, всё исполнил и теперь не нарадуется. Наехали анжинеры, приехал и наш Сашенька с ними. Первое дело шпалы понадобились, а где их скупать? Туды, сюды суются, а мой-то Степаныч их к себе на обед, да на другой, да эдак ненароком потом всех в свой загородный сад повёз воздухом дышать, а перед садом-то целое поле брёвнами накатано. Диву дались анжинеры — бревно к бревну. Вот те и шпалы, ездить искать далеко не надо. А муженёк-то ломается: для своего, мол, обихода припасены, да только у других ни у кого кругом не достанете. По нашим местам один Берестов лесом торгует, так я у него весь запас скупил. Ну, на хорошей цене и покончили. А там дошло до построек станций, да полустанков, да разных жилых домов, магазинов, сараев. Хватит кирпич. А кирпич-то опять такой, как надо, на одном крутороговском заводе выделяется! Ну, а последним делом, как и первым, — деньги. Известно, главная контора и всё сильное начальство анжинерное не здесь, а далеко, в Ек-ге, рукой не подать! Вот покуда это напишут требование, да им оттуда это что вышлют — проволока тоже немалая. А Артамон и мошну открыл: я, мол, человек добрый, мне тоже деньги не жалко, не с ними жить, а с людьми добрыми! Ну, те народ-то охудалый, на работы-то в край далёкий, что на кормёжку, приехали, чтобы, значит, пером обрас-ти, с дурости-то ринулись на чужой капитал. Займали, займали, да в петлю и влезли. Как видит Степаныч, что зарвались они, ладно, думает, буде! Танцуй, Матрёшка, назад — и затянул мошну. А потом пожалуйста. Мол, обратно де-

нежки. И заплясали, и заплясали, и уж теперь, Фелицатушка, и ни-ни — ни торгу, ни осмотру, что даст Артамон, то и берут, и уж коли на стороне кто и лучше, и дешевле предложил. Шалишь! Потому... долги!

Умиляется Настасья Петровна! Вот что значит наука-то и истинное просвещение, как умудряет! Ведь что Сашенька — молод, как есть слётыш, а дело папенькино обварганил, обмозговал, как и не всякому дельцу доведётся. И сам в стороне — чист и непорочен. Смотрит Круторогиха на три кедра, и даже слеза на глазах навёртывается.

«Не по заслугам наградил и взыскал меня, Господи! Эдакого ума и высшего образования дети у меня!».

— Батюшки светы, что там деется! — в испуге вскрикнула Настасья Петровна, слышит голоса, топот, смех и ругань, слышит, как бегут на галдареечку, распахнулись двери стеклянные, и впереди всех боком подскочил к ней Ванюшка. — Владычица Троеручица! Да что ж это такое! Никак Ванюшка утоп где? Святитель Николай-угодник, что с парнем приключилось?

Ванюшка шёл по галдареечке каким-то наскоком, размахивая, как крыльями, своими длинными руками, халатик облип на нём и мешал ходьбе, почему он «срыву» передвигал ногами, его худую высокую фигуру сопровождала целая толпа спосылок и дворовых, хохотавших не удержимо.

— Цыц, нечисти! Проклятики! Язви вас! Нашли издёвку! — кричала, продираясь сквозь толпу, добродушная стряпка Матрёна Сидоровна.

— Свет ты наш Ванюшка! Золото чистое Иван Артамонович, что с тобой сталося, куда занесли ты резвые ноженьки! — причитала она, ощупывая руками насквозь пропитанный водой костюм Ванюшки.

— Мадеры! — прохрипел Ванюшка, указывая костлявым пальцем на бутылку.

Фелицатушка бросилась наливать ему.

— И впрямь, Сидоровна, кликни-ка самого, аль Яшеньку, он ораву-то уймёт!

При одном имени Яшеньки набежавшая толпа дрогнула и слизнула с галдареечки.

Сидоровна, ворча, заперла за ними дверь и стала у притолки, утирая передником слёзы.

— Утопец, как есть утопец! — шептала она.

Только после трёх рюмок, выпитых залпом, пришёл в себя Ванюшка и, колотя в грудь, захлёбываясь от негодования, призывая в свидетели всех очередных в те дни святителей, он рассказал матери свою обиду.

— Ну, Нефёдиha, сочтёмся! — решила Круторогиха. — Небось, Ванюшка, не плачь, я ей издёвки не подарю, сочтёмся. Пей, Ванюшка, пей, чтоб лихоманка не привязалась!

И Ванюшка пил до тех пор, пока не ослабели ноги его и не воспрял его дух. Тогда он встал и, приплясывая, махая руками, отправился в боковушку, поддерживаемый и охраняемый стряпухой Сидоровной.

На Яшенькиной половине пир шёл горой. Слётыши пели все с одного голоса и с одного взгляда хорошо понимали друг друга. Яшенька, Сашенька, товарищи их Барашкин, Навозов и Победов были первыми пионерами науки, появившимися в городе Т-и. Первый, так сказать, транспорт светочей, которых университет и другие высшие учебные заведения выслали обратно в родной город, просветив, облагородив и расширив их умственный кругозор.

За ними лежало тёмное царство религиозного изуверства их дедов, сжигавших и погребавших себя заживо, и самодурство отцов, горбом и кулаком наживавших богатство, перед ними расчистился девственный горизонт с безграничными пажитями, возделывать которые им предстояло.

Железная дорога проводилась впервые, в городе были старики, никогда в жизни не видавшие такого чуда. Божьи старушки, которые с первой же недели стали ездить с самоваром и прикусками на железнодорожное полотно глядеть, как «она» побежит, и только убедившись, что проклятые анжинеры на смех им, как кроты бессловесные, прости Господи, всю округу изрыли, испоганили, а «её» пустят ещё только через три года, плюнули и ездить перестали.

Сашенька Круторогов первый из туземных, явившийся с зелёным кантом и академическим значком, парень самого дюжинного ума, но упрямого, громадного прилежания, читавший ровно настолько, насколько требовал

экзамен словесности, мысливший глубоко и широко только в пределах выгоды и наживы, с покладистой совестью, с умением молчать, где надо, и с воловьей способностью к механическому труду.

Кончив курс математики, перейдя затем в институт путей сообщения, он легко получил место на дороге, проводившуюся на его родине. Этому человеку предстояла не громкая, не славная, но верная карьера к наживе. Заводы, как все в общем, так и крутороговский в частности, шли рутинно, с дедовскими приёмами по выделке кожи, с патриархальным отношением к рабочим. Яшенька, кончив университет по естественному факультету, принял на себя труды управления отцовским заводом. Заохали татарские князья, когда он стал принимать и сортировать привозимые ими кожи. Он браковал и сбивал им цены с таким апломбом, так ясно доказывал им, что понимает товар и его на кривой не объедешь, что те шалели и уступали ему по самой низкой цене. Да и куда кинешься, когда он самый крупный покупатель? Работы на заводе он, по своему выражению, «упорядочил», т.е. накинуд два часа лишних и ввёл штрафы за малейший прогул. Помещения рабочих он тоже «привёл в систему». Под предлогом, что они разбросаны по разным флигелям, он всех, живших при заводе, сдвинул в два, а в третьем, очищенном, получилась новая мастерская. Что за беда, если немного и тесно, когда люди весь день на работе и приходят к себе только ночевать? Фельдшера, бывшего даже при его отце для заводских, он рассчитал. Больной всё равно не работник, значит, захворал — ступай прочь, а случилось что экстренное — под рукой есть городской врач. Завод пошёл лучше, доход увеличился, дубленье и выделка кож выиграла, заказы и казённые подряды так и хватались Крутороговыми. Практическая сметка была так велика у Яшеньки, что он ничего не ломал, ничего не заводил нового, а только применял к старым приёмам всё полезное из новой техники; он никогда не кричал, не выходил из себя, не бил морды, как его отец, но худенького золотушного Яшеньку с ватой в ушах, вечно закутанного в тёплый тулупчик, все кругом боялись хуже дьявола хвостатого.

— Не человек, а жёрнов! — говорили про него рабочие.
— В мездру ты смелет, только попадись!

Вдовый сын Сосипатр Барашкин был так же абсолютен в своих суждениях, как был абсолютно глуп. Как мог он кончить курс университета — это была одна из тех тайн, которые интригуют каждого при встрече с учёным дураком. Попав как раз в то веяние, которое требовало назначения на новые места «следователей по крестьянским делам» людей, знакомых с краем, он получил этот ответственный пост. С первых же шагов Барашкин очутился в руках продувного плута, но умного писаря, который, поняв всю непроходимую глупость и непомерное самолюбие юного следователя, стал играть на нём, как на дудке, а сам драл с живого и мёртвого и вершил все дела по-своему.

В настоящее время Барашкин уже хлопотал о переводе его из Т-и. В городе упорно ходил слух, что крестьяне после разбирательства им одного дела догнали его на обратном пути в лесу, разложили и высекли, причем писарь считал удары.

Навозов, мозгляк, изнеженный франт в очках, кончивший тоже юридический курс в университете, сын местного ростовщика, бывшего стряпчего, попал кандидатом на судебные должности в чаянии открытия новых судов. Трус и враль, он тёрся около Крутороговых, как щенок-заморыш среди дворовых псов. Аппетиты у него были не хуже их, но те способны были работать, этот не умел ничего, его идеал был хлестаковское джентльменство. Получая, по его пониманию, мало от скряги отца, он занимал по сторонам, кутил на чужой счёт, не имея никаких страстей по дряблости своей натуры, вёл большую игру и, проигрываясь, не платил. Пил и валялся в пьяной истерике после второго стакана, развратничал по деревням, вечно лечился и выглядел в двадцать три года изношенным, изморённым плешивым стариком.

Пятый товарищ — Победов — ещё был в университете и приехал в Т-нь только на летнюю вакацию. Когда он кончит курс? Вероятно, он сам не знал, так как сидел на каждом по несколько лет. Выходил, хворал, менял факультеты, но, в общем, как племянник богатого дядюшки, жуировал во всю ширь своих мещанских понятий. Появление его в Т-ни произвело сенсацию, его смокинг был не длиннее приютской куртки, его сапоги-стерлядки

напоминали лыжи. Прямой английский пробор через всю голову, цилиндр с муаровой лентой — всё это сомнительное щегольство импонировало маменькам, делало его в глазах дочерей завидной партией и первым клубным кавалером.

С тех пор, как на земле сибирской стоит богоспасаемый кожевенный город Т-нь, это были первые образованные люди «из своих», первое ядро местной цивилизации. Весь город с любопытством приглядывался к тому, какие плоды принесёт отцам их смелая попытка, небывалое новшество — отослать в Питер для образования своих сыновей, и город увидел, что дети, по крайней мере крутороговские, не посрамили отцов своих. Цивилизация привилась к той молодёжи поверхностно, костюмно, если можно так выразиться, а наука была для них только приспособлением к более верному и спокойному добыванию денег. Приёмы дедов и отцов были грубы, первобытны, так как те наживались одинаково, как плутовством, так и горбом, и сохраняли капиталы благодаря тому, что их серая жизнь не давала им возможность проживать нажитое. Сыновья же привезли с собой другие приёмы. Они покажут отцам, как наживать и жить. Они не будут работать, как вола, но будут, как удавы, высасывать весь сок из работы других и будут действовать не грубым насилием, а тонко, обдуманно, по всем правилам науки.

Шумно и весело было на половине Яшеньки.

Старик Круторогов развернулся, по душе ему его ребята, видит он, что в его породу пошли.

Подлецы малые, думает он, меня слопать готовы, да зато не проживут, не прогудят нажитого, не хизнет в их руках моё дело. Вот куда плоше Барашкин да Навозов, куда этим — ни рылом, ни разумом не вышли.

Хочется старику похвастаться перед всеми и своим умением выворачиваться.

— Вы что, вам легко работать, сколько денег-то ухлопано, чтоб вам энтой самой науки в башки вложить, а вот на моё ученье так, окромя сыромятного ремня, ничего не потрачено, почитай, до женитьбы без портов бегал, а не хуже вас человеком стал, полным уважением в городе пользуюсь, потому сам до всего дошёл и всё могу. Тянька-то мне, помирая, две гряды оставил да кобылку

— на чём кожи распяливать, а у меня ишь, заводище и хоромины какие. Вот как был раз «имянитый» посетитель в нашем городе, так и мой завод смотрел, честь большая, ну да и опаска тоже; упредили меня добрые люди. Ну, это я всё заранее пообчистил, поубрал, нагнал народу, чтоб показать, что, мол, кипит работа, могу выдержать хоть какой подряд, оборванцев всех в строгальную согнал, потому там гольём работают, так ризы-то их ни при чём, ну, а вот яму-то дубильную, что у меня посередь двора, уж девать-то и некуда, закрыл это я её вплотную крышкой засмолённой, да и велел своему старшему — бестия у меня был, дошлый — води, мол, гостей подальше от сих мест, сам это я с утра оделся, на ворот медаль нацепил — вывози, Никола-угодник, пудовую поставлю! Вот только пришёл час, и шась на мой двор «посетитель» да со всей оравой, я это свою дуру-то, мать вашу Настасью Петровну, в русский наряд одел, бриллиантов, камней, что на чудотворную, насыпал, подносит она хлеб-соль, блюдо серебряное, а за ней я стою, кланяюсь, мол, не обессудьте. На ту пору у меня борода ещё была, сам в кафтане, сапоги бутылкой. Страсть высокие господа эту самую народную камедь любят! Только ить выискалась между своей этой оравы одна шельма — техник, что ль, чтоб ему лопнуть! И стал это гостя водить и всему указывать да разъяснять, покажет и прибавит — это, мол, всё по старому способу, а теперь, говорит, всё иначе и чище делается. Ах, чтоб те язвило, думаю, а сам улыбаюсь — известно, говорю, мы по старинке, а только сами с дела хлеб едим и другим даём; только гляжу подбирается к яме, ну, думаю, беда! Дошли. «Где тут у вас, — говорит, — чан дубильный, должно не на узаконенном расстоянии от завода? А тут где-то, потому попахивает! Откройте, — говорит, — вот эту крышку». Туды-сюды — открыли, как шибанёт дух, так все и отскочили, «посетитель» ажно побелел весь. «Видите, — говорит это техник-то, чтоб ему сдохнуть, — это, говорит, зараза сущая, а сок этот, что повсюду в землю просачивается, — яд настоящий». А я тут и выступил — была не была! «Это, — говорю, — вы напрасно, вы нас, старожилы, спросите, до кой степени он пользителен, из рабочих, кто грудью послабже, с кашлем значит, так сюда, к этой самой яме, обедать приходят,

чтобы только дышать, а сок, так у нас его пьют — от нутра помогает».

Рассмеялись кругом. Сумнительно, говорят. «Наивкуснейшая вещь», — говорю это я, нагнулся, зачерпнул в ладошку, да и хлебнул — этакая, я вам скажу, мерзость, что не приведи Бог, дерёт нутро — не продохнёшь. Понравилось это «посетителю», ну, говорит, и сибирские желудки! Я это рукой махнул, рабочие мигом закрыли, а тут заиграла музыка, что с утра за сараем спрятана была, жена опять кланяется: не обессудьте, мол, хлеба-соли откушать. Рабочие держат на блюде осетра с лошадь, быть тут же в Т-ре поймали, а куда те к лешему, во льду живьём, привезли вёрст за триста, а я стою, как дурак, кишки у меня ровно в ком свело, думал, сдохну, ну, это уклонился я, да к старшему приказчику добёг, да из графина прямо сорокотравчатую — от сорока болезней лечит и всегда наготове для меня стоит, набултыхался это я, и полегчало.

Пришёл это я, улыбаюсь, а техник этот самый ко мне с книжечкой и карандашиком. Очень, говорит, интересный вы опыт показали, я, говорит, сообщу это в обществе и разовью целую систему об этих, ну, как их, Сашенька, модные-то ваши, махонькие гады-то?

— Бациллы, папаша!

— Ну во-во, и хохоту ж что опосля было!

Старик хохотал, хохотал от восторга, и молодые пили за его находчивость.

— А то вот ещё, — разошёлся старик, обыкновенно не отличавшийся особенной болтливостью, — отец твой, Сосипатрушка, покойный Евстигней, друг мой был, вот тоже голова! И хитроумный! Играли это мы однажды тут в заречье у Игнашкина, о ту пору у него ещё дела хорошо шли, только играем это мы впятером в стуколку по большой, ну, само собой, выпили изрядно, разные это шутки шутим, твой-то дядюшка Победов нахлюстался, спит и носом такую-то трель разыгрывает, взял это кто-то ружьё заряженное, положил это ему на башку, быть пушку на лафет, да и пальнул, хотя бы те что, даже свиста не перервал, только опосля, как очухался, оглухел маленько да месяца три головой тряс. Ну, словом, веселятся ребята, а мы играем да пьём! Только это отец-то твой прорву день-

жищ проиграл, запись на него огромная, счёт я веду, видит он — дело плохо, сейчас расчёт будет! Что ж ты думаешь он сделал?

Подходит это прислуга к нему с чаем, он берёт стакан да локтем этак, как бы ненароком, огромный сливочник хлоп — и на стол. Хрусталь-то вдребезги, ну, сливки, знамо, по всему столу, а он-то их платком да рукавом — сюртука не пожалел, мажет, да ещё как извиняется, как сожалеет. Записи хватились, ну, где ж тут разберёшь! Как тут быть? А он, шельмец, и говорит: «Без счёта кто же деньги платит, може, я ещё и выиграл!». Ну, намяли мы ему бока маненько, а деньги-то при нём. Хват парень! Так-то, судари мои, веселились мы, лошадей шампанским паивали, бывало, едем пьяной компанией, в поле стог сена встретим, вином обольём и зажжём, кругом пляшем, а за убыток — получайте! Потому деньги свои, трудом нажиты, и я в них волен! И опять веселиться же надо!..

Снова вся компания хохочет, обнимается, лобызается и пьёт. И не сделают того самого молодые только потому, что ни силишки, ни смелости не хватит, да и денег жаль, а всё-таки любы им эти рассказы, а главное — близки и понятны.

Кержаки в тайге

I

В Том-м округе широко, далеко раскинулись хвойные леса, хороня в своих объятиях привольную тайгу. Там бегут быстрые студёные ручьи, текут широкие, раздольные реки с голубой далью, с пышными облаками, проносящимися в глубине их. Там тихо, мягко, как серебряные блюда в зелёной бархатной оправе, лежат громадные озёра; днём в них купается солнце, ночью в искрящейся зыби играет таинственный месяц. Ходит в тех водах рыба стадами, резвясь, живым серебром всплескивает, вьётся над ней чайка белозобая, с клёкотом журавли пролетают. Всякая птица небесная в изобилии там водится, песни распевает, гнёзда вьёт, живёт и любитя на свободе. Резвая белка-«летучка» с верхушки на верхушку бархатистого кедра перебрасывается.

У корней — заяц густошёрстный в высокой траве ушами прядает, бродит волк матёрый, по логовам лежит медведь бурый, зимой лапу сосёт, летом ягодами, сотами диких пчёл балуется, пока на крупную свежатину не нападёт.

В самой гуще почти непроходимых лесов, окружённое мелким ельником, пихтарником да могучими кедрами, ютится селение Берёзовоярское, сплошь населённое кержаками. Крепко выстроенные из толстых брёвен избы, нередко в два этажа, идут кругом по образу старорусских общинных селений; лицевой стороной обращены они как бы в обширный двор, среди которого возвышается часовня с колоколенкой, задние же стороны строений разветвляются жилыми постройками, конюшнями, скотным двором, погребями, житницами.

Поодаль лежат обширные огороды и сараи сенные. В стороне, на расчищенной от леса полянке, раскинулось тихое кладбище; под лопастыми ветвями рябины и черё-

мухи идут холмики, обложенные старым и свежим дёрном, с деревянными столбиками, на которых прибиты медные осьмиконечные кресты; кое-где виднеются высокие крашенные голубцы.

Крыши на домах селения в два тёса со скалой¹⁷. Всё в тех домах крепко построено, всё как бы навек прилажено, сто раз одумано, раз отрезано. Люди живут там работающие, степенные, бабы неречистые, со спокойными, твёрдыми глазами, с походкой ровной, без сатанинского вихляния в бёдрах; дети — чистые, смиренные, в играх учливые. На покотинах ходит скотина кормленная, ухоженная. Редко слышны в селе том песни, игрищ хороводных и вовсе не видно, зато целый день по всему селению, ровно искра Божья, огневая, бежит одна фраза: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Молитвой этой начинается день. Крестьясь двуперстным крестом, открывает со сна глаза и стар и млад; крестьясь, на порог дома выходит, крестом всякое дело начинает, между каждым переменным блюдом крестным знаменем себя осеняет.

«Господи Иисусе», — шепчет хозяйка, открывая заслонку у печки. И целый день и ночь за всяким делом слышится тот же молитвенный шёпот. «Господи Иисусе», — шепчет нищий, прохожий, заблудший человек, стуча подожком в открытую втулку избы, и с ответным «аминь» открывается оконница для потайной милостыни, неведомая рука выдаёт посильное приношение. Без этой молитвы долго может стучат путник в ворота или калитку: никто не откликнется ему, ибо не призвал он Господа в помощь себе. Зато странника, впущенного в дом, не спрашивают, из какой веси, из какого града прибыл и есть ли при нём бумаги какие. А спрашивают: не голоден ли, не притомился ли нудной путиной далёкой, не пришёл ли искать покоя в вере истинной, не жаждет ли отдыха в глуши, не тревожимой поганой мирской суетой. От всякого человека тут требуются вера и любовь к труду — безверного, как бездельного, община не потерпит в себе и так ли, сяк ли, а изженет его от себя.

В это-то тихое, как бы оторванное от всего мира селе-

¹⁷ Берёста, которой прокладывается тёс для предохранения от гнилости.

ние два года тому назад прибыли три семьи из старообрядцев после отчуждения домов береговой улочки под подъездной путь новостроенной железной дороги из города Т-ни. Пожар, начавшийся с дома Глазихи, испепелил всё родовое гнездо старообрядцев. Если были у кого какие скрытые капиталы, тот, как всякий запасливый хозяин, успел, может быть, за ночь после совещания в доме Глазихи скрыть их, отдав «на слово» кому-либо из богатых купцов своей же веры, живших за Тюменкой на собственных заводах.

Кто же жил «в одних помыслах божьих», не веря, что «грядёт час силы анафемской», тот потерял всё. Почти никто из береговых жителей не остался в городе после пожара, все ушли дальше в глубь Сибири; многим старик Иван Софронич указал «незыблемое гнездо истого благочестия».

Орешков же с женой и сыном ушёл дальше всех в Т-мский округ.

Быстро выросли в селении три светлые большие избы, раскорчемилась¹⁸ новые участки, зазеленели новые пашни да на окраине села встала большая просторная кузня, и зажил в ней кузнец Никанор Орешков с женой Феофилой Марковной и сыном Ильёй. Полгода спустя после приезда, в первую же раннюю весну Илья и жену раздобыл себе, да и ещё какую — тихую, красивую, работающую девку Варвару Ванееву из православной семьи. Уходом ушла за парнем девка из ближайшего села Коробейникова, а верней сказать, обманом выкрали её из семьи, а затем уж и по своему согласию, по горячей любви к молодому Илье осталась жить в раскольничьей семье молодуха, не повенчанная по обряду православному.

Июльское жаркое солнышко ещё не вставало, знать, нежилось «в небесном закрое», а уж в тёплом воздухе чуялся рассвет. Проснулся ветерок, припавший было ночью за соснами вековыми, дохнул и побежал будить ручьи звонкие, зелень сочную, траву цветистую, а там — облака порозовели, улыбаются, знать, подглядели, что солнышко проснулось и лик свой благостный показало. Пискнула где-то пичужка, отозвалась другая, ожил лес, зазвенел,

¹⁸ Пни выворотить.

заголосил, и в каждом-то дыхании, в каждом-то шорохе, каким травинка о травинку трётся, слышится аллилуйя наступающему дню, аллилуйя Господу — началу и утра, и дня, и жизни, и смерти.

В большой окраинной избе, переходом соединённой с просторной кузней, стукнула дверь входная, и на пороге показался в белой рубахе с ручником через плечо черно-волосый, чернобородый Никанор Орешков; истово перекрестился он, крепко держа два соединённых перста, пригибая остальные три к ладони. Положив установленный начал на пороге своей избы, он зашёл в боковушку умыться студёной водой, заботливо припасённой для него до света.

Хозяйка его, Феофила Марковна, сухая, высокая женщина с сероватым лицом и строгими карими глазами, тоже вышла из избы и с молитвой направилась в огород. Видно, одолели её тёмные думы, что не радовали её сегодня ни злаки пышные, ни овощи крупные, ни кусты ягодные, гнувшие ветви под гроздьями крупной смороды и крыжовника; шла она к заветной грядке, где росли лекарственные травы.

«Фрр!» — из-под ног её шарахнулась толстая копалуха¹⁹ и грузно заковыляла, подлётывая и гоня за собой свой поздний выводок.

«Испугала, окаянная! Прости, Господи!» — прошептала старуха и, нагнувшись над грядкой, стала с молитвой собирать нужные травы. Набрав, завернула их в чистый плат и так же тихо, сурово вернулась назад; на крылечке стоял её муж и вытирал ручником лицо и голову.

— Что Варвара? — спросил он, не оборачиваясь к жене, вполголоса.

— Что? Плохо! В сонных мечтаниях обретается, в огневице мечется... попа просит, — добавила, понизив голос, Феофила и, не дождавшись ответа, сошла в горенку.

В дальней боковой комнате на тесовой кровати, на ржаной соломе, покрытой чистым широким рядом, лежала молодая женщина, жена сына Орешковых — Ильи, молодого красивого парня. Лежит, разметалась... Коса толстая, выюнная, по-девичьи заплетённая то и дело с кро-

¹⁹ Куропатка.

вати свешивается, змеёй по полу ползёт. То не мать-сыра земля вешнюю дождевую воду пьёт, то не последний луч заката за горой догорает, то жизнь женская, жизнь горькая, обманом взятая, насилой поломанная из тела пышного, молодого уходит, душу придручённую на свободу выпускает. Крыто смертной синеватой бледностью чело Варвары, а щёки смуглые полымем пышут. Запали очи в тёмные впадины и светлеются оттуда, что звёзды; спал алый цвет с уст пурпурных и мукой скрытной сжались зубы белые; что плети бессильные — лежат ноженьки резвые, что крылья побитые — опустились рученьки белые. Около кровати стоит, не отходит, мукой мученической изнывает молодой Варварин муж Илья Орешков.

Сумрачной ночи грозовой глядит он на мать и других сродственников, когда те в светёлку входят и над живой его женой смертные молитвы читают и на последнее дыхание обряжают тело её. Вот в головах у окна створка открыта — туда должна вылететь её душенька; за створку чистое полотенце вывешено, а на подоконце стакан с водой капельной дождевой стоит, чтобы могла душа её умыться и утереться, как только из грешного тела ринется, да и потом, как к ней сюда шесть недель посмертных прилетать будет, чтобы омываться могла.

В углу комнаты зыбка стоит, а в ней за наглухо закрытым пологом второй день лежит в белые пелены с головой свитый мёртвенький младенец, лежит нехороненный, ждёт смерти матери, чтобы вместе с ней в одну могилу лечь.

Вздрогнул Илья, глянув в ту сторону, и шагнул к кровати больной, нагнув голову к высокой подушке, на которой неподвижно лежит голова Варвары, тихо отвёл он от уха свои тяжёлые русые кудри и, придерживая их, чтобы слух не застлал, почти припал к устам больной.

— Ох, Ильюшенька, — слышит он ровно сонное дыхание ветерка, — ох, болезный мой, не дай мне без исповеди к престолу Его представиться, не дай без святых даров помереть; оповести мамыньку родную мою, проси её с попом нашим, отцом Митрием, ко мне приехать... Ох, светик, ох, любимый мой, не брось жену свою в пещь огненную, в мучения адские, дьяволами уготованные... Отпустит он грех мой, отпустит.

И льнёт больная устами к щеке Ильи, и как огнём палят его ресницы её чёрные длинные, задевая лицо его.

Ровно, медленно, тяжело, что свинцовые капли, роняются слёзы Ильи и падают на грудь исхудалую жены. Выпрямился парень и уставился глазами в правый угол избы — прямо в тёмные лики святых, перед которыми горят три толстых жёлтых налепа. «Да где же правда? Где же истина, где суд Божий искать, какого берега держаться, чтобы в помыслах Божьих ходить?..».

Всё заколыхалось в душе его, всё помутилось в помыслах и, осторожно переступая тяжёлыми большими ногами своими, косясь на зыбку закрытую, вышел Илья и прошёл прямо в подклеть, где, знал он, отец его по утрам столярной работой занимался.

В широкой, хотя низкой подклети свет валом валит через настежь открытые двери. Среди сосновых стружек стоит кузнец и строит для невестки своей последнюю домовину.

Отшарахнулся Илья, увидав отцовскую работу, да перемогся и, нагнув свою высокую кудластую голову, вошёл в подклеть.

— Батюшка, — начал он осипшим, как не своим голосом.

— Чего, сын... аль Варвара? — не dokonчил старик, поднимая голову и утирая тут же висевшим чистым ручником пот с лица.

— Жива, батюшка, не помирает она, держит душу в себе — разрешения просит... попа кличет, приобщиться да исповедаться хочет по своей, значит, вере...

Побелело лицо старика, смотрит — и огнём блещут очи.

— Ты что, сын, в мыслях помутился, что ты задумал противу отца, противу матери, противу всего нашего селения идти захотел? Да знаешь ли ты, что мать твоя ляжет поперёк порога дома нашего, и смерть единая оторвёт её оттуда, а не пропустит она в дом наш никонианца-щепотника, служителя врагов церкви нашей... Затем, что ли, шли мы из далёкой родины сюда, в лесные дебри, от мира всего схоронились, своими руками каждую пядь земли под себя добывали, со зверьём сражались, чтобы теперь да скверну такую сотворить, позор наложить на себя и на людей, приютивших нас? Да как же это соблазн такой допустить! Да лучше я сам, своими руками дом свой спалю, свою и

матери твоей голову без прикрою оставлю, чем дело такое сотворю... Окстись, малый! Чего позор на голову нашу собираешь...

— Помирает она, батюшка, перед смертью молит...

— Да что, Илья, отщепенец, что ль? Что она молит-то? Что она молит-то, говорю тебе? На пагубу душу свою отдать? Разве не несём мы чистую древнюю веру? Не у нас рази книги правые, проклятой рукой Никоновой не искрошенные? Не у нас иконы старинные, святыми по откровению писанные. Чего же она ещё ищет? По всем обрядам соберём её и во всей неприкосновенности земле предадим, а того, слышь, Илья, того и помыслить не смей; отцовским страшным проклятьем проклянута, да и не я — всё селение наше за околицу выйдет и попу твоему пядью ступить на нашу святую землю не дадут. Вразумись, непутёвый! Ступай!

Илья мялся на месте, ноги, как свинцом налитые, не могли оторваться от пола.

— Батюшка, оманом мы девку в дом взяли, сулились по-церковному венчаться...

— Молчи! Охотой она шла за тебя, для прилику одного разговоры были, знала она хорошо, в какую семью вступает.

— Измаялась, извелась с того дня, как понесла, как узнала, что некрещёным робёночек наш останется, блудницей считать себя стала, с того и родила до времени, с того... — дрогнул голос Ильи, сжалось сердце его, подкатила волна горячая под горло, и с воплем вырвалось: — С того и помирает моя Варвара.

— Помирает и помрёт, коль на то воля Божья, — сурово промолвил старик и снова взялся за рубанок.

Ещё постоял Илья, крепко скрестил руки на груди — не рвись, мол, ретивое, — тряхнул головой, и две последние слезы, ровно огнём опалив лицо его, скатились и тут же на стружки сосновые канули. Снова побрёл Илья в боковушку Варвары своей, глядит — баушка Аксинья приподняла её за плечи, а мать с молитвой льёт в побелевшие губы больной настой какой-то. Клокочет в груди Варвары, редкая капля сквозь зубы в рот попадёт, больше же в плат впитывается, что у её лица мать держит. Опустили больную на подушки, ушла баушка Аксинья, снова вер-

нулась и принесла кацею²⁰ с жаром и ладаном, трижды той кацеёю посолон перед иконами покадила, потом помахала ею над головой Варвары.

— Прислать, что ли, Анастасию читать канон на исход души, — спросила она вполголоса у старухи. — Да не пора ль молодой свечу зажжённую в руки дать?..

— Не надо, слышь, не надо! — вдруг проговорил Илья, становясь между женщинами и Варварой.

— Сын, опомнись, чадо! — начала было мать, да взглянула на Илью, на лик его, блее лика умиравшей жены, на впалые измученные очи его и только рукой махнула, пойдём, мол, баушка. Вышли и дверь за собой затворили.

Припал Илья к самому лицу Варвары, тихо-тихо прижал уста свои к холодевшим устам, ровно смерть из них выпить хочет и вдохнуть в них свою силу, свою молодую жизнь. Громадной рукой своей, что, не дрогнув, рогатину держала, когда на неё зверюга²¹ налегал, легко и мягко гладит он щёки впалые, отстраняет мягкие пряди волос с пожелтевшего лба и шепчет слова любви: «Люба моя, открой глазыньки, глянь на меня, послухай, что я сказать тебе пришёл, горленка моя нежная, очнись, верни свою душеньку...».

И такова сила любви, такова связь между телами и душами любящих, что жизнь и воля одного перешли в другую. Вздрогнула Варвара — и быть кликнула в себя улетающую душу, открыла глаза и потеплела, пояснела вся под ласками мужа милого.

— Ясынька, ластовка моя, живи... Как только солнышко за лес падёт, выведу я своего каурого из поскотины, слетаю на нём к твоим и ночью привезу к тебе мамыньку твою и попа вашего — отца Митрия; принесёт он тебе требу, приобщит тебя, исправит на путь. Сюда нельзя — подыму я тебя, вынесу ночью на руках за околицу, и там получишь ты по своей совести, по своей вере прощу свою. Слышь, моя радостная, слышь, душевная моя?..

Каждое слово Ильи прошло до слуха, проникло в душу болящей и как живительный луч солнца согрело остывавшее тело, пробудило улетавшее сознание.

²⁰ Кадилалицу.

²¹ Медведь.

«Пить», — прошептала она, и Илья, забыв, что попирает все традиции своей веры, нарушает древний похоронный устав, бросился к стакану с чистой капельной водой, что на умой души приготовлена, и подал его жене. Жадно припали сухие, запёкшиеся губы, судорожно стиснутые зубы разжались, и свежая влага капля по капле проникает в рот, живительным источником проходит в грудь; глаза осмысленным, благодарным взглядом впились в лицо любимого мужа. Илья отвёл стакан от губ, поставил на место, сел возле жены на табурет и подложил свою тяжёлую громадную руку под её исхудалую шею.

— Спи теперь, голубка. Никуда я не уйду, никому не дам придотронуться к тебе...

И послушная, как ребёнок, согретая лаской, убаюканная словами нежной любви, Варвара смыкает тяжёлые вежды и погружается в лихорадочный сон, полный то чудных, то страшных видений.

Сидит Илья, не шелохнётся, низко на грудь опустил лохматую голову, одна теперь дума у него — тяжёлая, страстная дума, всё застилающая, превышающая даже самый факт смерти ребёнка и приближающуюся кончину жены. «Где истина? Где правда? Где спасение?» — мыслит он.

II

Полтора года тому назад, когда семья кузнеца переселилась в Т... губернию, в Берёзовояровскую волость, Илья сразу очнулся. По душе пришлись ему леса тёмные, реки широкие, глубокие — было где развернуть ему удаль молодецкую, высказать свою богатырскую силу. Добыл он себе ружьё доброе, оснастил крепкую рогатину, высмотрел в далёком селе, куда для оцта за товаром ездил, пару щенят охочих, выменял их, и пошла у него по лесам потеха. Труд, молитва да охота скрасили жизнь Ильи. Так прошла осень, так промелькнула и зима, и весна-красна стала подкрадываться. По пригоркам, всюду, куда заглянул тёплый луч яркого солнышка, зазеленела нежная зелёная травка; только в овражках глубоких да по лесной окраине лежали ещё белые грядки снега. В небе что полог голубой раскинулся, ни облачка... Бурлят, шумят ручьи и реки, из берегов выступили, луга затопили; зашумел ветер в молодой листве, а на заре и утром, и вечером нежно

и жалостно закуковала кукушка, по ночам сакач²² заухал. Илья с зари утренней с ружьём по лесу бродит, а бить никакой птицы не бьёт — для обороны, для зверя лихого заряд у него, а не для мелкой птицы божьей, что с песнями в леса налетела. Мать его с баушкой Аксиной тоже хлопчут, мочат семена, греют их на солнечном припёке, на огородах гряды копают. Пришла и прошла Пасха, пропела в часовне, и дома прочли восторженный клик Златоуста Иоанна и апостола Павла «где ти, смерти, жало? Где ти, аде, победа?». Минула и святая... На первый же понедельник Фоминой все отправились на кладбище и там помянули всех, кого знали, и покойников из домов соседей ближайших, крашеными яйцами похристосовались с ними, сычёной брагой жальники²³ полили. Старухи и молодницы спели жальные причитания, мертвецам «окличку» сделали, и все разбрелись по домам... А Илья снова в лес ушёл, обуяла его душная, беспокойная дремота, охватила его нега разымчатая, а сна нет. Забрёл парень далеко; вправо взял, идёт знакомой тропой, колками переходит и путь свой держит на Коробеевку.

Солнце уже совсем к западу склонилось, а в Коробеевке ещё никто не ложился. Парни и девки в лес повыскакали — Красну горку справляют, на зеленеющих лугах стон стоит от песен, хохота и топота ног весёлых, девки песни играют, «Серу утицу» поют.

Стоит Илья в стороне, нейдёт близко к ребятам, хотя по кузнечным делам и многих из них узнать успел, да зазорно ему в чужую стаю влететь, да и не под стать ему весёлое мирское гульбище это, да и не то сюда парня приманило...

Залёг Илья за громадной старой елью, промеж густых черёмуховых кустов; виден костёр ему, что парни разложили; вскинет он взор и следит за целым снопом искр, что вдруг взовьётся и, что бисер огненный, вверх полетит. Слушает он, как хор заливается:

*Заплетися, плетень, заплетися,
Ты завейся, труба золотая,
Завернися, камка хрущатая,*

²³ Филин.

²⁴ Могилы.

*Ой, мимо двора,
Мимо широка,
Не утица плыла
Да не серая,
Тут шла ли прошла
Красна девица...*

Слушает Илья, и, что птица пойманная, колотится сердце его; ясно, отчётливо в целом хоре слышит он один голос, грудной, звучный, знакомый ему голос. То поёт Варвара Ванеева — черноокая, черноволосая, румяная зазноба его.

Скрылось солнце, свежо стало, потемнело небо, засверкали на нём звёзды сторожевые, затренькала балалайка, удаляясь всё дальше и дальше, посмолкли песни, парни и девки гурьбой и парами врассыпную направились в деревню.

— Ох, и пригожа ж девка!.. — слышит Илья у самых кустов, приютивших его.

— Это ты про Варвару ванеевскую всё вздыхаешь? Хороша девка и с себя, и работающая, и нравом кротка, всем взяла, да ни тебе, брат Ваня, ни мне не с руки такая невеста.

— Не с руки, брат Алёха, нам, богатеям, остудно голытьбу такую в дом примать...

— Ну, а мне, голышу, нужду на нужду гвоздить тоже не приходится.

— Да, вот оно и выходит: ни вашим, ни нашим, да и не самим себе...

И говорившие парни удалились.

С той ночи, с тех слов чужих запала мечта заветная в сердце Ильи. Стал парень чаще и чаще в Коробеевку наведываться, с Ванеевыми знакомство свёл. Жарко глядит он в очи Варвары, и без слов тесней и тесней сливаются сердца их...

Застал раз Илья Варвару в лесу — пасла она за луговиной телушку свою и зашла в лес травы посочнее набрать ей, встретились, вспыхнула смуглая Варя и, усмехаячись, глядит на громадную фигуру смутившегося парня.

— Варвара... — начал Илья и запнулся.

— Тимофеевной... люди величают, — лукаво поддразнила девушка.

Но Илья вдруг шастнул вперёд, и не успела ахнуть Варвара, как страстные объятия заключили её... Прижав к груди голову девушки, Илья осыпал поцелуями её волосы, лоб и рдевшие щеки. Без слов, одним объятием Илья передал девушке всю силу и меру своего чувства.

Как вешний цветок полевой, как радужнокрылую бабочку, могли бы сломить, стереть в прах девушку державшие её руки, а между тем они обвилились вокруг её стана с материнской нежностью. Страсть здорового грубого деревенского парня клокотала в крови его, а он шептал ей нежные, бессвязные слова... И поняла девушка, что не насильник тот парень, не охальник, а как есть будет мужем властным, сильным и добрым, надёжным, как родной кров над головой.

— Что ты, Варя, что ты, горленка? — вдруг откинулся Илья и побелел, почувствовав, как слёзы горькие канули на лицо его. — Чего? Аль испужал? Собидел?

Девушка рыдала.

— Не видать нам радости с тобой, не идти нам одним путём-дорожкой, не иметь мне тебя другом милым, мужем любимым.

— А почему так? — сурово спросил Илья. — Я не ищу богатств твоих, мне ничего не надо.

— Кержак ты! Люди говорят, не отдадут меня в Берёзовоярск-от ваш. Мамынька, батюшка... да и я сама... без венца... не согласна... а ты будешь ли венчаться?

Смолк Илья, потемнело лицо, обнял ещё раз девушку, поцеловал в самые уста и отпустил, отошёл — прощайте, мол, Варвара Тимофеевна, — повернулся и, не оглядываясь, скрылся в лесу.

Ахнула Варвара, да некогда девке деревенской плакать — к телушке бежать надо, в лес бы, глупая, не скрылась да к зверю не попала; побежала за ней Варвара, повела пёструю домой, а там и пошла сутолока, работа непокладная семьи бедной, где ртов больше, чем хлеба посеять в силах.

Прошёл день, канул другой, наступил третий, и к ванеевским воротам подъехала хозяйской рукой смастерённая одноколка, запряжённая сытой рыжей лошадкой. Честь честью в открытые ворота въехал сам Никанор Орешков, берёзовояровский кузнец с женой своей Феофилой Марковной.

На пороге дома встретила им Варвара с полной кринкой только что надоенного пенистого молока.

«Хорошая примета, — подумала мать Ильёва, — да и девка хороша: круглая, смуглая, звездоокая, тихая и повадная, видно». А старик кузнец задержался с Тимофеем Ваневым, отцом Варвары, который тут же на дворе ось у телеги ладил и неожиданным гостям ворота отпер. Мать Варвары Анна Сидоровна, худая высокая старуха с лицом искательным, робким, с печатью нужды в печальным глазах, возилась у печи, приготавливая скудный полдник семье. Ванесвы поневоле приняли богатых берёзовояровских гостей запросто, всухую, так, как текла и жизнь их повседневная. Долго толковали старики, да только ничего с тех толков не вышло: кузнец и жена его ладили Варвару взять в дом свой «сводным» браком, т.е. без поповского венчания, и получили резкий отказ. Бедны были Ванесвы, темны, неначитанны, да крепко знали одно: родились, поп крестил их, поп в церкви и молитву дал, поп их обоих повенчал перед престолом Божьим, тот же старый поп отец Митрий и Варвару их крестил, и их, коли Господь милости положит, перед смертью от грехов разрешит и с молитвой на вечный мир отпустит — как же быть без попа? Срам телу, гибель душе будет от того... Так ни с чем и отъехали богатые кержаки

Снова дни побежали, тянут старики Ванесвы свою жисть бездольную; нет у них сына-парня здорового, чтобы отцу на подмогу был; нет у них и достатка, чтобы в дом зятя хорошего, работающего взять, а ледащего какого, забулдыгу, чтобы последнюю стреху с избы развеял, — такого упаси Боже. Ходит Варвара, работу справляет, только очи погасли, да песня пропала у девки... Об Илье ни слуху ни духу, а по селу гомонят, зубоскалят: «Вишь, кержаки приезжали Варвару сватать, «венчать вокруг ели, чтоб им черти пели».

Настал Вознесенев день. В Коробеевке прибрались все избы, пошли гулянки и столы по богатым избам; у Ваневых честь честью тоже стол накрыт, большой пирог спечён, за столом с Анной Сидоровной сидит старая девушка-вековушка²⁴ Авдотья Киприановна из соседнего села Федосеевского.

²⁴ По своей воле оставшаяся в безбрачии.

— Уж так-то просят, так-то молят, — тараторит гостья, рассказывая о том, как больна Степанида, жена знакомого Ванеевым овчинника Афанасия. — Ведь никак, Анна Сидоровна, ты ему кумой приходишься?

— Кумой и есть! Вместе с ним в вашем же Федосеевском у сродственника мальчонку крестила.

— Ну вот, ну вот, узнал это он, что я сегодня на праздник к вам сюда в гости собираюсь, и учал он меня молить: заезжай я к вам, тоись к Ванеевым, и упроси я, чтоб отпустили вы к нему на недельку Варвару. Родила его жена, да, не к месту будь сказано, хворь одолела её, восьмой день лежит, распалилась и встать не может; отхаживает её там старуха знающая, а дети-то, дети-то малмала меньше, пять человек, как есть без призора; знают они вашу Варвару, гащивала она у них за тот год...

— Что говорить, гащивала, сам Афанасий Силыч о ту пору всем нам овчины справлял. И он, и жена его приветные, обходительные люди.

— И с достатком, — вставила Авдотья Киприановна, прихлёбывая густой кирпичный чай с молоком.

— И с достатком, — повторила и Анна Сидоровна, уныло глядя кругом.

— То-то же! Отблагодарю, говорит, к зиме тёплую одёжу справлю, неравно, говорит, замуж Варвара пойдёт...

И вековуша осторожно покосилась на дрогнувшее старушечье лицо хозяйки.

— Где уж там. — со вздохом махнула рукой Анна Сидоровна. — Я что ж, я ничего, отпустить не прочь Варвару, старого спросить надо... Справиться-то и без неё справимся, теперь как раз по полям пережежка работы стоит; ну, а домашность-то — невелика она вся, наша домашность, — горько усмехнулась старуха и пошла к старику.

Авдотья в огород к Варваре вышла, стала её спешить снаряжаться: недосуг, мол, ей здесь простаиваться, а девушка и рада — как-никак, а перемена и в мыслях, и в делах.

Сказала Анна Сидоровна мужу о новой шубке, что овчинник Варваре сулил, и о том, что девке лучше на время из села выехать: пусть, мол, парни языки пообобьют да перестанут её кузнецовским сватаньем шпынять. На том и порешили. Простилась Варвара с отцом, с матерью, села

на лёгкий плетёный коробок. Авдотья Киприановна вожжи взяла в руки, и побежала резвая пегая лошадёнка по деревне за околицу мимо полей широких и свернула налево по узкой лесной дороге. Подпрыгивают колёса на пеньках, задевают гибкие ветви за головные платки женщин, вьётся жаворонок в небе и роняет на них песню свою. Утихает сердце Варварино, шире, вольней грудь дышать стала.

— А что, тётенька, быть не этой дорогой я годясь к Афанасию-овчиннику ездила?

— Есть и другая, есть и другая, голубка моя чистая, да ближей эта будет, да и леском ехать-то уж так хорошо.

— Ох, хорошо! — вздыхает Варвара и следит за пчёлкой — круглой, мохнатой, что над ними вьётся: аль заблудилась медовая труженица, с улья чужого сюда залетела, аль отроились да на воле свой улей где в пне завели.

— Сказывали мне, Илья берёзовояровский...

Полымем вспыхнули щёки Варвары, заколотилось сердце в груди, и повернула она лицо своё к спутнице, а та сидит, длинной веткой берёзовой лошадь постёгивает и на дорогу вдаль поглядывает.

— Брательник он мне, Илья, приходится, в сродстве мы с семьёй кузнецкой, так вот, сказывали мне: непутное что с парнем творится, хлеба решился, работа с рук валится, не то болесть, не то кручина какая эдакова молодца да вдруг скрутила!

Молчит Варвара, еле дышит. Помолчала Авдотья.

— Ой, чтой-то дорога корчёмная какая, пни да колоды, объезжай не объедешь... Думает Илья уйти из этих мест, дошлый он, работающий, свой кусок хлеба всюду найдёт... они ведь нездешние, не из местных кержаков. Издалека пришли. Паль²⁵ у них там на родине был, дом их старинный, прадедовский сгорел, да и теснили их там — они, вишь, по вере по старой живут, вот и снялись их три семьи да сюда и перебрались, а уж только и семья у них богатейшая, тихая, ласковая, что в Божьем доме, то у них жить, а уж Илья... Но-о-о! Куда вертишь, дорогу не признала, что ли? — Авдотья занялась своей пегой норовистой лошадёнкой.

²⁵ Пожар.

«А уж Илья, — мыслит Варвара... Да на том и оборвалась: где тут мыслить о человеке, коли вся кровь, вся душенька стремится к нему. — Желанный, родной, снова б повидать, снова б к груди прильнуть, снова б ласку твою горячую пить; эх, не судьба! — Отвернула голову, глядит Варвара на цветики голубые придорожные, что на тоненьких ножках к земле пригибает и с прахом земным мертвит и смешивает. — Вот так-то и доля моя, — думает Варвара, — есть такие горемычные, которым недолго красоваться да на солнце смотреть: накатит нужда да горе и — что колесо к праху прижмёт».

— Господи Иисусе, Господи Иисусе, — побелелыми устами шепчет Варвара, крестится и глазам своим не верит.

Повернула пегая за угол леса, и, как за откинутым пологом, сразу перед Варварой поляна открылась. Кругом частая ровная изгородь бежит, по другую сторону огород открылся, видны строения. Село большое, богатое кругом раскинулось, а у самой первой избы, у тесовых широких ворот стоит человек, и ни уста, ни сердце Варварино имя сказать не смеют. Открылись ворота, въехала пегашка в чистый мощёный двор и весело заржала, зная, признала родную конюшню. Вышли на порог хозяева дома — отец и мать Ильи.

— Выходи, голубка, выходи, гостя желанная, — ласково говорит Феофила Марковна и руку тянет к Варваре.

— Выходи, что ль! — подталкивает её Авдотья Киприановна — По пути заехали, не загостимся, доспеем ещё до заката и в Федосеевку.

А Илья стоит всё у притолки входной, слова не молвит и глаз с Варвары не спускает.

Где девке бороться против хитрости, силы, богатства, а ещё того более — против ласки, противу сердца своего.

Обступила семья кузнецовская Варвару, заговорили, затуманили, а главное, заманили обещанным, что только для вида, для своего села, как будто свадьба по ихнему древнему обычаю — без попа совершится, а как утихнет всё, съездят они с ней в город ближайший да там тихим образом у попа повенчаются, а к отцу и к матери её, Варвариним, явится она потом с мужем молодым, с дарами богатыми, и выпросят они себе прощение и родителево благословение.

Село солнышко за лесом, сменился день жаркий ночью душной, высыпали звёзды над лесом тёмным, в траве под окном звонко трещат кузнечики, в ближайшем лесу звякает ботало²⁶. Полон воздух ночного тепла и благоговения, а в тёмной горенке Илья девушку к сердцу прижимает и просит, и молит, и Бога в свидетели берёт, что чист и свят его брак будет... Идёт с ним Варвара к старикам, падают в ноги им и просят благословения на брак.

Обрадовались старики и послали в избу старшего за Марьей Карповной Новосадовой, матушкой всего селения, что по начитанности и святости за неимением священника своего и венчальницей у них была. Прибыла Марья Карповна с головщицей Анастасеюшкой из дальнего скита, что в ту пору у них гащивала. Посередь большой чистой комнаты, что скраю избы шла, поставили аналой и, как престол, со всех сторон дорогой парчой окутали. Стали перед ним брачущиеся, соединила их руки Марья Карповна и стала читать положенные молитвы. «И созда Господь Бог ребро, еже взя от Адама к жене, и приведе её к Адаму и рече Адам: се ныне кость от кости моя и плоть от плоти моя. Сия наречется жена, яко от мужа своего взята бысть сия. Сего ради оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене своей, и будут два в плоть едину. Адам, Сиф, Енох — сии упова призывати имя Господа, и семья их благословенно в чадах их наследия Божия до века...».

Преклонил колена Илья, рядом с ним преклонилась и Варвара.

«И ныне, Господи, не блудодеяния ради поемлются обоя сия между собою, но по истине твоей. Повели помилованным вкупе состаретися».

Ясно, звонко читает молитвы Марья Карповна, Анастасеюшка раскурила ладаном росным кацею золочёную и окадила брачущихся. Ярко горит, спускаясь с потолка, паникадило с прорезными золочёными яблоками, с украшением из серебряных перьев и витых усов; ярко пылают вокруг толстые свечи жёлтого, чистого пчелиного воска, сурово глядят тёмные лики святых с образов древлестрогановского письма. Берут старики — и отец, и мать — по дорогому золоторизному образу и благословляют моло-

²⁶ Звонок, что на скотину в ночное время надевают.

дых. Кончен обряд, ведут Илью и Варвару в боковую комнату, кладут на широкую тесовую кровать, на снопы ржаные, не вымолоченные, что в хозяйливых семьях всегда про запас берегут... Совет да любовь.

Ночушка тёмная, ночушка душистая, тихая, тёплая, страстью дышит, тайной землю заснувшую кроет!

Как узнали старики Ванеевы, куда дочь их Варвара делась, каким позором семью их покрыла, затосковали, проклятьем Варваре пригрозили, смутились было в Берёзово-ярское ехать, да, видно, у бедняка вся сила в одном языке: покопошились, поворошились, да на том и сели. Прислала Варвара им письмо жалостное, расписала им своё житьё хорошее, сытое, ласковое обращение мужа своего молодого, их обещания невдалеке и церковно скрепить брак, прислала денег старикам и всякую помощь обещала. Что тут будешь делать, болит родителево сердце, да куда же теперь дочь и возмёшь, коли обратно отнимешь — была девкой, а теперь что? Ни жена, ни вдова, постылого кержака полюбовница. Стали ждать старики исполнения обещания, да только не дождались, как не дождалась его и Варвара.

Как ни любила Варвара Илью, а чужой она себя в суровой семье чувствовала, чужой и во всём селе была она, все свычаи и обычаи, и работа, и отдых, и праздник, и молитвы — всё чужим Варваре казалось. Ни звона колоколов, ни крёстных ходов с образами по полям, ни ярких платьев, ни хороводов в праздник — ничего такого у кержаков нет. Пришло время — понесла Варвара, стала она пуще прежнего приступать к свёкру венцом покрыть.

— Венчали тебя, будет, чтим твой брак, что тебе ещё надо? Чтоб и не дышать больше над этим самым обещанием, не будет и ладно!

— А как же ребёночек мой? Как родится, понесу ль я его в церковь крестить?

— Сами окрестим, ни в церковь свою ноги не поставишь, ни к себе попа не примем.

Затосковала Варвара. Любила она Илью, понимала всю доброту, всю заботу его, да мысль, что не муж он ей, что без венца она живёт с ним, что вот только выйди она за

ту околицу, и вся власть их пропадёт, в любом православном селении её полюбовницей кержацкой звать станут; что и отец, и мать к ней ноги поставить не хотят, да и самой ей в своё село явиться зазорно, а тут, накось, ребёнка некрещёного на свет принесёт. Да как же она ему, некрещённому, незаконному, грудь свою материнскую даст? Да как же сама она без молитвы очистительной с одра болезни встанет, за хлеб и за работу примется? И помутился дух у молодухи. Стала она пытаться лаской жаркой, слезами горячими мужа подбивать от стариков отделиться и в своё православное селение, в свою ванеевскую избу перейти.

Любил Илья Варвару, да только бабьим разумом жить не мог. Грамотный, начётчик, своей вере изменить не в силах был, от своих родителей отречься, от своих общинных понятий и порядков отколоться не мог. Стал он пытаться жену вразумить, да как вразумишь, коли стали ей сны сниться и во всём дьявольское наваждение видеться. От еды, от питья отбилась молодуха, ума решила от мысли, что и на том свете ей с отцом, с матерью не свидеться. А тут случилось так, что Илье по общинным делам выпало в далёкую поездку отправиться, и старики были рады, из всего села набрав поручений, снабдив деньгами Илью, послали его в далёкий губернский город. Вернулся Илья через месяц и застал свою Варвару при смерти.

Оступилась молодуха да вишь, как в подполье молочные кринки ставила, с лестницы сорвалась, так и Варвара сказала ему, а на селе дохнул ему кто-то, что топилась его молодуха, да из воды вытащили. От эдакой правды легче не станет, и Илья ничего не спрашивал. В закрытой зыбке лежал с головой спелёнатый чистым полотном мёртвенький младенец, на кровати в огневище жена разметалась, а сам Илья сидит, на тёмные лики святых смотрит и думает тяжкую думу: «Где же истина? Где спасение?».

III

Пала роса на землю, закурились лёгким туманом поля, выплыл месяц из-за туч и стал над лесом, серебром охватил пушистые верхушки, осветил поляны, заходили на них тени, как живые, потянул ветерок, взбороздил се-

ребром переливчатым ручей, что неподалёку из родника выбегал и, журча, лепеча, по лесу мчался. Осветил месяц и каурого резвоногого, бежавшего по лесу, и Илью, безучастно глядевшего вдаль. Спало село Коробеевка, спали и старики Ванеёвы, когда в ворота их с тихой молитвой постучал Илья. Вскинулся старик Тимофей, приподнял оконце и не сразу узнал высокого, статного гостя ночного, опросил и стал будить старуху.

— Вставай, Анна! Варварин муж приехал, видно, что с нею поделалось.

Вошёл Илья в избу, иконам не помолясь, в правый угол не взглянув, проговорил свою обыденную молитву «Господи Иисусе» и сел на лавку, покосились на него старики, да, видно, со своим уставом в чужой монастырь не сунешься.

— Помирает Варвара наша! — начал Илья сухим, наболевшим голосом. Молча перекрестились старики. — Помирает и помереть не может, мать кличет, попа отца Митрия зовёт — исповедаться и причаститься желает.

— Вестимо, не помирать же ей, как скотине бессловесной, без отпуску покаянного, — угрюмо проговорил отец.

— Что приключилось с дочкой? С чего помирает, аль извели? — спросила мать, подходя к Илье и с горячей ненавистью глядя на него.

— Мёртвенького родила, с того раза и болезнь накатила, слушайте, — Илья встал, — не для пустых речей и перекоров пришёл я к вам, вот как любил Варвару свою: коль мог бы сердце из груди измать да ей отдать — отдал бы, а только в смерти и в жисти один Бог волен... Заплачу я отцу Митрию, что спросит, а только надо мне его в сей же час туда, к ней предоставить.

Замолчал Илья, молчит старик, тихо, жалобно рыдает мать.

— Ладно, будет причитать, не теперь сиротами нас Варвара оставила, а в тот час, как без венца в чужой семье жить осталась, ты ей мать, собирайся, иди проси попа спасти её душу грешную, коль не спасли мы молодость её. Ступай, старуха, — смерть-то ведь ждать не станет.

Спит лес дремучий, светит месяц сквозь тучи, что спешно бегут по небу, едет лесом в коробке старик отец Митрий и набожно держит дароносицу, в шёлковый плат завернутую; рядом с ним сидит Анна Сидоровна, вся впе-

рѣд нагнулась, глаз с дороги не сводит, точно материнским сердцем своим путь сократить хочет и далекое Берёзовоярское к себе притянуть. Рядом на кауром едет Илья, весь застыл в одной думе: жива ль Варвара, приведёт ли ему Господь Бог дать ей последнюю радость земную.

Доехали до окраинной полянки, оставил Илья каурого, слез, поговорил с отцом Митрием и пошёл вперѣд, ведя на поводу свою лошадь. Отец Митрий с Анной тоже вышли из коробка, отвели лошадь в сторону, под тень густую тѣмных сосен, и сами стали тут же.

Отпер Илья загородку у поскотины и впустил туда каурого, затем прошёл вдоль огорода, тихо ступил на крылечко и ещё тише с замиранием сердца открыл дверь в свою боковую комнату. Секунду он задержался на пороге, приостановив дыхание, глядел на Варвару и вздохнул только тогда, когда убедился, что грудь молодухи слабо приподнимала сорочку, показалось ему, что чёрные ресницы длинные дрогнули при его появлении. «Знать, ждала», — подумал он. Посреди комнаты стоял стол, на нём икона пресвятой мученицы Варвары, и на оловянном блюде пук свечей, из которых три, наклепленные по краю блюда, горели, давая комнате слабый красноватый свет. В головах кровати перед рядом икон горела большая неугасимая. Канонница Анастасеюшка стояла у аналоя спиной к двери, лицом к иконам и громко гнусливо и медленно читала канон, а в углу тѣмном всё так же закрытая зыбка стоит.

Осторожно ступая, Илья дошёл до каноницы и положил перед аналоем уставный поклон.

— Ступай, Анастасия, спать, — сказал он, — я сам читать стану.

Оторопела рыжая канонница, красными пятнами пошло лицо её: видано ли дело, чтобы её, монастырскую уставщицу, заменил мужчина, да ещё не келейный какой, а просто муж умирающей. Думалось Анастасии, что даже ослышалась она, но Илья стоял возле неё и твёрдо смотрел ей в лицо.

— Ступай, говорю, ложись спать, не томись даром, я покараулю больную.

Канонница не двигалась с места. Илья шагнул к самому её лицу да вдруг с такой щемящей болью заглянул ей в глаза, что та даже рукой отшатнулась от него.

— Слышь, Анастасеюшка, дай мне последнюю ночку коло жены моей одному пробыть... не жилица она на этом свете, дай нам час достальной по душе поговорить.

Замигала узкими серыми глазками Анастасья, дошла до её охладевшего стародевичьего сердца тоска Ильи, закрыла она на бисерную закладь книгу святую, поклонилась образам, вышла тихонько и дверь за собой затворила. Замолкли её шаги, и Илью охватила жуткая тишина, на аналое горели две свечи и как укор освещали закрытую святую книгу. Невольно перевёл он глаза на иконы. «Святители, угодники, что делать хочу, какую страсть совершить задумал? Отступник я, предатель, веру, за кою предки живот положили, чистоту обрядов уберегая, в леса бежали, жглись, голодом морились, попать я пришёл. Спит всё селение, а я, как тать ночной, хочу скрасть их покой. Святители, угодники!». Илья с ужасом глядел в тёмные лики. За ним раздался слабый стон жены, дрогнул Иван, ровно стон тот из его собственной наболевшей души вырвался; бросился он к жене, глядит она, глаза открыла и горящим, вопрошающим взглядом приковалась к его лицу. Нагнулся Илья и приложил руку к её лбу, под этим прикосновением глаза её приняли спокойное, ласковое выражение, чуть-чуть порозовело мертвенно-бледное лицо и уста шевельнулись. Илья нагнулся к ней.

— Да благословит тебя Бог, любимый, любимый, — шептала она... — Привёз?

Глянул Илья на иконы: «Простишь ли, Господи?».

— Привёз.

Блеснули очи больной, две слезы скатились по щекам, и худые иссохшие руки шевельнулись, приподнялись и, дрожа, закинулись за шею мужа.

— Помни... помираю... благословляю тебя... спас ты душу мою...

Снова глянул Илья на иконы. «Где же правда? Где берег?..» — и снова припал к жене. Зашуршала под его руками ржаная солома, и вспомнил он, что снопы те на брачную да на смертную постелю стелются, вспомнил он ту ночь летнюю, тёплую, как привёз он сюда свою жену молодую, как в порыве туманившей страсти клялся он ей, что покроет венцом обманый брак свой, вспомнил, как мучилась она, что без матернего согласия, без цер-

ковного благословения отдала ему честь девичью, красоту нерушенную свою. Глянул он на жену и понял, что для неё он пойдёт на всё; душу свою он погубит, чтобы успокоить её. «Лежи, голубка, — шепчет он, — я дом обойду, гляну — всё ли тихо, одежду добуду тебе и вернусь, голи маленько, мамынька твоя и он здесь с дарами».

Вышел Илья... Всё тихо, спят старики, убеждённые, что каноника ни на секунду не оставит больную. Еле ступая, сошёл Илья в подклеть, снял с гвоздя широкую заячью женину шубу, что тут для проветру висела, еле дыша, вернулся назад. Варвара лежала, глаз не спуская с дверей. С трудом переводя дух, как человек, пробежавший громадное пространство, Илья бросил на пол шубу, утёр лоб, покрытый крупными каплями пота, глубоко передохнул и расстелил на полу зайчину, потом осторожно поднял Варвару с кровати, ахнул и чуть не выронил её из рук. Легче пера невесомого показалось ему тело её. Вот до чего извелась баба! Бережно положил он её на разостланный мех, завернул с головой, снова поднял на руки, прижал к груди дорогую ношу и вышел с ней в сени. Пахнула на него ночь тёплая, летняя, небо прояснело, выплыл из облаков месяц двурогий, и звёзды, словно очи ангелов, пристально, строго глядели на землю. Выстланный досками двор лежал перед Ильёй громадным белым пятном. Захолонуло сердце его — как перейти этот светлый кус? Коли матери-старухе не спится и глядит она в окно, коли каноника Анастасия ещё не легла? Увидят, тревогу подымут, по вору ударят²⁷... Боязно, а идти надо. Нагнулся Илья, крадучись стал вдоль стен пробираться, уж миновал второе окно, вот он под навесом кузни, как вдруг замерло сердце его — со страшным лаем скачками нёсся на него со второго двора громадный сторожевой пёс; грудью налетела на него собака и, не приткнись Илья к косяку двери, сшиб бы пёс его с ног.

— Куцый, Куцый! — шепчет ему Илья, но пёс ошетинился, обнюхал заячью шубу, вдруг отступил, поднял морду вверх и завыл по направлению леса. — О, Господи, Господи, да неужто ж померла моя Варвара! — заволновался Илья, но руки его были заняты, не мог он ощупать

²⁷ Кричать станут.

её, а за страшным биением своего сердца не мог распознать ни мельчайшего её движения. Разбудит пёс проклятый домашних, кинутся они в боковушку глядеть Варвару... пропало, всё пропало! Стукнуло крайнее окно... открылось...

«Господи Иисусе Христе... Нишкни, проклятик! Нишкни, Куцый! Ой, язви тебя! Чего воешь, аль упокойника чуешь?» — донёлся до него голос матери.

Илья быстро нагнулся, положил на порог кузни под тень выступающего навеса Варвару и махнул вперёд.

— Нишкни, Куцый!

— Ай, свете тихий, никак ты, Илья! Вот спужал, Господи Иисусе, чего ж ты не спишь? Пойти поглядеть, не умерла ли твоя Варвара...

— Жива, матушка, полегчало ей... спит крепко... я сам её караулю, да вот как заснула, и вышел я на простуду²⁸.

— Гребит²⁹ сердце твоё, сыночек!

— Гребит, маменька!

— Анастасеюшка-то там ли?

— Там, матушка, и я туда иду.

— Подь лучше на сеновал, дай отдохнуть себе, а я схожу покараулю её, — и она стала закрывать окно.

— Матушка! — Илья задержал оконницу. — Не ходи, родная, утречком я сам побужу тебя и пойду соснуть, а теперь шорох кажинный, слово шёпотное и то пугает её.

— Ин ладно! Прости, Илья! Храни тебя Бог. Утречком побуди меня. Господи Иисусе Христе! — и окно закрылось.

Вернулся Илья к дверям кузни, лежит заячья шуба свёрнутая, а рядом с ней пёс Куцый сидит, зная, признал, караулит. Снова на руки взял Илья Варвару. Чу! Лёгкий стон распознал. Жива! Слава те Господи Иисусе Христе. А тут тучка надвинулась, нырнул месяц под неё, Илья быстро перебежал двор под тень широкого навеса завозни³⁰, оттуда вдоль оплота³¹ в заранее отворённую калитку, ещё немного перелеском, и Илья бледный, с волосами,

²⁸ На свежий воздух.

²⁹ Скорбит.

³⁰ Экипажный сарай.

³¹ Забор.

слипшимися от холодного пота, едва дыша, стоит на лесовой плешинке, выдавшейся среди густорослых высоких хвой, тут же укрылась лошадь попова с тележкой, а прислонившись к её грядке, стоит и сам старый отец Дмитрий; шагах в двух от него, как Лотова жена, пряма, неподвижна, безмолвна стоит старуха Ванеева и глаз не спускает с лесной глубины.

Как лист осенний задрожала старуха, когда Илья положил у ног её заячью шубу и, раскрыв её, высвободил мертвенно-бледный лик Варвары с закрытыми глазами.

— Никак скончалась? — тихо промолвил отец Дмитрий.

— Доченька, дитяtko, болезная моя, горемычная, — бросилась к Варваре мать, ручьём слёз орошая лицо её, а Илья, закинув голову, смотрел в небо голубое. «Господи, Господи, на твой суд и на твою милость отдаю душу мою!».

Слёзы ли материнские, дыхание ли тёплое ночи, свет ли месяца, что лаской истомной с неба глядел, пробудили Варвару, ещё раз к жизни призвали. Очнулась молодуха, что орлица раненая, открыла широко чёрные очи и глянула ими на небо.

«Господи Иисусе, помилуй мя!» — шепчет она, и тихий ночной ветер, подхватив молитву умирающей, несётся с ней, и гибкие верхушки могучих сосен, и ручьи, и кусты, и цветы лесные, над которыми пробегает он, наклоняются, шепчут, толкуют промеж себя, будто сознавая, какая тайна великая готова здесь свершиться в тёмном лесу.

Заяснила улыбка на лице Варвары, узнала она заплаканное старушечье лицо, нагнувшееся над ней.

— Мамынька... согрubiла я тебе, простишь ли?

— Светик ты мой, Варварушка! Голубонька умильная ты моя, нет у меня гнева на тебя, одна любовь моя родительская.

— Родная моя, прости меня Господа ради, не жилица я на белом свете, а... батюшка?

— Простил тебя отец, шлёт тебе благословенье своё родительское, до смерти нерушимое.

И мать трижды благословила Варвару.

— А отец Митрий?

Священник выступил из-под развесистых лап сосны, шагнул и стал на колени возле умирающей.

— Да благословит тебя Бог, как я, служитель его, благословляю тебя за то, что не захотела ты помереть без покаяния христианского. Принёс я тебе дары Господни. Не томи себя исповедью громкой, припомни все грехи твои, молись в душе, кайся Господу, а я именем Всевышнего дам тебе отпущение в грехах твоих, вольных и невольных.

Приподняла мать Варварину голову, сложила ей руки молитвенно, и снова молодуха со страстной мольбой устремила в небо очи свои. Дрожащим голосом, полным священного трепета, стал читать отец Дмитрий отпущение грехам её, а за густыми кустами пихтарника, припав головой к мать-сырой земле, рыдал Илья, рыдал, вспоминая ночь под Красную горку, когда он, припав к таким же кустам близ села Коробеевка, слушал «Серую утицу», выглядывал зазнобу свою, красоту свет Варвару.

Открыл отец Дмитрий дароносицу, расстелил на грудь молодухе плат шёлковый, достал лжицу священную и причастил Варвару.

«Да не в суд, или во осуждение будет мне причащение пречистых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела...».

Подавленный торжественным молчанием леса, глубокой высью небес, горящими звёздами и восторженным лицом умирающей, священник закончил молитву дрожащим голосом, полным умиленных слёз. Смолк голос старческий, торжественно молчит ночь немая, поникла мать над умирающей и глядит на освещённое месяцем лицо: пожелтело, потемнело оно, глубже ушли впадины глаз, закрылись веки, губы сжались, пропали бледной тонкой полоской, и вдруг из груди молодухи вырвался стон перекатный... колоколец³².

Спрятал дароносицу отец Дмитрий, снова подошёл, опустил на колени перед Варварой и стал читать отходную, но молодуха ещё раз вдруг открыла глаза.

— Илья, Илья! — крикнула она.

И как безумный шарахнулся Илья из кустов и припал к груди своей любви. Безысходная скорбь наполнила широко открытые глаза умирающей, жалко, страшно жалко

³² Предсмертный хрип умирающей.

ей стало покидать жизнь; всё, чем полно было её недолгое, несложное существование, всё пронеслось перед ней: поля колосистые, песня жаворонка в выси небесной, звон ботала нелюбимой красной коровы, подруженьки, песни, храм Божий в Троицын день, полный цветов и берёзок, Илья... Илья, муж весёлый и ласковый... ребёнок... ребёнок... Тут мысли её помутились, глаза открылись ещё шире, привстала она,дохнула глубоко, откинула руки, как бы желая ещё раз обнять милого...

— Илья!.. — и голова молодухи упала, дыхание вылетело из груди.

.....
.....
.....

Близится утро. Серееет небо над лесом. Свежеет ветерок, на поляне ещё лежит труп Варвары, покрытый заячьей шубой, только теперь не одна она, как голубёнок неоперившийся ютится под крылом матери, лежит теперь на груди её труп мертворождённого, оба они вместе в широкую чистую новину обёрнуты. Под развесистыми ветвями двух громадных кедров, сросшихся, как братья-близнецы, Илья вырыл глубокую могилу, полил её потом своим и слезами. Уехал отец Дмитрий, увёз с собой и старуху Ванееву, силой оторванную от трупа дочери, остался Илья один; сходил он в дом, принёс заступ, лопату, достал новину, загодя приготовленную на случай смерти, вынул из зыбки младенца, с головой спелёнатого, и всё перенёс в лес; сам могилу вырыл и, как брызнули первые лучи солнца, под щебет и песни проснувшихся птиц опустил туда жену свою милую с приплодом её несчастным; зарыл их, землёй сровнял, всё утоптал, прикрыл искусно снятым дёрном с травинками, чтобы ни зверь, ни человек — никто не распознал, где схоронил он покой свой душевный. Отнёс на место всё взятое и шубу заячью повесил в подклеть, последний раз вышел из ворот своих и трижды земно поклонился: «Прости, прощай, кров родительский! Прости, прощай, батюшка, и ты, мила мамынька; не на то растили, не на то холили сына вашего, чтобы изменил он вере своей, не видать мне боле вас, не слышать мне горьких слов ваших».

Как был Илья в одной одежде да шапке, без куска хлеба

запасного, с одной чёрной кручиной на сердце да с крепкой надеждой на Бога, пошёл в свет далёкий — по монастырям, по скитам, по старцам лесным скитаться, веру пытаться, правду-истину искать.

Спит дом кузнеца, крепким сном покоятся отец и мать Ильёвы, спят и не чувят, что беда горькая, полная слёз горячих, под их окнами бродит, подождком в их ворота стучится, оповестить хочет, что сын их, опора их старости, краса и гордость дома их, душой смутился, разумом затуманился и от дома их родного отряс прах ног своих.

Белокриницкий архиерей Афанасий

Дом богатых старообрядцев Ситниковых раскинулся, что усадьба, в нагорной части города К-ска. Амбаров, амбарушек, закровов, повалушек с казёнками, завозней без числа, а позади два сада: один для приятности с «ранже-реечками», узорчатыми планидами разных духовитых цветников и с беседкой в виде храма, со стеклянным «кумполом»; другой сад, или вернее огород, как приспех к домашнему обиходу, весь зарос кустами малины, красной смородины, застроился правильными рядами клубники и земляники. В этом саду у самого забора стояла и баня. Большой чистый двор, к которому примыкали оба сада, был весь, по сибирскому обычаю, выстлан досками, хорошо сколоченными, белыми и чистыми, как и пол. Сам полукаменный дом Ситниковых был просторный, двухэтажный, с большими горницами, устланными дорогими персидскими коврами, с тяжёлой мебелью красного дерева, крытой штофом «пукетовым», со стеклянными горками, заставленными серебром и золочёной аглицкой посудой, с картинами божественного содержания, шитыми шёлком и бисером. Цветущие олеандры и китайские розы стояли на подоконнике и на примосточках. На столах всюду рукодельные салфетки хитрой работы, на окнах вязаные и шитые в «пробор» шторы и занавесы, а в спальнях белые кровати с горами пуховиков и подушек, пузатые комоды, кованые укладки, поставленные одна на другую по величине и переслоенные коврами и покрывашками. По углам всюду тёмные образа старинного письма, в кованых сканых и низанных жемчугом ризах, при них лампы с местами для жёлтых свеч чистого воска, катанных набожными руками. В стороне от главного дома ютились разные постройки: кухни, людские, «флигерёчки» и въезжие, где останавливались старицы, головщицы, уставщицы разных монастырей, а то и так, просто свои. Вся эта Сит-

никовская слободка окружалась со всех сторон высоким оплотом, с вечно запертыми на железный засов воротами, с калиткой, от которой денно и нощно не отходили сменные караульные из татар. Внутри, круг оплота, решётками в стену стояли ящики, а в них день-деньской спали свирепые псы, ночью же, выпущенные на свободу, расправив усталые члены, носились по двору, готовые перегрызть горло каждому, кто осмелился бы без провожатого показаться во дворе.

Ситниковы торговали лесом, но ни торговля, ни образцовое хозяйство не давали им того благосостояния, которым они пользовались; напротив, не раз дела их пошатывались и близки были к банкротству. На всякие сделки и подряды не особенно счастлива была рука старого Евграфа Силыча, но каждый раз, когда все дела их висели на волоске, судьба посылала им таинственное наследство, и снова всё устраивалось к общему благополучию. Дело в том, что в семье Ситниковых было неизречённое сокровище — криница истого благочестия, мать-матушка, лебедь белая тридцатилетняя дочь Ситниковых Устинья Евграфовна. День и ночь непрестанно верующие тащили матушке Устинье Евграфовне муку, крупу, мёд, пшено, деньги и прочее. И жизнь её без всяких трудов текла сытая, прибыльная и почётная.

Среднего роста, полная, высокогрудая, смуглая, с чёрными властными глазами, Устинья Евграфовна была начётчица в кожаных книгах, знала весь устав, могла править службу и праздничную, и похоронную, и крестинную, знала все стихи и песнопения, и по праздникам в её большую молельню народ стекался сотнями. Из дальних и близких монастырей к ней ездили матери за советом, ей отдавали сирот богатых на воспитание, ей же на потайные милостыни присылались безотчётные тысячные суммы, и не раз умирающие миллионщики оставляли ей по завещанию большие куши на поддержание благолепия веры истинной.

Умная была девка Устинья Евграфовна — и покорная, и своеобычная, и гордая, и поклонная, смотря потому, с кем и при ком.

Был у Ситниковых и сын Стёпочка, красивый брюнет двадцати двух лет, с курчавой бородкой и лукавыми, мас-

ляными глазами. Матери считали его ещё младенцем неосмысленным и охотно приглашали его в скиты на разные стояния и службы, на клирос, в подмогу черничкам и клирошанкам.

Стёпочка был из молодых, да ранний. В монастырях он вёл себя примерно и богобоязненно; голову смазывал чистым елеем, брану расчёсывал, ходил в подрясниках, в скрипучих сапожках и говорил нараспев, но когда ездил за тятеньку на ярмарку в Нижний или по подрядам в Москву, то устраивал себе на голове капюль в две бабочки, надевал куцый пиджак со светлым жилетом и куцым галстуком. Для женщин своего круга Стёпочка был неотразим, он умел говорить вкрадчиво и красно, играл глазами и сладким тенорком пел жестокие романсы, недурно аккомпанируя себе на гитаре. Все свои упущения и проблемы по торговым делам, перерасходывания сумм отцовских он с лихвой покрывал дарами разных белотелых купчих, к которым являлся тихо, покорно и ласково, как чистый отрок, краса и гордость истого древнего благочестия. Папашеньку своего Евграфа Силыча и мамашеньку, рыхлую шестипудовую Матрёну Ильинишну, он не ставил ни в грош и пуще огня боялся только сестрицу свою Устиньку.

* * *

Жарко ещё припекает июльское солнышко сады и огороды ситниковские, и в полдень после сытного обеда в доме, в пристройках и во дворах всё как вымерло — все спят и отдыхают. Окна всюду стоят разинутые, ветер чуть-чуть парусит спущенные белые шторы, куры повырыли себе в горячем песке ямы и лежат не шелохнутся, осоловелый петух припал тут же, распластав свои красно-золотые крылья и раскрыв клюв, точно готовясь в случае нужды гаркнуть тревогу своим разморённым подругам. Громадная жёлтая клуша³³, припав к водосточной кадушке, как палатку, распахнула крылья и укрыла под ними с десятков круглых пушистых птенцов. В воздухе плавно реет ястреб, высоко поднявшись, стоит в небе тёмной точкой, снова плавно, гордо спускается и, взмахнув безна-

³³ Наседка.

дёжно крыльями, летит на речку подстеречь, не всплеснёт ли хоть там сдуру рыбёшка какая.

Спит на высоких перинах старая Ситникова, горой вздымается её утроба, прикрытая шёлковым стёганным одеялом, широкое лицо её с круглым тупым носом и правильными чёрными бровями полно блаженной сытости и отсутствия каких бы то ни было стремлений вперед или воспоминаний о прежнем. Матрёна Ильинишна век жила за родителями да за мужем и, как породистая корова у переполненного кормом загона, в холе и спокойствии исполняла только наложенные на неё природой обязанности.

Отходит ко сну и Устинька, зевая, крестит рот и, лениво заплетая в одну косу густые чёрные волосы, разговаривает с молоденькой черничкой Фенюшкой.

— Что Наталья? Ела?

— Малость самую, для прилику больше, кваску яблонного пригубила.

— Просила что-либо?

— Просилась в сад погулять. Да ведь сегодня нельзя: у папашеньки в беседке исправник сидит.

Устинька так и привскочила.

— Ты так и сказала?

— Нет, как можно! — ухмыльнулась Фенюшка — Рази я не понимаю! Сказала, нельзя без вас гулять, а вы, мол, выехамши.

— А она что же?

— У ней один разговор: всплакнула, говорит: «Господи, когда это Устинья Евграфовна устроит моё дело с папенькой?». А я им: уж известно, одна надежда у вас как есть на матушку Устинью Евграфовну, зато слушаться их надо.

— Ну?

— Притихла, а слёзки всё-таки ровно бус³⁴ весенний льются.

— Никто не подозревает в доме, что она за стенкой в бане живёт?

— Видит Бог, никто. Я хожу в баню с пустыря, там, где лазейка промеж малиновых кустов, а ухожу — снова на ключ баньку запираю.

³⁴ Дождик.

— То-то! Ступай да помни, Феня: коли что, со свету тебя сживу. В дальнем ските за Тавдой пропадёшь!

— Господи! — вскинулась Феня.

— Ладно, иди! — Устинька махнула рукой, и Фенюшка, утирая глаза передником, не смея всхлипывать, покорно вышла, затворив за собой дверь.

Устинька отстегнула крупные пуговицы своего шёлкового травчатого сарафана, и её девичья нетронутая грудь выкатилась двумя упругими волнами; она заломила над головой смуглые полные руки, хрустнула пальцами, сладко зевнула и, опустившись на пуховые подушки, натянула на себя тонкую полотняную ширинку с узорной каймой.

Устинья Евграфовна, не в пример скитским нравам и другим мать-матушкам, была девственница в полном смысле слова, девственница как в поступках, так и в помыслах, и чистота её нравственная вместе со здравым, не женским рассудком давали ей непреоборимый перевес над всеми другими. Глаза её ясные, гордые, что у орла, глядели людям, казалось, не в лицо, а в самую душу, речь её — горячая, смелая — покоряла робкие, заблудшие души. Ретиво бралась она за каждое дело, ни властей, ни родителей не боялась, и кругом на сотни вёрст и старый, и малый — все покорялись её обаянию.

Теперь, лёжа на пуховых подушках, Устинья, отходя ко сну, лениво перебирала пальцами правой руки лестовку, а сама умом уж раскидывала, какую выгоду вынесет их дому появление архиерея и его торжественная служба в их молельне.

Оповещена она была, что многострадальный, рукоположенный в Белой Кринице архиерей Афанасий не в далёких днях приедет к ним.

* * *

Не спал только в этот полдень Евграф Силыч: не вовремя наехал к нему исправник, и молча сидели они теперь и прохлаждались в садовой беседке в виде храма с «кумполом» из разноцветных ярких стёклышек. Два широких окна беседки, открытые настежь, густо заплелись хмелем, диким виноградом да настурцией, жёлтенькие острые головки которой весёлыми пятнами прокалывали всюду зелень. Дверь с двумя приступочками была изнутри

вырисована, как и все стены домика, китайскими узорчатыми разводами и любопытственными тюльпанами в тарелку величиной. Мебель была мягкая, выписанная Евграфом Силычем из Москвы и обитая своим старинным штофом по «саржирону». Уютные диванчики, глубокие кресла, затейные столики и буфетец открытый французский, с завсегда готовой на нём прикусочкой, составляли обстановку. Прохладно, умирительно-тихо и духовито от резеды и горошка, стоявших на подоконниках, было в этой хорошине, и нигде так не любил сидеть нередкий гость, местный исправник Иван Иванович Лобов. Уютно было ему на среднем диванчике, где и под головой думка, и под руками подсовочки, и под ногами скамеечка; сидит он, отдыхает, пьёт квасы домашние да брагу пенистую, чёрную, холодную, составляющую славу старой Матрёны Ильинишны, балуется чайком с чистым мёдом и крутыми шаньгами.

Сегодня Иван Иванович встревожен и хоть всё ещё ласково, а грозит пальцем Евграфу Силычу: «Смотри, брат, у меня дружба дружбой, а служба службой, меня не надуешь. Молитесь себе семейно, а сборищ в молельне не делайте, беглым единоверцам притонодержательства не чините».

— Иван Иванович, да статочное ли это дело при моих комерциях да сумнительными делами заниматься, — протестовал сидевший против исправника Евграф Силыч, прикладывая для убедительности обе ладони к груди.

— Ладно, ладно, я так, чтобы знали. Устинья твоя — умнеющая девка и куда хитра, а всё-таки концов хоронить не умеет. Где у вас Наталья Балашовская?

— Балашовская? Отродясь и имени такого не слыхивал, во всей округе у нас, кажись, таких нет, — запротестовал Ситников и, потянувшись, налил исправнику из большого веницейского кувшина громадную кружку крепкой браги.

— Да ты не финти. Балашовская Наталья по мужу, а в девках она Угрюмова, твоего приятеля дочка. Ведь говорю тебе, всё знаю. Наталью из семьи выкрал Ир-ский, землемер балашовский, знавший её ещё в Москве, в пансионе у m-те Турнэ, а отец её Угрюмов среди ночи с буйством напал на дом, куда укрылись новобрачные, и отнял дочь

свою повенчанную, теперь пошёл суд да дело. Балашовский вот мне жалобу подал, что законную жену его Наталью вы, Ситниковы, у себя якобы в плену держите.

Длинная борода Ситникова вздрагивала, глаза его по-прежнему глядели на исправника хотя хитро, но смело, а нижняя челюсть тряслась и пальцы хрустнули, когда он, вставая, взялся за спинку стула.

— Уж не знаю, Иван Иванович, ровно бы оно и стыдно на мой дом клевету изводить, живу я теперича, к примеру, семьёй как бы в стеклянном доме, все-то горницы у меня нараспашку, все-то окна поприоткрыты, молельня нам свыше разрешена, и в ней, окромя семьи, молятся разве две-три старухи из скитских али приехавшие какие к Устинье Евграфовне по делам, а дело-то у моей дочери одно — заказы рукодельные присылают ей из Нижнего, из Москвы, бывает, из Питера, а она по тем заказам работы по скитам да по общежитиям раздаёт труженицам, да сиротам какой грош, гляди, и перепадает, а чтобы мужнюю жену схитить — не бывало этого за нами, да и куда её от тебя запрячешь?

— Да, вот куда? — засмеялся Иван Иванович. — Кабы я знал, куда, не стал бы тебя и спрашивать, — и исправник стал пить холодную брагу, не воображая, не предчувствуя того, что на том самом месте, где он сидел, под французским диванчиком с затейливыми фалбарами и аграмантами до пола, была ловко, шов в шов, пригнанная подъёмная половица, а под ней спуск с разными переходами к бане, а затем к лесу, с выходною западнёй под далёким угрюмым крутым берегом реки.

* * *

Конец июля своими последними жаркими ласками греет тайгу, по широким прогалинам леса бежит капризная омутистая речка, бежит, журчит, да вдруг и совсем спрячется в непроходимые дебри краснокорых сосен и кустов, снова выбьется, загнёт колено и снова бежит, укрывшись, как щитом, крутым обрывистым берегом.

Солнце идёт к западу, словно запуталось в верхушках ветвей и, облив их ярким красным золотом, медлит уйти и уступить место тёмной потайной ночушке... Дикая птица разная, видно, перед сном, взад и вперед снуёт, после-

дние песни вечерние допевает; в небе голосисто заливаются жаворонки, распластав крылья, купаются в тёплом вечернем воздухе и, ровно жемчуг перекатный, сыплют вниз трели свои. Кроншнепы тянут и стонут над лесом. В траве густой луговые жёлтенькие синички посвистывают. Над самой речкой неподвижно большой ястреб добычу высматривает, зорко целится и вдруг, сомкнув крылья, камнем падает вниз; с криком врассыпную из реки брызнул целый выводок перепуганных уток, а ястреб, цепко схватив свою добычу, быстрыми плавными кругами подымается в голубую высь и на этот раз высматривает укромное местечко, где бы спуститься на ужин со своей добычей.

Солнышко ниже и ниже скользит по ветвям, задрожали ярко-багровым пятном кусты низкорослого березняка, побежали тени, что мысли чёрные, по прогалинам леса, прошумел ветер по высокой росистой траве, засеребрил резвые струйки неумолчно-болтливой реченьки и умчался в лес, прячась за могучие кедры. Нежно, грустно закурлыкали где-то журавли... и тихо, величественно спустилась на землю тёмная летняя ночь... Заснула тайга, словно очарованная; от старых широких корней поднялся туман, закурился белым дымком кругом стволов и пополз вплоть до кудрявых верхушек. В небе вспыхнули, заискрились очи Божьи — яркие звёздочки, замер ветер, спит тайга могучая, спит и ревниво хоронит свои тайны.

В самой глубине непроходимой чащи с густым туманом борется огонь разложенного костра, дым прорывает сплошную молочную стену и играет разорванными клочками.

Вокруг костра сидят четверо тайных гостей приветливой матушки-тайги.

Трудно бороться человеку со сном в такие ночи. Ослизлая, тяжёлая мгла тумана как гнёт ложится на плечи, а непробудная тишина, полная оторванность от всего мира, под стать туману, заволакивает мысль и желание. Нет сил бороться со сном, охватившим тайгу... и двое из сидящих у костра мало-помалу засыпают, прикорнув головой к мшистым стволам. Не спит Афанасий, старообрядческий архиерей, пострадавший за истую веру и бежавший из Н-ской тюрьмы. Не спит и спутник его — Никита Иволга, бежавший с ним вместе. Только кабы не Иволга, молодой

рыжий парень, дважды судившийся за убийства, смелый, как голодный волк, и тощий, юркий, что ласка, сидеть бы Афанасию и теперь за замками тяжёлыми, сидеть и сопреть ему в одинокой келье. Афанасий, даром что выдавал себя за архиерея, был не очень-то высокого звания, просто-напросто проворовавшийся беглый солдат, только семьи он был старообрядческой и сызмальства начётчик в старинных кожаных книгах.

Бежал из полка Афанасий не на родину в Сибирь, а прямо в самое ядро древлего благочестия — в Белую Криницу, в «Фонтану Альба», близ буковицкого города Серета, в раскольничью слободу Климоуцы. Сызмала стремился туда душой Афанасий. Он родился и вырос на стихах о Белой Кринице. Качая его в зыбке, мать, суровая староверка, пела:

*Только есть одна надежда —
Моя вера во Христа.
Сия вера и надежда
Много грешников спасла,
В покаянье, во спасенье
В Белу Криницу свела.
Возвещает нам писанье,
Где прекрасные места
Белой Криницы доброту
Всеблаженного рая³⁵.*

Смышлёный, но непокорный сибиряк, родившийся и выросший среди вольных лесов, страстный охотник-бродяга, Афанасий не выдержал солдатской дисциплины, а тут ещё подвернулся соблазн: какой-то богатенький новобранец-единоверец отдал ему на хранение несколько сотен рублей. Присвоив себе их, Афанасий бежал. Бежал в Белую Криницу, в страну «всеблаженного рая».

Где Христовым именем, где балуясь какой работишкой, где с помощью староверов, Афанасий смело шёл в Австрию. Дорогой добыл себе купеческий паспорт, с которым перебрался через границу, добрёл до Тульчи, оттуда в Вену, сподобился достигнуть Белой Криницы, а там и раскольничьего селения Миттака-Драгомирна, или

³⁵ Отрывок этот записан мной дословно из подлинного песнопения старообрядцев Иркутской губернии.

Сокольницы, близ Сучивы, на границе Буковины с Галицией. Тут пошло ему житьё привольное. Сюда, в монастыри и в кельи митрополита и братии, стекались богатые и щедрые дары от раскольников всей матушки-Руси. Найдя себе верный приют, сытный кусок хлеба и даже почёт, как верный сын своей церкви, бежавший из сатанинского стада от блуда и скверны.

С месяц или более Афанасий зорко приглядывался к жизни монастырской, пока «наблоснился» в старинных книгах и смекнул, в чём состоит тайна раскольниковьяго благосостояния; полюбился он тогдашнему митрополиту Акинфию и добился своего посвящения в попы. Настало великое для Афанасия воскресенье, сварил митрополит Акинфий соборное миро и на большой литургии посвятил его в сан священника.

Вечером того же дня, снаряжая нового попа в путь и посылая его на улов душ заблудших и на поддержание истой веры в селениях и городах старообрядческих, дал ему митрополит пять сотенных и такое напутствие:

— Есть две правды на земле, сын мой. Одна правда — признание, другая правда — молчание. Как если, чадо любезное, изловят тя волки хищные, псы смердящие, себя православными чтущие, искупи ложь, что будут уста твои произносить, тою светлою правдою, что будет душа твоя сознавать, и на каждое слово ложное, громко тобою сказанное, трижды в душе воскликни: «виновен, виновен бо есмь и лжу изрекаю ради спасения тела моего, на верное служение обречённое», и будет тебе прощён грех твой.

Из всего этого понял Афанасий одно: скверная штука, когда где «втискаешься», а вот ремесло поповское хорошее, наживное дело, коли шаром покатишься, справлять его из города в город, от села в село, из дома в дом, по богатым да тёмным старообрядцам.

Побывал новопоставленный поп Афанасий в Москве, проник в дом миллионщиков, правил у них службу по тайным молельням; представился местному «насиженному» беглому архиерею и понравился ему своей начитанностью да верной памятью, а главное, громовой проповедью своей против светского образования.

— Растёт, растёт нечестие, — громил поп Афанасий, — и течёт оно из «имназии» и «ниверситетов», куда на позор

и соблазны стали купцы своих сыновей отдавать; коли это зло не искоренится промеж купцов, богатеев наших, станут их дети издеваться над верой отцов своих, и, ровно пожараще огненное, проникнет сомнение в дома древлева благочестия. Всякому бо человеку и тати, и разбойнику, и блуднику, и сластолюбцу прощенье будет, а внёсшему сомнение в семью праведную несть бо прощения.

Слыша слова эти, богатые дебелие купчихи творили перед ним метания и дважды, по уставу, припадали к стопам его, прося благословения и «прощи» от честного отца.

Прокатил поп Афанасий по Волге, посетил Ростов и много губерний, ладил со всеми, даром что иногда встречал столько же новых людей, сколько и новых толков. Что клубень перекасти-поле, что ком снежный, рос и богател Афанасий, липли к нему денежки, как липли к нему, стройному здоровому мужику, молоденькие скитницы и сами мать-матушки, с которыми беседовал он по монастырям о делах раскольничьих и о том, как постом, молитвой и покаянием каждый совершённый грех очищается и как замоленный и раскаянный — ещё во славу человеку служит.

И всё-таки как ни хитёр, как ни осторожен был поп Афанасий, а «втискался»-таки он в самые когти вражеские.

Силён враг рода человеческого — горами качает. Раскачал он, «расхвилил» он и Афанасия, долго державшегося на высоте своего нового призвания. Стал он вином баловаться и большое тяготение возымел к женскому полу. Заехал он как-то в большое раскольничье село и стал называть себя там уже архиереем, стал править архиерейское служение, подробно рассказывать о своём посвящении в Белой Кринице и стал по книге, скреплённой своей рукой и припечатанной выкраденной им архиерейской печатью, сбор делать на подкуп якобы православного правительствa, ожесточённо теснившего дальние скиты. Большие пожертвования стекались к нему. Обрадовался Афанасий и закурил. Заигрался со скитницами, залюбовался на чёрные манатейки их, на сарафаны китайчатые с крупными пуговицами, и пошло по кельям пригородного общежития веселье беспробудное, житьё раздольное. Всякую опаску забыл Афанасий, и, должно, велик был со-

блази по всему селу, коли нашлись доносчики, шепнули слово становому, и налетел тот с приспешниками своими, да только как ни был пьян Афанасий, а успел улизнуть ползком по трубе, прорытой под двором скитским, и вышел через западню в лес, а оттуда пробрался на ближайшую станцию. Да только не на такого станового напал он. Молодой тот был, да вновь поставленный: ни на подкуп, ни на ласку женскую не пошёл становой, а ровно ищейка какая, выследил-таки Афанасия и накрыл его в тот час, как тот, переодевшись купцом, собирался сесть в бричку и катить на новое «поповствование». Скрутили раба Божьего, раздели, разули и нашли на нём антиминос, зашитый в полу кафтана, а в повозке потайно зарытые дароносицу, чашу, лжицу и копие. И заключили беглого попа Афанасия в острог.

И в Сибири люди живут, и из острога люди бегут.

Стал Афанасий в келье своей распевать стихи раскольниковичьи, стал на прогулках рассказывать о Белой Кринице, о Китеж-городе и спознался с двумя-тремя такими же, как и он, раскольниками. Поверили те в его архиерейство, и мещанин Крутиков, отбывший своё время и покидавший острог, взялся оповестить об участии пастыря богатых местных раскольников. Помощь не замедлила явиться. В одну из суббот, когда арестантам раздавали подавание, дежурный староста, не глядя на него, сунул ему в руки калач, поразивший его своей тяжестью. Сотворил Афанасий молитву, принёс в свою келью поданную ему милостыню и ночью изломал калач, состоящий из одной корки. В нём запечёны были двадцать аршин толстой проволоки, аглицкая пилка стальная и сторублёвая бумажка. Стакнулся он тогда с Никитой Иволгой, парнем-убийцей, молодым и ловким, давно открывшимся ему в желани бежать. Выбрали они ночь тёмную, распилили кандалы, встретились в ретираде, спустились в яму по проволоке, и, видно, велик был их опыт, да и крепка была жажда свободы, коли оба они не задохлись, выбрались ещё засветло на свет божий и бежали в тайгу-матушку, где теперь у костра и поджидали рассвет в сообществе набредших на них ещё двух беглых варнаков.

— Чего не спишь, отец честной? — осклабился рыжий Иволга, подбросив сухих ветвей в костёр и приманиваясь

поближе к огню. — Аль страхи таёжные берут? Небось, всё ещё ласковый зык исправничий слышится? Не трусь, отче, скорее чёрная немочь³⁶ из тумана шастнет, чем человек набредёт. Спи-кась. Наутро махнём через речку, я пробегу в поскотину³⁷, там у меня знаком-человек из наших. Слышь, и я теперь «сталове́ров» нашими зову! — рассмеялся Иволга. — Я за твоей поповской спиной, как за стеной адамантовой стою. Примут нас с почестью, обуют, отогреют и в путь-дорогу снарядят. Уж теперь я всюду за тобой!

Иволга снова захохотал и так потянулся, что захрустели его тощие кости.

— Пра, спи, поп, лучше будет.

— И то впрямь уснуть! — отвечал Афанасий и, поручив себя святым угодникам, уткнулся головой в тёплый пепел и задремал.

* * *

На кустах густо разросшейся смороды висели крупные грозди. Спелая ягода осыпалась и ровно бус³⁸ кровавый падала на землю. Пропадом шёл дар божий, и ни одна рука не тянулась к нему, ни одни уста не освежались им, то был отдельный заповедный «кус сада», принадлежавший Устинье Евграфовне.

От самого угла оплота бежала частая высокая загородочка из зелёных брусьев, захватывала в свой круг одиноко стоявшую баньку и снова упиралась в оплот. Посреди, впритык к средней садовой дорожке, в загородку были вделаны затейные воротца с голосом³⁹ на петлях, точно докладывавшие о каждом входившем. Никакого замка не висело на воротцах, как и вообще никакой тайны, казалось, не было ни в этом садике, ни в чистой светлой баньке, только и всего, что мылась там одна лебедь белая мать-матушка Устинья Евграфовна. Для остальных членов семьи была другая, просторная светлая баня в противоположном конце сада, да ещё и третья, общая для людей служащих, стояла на окраине большого двора.

³⁶ Так зовут в Сибири медведя.

³⁷ Загон для молодых лошадей и скота.

³⁸ Дождь.

³⁹ Скрипучие.

Солнышко только проглянуло на небе, а уж банька Устиньи Евграфовны курилась белым дымком, и Фенюшка шныряла у калитки, очевидно, поджидая молодую хозяйку.

Кубовый сарафан туго обтягивал её девичий упругий стан, круглые пуговицы едва сдерживали напор молодой груди, из-под низко спущенного батистового платка — чёрного с белой крапиной, зорко глядели на дорожку весёлые серые глаза. Круглый вздёрнутый нос, алые щёки, большой рот с красными губами, крепкие ровные зубы не вязались с монашеским скромным одеянием Фенюшки, руки, по привычке сложенные крестом на груди, потупленные глаза придавали только условный монастырский вид здоровой девушке. Фенюшка была скитская девица из Иргизского монастыря, жила она и в Керженском, и в Чернораменском скитах, словом, короток был её век девичий, а она уж хоть свой свет, да повидала. Чья она была дочка — не ведала она, сколько себя помнит, всё она ластилась круг матерей, да то с той, то с другой по скитам разъезжала. Матери воспитывали её бесхитро, любовью да лаской учили, не помнила она ни угроз, ни окриков; к семи годам читала — каноница выучила её полууставу, и так как она оказалась способна и рачительна к чтению, и как по её сиротской доле готовили её к манатье, то и стали её учить дальше да больше, а к восемнадцати годам голос объявился у неё высокий да перебористый, и вышла из Фенюшки клирошанка.

Стали посылать её по купцам-богатеям помогать по модельням службу править. Так попала Фенюшка к Устинье Евграфовне, да и прижилась тут, благо пришлась она ко двору ситниковскому. Полюбила сироту Устинья Евграфовна и допустила её к своей особе, а затем мало-помалу посвятила её и в дела свои разные.

Больше всех, горячее всех относился к красивой черничке Стёпочка, да коротки руки у него были, и заячьим пугом пугала сердце его одна мысль о непогрешимой сестрице Устиньке.

Поднялось солнышко, брызнуло алыми лучами и ровно пологом розовым стало затягивать всю окраину неба, «радошно» просыпался сад духовитый, звенели птичьи голоса, лёгкий воздух, ещё полный ночной свежести, нагривался. Фенюшка подняла глаза кверху, улыбнулась и

подёрнула плечами, больно хорошо в груди её стало, оторваться бы теперь от этой калитки, крикнуть бы голосом полным да бежать, бежать по саду душистому, бежать, что на крыльях нестись, по зелёному всполью, по сочной росистой траве, бежать резвоного, радостно, хваля Господа за утро, за солнышко, за силу и мощь свою молодую... А тут стой, карауль калитку и молитву твори ради отогнания «срящего беса утреннего», что с первым дыханием солнечным уже по земле рыщет и людей с греховным помыслом подкарауливает.

— Фенюшка, а Фенюшка, зорька алая, рыбка золотая, ясынька белогрудая! — вдруг слышит Фенюшка в кустах позади себя, слышит и знает, чей шёпот ласковый доносит ей утренник⁴⁰.

Полымем вспыхнули ланиты чернички, лукавым огоньком загорелись глаза, а сама стоит не шелохнётся и всё так же сторожит длиннобегающую садовую дорожку.

— Фенюшка, аль не слышишь? Старица скитская Манефа во флигере помирает, Устинью Евграфовну к себе потребовала, не выйдет теперь она раньше часу времени, отступись, Фенюшка, за ограду, прикрой калитку, зайди за кусты.

Слышит Феня, и сердце, ровно птица-вещун, те слова в груди её повторяет: «Не придёт раньше часу времени, отступись за калитку, зайди за кусты высокие», — и сила потайная, сила молодости, власть утра летнего, призыв песни страстной, что со всякой ветки по саду несётся, тянут девушку; оторвались от калитки руки белые, скрипнула голосистая дверь, и шагнула Фенюшка за кусты высокие, два чёрных влажных глаза жадно смотрят на красоту девичью, а в ответ им сверкают ласковой истомой серые очи; две сильные руки охватили стан упругий, и в прохладной тени на сочную траву опустилась Фенюшка. Сбился платок с головы, русые тяжёлые пряди на лоб выбились, открылись уста пурпурные, и, прижав к своей груди красавицу девушку, целует её Стёпочка, целует, милует... да не на такую девку напал. Один смелый порыв его, одно дерзкое движение, и девушка, что птица, вспорхнула, сильным ударом руки отбросила льнувшего к ней

⁴⁰ Ранний ветер.

парня и со смехом негромким переливчатым, что голубкино воркованье, мигом снова стала за оградой и трепетными руками поправила сбившийся крапчатый платок. Люб был черничке Стёпочка, да голова была у неё на плечах, не хотелось ей усугубить сиротскую долю свою позором непокрытым. Коли любит, в жёны возьмёт, думала девушка, а коль баловаться, так не ушло ещё время моё, да и под ярый гнев матушки Устиньи Евграфовны верзиться незачем. Неспешно, плавно, что лебедь, шагает по дорожке Устинья Евграфовна и, поравнявшись со стерегущей её Фенюшой, ласково здороваётся с ней, трижды целуется со щеки на щёку. Великая это честь молодой черничке, да знает Устинья Евграфовна, кого и чем привязать к себе.

— Всё готово? — спрашивает она.

— Всё приготовлено, пожалуйста, — с низким поклоном отвечает девушка и, пропустив вперёд мать-матушку, накрепко припирает скрипучую калитку, и идёт она, глаз не поднимая, скрещённых рук от груди не отрывая, очами ведёт в ту сторону, где шевельнулись за ними кусты высокие и оттуда ползком теперь пробирается Стёпочка, чтоб и духу своего не оставить в углу заповедного сада, где теперь находится сестра его.

Открылись и закрылись двери светлой баньки, куда вступили обе девушки. Предбанная комната получала свет свой из двух высоких окон, что под самым потолком проделаны были, по чисто струганному полу лежала полоса рядна; рядом же сплошь покрыты были и стоявшие кругом лавки. По приступочкам стояли тазы, вёдра, ковши — медные, лужёные и дубовые, чистые в токарной отделке. Вторая комната с печью и полком для парения была тоже по всем приступочкам затянута рядом, единственное высоко прибитое окно её было плотно занавешено белой шторкой. Фенюшка, заперев на защёлку входную дверь, осталась сидеть возле неё, а Устинья Евграфовна, скинув только с головы белый платок-шаль, прошла во вторую комнату, нагнулась, у самого полка нащупала в полу скрытую петлю и ловким сильным движением руки отодвинула подвижную половицу, под которой открылась крутая лестница. Смелым привычным шагом спустилась по ней Устинья Евграфовна, у последней ступеньки остано-

лась, нащупала рукой стоявший всегда наготове фонарь, достала из кармана сернички, вздула огонь, нашла нужную петлю, так же спокойно отодвинула новую половицу и, нагибаясь, прошла низким узеньким ходом в банное подполье.

Широкое, но низкое помещение освещалось целым рядом лампад, зажжённых в правом углу. Две толстые восковые свечи горели на столе в тяжёлых медных подсвечниках. За столом, придвинувшись к огню, сидела женская стройная фигура и шила какое-то рукоделие.

Мягко зашуршала дверь подполья, сидевшая за работой подняла голову и встала. Минуту обе женщины стояли одна против другой.

— Здравствуй, Наталья Прохоровна! — сказала вошедшая.

— Здравствуй, Устинья Евграфовна! — твёрдо и ясно отвечала вставшая и отложила в сторону работу, которую ещё машинально держала в руках.

— Как живёшь-поживаешь, небось, денно-ночно меня, свою тюремщицу, клянёшь?

— Никого не кляню я.

— И хорошо делаешь, Наталья Прохоровна. На Божьем свете места всем хватит, и на земле есть, где твоей тени лечь, только сама ты себе горькой судьбу свою соделала.

Устинья Евграфовна подошла к лампадам и сотворила перед иконами трёхкратное земное метание. Звездой горели камни сибирских тяжеловесов, украшавших убрус на серебро-золочёной ризе Пречистой Богородицы Тихвинской: жемчугом низанная, кровавым рубином усыпанная блестела справа риза преподобных Захария и Елизаветы, тускло поблёскивала слева матовая золочёная риза трёх святителей — Гурия, Самона и Авива; под ними на полочке лежал пук жёлтых катанок⁴¹, лестовки и тяжелые священные книги в толстых лосных кожаных переплётах.

В подполье пахло ладаном и смолой от необтёсанных сосновых бревенчатых стен. Чистые лавки, стулья с кожаными подушками, два стола, поставец с посудой и высокая кровать с горой белых чистых подушек составляли всё

⁴¹ Свечи пчелиного жёлтого воска, катанные руками.

убранство. Пол был сплошь устлан серой толстой кошмой. Устинья Евграфовна опустилась на стул.

— Сядем, потолкуем.

Наталья Дмитриевна молча села против неё.

— Вот и рассуди, не думала я и не гадала судьёю твоим быти и в уме, в помыслах не держала в твою жизненную путину вступаться. Знавала я тебя девочкой, учила тебя грамоте, уставу церковному, знавала кроткою, нежною отроковицей, когда умерла маменька твоя Елизавета Захарьевна и папенька твой отвёз тебя в Москву к тётке. Вернулась теперь ты девкой взрослой, казалась смиренною, тихою, и вдруг, накость, какое срамное, нехорошее дело задумала — уходом из отцовского дому ушла, в чужой церкви с чужанином повенчалась и мужем себе назвала ворога отцовского.

— Чем же Василий Степанович ворогом папенькиным себя проявил?

— А тем, неразумная моя, что не пошёл он честью и правдой просить руки твоей, а обманом, облыжно выкрал тебя из честного дома.

— Папенька т а к не отдал бы меня.

— А не отдал бы т а к , тем паче девку красть не приходится. Теперь распалился отец твой гневом, силой напал ночью порою на чужой дом, отнял тебя и с верными людьми переслал ко мне. А мне, скажи, что теперь делать? Перед судом отвечать как тать и пленницу в подполье держать тебя? Али противу отца твоего, противу совести, противу закона Божьего сообщницей твоею стать — вернуть тебя к тому, кого ты мужем именуешь?

Наталья Прохоровна молчала. Замолчала и Устинья Евграфовна, в упор смотрела на девушку. Белокурая, с густой трубчатой косой, с голубыми ясными, твёрдыми глазами, над которыми нежной дугой лежали тёмные брови, с прямым носом и с плотно сжатыми губами, небольшого роста девушка казалась ей решительной и смелой.

— Сколько годков-то тебе, Наталья Прохоровна? — спросила она невольно, как бы повторяя свою мысль.

— Двадцать первый минул, совершеннолетняя я, — усмехнулась спрошенная, а Устинья Евграфовна всё смотрела на белый низкий лоб, на продольную чёрточку, лёгшую между бровей, на обострившийся подбородок и мало-

помалу по своей привычке анализировать и душу разбирать под наружным покровом людским начинала понимать, что перед ней не ребёнок несмышлёный, а женщина со сложившимся, определённым характером.

«Угрюмовское отродье, — подумала она, — то-то, слётышей не след отпускать из-под крова родительского в чужие, под начало к чужим людям, коли потом не хочешь дать им своей волей жить, своей дорогой идти».

— Какой ты веры, Наталья Прохоровна? — ещё спросила она.

— Веры? Должно христианской, а вот толку какого — не знаю. Как жила я у папеньки, одни были молитвы и обряды, как отдали меня в Москву к тётеньке, так назначили меня, что и вовсе с толку сбили, а как после её смерти отдали в пансион московский, крепко было заказано мне к попу православному не ходить, с шепотницами не есть и не пить, и не водиться, и не принуждали там меня ко всему этому. Так держалась я с год и, почитай, ничему не училась, а там надоело мне особняком стоять, надоело издёвки подружек слышать, и стала я, как и все: и к попу на урок ходила, и от одного куска с подругами-товарками ела, из одной кружки пила и в церковь православную по воскресным дням хаживала.

Устинья Евграфовна глянула на образа и, творя тихую молитву, истово перекрестилась несколько раз.

— Не твой грех, трудно одной идти по стезе праведной. Скончалась мать твоя рано, отец вечно по ярмаркам, по торговым делам, не мог с тобой тенькаться, вот и отдал тебя из дому, а уж какой клятвой клялись ему в пансионе ничем тебя не нудить.

— И не нудили! Кабы нудили, стала бы и супротивничать, отпор давать, крепче прежнего завета держаться, а вот как оставили на полной воле, и обмякла.

— Не нудили да и не пасли, проклятики. Верно, проклятики, не уберегли душу ребёнка. Что же ты теперь думаешь делать, сударыня Наталья Прохоровна.

— Я? — Угрюмова встала и выпрямила свой нежный, но высокий крепкий стан. — Вот что, Устинья Евграфовна, передайте вы папеньке: ушла я из дому отцовского потому, что открылась я ему заранее, как домой вернулась, что любит меня человек хороший, молодой и не

бедный, брат одной пансионской подруги моей, и что люблю я его. Гроном разразился папенька, думать, мыслить запретил и запер в светлице, ровно преступницу какую. Вот почему я уходом ушла и теперь повенчанная мужняя жена.

— Отец твой в ответе не будет, справлялись уж о тебе и исправник, и власти, дал отец твой отповедь, что не отнимал он тебя и не укрывал, что честь честью приехал он после венца к зятю в дом, что напустил он на себя только видимую строгость за увоз тайный, а ты со страхов, видно, бежала, и где теперь скрываешься, не ведает, он и сам тебя разыскивает.

— Это-то вера ваша? — вспыхнула Угрюмова. — Вся-то она на обмане и на насилии держится, не грех вам облыжно перед судом показывать-то?

— Не грех! — зазвенел ответ. — Ибо погиб тот пастух, который не побежит за волком, похитившим ягну из стада его, и силой ли, приманкой иль капканом не отберёт от похитителя ягну свою.

— Передайте ещё папеньке, Устинья Евграфовна, что есть такая сила во мне, что не боится ни глада, ни хлада, ни темницы, ни мук, такая сила, что всё мне в радость творит и до последнего издыхания надежду даёт мне.

— Какая же такая сила в тебе?

Наталья Прохоровна подошла к иконам.

— Вот видите, Устинья Евграфовна, святых Елизавету и Захария; знаю, что образ этот переслал сюда папенька из своей молельни, маменькин он, в честь её ангела, им благословила она меня, умираючи, так вот, перед ликом как бы покойницы поклялась я верностью и любовью мужу моему, Василию Семёновичу.

— Не муж он тебе! Не могла ты стыд и срам приять на свою голову до венца, а после венца исхитил тебя из рук его отец твой.

Лицо молодой женщины вспыхнуло, но ясно, гордо устала она свои глаза в глаза допрощицы.

— То не подлежит вам ведать, Устинья Евграфовна, то есть дело души моей, а только повенчанная жена принадлежит одному своему супругу, и сила во мне великая та — что люблю я его.

Шагнула вперёд Устинья Евграфовна и властно схва-

тила за руку Угрюмову, чёрные орлиные очи её горели дивным огнём.

— Много способов у дьявола к совращенью и пагубе душ непорочных, и самый верный — это пробудить в них плотскую пагубную страсть, что люди богохульно любовью зовут. Нет счастья от любви такой, сладко волнует она кровь, туманит голову, сулит наслаждения, но греховно, нечисто, омерзительно наслаждение то, и влечёт оно за собой горе, несчастье и стыд вечный. Любовь такая — ложь, и творится она отцом лжи — дьяволом. Идёт время, рассеивается туман плотского наслаждения, пресыщение ведёт к отвращению, затем возникает в душе печаль и отчаяние. Придут болезни, налягут морщины на лик цветущий, мужчина, привыкший к ублажению плоти своей, пойдёт в сторону искать себе новых утех, новых любовных радостей, а женщина станет терпеть муки ревности и зависти, муки бесконечные, как бесконечны пламень и муки адовы... Не такое чувство любовью зовётся.

Наталья молчала.

— Есть другая любовь, — голос Устиньи Евграфовны смягчился, потеплели чёрные очи, — любовь небесная, святая, чистая. Непорочная, нетленная, нетелесная. Взгляни на меня, я сохранила девственность, ни один мужчина не прикасался ко мне, и девственность — сила моя. Не стану я искушать Господа и просить чуда у него, но в груди моей лежат силы громадные, как громадна вера моя, и если бы я погибала здесь, если бы воздуху не было дышать мне, верю я, воскликнула бы душа моя: разверзись, земля! И разверзлась бы она над головой моею, и вышла бы я из этого подземелья. Девственность сближает женщину с ангелами и с самим Богом. Уши мои разверсты, я слышу полёт ангелов, уста мои раскрыты для славословия, и роса небесная не раз в сонном видении освежала их. Девственность есть врата райские, а любовь людская с похотью плотской равняет человека со скотом бессловесным.

— Верю я тебе, почитаю я тебя, благо такой, как ты, Устинья Евграфовна, ибо ты такая и есть, как говоришь; да только, — усмехнулась Наталья Прохоровна, — говоришь ты так потому, что гордыня обуяла сердце твоё, и как слепой об солнце, так ты говоришь о любви земной. Вот дай твою руку, — она взяла руку Устиньки и прило-

жила её к своему сердцу, — гляди в глаза мне и читай в них то, что я скажу тебе. Кабы не хотел Господь Бог, чтобы люди любили, не дал бы Он им того сладкого боя сердечного, что всю грудь наполняет, не дал бы Он им той слезы благодатной, что от сладкой любовной боли в глазах моих стоит. Брошена я была у тётки сварливой, молившейся с лестовкой и бившей меня тою же лестовкой, брошена я была в пансион, где ничему меня не учили, только с пути сбивали науками разными, и встретила я его, заговорил он со мной и приласкал меня, и предложил мне, горькой сиротинушке, прильнуть к груди его мужской, честной, опереться на руку его сильную и идти с ним в жизнь, делить горе и радость, и я проснулась, заговорила грудь моя, открылись очи, разверзлись уши. Ты ангелов полёт слышишь, а я весь мир понимаю, весь мир в одном объятии к груди прижму. И солнце для меня мать, и звёзды мои братья, и воздух, что вокруг меня веет, родной мне, и нет для меня чужеверца, каждый человек мне близок, больна рана чужая, скорбна скорбь посторонняя, и как стану на молитву перед иконами, ни лестовки мне не надо, ни книг ваших, сердце своё прижму руками, и каждое биение его славословит Господа, и каждое дыхание поёт «аллилуйя» Ему. Ты веришь, что земля по слову твоему разверзнется над тобою, а я верю, что ни глад, ни мор, ни темница не изменят, не сокрушат силы моей любви, что найду я мужа моего, найду Василия Степановича, снова прижмусь к груди его, снова о руку его обопрюсь, и будем мы с ним тем мужем и женой, что Бог зовёт плотью от плоти, кровью от крови, и благословит Бог чрево моё, и будут дети у нас, и примем мы смерть один около другого — вот что люди зовут любовью, Устинья Евграфовна, одного мы с тобой корня, да разных ветвей, и разные нам с тобой дороги.

И обе женщины, молча, рука в руку, стояли перед теплившимися лампадами, и обе твёрдо глядели на суровые лики святых. Одна страстно взывала к ним, как к единственному оплоту против страстей людских, другая искала в них освящения и очищения земной страсти, данной в удел человечеству. Одна искала подвигов, другая жаждала материнства.

Вздрыгнула, как бы очнувшись, Устинья Евграфовна и отдернула руку свою.

— Обольстил тебя враг людской, и обуяли тебя страсти земные, вижу я, что рано ещё вносить просветление в душу твою, не настал твой час. Прощай, Наталья Прохоровна, сегодня же отпишу отцу твоему, что отправляю тебя по его желанию сею ночью в дальний скит, к тётке твоей Таисии; хочет он, чтобы ты, как на покаянии за своевольный брак свой, пожила у ней, пытается он мыслить, что как побудешь ты снова в среде древлева благочестия, сама захочешь расторгнуть брак сей и скоротать жизнь свою в монастыре, ну, а коли не благоугодно то будет тебе, вернёшься ты по времени снова к тому, кого мужем своим величаешь. Не тиран отец твой и не злодей, не губить тебя хочет, а малость одуматься душе твоей время даёт. Да и его надеется уломать, капитал он ему предложит, чтоб отступился он от тебя навеки и уехал из краёв наших.

— Грех вам в соблазн и подкуп людей вводить, — вздохнула Угрюмова, — а только всё это понапрасну, как сходились мы с ним, так на всё это готовы были. Куда хотите поеду и буду ждать своего освобождения.

Помолчала Устинья, поглядела на тонкую высокую девушку, и ломнуло у ней в груди: на чьей стороне правда? Да тут же проснулись и гордость, и долг. «Окстись! Окстись!» — вскрикнул внутренний голос, и выпрямилась мать-матушка.

— Скажи, Наталья Прохоровна, слово мне, и я повею тебе: добром поедешь, не положишь сраму на дом мой, так стану отправлять тебя сею ночью спокойно, как гостью отъезжую, или будешь к народу взывать, смуту порождать и заставишь силой укрыть тебя?

— Пальцем не шевельну. Против отца войной не пойду, сам поймёт, у самого совесть зарит. Клянёте вы тех, кто вас теснит, что же вы-то силою гнетёте чужую душу?

— Прости, Наталья Прохоровна.

— Прости, Устинья Евграфовна.

Снова зашуршала дверь подполья, отодвинулась и захолопнулась половица секретная, и, когда замерли шаги, прильнула грудью к столу Угрюмова Наталья, и стоном вырвалась наболевшая грусть-тоска её.

Солнце ещё не взошло, а уж туман, окутавший за ночь весь лес сплошной молочной пеленой, задвигался, заползал и разорванными белыми клочьями полез вверх. Утренник, заночевавший где-то в чаще лесной, проснулся, пробежал по ветвям и вершинам деревьев, подхватил обрывки тумана и, играя, развеял его как лёгкий дымок. В светлевшем небе одна за другой гасли яркие звёздочки. Проснулись птицы, ожил лес и тихо, как бы спросонья, залепетал листьями, осыпанными росой.

В тайге, где приютились четверо ночных гостей, еле курится потухающий костёр, двое бродяг, прикорнув к мшистым стволам, спят как мёртвые.

Спит Афанасий, Белокриницкий архиерей, спит рядом с ним и бесшабашный Никита Иволга, уткнувшись головою в остывший пепел. Из-под густого пихтарника выскочил заяц и, успокоенный полной неподвижностью спящих, уселся на задние лапки у самой головы Афанасия и начал передними умыться и охорашиваться. А над самой головой Иволги какая-то птица принялась свистеть так пронзительно, что он проснулся и открыл глаза; заяц стрекнул в кусты, а рыжий парень приподнялся на локте и глядел на розовевшие маковки деревьев и на висевший среди них голубой клочок неба, уже залитый утренним светом.

— Вставай, поп! Эй, твоё священство, проснись, что ль! — будил Иволга Афанасия.

Афанасий открыл глаза и стал креститься.

— Крестись, крестись, поп! Над тобой уж ушан⁴² обедню правил, я зеньки⁴³ продрал, а он у самой твоей головы сидит и так-то тебя обеими лапами благословляет...

— Звонишь, звонишь, а лба не перекрестишь, — не поворачивая к нему голову, проворчал Афанасий, продолжая креститься и шептать молитву.

Иволга вскочил на ноги.

— И-и, благодать какая! Теплынь Бог посылает, это по нашему сиротству да по нашим ризам убогим! Эй, вы, морёные, вставайте, что ль, самовар ставить пора, ишь,

⁴² Заяц.

⁴³ Глаза.

углей сколько! — хохотал Иволга, расталкивая заспавшихся кругом потухшего костра варнаков. — Где у вас чай да сахар, хлеб горячий!

— О, чтоб те лопнуть! — ворчал громадного роста чёрный детина, сидя на земле и почёсывая спину о ствол сосны. — С голоду живот подтянуло, хоть бы хлеба кроху!

— А ты дубину-то в руки и на большую трахту, там хлеб-то в полушубке на тройке катит.

Лицо чёрного детины потемнело, узко прорезанные косоватые глаза вспыхнули.

— И пойду, тебе что за забота? Тебя не оглушу, потому с тебя, ровно с червя, ни шкуры, ни мяса не добудешь; что ж нам здесь, что ль, лёжа с голоду пухнуть? А кто нас, варнаков, к себе примет, не попы мы беглые!

— Ладно... ладно... а работать не хошь, на любой завод эдакого медведищу поставят и пачпорт спрашивать не станут.

— Работать? — варнак вдруг двинулся к Иволге с поднятой дубиной. — Не стану работать, убью, коль работой корить станешь! Работал я на своём веку — во как работал, семь шкур потом сопрело, да не та мне линия вышла, всё перевернуло... обиды не снёс... деревню спалил... и на каторгу.

— А оттуда с дубиной в леса родимые?

— Не твою рыжаго рыла то дело, в лес так в лес. Эй, Ермило, справляйся, не рука нам здесь с их священством валандаться, неравно всю обедню им испоганим.

Ермило, здоровенный парень, глупо ухмыльнулся, передёрнул плечами и поплёлся вперёд.

— Наше вам, господа, таёжные дворяне, родителям поклон! — кричал Иволга вслед уходившим варнакам.

— Чего взъелся, непутёвый, аль тесно стало?

— Ты помалкивай, ваше преподобие, нам не рука эти случайные гости, при них ни слова сказать, ни куска съесть нельзя, вот я их и спровадил, а теперь, отче, давай есть, а потом махнём через речку, там знаю я место, где у охотников, что на лыжах зимой за красным зверем бегают, зимница стоит, туда я проведу тебя, ты подождёшь, а я тем часом в поскотину проберусь, увидаю кого надыть, а там за тобой доспею, и все мы дела обделаем, через недельку, гляди, в каком ни на есть богатеющим купецком доме будем с тобою обедню править!

— Что есть-то будем? Шишки еловые аль хвою жевать?

— Сказано — помалкивай, даром я, что ль, вечер по лесу рыскал?

Иволга скрылся за кусты и снова вернулся с берестовым туесом и холщовым пещуром, в туесе оказался квас, в пещуре — сырой картофель, соль и краюха хлеба.

— Господи Иисусе! Где ты такое добро раздобыл?

— Вёрст за шесть, коль не меньше, смахал, там мужики брёвна тешут, у них из-под сытого брюха сгрёб, пожрали да спать полегли, ну я остатки и сцапал.

— Небось, хватятся?

— Ах ты, светлая душа, ну и хватятся, нам-то што, им везде ход, одно слово, работники, в каждом селе хлеба дадут, а нам куда двинуться? Ну да ладно, помоги, отче, костёр развести, будем гулёну⁴⁴ печь.

Афанасий набрал ветвей, наложил еловых лап, и костёр, весело потрескивая, запылал снова; в горячую золу зарыли картофель и, сидя на корточках около огня, Афанасий и Иволга жадно жевали хлеб, круто посыпая его солью и захлёбывая квасом.

— Поп, а поп! Какой я, тебе скажу, сон видел — бяда!

— А какой такой?

— А вот я загану тебе загадку, коль разгадаешь, и сон скажу. Скажи, что это такое: лается — а не пёс, греет — да не печь, пилит — да не пила, коли имеешь — к чёрту посылаешь, а коли нет — чёрту продашься, чтобы иметь.

Афанасий жевал хлеб и почти не слышал загадки, думы его были далеко. Далеко от ароматного леса, от ярко светившего солнца, от бесшабашного говора рыжего парня.

С самой поимки его и острога стал Афанасий ясно чувствовать на себе перст Божий; залитая вином, забалованная безнаказанным разгулом совесть проснулась, в груди родилось присущее русскому человеку чувство душевного отрезвления. Побег из тюрьмы, страх задохнуться при спуске в ужасную яму, близость отвратительной смерти и захватывающая радость света, жизни и свободы повлияли на душу и ум Афанасия, уже затронутые светом, пролитым на него чтением Евангелия и священных книг. Теперь как на ладони он ясно видел всю свою жизненную путину. От

⁴⁴ Картофель.

солдатчины до Белой Криницы, как бы до высокой горы, куда вдруг вознесла его судьба и пролила на него благодать. Тогда он не понял благости Господней и не нашёл пути правильного, намеченного рукой Всевышнего, напротив, разыграл он строптивым духом, отдался во власть дьявола-сомутителя и ринулся в бездну наживы несправедливой, и тешил похоть свою, пока не низринула его снова в тьму кромешную карающая десница Божия. И очнулся Афанасий, не собираясь на побег, но, встретившись лицом к лицу со смертью, тогда воззвал к Господу и за спасение души своей дал себе зарок, клятву клятвенную произнёс: коли не умрёт в одночасье без покаяния, слугою Господа быть. Услышан был на небесах глас его покаянный, снова увидел он и солнце, и лес, и снова жизнь лежит перед ним. Куда теперь? Как теперь? Знает он одно, что отныне пойдёт он в путях правых по стопам древлева благочестия, не посрамит больше сана священнического, что на нём лежит, и коли надо пострадать, то и пострадает за вины свои мерзостные. Сидит отец Афанасий, глядит кругом в лес и думает: сколько в этих самых лесных дебрях людей скрывается, сколько сходцев, сколько старцев под прикрытием здесь, в сокровенных лесах, доживает век свой, славословя Господа, ревниво оберегая себя от соблазна мирского. Одно солнце красное, один ветер разгульный видит и знает их, а только крепка вера, видно, велика в человеке потребность чистоты, коли люди такой жизни ищут и не прельщаются никаким мирским соблазном.

— Ты что ж, отче, опять духом пал? Ума не приложу, чего ты ровно во снах ходишь? Вот ты какой удатный, с какого места мы ноги унесли и живы остались, ну, слава тебе Господи, пора и отряхнуться, я тебе загадку насчёт бабы давал, а ты не слушаешь.

Афанасий открестился.

— Не говори ты мне про баб, Христа ради, в них вся погибель людская лежит.

— В бабе? Не, поп, не согластвен. Лучше балуйной бабы ничего на свете не сыщешь. Я, брат, сегодня в ночи во сне девку видел, гнался я за ней, да она, чтоб её разорвало, убегла, я за ней, да в лес, да как хряснусь о пень, и проснулся. О пень-то я хряснулся, а девки пымать не мог. Глянь, гулёна готова, мягко спеклась.

Иволга разрыл золу, достал оттуда картошку и начал перекидывать её с ладони на ладонь. Снова оба замолчали, как бы прислушиваясь к чарующей тишине леса. Где-то далеко звонко куковала кукушка, в небе показался треугольник журавлей и с жалобным клёкотом снова пропал в лазурной синеве. Афанасий сосредоточивался всё больше и больше, Иволга невольно перенялся его думой, тоже замолк и невольно перенёсся мыслями за многие годы в бедную деревушку, откуда он был родом. Перед ним развернулась кривая и грязная улица родной деревни и крайняя изба с выгона — его отца с матерью. Ох, бедно и серо жилось там! А сердце у парня было горячее, глаза завидующие, на ум гульба да песни, игры да любовь, а в избе хлеба искать погодить. У соседа-богача Кондрата дочь девка Татьяна — коса тяжёлая, брови светлые, что колос хлебный, очи звёздчатые, брови соболиные, сама круглая, что репа, зубастая, что щука, гордая, что индюшка кормленая, на парней глядеть не хочет, на их затейные речи улыбки не оборонит, а как Никиту увидит, полымем займётся, да где такому хахалишке⁴⁵ эдакую кралю раздобыть, где такому захребетнику сватов заслать к гордецу богатею деревенскому, а кровь молодая играет; встретился Никита с Татьяной потайной ночушкой в роще ближней, расступились кусты раkitовые, скрылся месяц среди туч, укрыла трава высокая стыд девичий, удаль молодцовскую. И месяц не видел, и кусты не слышали, и ветер до людских ушей не донёс, и скоротали так парень с девкой не одну и не пять ночей; сиживали до румяной зари, до последнего зова деревенских кочетов, и всё шло хорошо, да понесла девка и матери во всём повинилась, узнал отец, узнали братья, не смирились, не захотели породниться с деревенской голытьбой, а в злой драке напали на Никиту. Защищался парень, да и угодил колом в башку старшему брату Татьянину. На месте уложил врага и, не дождавшись суда людского, бежал.

А куда убежишь, коли от людей скрываешься? В лес густой. А в лесу что растёт? Одна дубина суковатая. А какой человек в лесу повстречаться может? Один придорожник. Вот наткнулся Никита на таких молодцов и по-

⁴⁵ Хяхалишка — захребетник, голыш.

вёл дружбу с ними. Летом, значит, в овраге, при большой дороге сам-друг с дубиной, ну, а зимой больше по острогам сиживал. Как впервой его схватили, не с руки ему было сознаваться в невольном убийстве, и стал с тех пор Никита Иваном, не помнящим родства, а по прозвищу от товарищей — Иволгой, за свист свой птичий.

Много нахлобилось на душе Иволги всякой мерзости, и рукой он давно махнул на всё, что люди совестью зовут. Да вот на-поди: тихое солнечное утро, костёр потухающий да скорбная дума попа Афанасия разбередили сердце его, и через сколько лет вспомнил он и мать, и отца, и любу свою, защемило сердце, резнуло глаза, быть небывалая слеза нажалась на них.

— В путь пора, отче, разморил ты меня думой своей, айда! — встал Иволга, потянулся и засмеялся. — А знаешь ли, батька, что кабы теперь да утёк я от тебя, тут бы тебе в лесу и погибать без креста, без савана. Этим лесом незнакомому человеку переть — лучше лечь да помереть. Кто его знает, как я, кто в нём и тонул, и висел, чьими ногами он вдоль и поперёк исхожен, только тот и выведет тебя из него. Уж ты меня потом не покинь, как в люди выйдешь, а теперь я поводырь твой.

Встал Афанасий от костра, опять молитву всем сердцем творит. Иволга только головой помотал: молись, мол, это твоя часть, а сам тем временем в пещур остатки хлеба и соли сложил, бурак из-под кваса и гулёну спечённую, что не приели: не ровён час, опять пригодиться может.

— Идём, батька!

Двинулись в дорогу. Лес шёл без тропинок, целиной, местами лежали груды гниющего валежника, местами зеленой бархатной гладью стояли болота со своими страшными окнами и чарусами. Иволга знал все тропочки и шёл уверенно вперёд, посвистывая и поглядывая по сторонам. Афанасий следовал за ним в ногу, со страхом наблюдая бездонную топь, покрытую изумрудно-ярким мхом, над которым возвышались богун, лютик и другие болотные легкокорные травы.

— Вот гляди, отче, окно. Скрозь его сатана на человека смотрит.

Перекрестился Афанасий и покосился на светящуюся среди болота полынью, блестящую, как стекло в раме.

— Окно что! Его рази пьяный не доглядит, а вот глянь, — Иволга показал вправо, — вон она, смерть-то где — чаруса, как лесовики зовут. Ты думаешь, что это? Луг цветистый, поляна раздольная... Ишь, красота какая! Так и манит на ту луговину, а не токмо человека, ушана затянет — не простреканёт косой, только кулик долгоносый да кроншнеп тонконогий тут перепархивают, мурашей да мотыльков ловят.

Глядит Афанасий и крестится. Вправо от них среди краснокорых сосен разостлалась поляна, гладко, густо поросла она роскошной сочной травой. Как глаза голубые, смотрят из неё незабудки; качаясь на тонких ножках, кланяются во все стороны белые колокольчики.

— Вот в этой чарусе, отче, живёт девка-утопка, болотница. По ночам здесь проклятое место; беда приходит человеку, коли особливо на нём креста нету. Сидит болотница на цветах голубых, быть утопленница из воды вынырнула, и как увидит человека, учнёт манить его руками голыми, зачнёт грудь свою белую, пышную показывать и голосом тонким, робячим станет молить его протянуть ей хоть вершу, помочь ей, вишь, на берег выбраться. Да не только вожжаться с ней, а лишь шаг ступить, так уж пропал человек. Затянет его тина чарусная, учнёт он медленно погружаться, всасываться, а девка-утопка хохотать станет, а нет — на плечи ему прыгнет да вместе с ним ко дну пойдет. Что крестишься-то, видно, с этими лесами мало знаком, как же сибиряком сказывался?

— Я не из этих мест. Сибирь Сибири рознь, у нас гористо, болот мало, да и сказок таких я не слыхал.

— Не сказки сказываю. Сказка что? Сон, мечтание, а я тебе говорю то, во что деды и прадеды верили, значит, правду. А ты вот слыхал ли что про львиный день?

— Нет, по нашей Сибири нет такого дня, да и святого Льва не чтим мы, то латынский святой.

— Знаю, что латынский. Папа-такая у них была, только не об том речь. По нашим местам, откуда я родом, все знают, что день этот приходится на зиму, 16-го февраля, когда царь лесной, лев, что в Африке живёт, свои именины правит. Из уважения к нему на то число волки свадьбы свои играют, и на полянах, на выгонах, в лесах у всех зверей плясы и забавы идут. А коли человек какой да под-

глядит — найдут его и разорвут беспременно. Стой... вот и дошли. Глянь, зимница! В ней по неделям зимой охотники живут, что на лыжах в лес за пушным зверем ходят. Ты, отец честный, подожди меня здесь, теперь я один махну дальше и уж всё тебе дело обтяпаю.

Путники подошли к строению, возвышавшемуся над землёй всего на пять-шесть венцов грубо отёсанных брёвен, остальная часть сруба была опущена прямо в землю; единственное отверстие с аршин вышиной со створками заменяло и дверь, и окно, и дымовую трубу.

Осмотрев хорошенько, насколько то позволял свет, нет ли в зимнице зверя аль гада какого, Афанасий, нагнувшись, нырнул туда, а за ним и Иволга. Там на крепко убитом глиняном полу стояли грубо сколоченный стол и две скамьи, прикреплённые к стенам. Афанасий опустился на одну из них, подпёр руками голову и снова задумался. Посмотрел на него Иволга и головой покачал.

— Слушай, отец, я здесь возле тебя пещур положу, ты не сумлевайся, хоть бродяга я, а душа во мне христианская, и коли мы вместе с тобой глонули горя, так уж так его до конца пить и будем, коль жив буду, вернусь и тебя вызволю; смотри, проголодаешься — поешь, там ещё припасов есть, пить захочешь — выйди и послухай, тут прямо за зимницей ручеёночко бежит, только дале его не ходи, а коль есть не будешь, пещур мы здесь покинем, место это у нас заветное, летом сюда за топью никто не отважится, а из наших кой-кто и сумеет пробраться сюда, так вот и хорошо, коль перекус какой найдёт. Ну, ин прощай, поп!

— Прощай, Никитушка, храни тебя Бог.

Иволга вылез из зимницы и скоро громкий пронзительный свист его оборвался и замер вдаль. Афанасий снова почувствовал себя одиноким, оторванным от всего мира, он встал в угол на колени и начал молиться.

Дошлый парень был Иволга, одно слово, в правое ухо влезет — умоется, из левого вылезет — утрётся; всё, как обещал, так и сделал. Дополз оврачком до поскотины, свистом вызвал кого было надо и всё устроил, как по писаному. Приняли Афанасия в дом богатого крестьянина, жившего по древнему благочестию. Там отдохнул он, окреп, а затем снабдили его «лопатиной» всякой, день-

жонками, паспорт справили ему самый настоящий, купеческий, и через несколько дней катил Афанасий по большому тракту на паре перекладных, как купец, торгующий салом, а с ним и Никита Иванович Иволгин, как приказчик-молодец по той же части. Путь они держали в город К-ск к тамошним купцам, благодетелям и верным людям Ситниковым.

* * *

В ситниковском флигелёчке помирала скитская старица Манефа. Не то чтоб к безвременью приключилась ей смерть, а всё-таки помереть она никак не могла. Зубо-скалка Фенюшка уверяла, что душа её от старости ослепла и никак выхода из тела найти не может.

Дело в том, что Манефе перевалило за девяносто, и по её расчёту как бы и совсем выходило время помирать. Перед людьми зазорно стало, три раза она уж и под иконы ложилась, посмертную одежду одевала, три раза все упокойные молитвы над нею прочли, последний раз сама мать-матушка Устинья Евграфовна ей и свечу смертную в руки дала, ну совсем, совсем помирать Манефа стала, да заснула, лукавый сманил её, так она смерть и прокараулила. Проснулась, глядит — жива, полежала, есть запросила. Срамота! Вот и нынче опять за матушкой спосылала, а потом со всеми распростилась и снова легла под иконы. Каноница весь обряд по ней справила, ну, словом, одно осталось — помирать, а Манефа лежит жива. Громко над ней Евстолия канон читает, а Манефа лежит без слов, без молитв и потухшими глазами глядит на входную дверь, дрёма клонит её, да нет, на этот раз не поддастся она на козни дьявольские, не даст смертному ангелу мимо пройти, увидит она его и умолит взять с собой. Тихо-тихо в горенке, где лежит старица; мерно, гнусливо читает каноница, читает да потянет слово или зевнёт про себя. Слипаются старческие очи Манефы, не слышит она больше молитвы, и снится ей: на окне муха жёлтая жужжит, надывается, а её со смехом тонкими пальчиками ловит Манефа, да не старица Манефа, а Мофочка, девочка шустрая, весёлая, дочь деревенского лавочника; наскучило ей в своей горенке отца ждать, а пообещал он дочери взять её с собой в скит, хочется ей скитского пения послушать,

на лепоту их служения посмотреть; играет она с мухой жёлтой, а сама всё на двери оглядывается, ждёт не дождётся, когда отец в них появится; сердце так и стучит от нетерпения. Чу! Шаги!

Дверь старицы Манефы вдруг с шумом распахнулась, и в неё влетела Фенюшка.

— Приехал! — сообщила она зычным шёпотом.

Каноница поперхнулась на слове и потеряла строку. Заснувшая было Манефа вскинулась, свет из растворённой двери резнул ей глаза. Фенюшка в чёрном платке на голове приняла перед нею лик ангела смерти, и, лепеча: «Приехал... приехал... разрешил меня, грешную... разреш...» — Манефа упала на подушки. На этот раз душа её нашла выход и покинула ветхое тело.

— Никак кончается! — с испугом воскликнула каноница, не поймала упущенную строку, перескочила и, дух не переведя, стала читать отходную, чтоб молитвой нагнать уходившую душу. Фенюшка схватила приготовленную смертную свечу и, придерживая её в холодевшей руке умирающей, повторяла слова молитвы. Прошло несколько минут, и старица Манефа благообразно, по всем обрядным правилам отошла в вечность.

— Пойтить доложить матушке! — встала с колен Фенюшка, прилепляя свечу к аналою.

— Кто приехал-то? Кто разрешил ейную душу-то? — спросила шёпотом каноница.

— Архиерей Афанасий приехал и в летнике остановился.

— Воистину он архиерей, поставленный самим Богом, коли власть имел разрешить её душу. Пять лет ведь помирала и всё отойти не могла, слышала? «Разрешил», говорит, и померла.

— Слышала! — шёпотом ответила Фенюшка и вышла из горницы, а каноница, сотворив трёхкратное метание, принялась снова читать.

Через малое время весь двор Ситниковых от мала до велика знал, что отец Афанасий, едва коснувшись пядью земли их, уже совершил чудо — разрешил душу старицы Манефы.

В большом ситниковском доме много было комнат, закоулков и законурок. Очевидно, дом строился не сразу, а сообразно прибавлению членов семьи и увеличению их

достатков. Один пристраивал боковушку, другой чуланчик, а третий — так думную для успокоения мыслей, четвертый — спальню с детской, и таким образом дом утратил вовсе свою первоначальную форму и весь в перекрышах и навесах напоминал монастырскую стаю, когда несколько отдельных домов подгоняли под одну крышу. Только сами хозяева хорошо знали свои горницы и уюты, всякий другой человек спутался бы там, как в лабиринте, но один план преследовался, очевидно, каждым строителем: это чтобы из всякой комнаты, из каждого уголка был свой явный или тайный выход. Каждый имел, казалось, в уме одну мысль — удрать, коли кто ловить или преследовать будет. Были в этом доме зимние комнаты, с громадными печами и лежанками, были и летники — комнаты по количеству окон напоминавшие оранжереи и не имевшие вовсе печей; там зимой сохранялись провизия, припасы, а летом окна сплошь заставлялись цветами, а любимая сибиряками ясеневая мебель придавала помещению весёлый вид.

В одном из таких летников теперь расположились ново-прибывший архиерей Афанасий и приехавший с ним Никита Иволгин.

Посреди комнаты на разостланном для дорогого гостя роскошном персидском ковре стоит отец Афанасий в полукафтани чёрного атласа, в камилавке и с лестовкой в левой руке, перед ним у стенки, сложив руки как бы на монастырский манер, стоит Иволга в суконном кофтыре, как смиренный послушник, с широким чёрным усменным⁴⁶ поясом. Весёлое лицо его благообразно вымыто, курчавые рыжие волосы жирно смазаны маслом и расчёсаны на пробор, серые большие глаза его, которые он не выучился ещё потуплять, так и прыгают от удовольствия и веселья.

Иволга стал теперь «крестом» для отца Афанасия, но он свято помнил, что без Иволги не видать бы ему света Божьего, да и из тайги глубокой не выбраться бы ему одному никогда: либо зверь лютый, либо лихой человек покончил бы с ним, либо чаруса затянула бы в свою топь; вот почему Афанасий не только мирился с присутствием Никиты, но

⁴⁶ Усма — выделанная кожа.

даже пытался смягчить цинично-грубый нрав нечаянного товарища и направить его на стезю добродетели.

— Хо-о-роший дом, обстоятельный дом, — докладывал ему Никита, стоя у стены, — кормят засыто и не норовят тебе подсунуть какую тухлядь аль залёжное, один смак... А какую я, отче, девку видел, страсть! Упырь-девка... Глазищи — во! — Иван сложил кулак. — Черничка, Фенюшкой звать... Хороша!

Афанасий вздохнул и покачал головой.

— Повремени ты, непутёвый, дай осмотреться, пережди хоть день с твоим глупством.

— Осматривайся, осматривайся, отец; что ж, я тебе не мешаю. Только не сумлевайся, в самое, значит, ядро мы попали. Про тебя уж говорят, что ты чудо сотворил. Какая-то завалящая старушонка помереть не умела, а как узнала, что ты приехал, так с радости аль с испугу тут же и померла. Говорю, удатный ты!

— Ладно, буде, сиди здесь и нишкни, покель вернусь, там виднее будет...

— Господи Иисусе Христе, — слышалось за дверями.

— Аминь, — отвечал Афанасий.

Дверь открылась, вошла старая женщина в чёрном платке на голове и, перейдя порог, дважды сотворила земное метание и встала.

— Матушка Устинья Евграфовна спослала. Неравно проводить до неё?

— Добро, добро, вновь-то заплутаешься в ваших хороминах.

Афанасий перекрестился и вышел, а через минуту из летника юркнул и Иволга. Молча шла по переходам и горницам старая женщина, молча за нею сворачивал направо и налево отец Афанасий, пока наконец провожатая с молитвой постучалась в одну дверь и вслед за отповедью открыла её и пропустила гостя.

В большом как бы кабинете самого Евграфа Силыча собралась вся семья. В широчайшем кресле, как опара, перешедшая края горшка, сидела Матрёна Ильинишна и сопела, не смея заснуть под строгим взглядом Устиньки. Рядом с ней на стуле, обитом тёмной волосяной материей, сидел, нервно постукивая пальцами о борт письменного стола, Евграф Силыч. Чинно, спокойно сложив руки

на груди, в другом кресле по ту сторону сидела Устинька. Стёпочка, позванный ради торжественности и поучения, сидел тут же, на таком же стуле, как отец, и, поджав ноги, со своей напوماженной головой и опущенными глазами казался воплощением смиренности, а дума у Стёпочки была одна: удрать бы теперь да подкараулить Фенюшку. Ведь вот, поди, затянут они теперь душеспасительную беседу часа на два... Расчудесное было бы дело... Мысли были до того увлекательны, что Стёпочка ёрзнул на стуле, поднял голову и совершенно неожиданно для самого себя выпалил: «Я, папенька, уйду».

Строгие изумлённые глаза Устиньки впились в него и до того смутили малого, что тот так и остался с открытым ртом.

— Ты чего, ошалел? — начал Ситников, но его перебила старуха.

— Да отпустите ребёнка, коли ему выдти надо, чего населись?

— Аминь, — вдруг произнёс торжественно Ситников, услышав за дверью обычное молитвенное приветствие.

С порога открывшейся двери, стоя на котором Афанасий истово осенял себя крестным знамением, глаза его в упор встретились с пытливым взглядом Устиньки, и он как бы весь нравственно подобрался. Как ни толста была Ситникова, но и она со всей семьёй сотворила уставное метание и даже припала к ногам Афанасия с молитвой: «Прости и благослови, отче, дом наш!».

Прошёл час, прошёл второй, пропала надежда у Стёпочки застать в густом саду Фенюшку, а Ситниковы всё ещё наслаждались беседой со своим пастырем. Сладкогласно и велеречиво говорил отец Афанасий, и даже Устинька склонилась к нему приветным ухом.

— Давно, давно уж писали нам из Москвы и из Казани, — говорила она, — что и к нам в наши далёкие окраины прибудет архиерей из новопоставленных в Австрии. Все наши австрийское духовенство прияли.

— Ох, только не обливанец ли ты, до смерти боюсь я! — вдруг как во сне подозрительно и жалобно проговорила Ситникова.

Евграф Силыч в отчаянии только замахал руками.

— Ставил меня в сан священный митрополит Акин-

фий в самой митрополии своей Белой Кринице, — сдержанно отвечал Афанасий уже сладко храпевшей старухе.

Снова потекла беседа о раскольниках иркутских, саратовских, о Белой Кринице, святом митрополите Акинфии, о разных скитских нуждах и бедах. Текла беседа, да не на пользу Стёпочки, угрюмо глядел он в окно, где ветка густолистой липы, шелестя, как бы поддразнивала его и манила в сад.

А в саду тем временем, что трясогусочка вихлявая, шла Фенюшка, оглядываясь во все стороны, шла до густых кустов красной смородины, что целую стенку бани собой прикрывали, нагнулась под них, вынула оттуда корзину плетёную с припасами, обошла кругом и вдруг юркнула в баньку, подумала замкнуть за собой двери, да руки были заняты, лягнула только ногой, чтобы она притворилась, и прошла во вторую комнату, отодвинула половицу и стала спускаться по лесенке; уж одна головушка поверху осталась, как вдруг услышала она над собой голос: «Куда хоронишься, красна девица?».

Кубарем бы скатилась Фенюшка с лестницы и корзину с провизией выронила бы из рук, кабы не замерла от ужаса, как Лотова жена. Не могла она поверить, что то был над ней живой человеческий голос.

— Спускайся аль подымайся, девица, куда ты, туда и я, мне всё единственно! — и Иволга крепко держал половицу, чтобы Фенюшка не захлопнула её за собой.

Для Иволги заповедного в жизни не существовало, и из всех заповедей он только знал одну — одиннадцатую — «не зевай». С первых шагов в ситниковском доме парень подглядел Фенюшку и сразу стало ему мерекаться, что это и есть та самая девка, за которой он так усердно гнался во сне. Проследить её и выследить для него не составило никакого труда, но теперь он был озадачен и решил узнать, куда и кому неслась пища.

— Да открой же глаза, ягодка, аль ножки приросли! Коль сама не вернёшься, за плечики вздыну.

Девушка открыла глаза, мигом выбралась назад из подполья и так ловко шарахнула половицей, что у Никиты только в ушах стукнуло, в глазах мелькнуло, и ни отпора, ни запора разглядеть не успел он.

— Тебе что? Чего за хвостом бегаешь? — разглядев и

узнав Никиту, девушка сразу инстинктом поняла, что перед ней один из воздыхателей по её красоте, да не из робких была и Фенюшка. — Чего пристал? Ни наших порядков, ни наших обычаев не знаешь. Ведаешь ли ты, что ты в заповедном саду мать-матушки Устиньи Евграфовны и что коли тебя здесь да пымают, так наши работники тебе все кости перещупают.

— Ну, это, брат, ещё надвое! Шкура-то у меня не про ваших дураков припасена, да и орать я мастак, меня лучше не трошь! Да притом я с отцом архиереем.

— Слушай, парень, уйди ты, Христа ради, отсюда, уйди ты только за дверь, и никому я не скажу, что тебя здесь видела.

— О, вор же ты девка! Да как же я тебя теперь из рук-то выпущу, да, может, я и не час, и не два тебя караулю, и теперь сдохнуть мне на этом месте, коли я не узнаю, куда и к кому ты шла, — Иван спокойно взял из рук девушки корзину и открыл её. — Вот вкус-то, Господи! — Он вытащил кусок пирога с нельмой и сразу отхватил от него два громадных куска; у Фенюшки даже слёзы навернулись на глазах!

— Бесстыжий ты! Окаянный, чтоб те лопнуть!

— Как звать-то тебя по батюшке?

— Шатун! Разбойник! Агевна я по батюшке; ну, сожрал пирог, уйди, Христом Богом прошу.

— Никуда не уйду, день здесь пробуду, ночь пролежу, схоронюсь здесь на полке и ждать буду, кто войдёт или выйдет будет.

— Эй, народ кликну!

— Кликай, кликай, что ж! Я так и скажу: сама девка меня сюда зазвала и заедок принесла. Эх, никак и бутылочка есть на дне.

— Не тронь! — крикнула Фенюшка.

Иволга поставил корзинку на скамью и вдруг охватил девушку.

— Вот что, Федосья Агевна! Вот что, разлапушка моя, коли останешься ты, значит, здесь со мной в этой баньке хоть часочек один, клятву даю, не стану я допытываться, ни куда ты шла, ни к кому корзинку несла. Как могила молчать буду... Вот хошь — покупай меня, не хошь — давай воевать!..

Фенюшка потупила глаза, она поняла, что силой и окриком тут ничего не возьмёшь, ну, да у бабы семьдесят семь перевёрток, а у хорошей девки и того больше. Фенюшка решила хитрить.

— Тебя как звать-то, наезжий человек?

— Меня? Да нонче... Иваном зови, свет Ванюшкой!

— Что же те, нонче Иваном, а завтра Сидором, неловко будет.

— А не зовусь я никак! Да вот что, девушка, — Иволга побледнел, и глаза его загорелись недобрым огнём, — не виляй, не хитри, время не тяни. — Он ловко стал между Феней и дверью, и не успела девушка ахнуть, как он щёлкнул ключом и, вынув его, спрятал в карман. — Не выйти тебе отсюда без моей воли. Не лаской, так силой возьму! — И, схватив девушку на руки, сжал её крепко в объятиях и как добычу унёс её во вторую комнату.

Сила животной, но искренней страсти, серые потемневшие глаза, побелевшие дрожащие губы, прижавшиеся к её раскрытым губам, затуманили голову девушки, всё выскочило из душеньки, и здоровая, нетронутая натура её вдруг откликнулась на страсть, похолодело в груди, а потом сразу загорелось, сильные руки её закинулись на шею парня, и с тихим, странным смехом она только проговорила: «Свет Ванюшка».

Кончили Ситниковы благочестивую беседу с отцом Афанасием и повели его закусывать да показывать ему модельню, в которой на сегодняшнюю ночь назначено было большое служение.

Хватились Устинья Евграфовна Фенюшки, велела её кликнуть до себя. Пришла Фенюшка бледная, и глаза быть заплаканы.

— Ты чего? — спросила её матушка.

— В подполицу спускалась, очинно споткнулась... зашиблась.

— Чего же плакать-то, впервые, что ли?

Фенюшка помолчала...

— Должно впервые так угораздило, коли плачу.

— Ой, девка, вертишь чего-то! У Натальи была?

— Как же, обед снесла; на сегодня ждёт отправки.

— Ну, смотри, Феня, схорони ты мне тайну эту, дай только руки мне развязать, уж я награжу тебя.

Ушла Фенюшка и вздохнула. Ох, дорого заплатила она за чужую тайну.

* * *

Когда Устинья Евграфовна вступила в тихую и разумную беседу с новоприбывшим архиереем Афанасием, Евграф Силыч улучил минутку, проскользнул в двери и повернул в комнатку направо. Там на длинном узком ларе сидел мальчик Васятка, спосылок⁴⁷ лет десяти. Таких мальчиков было несколько в доме Ситниковых, все грамотные, сироты, они набирались от семи лет и до десяти; вся их работа и служба заключалась в послушании, зоркости и смётке. День-деньской мальчики-спосылки сидели в разных уголках дома на ларях, болтали ногами, давили мух или читали священные книги, наблюдая, чтобы никакой нежданный или нежеланный гость не пробрался невзначай во внутренние комнаты. Пока один шёл проводить, два других с разных концов дома успели бы предупредить о пришедшем хозяев.

Посланный Евграфом Силычем, Васятка мигом слетал за караульным татаринном Чамкой.

Черномазый Чамка, держа в руке всклокоченную меховую шапчонку, скаля от удовольствия свои ослепительно-белые зубы, появился перед хозяином.

— Бери-кась расхожую лошадку, да только не Чалого... Глаза Чамки блеснули.

— Слышь, не Чалого! — наставительно прибавил Евграф Силыч. — И поезжай в город по всем нашим. Понимаешь?

— Понял, бачка, понял, как не понять!

— Кланяйся и скажи, мол, Евграф Силыч и Матрёна Ильинишна просят сегодня вечером к чайному столу. Ну, живо! Пустяков не болтай, что надо знать, сами знают.

— Ладно, ладно, бачка, зачем болтать.

И Чамка, бормоча про себя уверения в своей понятливости, заковылял короткими кривоватыми ногами, а Евграф Силыч, тихо ступая, торопливо направился обратно в свой кабинет.

В ситниковском дворе были два заклятых врага: Чалый и Чамка. Чалый, громадная розоватая лошадь, куплен был

⁴⁷ Сокращение от «на посылках».

Стёпочкой в Ирбите только потому, что он видел раз губернатора на точно такой лошади. Только Стёпочка не узнал, взлягивала ли губернаторская лошадь так, чтобы вдребезги ломать передки саней и коробков, и становилась ли она свечкой под верховым. У купленного им Чалого все эти добродетели оказались в избытке, но кривоногий Чамка поклялся бородой Магомета исправить Чалого. Чем поклялся конь не поддаваться, осталось, конечно, тайной, но только исправление ещё не начиналось, и Чалый с особенным наслаждением именно над Чамкой проделывал все свои мерзостные штуки.

Враги эти в то же время были и самыми лучшими друзьями. В мирное время, т.е. когда не замышлялось никакой езды, Чамка кормил Чалого, целовал его в морду, чистил его, подлезая ему под брюхо, причём конь гостеприимно растопыривал все свои четыре ноги, и оба от удовольствия скалили друг на друга зубы. Скалить зубы была особенность Чалки, и татарин был убеждён, что скотина прямо смеялась — когда ему, а когда над ним. Теперь, несмотря на запрет хозяина, Чамка немедленно бросился в конюшню и именно в стойло Чалого. Тот, впересыт наевшись овса и сена, стоял по брюхо в чистой соломе и весело заржал, услышав голос вошедшего.

— Чаво гогочешь, а? Узнал, что ли, что поедем на чай звать гостей? — Чамка подошёл к самой морде лошади, и оба, уставившись глаза в глаза, дружелюбно оскалили зубы. — У-у, страшной какой! — потряс головой татарин. — Да уж ладно, пойдём с тобой, слы-ышь, лютой, поеду на тебе, так-то... — и, похлопывая дружелюбно по самым ноздрям фыркавшую лошадь, Чамка обротал⁴⁸ и выпятил её из конюшни.

Почувствовав себя на воздухе, конь взыграл, взмахнул, как султаном, своим длинным густым хвостом и стал выплясывать на передних ногах, взлягивая задними; как ни упирался Чамка кривыми ногами в землю, а не мог удержать за одну верёвку недоуздка здоровую лошадь и, ругаясь, плясал вместе с ней.

— Яким, Яким, Яки-и-м! — орал Чамка на помощь работника.

⁴⁸ Надел недоуздок — «обротьку».

— Чаво? Бегу! О, будь ты проклят! Никак опять с Чалым вожжаешься?

— Хозяин-бачка приказал. Бери Чалого, говорит, и на нём гостей к чаю скликай.

— Хозяин! Не врёшь, проклятик?

— Чего врать, вор-лошадь, какой шайтан ехать на нём станет, а хозяин грозит: бери Чалого.

— Н-но-о! Язви тебя! Стой, что ль! — Яким перехватил из рук татарина недоуздок. — Утресь бочку на клепки растряс. Годи, так ли дьяволить станешь в руках у цыгана! Ноне торговать пытал один, через час, сказывал, зайдёт.

Чамка тревожно подошёл к Якиму.

— Цыган торговал? Через час зайдёт? Не надо. Слышал, гость какой к нам наехал?

— Слышал, сказывали.

— Бачка не велел три дня, ни-ни, чужой душе на дворе дышать! Ворота на замок, своих званых впустишь, а цыгана не пускай, слышь? Не пускай.

— Ладно, не пушу. Не наказывал мне хозяин о замке-то.

— Говорил, говорил, мне говорил бачка. Три дня ни-ни чужого. Пропустит, говорит, кого Яким, со двора стоню!

— Ладно, не пропустим.

— То-то! Держи голову Чалого вправо, ведро вынесу, левой рукой недоуздок держи, а ведро ему под морду подставь.

Чалый осторожно пил холодную воду, чутко прислушиваясь настороженными ушами; по гладкой лосной шерсти его зыбью пробежала мелкая дрожь, левый глаз косил и от попавшего в него луча солнца горел кровавой звёздочкой.

Чамка подкрался к нему справа и только размахнулся накинуть седло, как конь гулко ударил задними копытами по деревянной дворовой настилке, мотнул головой и, обдав всё широкое лицо Якима струёй воды, метнулся вправо и замотал здоровенным Якимом, как пустым огородным пугалом. Сдержался Яким за недоуздок, а ведро, плеснув ему на ноги, покатилося, подпрыгивая, по двору.

— Дьявол! Чтоб те треснуть! Брось, Чамка, говорю, убьёт он тебя разом.

Но Чамка, воспользовавшись переполохом, прошмыгнул под брюхом бесившегося Чалого и накинул-таки ему

на спину седло. Лошадь, как всегда, почувствовав его на себе, стихла и, уже только вздрагивая и фыркая, дала заседлать себя; но затем началась новая потеха — конь не давал Чамке сесть. Татарин, как ловкая разъярённая обезьяна, прыгал и метался во все стороны, Чалый задавал отчаянного козла то задом, то передом, ржал и, очевидно, злобно играл своим другом-врагом и всё-таки не углядел. Налетел на него Чамка, чуть не с головы уцепился за гриву и таки сел в седло. Чалый встал свечою и заляскал передними ногами. Не помогло! Тогда он нагнул голову до земли, вытянув шею, и высоко взлягнул задом. Татарин, зажав его своими мускулистыми кривыми ногами, сидел на нём, как влитой. Яким отворил ворота, и Чалый, вылетев вихрем, как безумный помчался по пыльной улице и дальше по всполью, мимо мельницы, туда, к далёким татарским юртам, и только измученный, весь покрытый белой пеной, избыв в бешеной скачке свою степную злость, пошёл тихой рысью, покорно останавливаясь у тех ворот, где Чамка передавал сторожевому татарину приглашение для его хозяев на вечерний чай, неизбежно сообщая всюду, что к ним приехал такой гость, о котором бачка-хозяин не велел и сказывать никому.

Слезать, конечно, Чамка не рисковал нигде и даже из туеса с мятным квасом, который выносили ему за ворота из жалости к его изнурённому виду, он пил, не выпуская повода из левой руки.

Красное лицо Чамки, покрытое грязным потом, сияло, когда он торжественно въезжал на Чалом в ситниковский двор. Старательно выведив лошадь, он снял с неё седло, вытер ей спину и ноги куском грубого сукна и затем дружелюбно подошёл к коню, и оба, оскалив зубы, глядели друг на друга добрыми весёлыми глазами. Чамка поцеловал Чалого в самые тёплые ноздри и отвёл его в стойло до новой воинственной стычки.

То есть, кабы его воля, ни в жисть, ни за какие деньги не расстался бы Чамка с таким сокровищем.

* * *

Как только свечерело, все окна ситниковского дома плотно прикрылись внутренними ставнями, у наглухо запертых ворот караульные татары защёлкали колотушками.

В заднем дворе под длинным навесом стояли короба и линейки наехавших гостей. Смирные кони свободно жевали подвязанное им сено, лютые стояли на привязи у ввинченных в стену колец. Кучера и работники, засев в стряпушую, угощались брагой, шаньгами и вели беседу с дворней Ситниковых.

У всякой входной двери в дом караулил спосылок, а внутри ярко освещённых комнат набралось много гостей, всё лучшее купечество города с дочерьми и сыновьями. Женщины в тёмных добротных шёлковых платьях, в тёмных платочках на гладко причёсанных головах. Устинья Евграфовна, подкреплённая душеспасительной беседой, оживлённая, повадистая, степенно весёлая, занимала почётных гостей. Матрёна Ильинишна больше молчала и, как сама налегала на лёгкое предужинное угощение, всюду расставленное на столах, так и других нудила не обесудить, а прикусить да пригубить.

Все глядели на отца Афанасия, бывшего тут же, все жаждали услышать назидательную беседу. Среди собравшихся гостей было несколько старцев учительных, начитанных в св. Писании, истых столпов древлева благочестия; старше всех из них был богатый лесопромышленник Илларион Иванович Берестов, пользовавшийся во всём городе уважением за правдивость свою и строгость жизни.

Род свой Берестов вёл из Керженца, из той колыбели старообрядчества, откуда все они и получили прозвание кержаков. Там на его родине, на озере Светлом Яре, и до сих пор стоит невидимый для греховного ока святой град Китеж со стенами зубчатыми, как в Московском Кремле, с золотоверхими маковками церквей, с монастырями и скитами, с княжескими теремами и домами верных христиан. Скрылся град тот от глаз людских, опустился в недра земные, а над ним выступили воды и разлились широким светлым озером. Случилось то по Божьему слову, когда проклятый язычник Батый с нечистью своей татарской полонил всю Русь Суздальскую и пошел войной на Русь Китежскую, но Господь пожалел своих верных сынов, не отдал их на избиение, а жён и дочерей их на поругание. 10 дней и 10 ночей искали басурмане града богатого и не нашли его, отвёл Господь глаза их, а в скрытом граде под хрустальным пологом вод шла по-прежнему тихая жизнь благочес-

тивных людей, идёт она и поныне, но развратились люди кругом на земле, и не хочет Господь пустить овец своих излюбленных в среду хищных волков и поганых козлищ. В канун Пасхи, под Благовещенье и под Успенье некоторые странники и мнихи честные видят сквозь воду верхи золотые храмов и теремов и слышат звон колоколов монастырских, а как наступит последний день, затрубит в трубу сзывную ангел жизни и смерти, откроется и город тот для людских очей. Вот откуда родом были Берестовы, прадедам его удалось пострадать за истую веру, и не совсем-то своею охотой в Сибири они очутились, да давно это было, с тех пор снова стали Берестовы людьми торговыми, вольными и, обосновавшись в чуждой им стране, по-прежнему, как и в родимых заволжских лесах, лесным промыслом занимались и разными древесными делами орудовали. Сам старик Илларион Иванович никуда из своей новой родины не выезжал, молился в своей молельне, как деда его молились, но скорбел по священству и всем сердцем возрадовался, когда дошла до него весть, что отныне своих ставленников иметь они будут. Жена его померла давно, единственная дочь была замужем в чужом городе; у Ситниковых он был редким, но всегда почётным гостем, сегодня же его там ждали с особым чувством страха и волнения, так, как надеялись насладиться беседой его с новоприбывшим архиереем.

— Побеседуйте, отцы честные, Илларион Иванович, преподобный отец Афанасий, вас просим, усладите души наши! — обратилась к Берестову и отцу Афанасию Устинья Евграфовна, ласково, низко кланяясь обоим.

Берестов молча поклонился ей, расправил свою длинную седую бороду и обратился к приезжему гостю:

— Двести лет не смели христиане наши мыслить о своей священной иерархии, а ноне довелось воочию зреть одного из поставленных. Воистину из Белой Криницы свет пролился на нас, обрели мы святителей, и кланяюсь я тебе, отче преподобный, от имени всех нас и от душ предков наших, что во гробах своих за нас радуются.

Гребтело⁵⁰ сердце Афанасия, срамно ему стало выдавать себя за архиерея, когда был он только рукой владыки

⁵⁰ Гребтеть — болеть.

Криницкого поставлен в попы, да как улита, прилепившаяся к раковине своей, не может покинуть её, так и он теперь не волен был выйти из лжи своей, ибо в письмах и грамотках, что из разных мест сюда слали, всюду величали его новопоставленным архиереем, а ноне как пострадал он да неизречённой милостью вызволился из уз, кто и сомневался ещё, всякий стал его за архиерея держать.

Ох, зазорно было Афанасию, одна надежда поддерживала его — на Божеское всепрощение.

— Радуется сердце моё слышать слова ваши, — отвечал он, кланяясь всему собранию, а сам поглядел на Устинью Евграфовну, на её твёрдые ясные глаза и подумал: вот ведь женского полу, а в путях правильных обретается и, видимо, не собьётся с них.

— Вот что спрошу я вас, отцы честные, — начала Устинья Евграфовна, — скажите вы в поученье нам, женщинам, что стоит выше — девство или супружество? — Сказала, и лёгкая краска, что заря, пробежала по смуглому лицу её, вспомнился ей последний разговор её с Натальей Угрюмовой, вспомнились ей страстные речи её о плотской любви, запавшие глубоко в сердце и помимо воли смутившие, взволновавшие её.

Афанасий, наслушавшийся, начитавшийся в Белой Кринице проповедей по всем таинствам и по всем заповедям, сосредоточился в мыслях своих, а сам тем временем обратился к Берестову:

— Смиренный я раб Божий и Господом вознесён превыше достоинств своих, не велики годы, не велика и начитанность моя, рад я слышать ответ твой, Илларион Иванович, а потом будет и моё слово.

Подумал Берестов, погладил седую бороду и покачал головой.

— Трудное слово сказала ты, Устинья Евграфовна, и не нам решать тот вопрос, о коем людишки веками бьются, за кои иные на муки и смерть идут! Знаю я, сказано в Евангелии, что «девство выше супружества», но только тот может вместить девство, кто духом и плотью так крепок, что не допустит до себя даже сонное искушение. Кто же только гордынею на себя девство налагает, а воздержаться плотью не может, пусть вступает в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться на запретное.

Святой апостол говорил: «Хорошо человеку не касаться женщины, хорошо и женщине уклоняться от мужчины. Но во избежание прелюбодеяния даже в мыслях ваших пусть каждый имеет свою жену, пусть каждый имеет своего мужа». Вот и всё, что могу сказать, — добавил старик.

С гордым и твёрдым вопросом в глазах воззрелась теперь Устинья Евграфовна на отца Афанасия.

Глянул и Афанасий глубоко ей в очи. «Гордыня обуяла её, иль дьявол смущать стал», — подумал он.

— И я скажу тебе, честная и достохвальная мать-матушка паствы нашей, мудрёный ты вопрос задала и не подлежащий людскому обсуждению.

Укором показались Устиньке слова те, гуще краска выступила на её лице, ещё выше подняла она голову, ещё яснее и громче сказала:

— Я особ, статья, ни клятв, ни обетов не давала, а иду в девство потому, что возжаждала того душа моя, а тут кругом нас много юных черничек и беличек, что в манатейные готовятся, для них беседу клоню.

Ещё раз поглядел на неё Афанасий: разумна, а горда, ох, как горда матушка! И продолжал:

— Христос сказал: «Могий вместити, да вместит» и этим самым выяснил людям весь путь. Несть от Господа понуждения людям на девство, несть и запрета, только никто не бери на себя тяготы превыше сил своих, а раз принял их, не гордись, а неси со смирением до конца дней своих. Нужны молитвенники людям грешным, нужны руководители, учителя, а у девственника душа выше, силы окрылённее, взгляд чище, слово убедительней. Земная любовь с её скорбями и наслаждениями вяжет человека, затемняет разум и сердце его, и не может он весь оторваться от семьи своей и весь уйти на служение Богу и людям-братьям. Да как пастырь, как пророк и охранитель веры девственник выше сочетавшегося, если только не возгордится он чистотою своей. Три тверди создал Господь: твердь земную, небесную и связывающую их твердь воздушную. Един в трёх лицах Господь, и три подобия лица своего сотворил Он: человека на земле, ангела на небе и девственника, связывающего небо и землю молитвами своими. Но и брачное сожителство установлено самим Богом. «В земном раю, — сказал Господь, — нехоро-

шо быть человеку в одиночестве. Я сотворю помощника, соответствующего ему», — и сотворил Бог из ребра его женщину, и привёл к человеку, благословил их и сказал: «Плодитесь и множитесь», — и поял Адам Еву, и познал её как муж жену свою, и не нарушилась тем гармония жизни райской, не оскорбило Господа Бога плотское единение первых людей, не умалилась от того ни сила, ни чистота их, так же благоухала для них земля и осыпала их своими дарами, так же лежали у ног их и ластились к ним лютые звери, так же невинно не сознавали люди наготы своей. Честный, в Бозе заключённый брачный союз их не был в глазах Господа ниже чистоты Адамовой, пока был он один.

Но как только змий стал прельщать Еву и допустила она его взглянуть на себя оком похотливым и разделила похоть его в мыслях своих, так прелюбодействовала она. Ибо сказал Господь: «Аще кто пожелает жену ближнего своего, тот прелюбодействовал с нею в сердце своём». Познав похоть, Ева с плотским вожделением отдалась мужу своему Адаму, стал брак их блудом, восчувствовал Адам срамоту их соития, устыдился он наготы своей и спрятался от Господа.

Изгнал Господь прелюбодеев из рая земного. Проклял их и землю, носившую их. Труд и горе, болезнь и смерть стали уделом человека. Скоро земля вместо дождя напоилась кровью людской и с тех пор познала засуху и бесплодие.

Не любовь, взаимно связующая мужчину и женщину, не брак, соединяющий плоть их, изгнал их из рая земного, а блуд. И нет выше греха, как блуд в браке. Говорю вам, — Афанасий обвёл взором всё собрание, напряжённо слушавшее его, — страшное, святое дело брак, если люди понимают его по Господу, и проклят тот, кто нарушает чистоту его. Если болезнь или убожество, или старость, или иная какая причина, от человека не зависящая, делает одного неспособным к плотскому сожителству, то другой ради святости брака должен обуздать плоть свою, осветлить помыслы свои, и будет невольная чистота его угоднее Богу, чем от рождения сохранённая девственность.

Ещё раз обвёл Афанасий строгим пронизательным взором всех собравшихся.

— Говорю вам, жёны, и вам, мужья, и вам, юноши и девушки, коим предстоять брачные узы, — помните, что трудный подвиг берёте на себя, что супружество есть тернистый путь для человека, ходящего в Боге, и превыше всякого греха земного бойтесь блуда в браке.

Если муж не бережёт жену свою, а дурно обращается с нею, поносит или же бьёт её — не жена она ему, а раба, не с любовью, а со страхом и тайной ненавистью идёт она на ложе супружеское, и будет то не брачное сожителство, а прелюбодеяние.

Если жена тяготится мужем своим, допускает себе сравнивать его с чужим, если укоряет она его в душе своей за что-нибудь и несёт она на ложе его остудное сердце, мысли, другим занятые, — прелюбодействует она, если даже и не нарушила она плотскую верность.

Если оба они, не обуздывая страсти свои, ищут соития не ради влечения душевного, не потребности ради здоровья и свежести сил, не во имя заповеди Божией: плодитесь и размножайтесь, а теша похоть свою и развращая мысли свои, — прелюбодействуют оба. И тяжек грех их перед Господом!

Мужья, любите жён ваших, как Христос возлюбил церковь, денно и ношно храните и блюдите их, да не единым пятном или пороком не затемнится душа их. Будьте первыми помощниками, друзьями и наставниками, не налагайте на жён ваших лишней тяготы, вливайте мир и веселье в души их.

Жёны, будьте покорны и верны мужьям вашим не токмо плотию, но каждою мыслью и дыханием своим. Не судите мужей ваших, не ищите их вин и пороков, ибо несть заслуги в том, что любить вы будете лучшего, совершеннейшего человека, а любите его таким, каким poznали в браке его и, сознавая все недостатки его, с покорностью и любовью несите тяготы брачные.

Помолчал Афанасий и мысленно воззвал к Господу: «Господи, сподоби раба твоего устами своими грешными выяснит пути твои неисповедимые» и затем снова обратился к Устинье Евграфовне:

— Так-то, Устинья Евграфовна, для тебя, как сизмальства постигла ты волю Господню и стала во главе стада его, целомудрие и девство стоит превыше всего,

оно даёт тебе тайную силу проникновения в сердца и ум человеческий, оно даёт дар молитве твоей и делает приятными Господу дела рук твоих. Но кто в свете остался, тот должен принять венец брачный и все брачные тяготы, что под ним скрываются. Коли все не брачующиеся будут сохранять чистоту целомудрия, а мужья и жёны в браке будут ходить путями Господа и зорко оберегаться от вторжения блуда под брачный покров, наступит на земле любовь всеобщая, христианская, а с ней и рай земной, и пребудет на людях благословение Божие.

Ещё скажу вам слово. Если который из мужчин познает девицу до брака, обязан поять её в жёны себе, ибо скотам бессловесным уподобляются те, что плоть свою тешат, похоти предаются, а брачные тяготы нести не хотят. Нет на таких блудней и блудниц благословения Божьего.

Замолк Афанасий, плачут жёны и девы, стоят мужья и юноши, понуря головы, вдумчиво смотрит на образ Устинья Евграфовна, а Фенюшка, что за стулом мать-матушки стояла, побелела, как плат, руками впиалась в спинку стула, очами со скорбью и страхом впиалась в Стёпочку: кабы знал он про то, как она в баньке чужую тайну хоронила. А Стёпочка сидит бок о бок с грузной белотелой пожилой купеческой вдовой богачихой Черёмухиной, что не раз его из разных ярмарочных невзгод выручала. Сидит он, сложив молитвенно руки на груди, голова елеем смазана, на пробор разобрана, борода расчёсана, глаза долу опущены. В манерах благоустроен, собой красовит, одежею лепен, что картинка писаная, хоть в рамку вставляй! Вскинул он глаза на Фенюшку, встретился с нею взглядом, снова потупился и в мыслях раскинулся. «Так я и знал, что поп этот какую ни на есть пакость сотворит мне. Теперь поди достань Фенюшку без венца после такой отповеди. А как венчаться-то будешь, коли, окромя пышности телесной, гроша ломаного за душой нет? Девка уросливая⁵¹, мотнись-ка теперь за ней! Нет, уж лучше вдовьего расположения держаться... Да оно, должно быть, и можно, потому про вдов не сказал он ни слова». И Стёпочка так заиграл своими чёрными

⁵¹ Упрямая.

масляными глазами, что толстую Черёмухину даже в жар ударило.

— Не благословишь ли, преосвященный отче, в моленную идти! — сказала Устинья Евграфовна, отрываясь от дум своих сокровенных.

— И время настало, — заторопился Евграф Силыч.

* * *

На вечернее служение преосвященного архиерея Афанасия молельня Ситниковых приобрела совсем особый, торжественный вид, внутри её раскинулась как бы походная белая шёлковая палатка; задняя сторона её была вся уставлена в три тябла разных размеров иконами древнего письма в богатых сканых, литых и низанных жемчугом ризах. Под нижним рядом икон висели богато шитые бархатные, парчовые и канвовые пелены с позументными крестами, ярким светом горел целый ряд лампад серебряных, золотых и гранёных цветных хрусталей, посреди с потолка спускалось большое паникадило, уставленное рядами зажжённых свеч жёлтого воска, в больших серебряных подсвечниках горели ослопные свечи, синеватый дым ладана носился по всей молельне, под паникадиллом стоял аналой, покрытый до самого пола белым атласом с нашитыми на каждой стороне осьмиконечными крестами алого шёлка. Отец Афанасий взволнованным голосом правил службу. Звонко пели гостившие певички и клирошанки, поместившиеся отдельно направо, как бы на клирос. Дрожали руки самопоставленного архиерея, когда он в митре, низанной жемчугом и камнями, поднесённой ему по приезде от христиан всего города К-ска, осенял народ двукириями и трикириями. Чинно и благоговейно шла служба, умиля присутствовавших. Афанасий, до сердца которого коснулось раскаяние, молился истово, припадая устами и сердцем к престолу Всевышнего, увлекая за собой сердца молящихся. Слеза прошибла благочестивого старика Берестова, и мысленно он повторял: «Вот служба так служба Господня. Эко благолепие, хоть с Рогожским так сравнять можно. За эдакое служение никаких денег не жаль в помощь Ситниковым, коли дела их похвильнутся». И не он один, а и другие богатеи думали то же, с умилением глядя на Устинью Евграфовну, всю предавшуюся богослужению.

В людской стряпущей тоже шла беседа. Кучера и работники не допили брагу, не доели шаньги, сидели, рты разинув, и слушали краснобая Иволгу. Работницы, стряпки⁵², мытницы⁵³, горницкие девушки — все плакали впомирующую, закрывая головы передником и утирая слёзы рукавами. Иволга повествовал о том, как они с отцом Афанасием за веру терпели, как в темницу к ним с воли птицы прилетали и утешали их голосом человеческим. Так-то пели, что каждую песню разуметь было можно, как чудом чудесным усыпил Господь сторожей всех, и вызволились они из темницы; как в лесу шли они тайгой непролазной, где не ступала нога человеческая, а перед отцом преподобным кусты расплетались, к земле прилегали и давали дорогу, как по мшавам⁵⁴ и вадьям⁵⁵ тропа сохла, и там, где не простреканёт ушан легконогий, шли они твёрдой стопою, а звери лесные выходили им навстречу, шли по пятам их и волк, и рысь, и лиса, и заяц, все идут, один другого не трогают, а когда попалась им в лесу охотничья зимница и отец Афанасий зашёл в неё помолиться, то нашли они туес с квасом сычёным и пешур с варёной гулёной и хлебом, кем приготовленной для них — один Господь знает! А когда стал отец Афанасий сладким голосом молитвы петь, вошла в зимницу волчиха и привела двух волченят; накормил преподобный их из своих рук хлебом и картофелем.

Женщины так и ахнули, мужчины сочувственно закачали головами, только один Васятка — спосылок, сменившийся у дверей, фыркнул.

— Эка втора⁵⁶! Дяденька Сидор, твой праздник, волки картошь жрать стали.

На Васяткино слово фыркнул ещё кто-то из молодых, но старик пастух Сидор, с наслаждением слушавший чудесные рассказы, рассердился не на шутку:

⁵² Кухарки.

⁵³ Прачки.

⁵⁴ Болотам.

⁵⁵ Круглая открытая полянья, гораздо больше «окна».

⁵⁶ Втора — любимое восклицание.

— Ах, чтоб ты шиликун⁵⁷ уволок! Рассказывай, добрый человек, рассказывай Бога для.

— А волченята лизали руки, а волчица... Никак прибегла! — совсем другим голосом вскрикнул Иволга, вскочил с места и исчез из избы.

— Святые угодники, Кирик и Улита⁵⁸, — всплеснул руками старый пастух. — Да неужто она сюда, окаянная, прибегла за преподобным?

Присутствующие заволновались, бабы бросились к окнам, но там было всё обыденно, тихо и благоустроенно. Месяц светил ярко и серебрил чистые доски дворовой настилки, крыша амбара ложилась резко чёрной полосой, и под нею не видно было притаившегося в углу Иволгу. По двору не спеша шла Фенюшка, оглядываясь и, очевидно, разыскивая кого-то. Мытница Ненила спустила окно. «Господи Иисусе Христе, кого ищешь, Федосья Агеевна?».

— Спаси ты Христос, Ненилушка, скажи стряпкам и горничкам, пусть в белую стряпушую идут, сейчас ужинать станут.

И Фенюшка, приветливо махнув рукой, направилась к конюшням.

— Очень просто, что и волчица сюда прибегла! — ораторствовал Тихон, из российских ссыльных кучер Черёмухиной. — У нас, в Ярославской губернии, прорва таких оборотней по деревням шляется.

— Каки-таки оборотни, по нашим местам не слышать, сказывай скорей, некогда! — Ненила и стряпки, собиравшиеся бежать, любопытной кучкой остановились в дверях.

— Известно какой оборотень! Девку гулящую с ёйными ношенками обернул какой пустынный аль колдун в волчицу, ну, и ищет она святого человека, чтоб, тоись, назад ей в бабье естество.

— О, чтоб ты разорвало! Пужает к ночи, — бабы с хохотом выбежали, но парни захватили весёлую Ненилу обратно и заставили её налить себе ещё бражки и вынуть из закутика тёплых шанег.

Фенюшка остановилась в дверях конюшни. Большой же-

⁵⁷ Шиликун — весёлый чёрт.

⁵⁸ Покровители пастухов.

стяной фонарь, хитро прорезанный звёздочками, горел, подвешенный на шест, в среднем стойле, прихотливые зигзаги огня освещали большую, казавшуюся совсем розовой, голову лошади. Почуяв присутствие чужого человека, конь прынул ушами и тихонько заржал, от задних копыт его приподнялся Чамка и стал вглядываться с темноту.

— Ты, что ли, Чамка?

— А и то я, кто кличет-то?

— Чего ты опять с Чалым возишься?

— А чего мне с ним не вожжаться, конь добрый, чистоту любит, вот я ему того, копытки-то и пообчищаю, Федосья Агевна, что приказывать будешь? — узнал Чамка девушку и вылез к ней из стойла.

— Вот что, Чамка, слушай, что Евграф Силыч приказывает: запряги ты в казанский малый коробок рыжего Петушка и стань с ним коль садового забора, где банька матушкина выходит, как станут гостям лошадей подавать, я выйду из баньки с одной гостьей, сядем мы в коробок, а ты тогда в ряды со всеми другими вмешайся и вместе из ворот выезжай, а там бери вправо и гони прямо на юрты, дальше я скажу, куда ехать. Понял?

— Как не понять! Ладно, ладно, только зачем Петушка, и что за лошадь Петушок? Вот кабы Чалого, вот-то конь!

— Слушай, Чамка, коли Чалого запряжёшь, вот те Христос, завтра на базар его продадут за какую ни на есть цену, а тебя со двора долой. Верно моё слово.

— Да я чего же, я что ж! Воля хозяйская, Петушка так Петушка, я только говорю, дрянь лошадь, вот Чалый...

Фенюшка побежала обратно в дом, а Чамка, ворча и вздыхая, снова полез в стойло к Чалому.

Не заметила Фенюшка, назад бежавши, как поглядывали на неё хищные глаза Иволги, не почуяло сердце её, что, притулившись за конюшенной дверью, стоял он и всё слышал.

В подполье под банькой, где сидела Наталья Угрюмова, было тихо, как в гробу. За железными решётками глубоко стояли толстые стёкла двух оконцев, почти закрытые ветвями красной смородины. Днём сквозь них с трудом пробивался мутный свет, вечером изредка поблёскивал огонь, когда за живой изгородью сада проходили с фонарём кучера и рабочие.

Сегодня огоньки мелькали часто и быстро, и наблюдавшая за ними узница сообразила, что близится отъезд званых гостей, а значит — и час обещанного ей освобождения. Забилося сердце её, и грудь невольно расширилась глубоким вздохом. Поклялась она не противиться, не поднимать бунта против отца.

А куда повезут её? В монастырь, к тётке Таисии? А не принудят ли её там и остаться — манатю надеть? Господи, помилуй! От одной этой мысли румянец залил щёки её, стан невольно выпрямился.

Непечатый угол сил чувствовала она в себе, а жажда счастья, вера в человека, которому отдала свою руку, поддерживали в ней энергию. «Нет, без борьбы не отдамся!» — проговорила она громко и, встав с места, начала ходить по комнате.

Мерно и равнодушно, как само время, тикали в подполье стенные часы. Тускло, за недостатком воздуха, красноватым пламенем горели восковые свечи у икон, трепетно поблёскивали ряды огоньков в цветных лампадах. Молодая женщина не думает, не соображает, ходит машинально из угла в угол и, прижав руки к груди, всем своим оскорблённым сердцем ждёт, когда окончится это постыдное, тяжёлое заключение в подполье чужого дома. Несправедливость и насилие вызвали дремавшие в её сердце силы, дали толчок её уму, она стала думать, анализировать и делать выводы. Чувственная склонность к молодому, красивому и ловкому землемеру, очаровавшему её прежде всего пылкими взглядами и ласковыми речами, теперь превратилась в сознательную привязанность, в уверенность, что только его любовь, его покровительство могут спасти и защитить её. Грубо расторгнутый брак в её глазах был святою, неразрывною связью, за защиту которой она готова была умереть. И то, что окружающие её люди считали лучшим средством, чтобы заставить её опомниться и вернуться к старому, открыло бездонную пропасть между её прошлым и будущим. Первые два дня своего заключения Наталья ходила по подполью как безумная, слёзы давили, ломали её силы, в минуты отчаяния она готова была наложить на себя руки; потом наступила реакция, она лежала без движения, не принимая пищи, не желая даже ночью, под покровительством Устиныи Евграфовны выйти в сад, но затем угрю-

мовская кровь сказала в ней, она опомнилась, начала есть, думать, и в ней незаметно для себя самой из плохо воспитанного, малообразованного ребёнка стал выясняться образ женщины с характером и волей. В разговоре с Устиной Евграфовной она высказала мысли, не подготовленные заранее, не обдуманые, а как бы помимо воли накопившиеся и вылившиеся из её сердца.

Ходит Наталья Прохоровна вдоль своего подполья, останавливается перед образами и ясно, твёрдо со скорбным вопросом глядит в лики святых угодников.

Ребёнком оторванная от своей среды, сбитая с шатко привитых ей религиозных воззрений отца, Угрюмова легко смотрела на свой брак «уходом» и искренно верила, что отцу легче согласиться с совершённым поступком, простить дочь за «самокрутку», нежели принять сватовство человека, чуждого как ему самому, так и всему складу их жизни. Но того, в какую драму разыграется её свадьба, как глубоко оскорбит отец её мужа, как жестоко поступит с нею, она не предвидела, и теперь сердце её горело, горькая обида заполняла всю грудь, ей больно было разочароваться в отце и в религиозных взглядах окружавшей её среды.

Где же уважение к церкви, к браку? Ведь Бог-то един для всех! Как же идти против того, что Он благословил? Как же разрушать то, что Им связано? Как же во имя совести насиловать чужую совесть? Где стойкость? Где нравственность: на её ли стороне, так как перед алтарём поклялась она в любви и верности своему мужу; на них ли, когда они во имя той же стойкости убеждений и веры хотят расторгнуть этот брак? И стали казаться ей её отец и Устинька, и все родные слепотствующими, не просвещёнными изуверами.

— Быть пора сдержать слово Устиной Евграфовне, — снова громко проговорила Наталья, отрываясь от своих мыслей, — аль обманет? Да нет, кажись, не таковская!

И снова ходит Наталья по подполью, и снова прислушивается к малейшему шороху.

* * *

— Ваше вскрытие, — круто обернулся на облучке Филипп, кучер исправника Лобова, молодцевато сидевшего в своём казанском коробке.

— Бери левой, чёрт, чуть бабу не задавил! — крикнул ему вместо ответа очнувшийся исправник.

— Ах, чтоб те разорвало! Язви тебя леший! — орала баба, отскочив в сторону и снимая с плеча коромысло с вёдрами.

Пристяжная исправника, налетев на неё, ткнула мордой в ведро, полное воды, повернула на плече её коромысло и окатило бабе ноги, обутые в кожаные коты, и подол ситцевой юбки, заткнутой за пояс.

— Ничего, ваше вскродие, баба любит, чтоб было, значит, за что выругаться. А я насчёт, собственно, ситниковского бала.

— Какого бала? — исправник подался вперёд.

Филипп, из отставных военных, сосланный на поселение, был не только любимым кучером исправника, но и деятельным его клеветником.

— Что врёшь, какой бал?

— А я во дворе у Берестовых был ноне, ваше вскродие, когда приезжал татарин Чамка на чай самого Иллариона Ивановича звать, так сказывал, бал у них сегодня будет, такой, мол, гость приехал, что хозяин не велел и сказывать, полгорода созвали, всё своих сталовееров.

— Так, знаю я про гостя этого, слышал, а про Угрюмову разузнал что?

— Доподлинно ничего, а только у них она, ваше вскродие; душу прозакладаю, что у них.

Филипп снова оглянулся на исправника, тот, сдвинув брови, глядел в сторону, очевидно, соображая сказанное.

— Ваше вскродие, Иван Иванович! — снова окликнул его кучер.

— А, что? Ну, что ещё тебе? Гляди на коней, раздавишь.

— Бог милостив, да и дорога пуста, а только дозвольте сказать: сад да баньку заднюю ситниковскую, сдаётся мне, поворошить надо, не найдём ли там Угрюмову?

— Не люблю я в их дела вклёпываться, коли молятся — пусть молятся, много смуты натворим, коли именно сегодня подыдем обыск... А только Угрюмова хотелось бы мне проучить за его безобразия.

— Ваше вскродие, дыхнул мне один человек, что сегодня стеречь надо, что ни есть творится у Ситниковых.

— Ну ладно, примем меры! Разузнай, коли что, а там и нагрянем. Погоняй.

Филипп хлопнул вожжём по сытому крупу рыжего коренника, тот вытянулся и надал ходу, пристяжная подобралась, закруглилась и, дробно перебирая ногами, заскакала рядом.

В ситниковской молельне служба отошла. Архиерей Афанасий прочёл «прощу», благословил двумя руками молящихся и осенил их трикириями; клир пропел последние стихи, и все присутствующие тихо и мерно в размягчённом состоянии от своей архиерейской службы с благодарностью обратились к старику Ситникову.

— Живот положим за веру отцов! — отвечал он всем.

— Благолепие-то! Благолепие-то! — шептали женщины и пробранными платочками утирали лоснившиеся от пота лица.

Размякшая от жары и стояния, как пареная репа, старуха Ситникова, едва ворочая языком, просила милых гостей не обессудить и пожаловать в столовую. Устинья Евграфовна, бледная, с горящими глазами, тушила сама свечи у образов, Фенюшка пробралась к ней сквозь толпу и, обирая у неё на блюдо догоревшие остатки свечей, прошептала: «Лошадью распорядилась, мне, что ль, накажешь ехать с Натальей Прохоровной? И куда везти благословишь? Не далеко ль будет целиной до матери Таисии?».

— Доедешь за юртами до старицы Соломонии, что в своём домочке в Зырянке живёт, там заночуете, лошадь назад вышли, а старица упреждена, справит как надо.

— И какая сласть в таком ленном служении: часы стоишь — устали не видишь! — говорила Черёмухина Стёпочке, повернувшемуся к ней при выходе из молельни.

Стёпочка снова поглядел только на неё и вдруг, как бы теснимый толпою, прижался к пышному боку нежной вдовицы.

Отец Афанасий, снова предшествуемый спосылком, пробирался в свой летник, чтобы переодеться и явиться благословить трапезу. У входа в свою комнату он встретил Иволгу, который и закрыл за ним дверь.

— Ты что же, — спросил его Афанасий, — так и не выходил отсюда?

— Не выходил! — со вздохом смиренно отвечал Иволга. — Зато теперь, отче, как пойдёшь ты трапезничать, отпусти ты меня хоть воздухом дыхнуть, оморочком голову ошибает.

— Ладно, ступай, да всю ночь не шатайся. О-ох, какую осторожность соблюдать нам должно! Гребтит моё сердце, Иван, ровно беду вещает.

— Эх, отче! Нудишь ты себя через меру, ведь с утра у тебя, поди, маковой росины не было! Кабы мне да твою науку — семерым бы попам за мной не угоняться, а уж бабам такого б трезвону проповедями задал...

— Ладно, пустого не болтай. Запри горницу да ступай, а через часочек наведайся.

И Афанасий, переодевшись, снова вышел из комнаты, за дверями которой его ждал тот же спосылоч, чтобы проводить в столовую.

Двор Ситниковых ожил, из-под экипажного навеса неслись окрики, понукания, перемешанные с характерной сибирской руганью. Там суетились кучера и конюхи, взнуздывая лошадей и выдвигая коробки.

Чамка расчесал Чалому гриву, заплёл ему чёлку в короткую толстую косу и вдруг до того неожиданно надел на коня оголовок и взнуздal его, что Чалый, не предполагавший никакой ночной прогулки, не успел очнуться и выказать хоть малейшее сопротивление. Довольный своим хитрым манёвром, Чамка выбежал в завозню, рысью на себе выдвинул оттуда коробок, поставил его у самого открытого стойла и, ловко впятив Чалого в оглобли, запряг его и, вскочив на облучок, торжественно и спокойно выехал на двор, оттуда на улицу, обогнул сад и стал близ дальней баньки. Такой блестящей победы ещё никогда не одерживал Чамка, он едва верил себе и, как бы боясь оскорбить непобеждённого друга каким-нибудь словом, только широко улыбался, сидя на козлах, и подмигивал тонкому двуроному месяцу, выплывшему из-за туч. Чалый стоял смирёхонько, злобно прижав к голове уши и пугливо косясь на кусты смороды, лезшие к нему из садовой изгороди. Ох, подозрительны казались Чалому эти ветви, шевелившиеся без всякого ветра, чуялось ему там присутствие человека. Конь рыл землю копытом, тянул воздух ноздрями и злобно храпел. А в кустах, притаившись и еле дыша, сидел Иволга и глаз не спускал с коробка, на козлах которого торжественно восседал татарин.

Вздрогнула Наталья Прохоровна и как вкопанная остановилась среди подполья; слышит она, как ползёт кто-то, шуршит, вот стукнула задвижная половица, и перед нею стоит знакомая ей фигура Фенюшки.

— Не спишь, Наталья Прохоровна?

— Где спать, заждалась, Фенюшка!

— Аль недужится? — заботливо спросила черничка, подходя ближе и примечая белое, как плат, лицо Угрюмовой, озарённое теперь мягким светом теплящихся лампад.

— Здоровая я, здорова, истомилась только. Что же, едем, что ли?

— Едем, одевайся, Наталья Прохоровна, да здесь всё потушим, окромя неугасимой. Собери, коли что, значит, с собой, тут за изгородью и лошадь надёжная для нас.

— Что собирать-то, Фенюшка? Бельё и то в перемену Устиньи Евграфовны носила. Вот материнское благословение возьму да платок накину — и готово.

Фенюшка стала тушить лампы. Как звёздочки в пред-рассветном небе, тухнут один за другим огоньки; одна большая, неугасимая, осталась перед иконой Божьей Матери, и загадочные, полные грусти глаза иконы смотрят в глубину темнеющего подполья.

— Фенюшка! — Угрюмова, вся дрожа, схватила черничку за руку. — Скажи ты мне толком, Христом Богом молю, куда мы едем и кто везёт меня?

Фенюшка нервно рассмеялась.

— Спаси тя Христос, Наталья Прохоровна, чего мыслишь-то, не душегубы мы, не замышляем твою погибель; поеду с тобой я да наш сторожевой татарин, мигом домчим тебя до Зырянки и там заночуем у старицы Соломонии, чать знаешь? А оттуда утречком да по холодку и до тётки Таисии доберёмся; теплынь-то стоит в воздухе — не на радуешься.

Угрюмова молчала.

— Вот, Наталья Прохоровна, ты спроску делаешь, опаску показываешь, а у нас вся надежда на твоё слово. Мать-матушке отлучиться никак нельзя — во флигере Манефа скончалась, на дому — гость великий. Так ты как?

— Слову не изменю; отцову честь по чужим дворам срамить не приходится.

Привычной рукой Фенюшка нащупала теперь с противоположной стороны подполья задвижку. Сухо щёлкнула деревянная ставенька, за ней открылось небольшое квадратное отверстие, из которого пахнуло в подполье свежим вечерним воздухом.

— Ступай за мной, — сказала Фенюшка и нырнула в западню.

* * *

Не успели ворота ситниковского дома закрыться за выехавшим Чамкой, как к ним подкатил исправник с Филиппом; только на этот раз клевет сидел рядом, а за кучера правил полицейский солдат.

— Отворяй ворота! — крикнул Филипп, на ходу выскакывая из коробка.

Старик Евлампий, доверенный дворовый, ставившийся Ситниковым у ворот во время всяких «особых» собраний, сразу признал исправника, но вместо ответа на окрик повернулся спиной к приехавшим и два раза с расстановкой прокрутил в воздухе деревянную трещотку. Сухой отрывистый треск громко отозвался во дворе. Васятка-спосылоч, карауливший по ту сторону ворот, вскинулся и стрелой понёсся по двору в дом — доложил Устинье Евграфовне о неожиданном госте.

— Оглох, что ли, караульный! — крикнул ещё раз Филипп.

Евлампий не спеша повернулся на голос и подошёл к самой морде лошади.

— Меня, что ль, кличешь, добрый человек! Ох, стар, плохо слышу! Да вы чьих будете?

— Да ты что, очумел, что ли, не видишь их высокородие, господин исправник пожаловал к вам! — обозлённо наступил на него Филипп.

Евлампий вдруг улыбнулся во всю ширину своего беззубого рта, стащил с головы меховую свалывшуюся, как войлок, шапку и стал дурковато, униженно кланяться.

— Батюшка, Иван Иванович, и то не признал, быть туманом обвелю: ни лошадь, ни людей не признал. Не ждали хозяева-то, чать бал прикрыли, небось, разгон гостям учнётся. Никак коней к крыльцу подавать стали, ншь, топочут, проклятики.

Молча исправник вылез из коробка и, отстранив бросившегося помогать ему караульного, шагнул к калитке.

— Отворяй!

Евламий бросил трещотку, снова щёлкнувшую сухо, коротко, и схватил себя за бока.

— Калитку? Мать те Пресвятая Богородица, да ключ-то где? Где ключу быть? Ах, что б ты пристрелило! Ключ-то от калитки и невдомёк мне принести, быть не к чему — всё ворота да ворота отворял, а калитку, что б ей схизнуть, и в ум не взял.

Исправник, крутя ус и насмешливо поблёскивая глазами, глядел на Филиппа; старый ворон хорошо понимал, что на этот раз дело проиграно, что за переговорами ушло время, и теперь что входи, что не входи в дом — ничего не найдёшь, никого не накроешь.

Филипп горел с досады; он тоже понимал, что не так действовал исправник, когда хотел добиться своего, и жалел, зачем не придумал какой хитрости — попасть иным путём в ситниковский дом.

* * *

Гости ситниковские, собравшись в столовой, разбились на кучки и в ожидании появления отца Афанасия громко, оживлённо толковали, искоса поглядывая на обильную закуску.

Против своего обыкновения, Берестов разговорился — за сердце взяло его сегодняшнее богослужение.

— Татары и те имеют свою узаконенную иерархию, а уж чего — немочь поганая, как же теперь нам не блюсти своего стада, как не иметь своего духовенства? Не можно то и быть не должно! Чужую веру, языцкую, терпим, так как же не дозволить нам охранять чистоту древлева дедовского благочестия?

— Ты, Господи, устроишь ими же веси путями, — закончил речь его старик Ситников и вдруг весь встрепенулся, прислушиваясь к быстрому лёгкому бегу, остановившемуся за дверями; в дверь раздались три перебойных удара, Евграф Силыч побледнел и быстро открыл дверь, на пороге стоял спосылок. Мальчик шагнул к нему и быстро шепнул:

— Исправник. Матушку упредили...

Не успел он закончить, как за его спиной появился

уже другой мальчик, доложивший, что исправник уже вступил во двор.

— Все на местах? — спросил Ситников.

— Все, Евграф Силыч, — ответил старший и, зорко глядя в глаза хозяина, прибавил: — как вести?

— Через парадное.

Оба спосылка скрылись, а Ситников дрожащим голосом обратился к гостям:

— Преподобный отец устал и не выйдет из своей горницы, а может, — он сделал ударение на этом слове и обвёл глазами гостей: — может, и немедленно в путь отправится.

Никто не сказал ни слова, все только сурово потупились и отвели глаза от хозяина.

— Гость к нам пожаловал — исправник, Иван Иванович, прошу всех к закуске.

Робко переглядывались между собой женщины, а мужчины без дальних слов, понимая что надо делать, окружили закуску. Кто-то завёл общий разговор о Нижегородской ярмарке, и, когда Васятка открыл настежь в столовую дверь, исправник с порога встретил весёлые лица, услышал шумные приветствия и не подметил ни малейшего смущения на лице хозяина, спешившего к нему навстречу.

Потушив свечи и лампы, приведя с помощью келейниц и певичек в обычный вид молельню, Устинья Евграфовна с тихой думой двинулась по направлению летника. Хотелось ей на пути к столовой без свидетелей сказать ещё несколько слов отцу Афанасию, хотелось ей вызнаться от него, насколько было непредвиденного или намеренного в речах его и во всей проповеди. Впервой заботилась она о мнении о себе чужого человека, впервой шибко билось сердце её, и вместо определённых, раз установленных правил и взглядов, в уме её рождались сомнения и вопросы.

«Быть я тропу потеряла, быть в чужой лес забрела и в извилинах его заплуталась, — объясняла она сама себе своё душевное состояние. — Да у преподобного гребтит сердце, ой, не ладно в думушках его, заботишка одолела, двоится сердце его, распадается ум. Ох, шаток, шаток человек и до самой-то смерти не знает он сегодня, какую стезёю пойдёт завтра!».

В смежной комнате раздались шаги, Устинья Евграфовна машинально отошла к шкафу и притулилась за ним. Отец

Афанасий вошёл в большую комнату. Теперь, когда самопоставленный архиерей сознавал себя одним, вся напускная важность и степенство исчезли не только с лица его, но и из походки. Большая стенная лампа, горевшая как раз у противоположной двери, ярко освещала его утомленное бледное лицо с большими потухшими глазами. Высокий стан его сгорбился, грудь впала, плечи сдвинулись вперёд, ноги шли медленно, устало, во всей фигуре было столько чего-то подавленного, грустного, что Устинька, сделавшая было движение к нему, остановилась и молча со сдвинутыми бровями наблюдала за ним. Дойдя до двери, отец Афанасий остановился и вдруг инстинктивно, как человек чувствующий на себе чужой взгляд, обернулся и глаза его в упор встретились со жгучим взглядом больших чёрных глаз Устиньки. Оба вдруг вздрогнули и секунду безмолвно глядели друг на друга.

— Выслеживаешь, Устинья Евграфовна? — спросил низким голосом Афанасий, подходя к ней.

Густой румянец залил всё смуглое лицо девушки. Гордо подняв голову, она тоже сделала несколько шагов вперёд.

— Чует, что ли, твоё преподобие, неверность какую за собой, аль так язва с языка сорвалась? — резко-звонящим голосом проговорила она и, не получив ответа, продолжала: — Не той я природы, чтобы тайночью людей выслеживать и думы их сокровенные подкарауливать, и, видит Бог, не затем ждала тебя, а коль ты с высокого разума не умеешь распознать человека и друга от недруга отличить не в силах, то прощай, разве... — и гордо с поднятым суровым лицом она хотела пройти мимо, но Афанасий загородил ей дорогу.

— Прости, Устинья Евграфовна, больно сердце гребтит, вот ровно зверь лютей в когтях грудь держит, а мысли, что совы ночные, грузно да так ли тяжко в голове реют, спужала ты меня... взгляд у тебя пронзительный, быть в душу идёт и без слова ответственного всё сам читает... Убоялся я тебя...

Устинька остановилась, молча отвернула от него голову и установилась в окно. Афанасий глядел на стройную, полную шею девушки, на густую чёрную косу, обвивавшую маленькую головку, на правильный профиль с упрямой линией сжатого рта и твёрдым изгибом брови. «Нет,

— думал он, — такая женщина не грешила, и никакая кривая дорога ей не по нраву», и то, что так наболело в нём, то, что так хотелось ему сказать ей, снова осторожно спряталось, и он только неопределённо махнул рукой и глубоко вздохнул.

— Всякому свой крест даден, — снова заговорила Устинька, — да не всякий нести его хочет; один норовит на чужие рамена возложить его, другой так хоть с себя его сбросить спешит на жизненном пути, а тебе, отче преподобный, и вовсе не подобает отчаяние...

— А коль не по силам?

— Что не по силам? Что не по силам-то? Не по силам и жизни не бывает, а коль тяжела она, значит, Господу видно, что и снести её ты должен. Слушай, отче преподобный, недобрую скорбь видела я в лице твоём, как шёл ты теперь, не уста твои роптали, а весь ты был полон малодушного отчаяния. Не знаю я, что крушит тебя, и знать не хочу, тайна твоя на тебя Богом наложена. Во всём рука Всевышнего, и даже когда кажется человеку, что сам он избрал себе путь, сам то или другое соделал, и тогда выходит, что ведом он был внутренней силой, данной ему.

Афанасий молчал, но Устинька чутко уловила внимание на лице его, она подвинулась к нему и положила на его рукав свою руку.

— Отче! — голос её смягчился. — Отче, не в том сила, чтобы малодушно каяться, вопить, искать кругом уши, чтобы высказаться им, руки, чтобы опереться на них, нет, отче, сила в том, чтобы в горе, несчастье... в позоре... даже суметь снизойти в глубь себя, сознать свой поступок, сердцем измерить всю глубину своего падения, без малодушного стыда и... простить себе. Да так простить, чтобы и памяти о нём не было, но впредь во всём себя урезать, сковать и смело идти вперёд уже стезёю правды и чистоты! «Несть бо греха, аще не смоег его покаяние». Не осуди, отче, может, не то сказала, — вдруг смутилась она. — Может, скорбь о других, суровость на наши малые достоинства были твоею заботою...

— Не тревожься, Устинья Евграфовна, угадала ты: скорбь точит меня и малодушество обуяло, ты указала мне на дорогу, а я ещё недавно в душе обвинял тебя за гордыню.

— Гордыню? — снова жар залил лицо Устиньи Евгра-

фовны, помолчала она минуту. — Оставим, отче, меня, о тебе хотела я говорить, неучёная я, а только женским сердцем своим чувствую я, лежит горе-камень на душе твоей и давит её, и вот скажу тебе прямо: противно духу моему слезливое, малодушное покаяние словами; не назад должен глядеть человек, а вперёд, не рассказывать грех свой, а сознать его.

— Выходит, по-твоему, сознай грех свой и забудь — не легко ль это?

— Нет, это не всё, отче, сознай и прости, но не забудь, не брось его, а иди с ним рядом всю жизнь, иди вперёд, блюди себя; пройдут года, и ты поймешь, что осилил грех свой, стал выше, чище и вновь совершить его не мог бы. Несть больше греха, отче, как уныние. Уныние обозначает, что малoverен ты во всепрощении Божьем, да и в силах своих усумнился ты... Ох, отче, не останавливайся на избранном пути, не оглядывайся, вперёд иди, отче, вперёд гляди и надейся на Бога.

Афанасий поднял голову и глядел в самые глаза Устиньи Евграфовны, а в этих больших чёрных очах пропала обыкновенная суровость, из них глядела на него девственная душа, изъятая всякой страсти земной, но как бы размягчённая прикосновением к чужому горю и страстям; обаятельной чистотой веяло на него от слов и помыслов девушки. Не было в ней праздного любопытства, не выпрашивала она его, не жаждала излить женских праздных утешений, а бодрила его, подняла дух в нём и указывала ему вперёд

— Устинья Евграфовна, Господь поставил тебя на пути моём...

За спиной отца Афанасия быстро отворилась дверь, спылок Васятка, едва переведя дух, кинулся к Устинье Евграфовне и на ухо сообщил ей о приезде исправника.

— Ступай не место! — по видимости спокойно сказала ему девушка, и не успел мальчик выбежать из комнаты, как она схватила архиерея за руку и быстро пошла с ним в обратную сторону.

— Вот что, отче, власти ищут тебя, но не на то Господь вызволил тебя из темницы, чтобы предаться в их руки.

— Устинья Евграфовна! — остановил её Афанасий. — Не постыдно ли бежать мне? Не лучше ли покориться воле Господней, сказываю тебе: тяжело мне во лжи ходить.

Девушка обернулась к нему и ещё крепче сжала его руку.

— Отче, не малодушествуй, не о тебе одном идёт речь, а о доме нашем и о всей пастве твоей, следуй за мной!

Быстро, почти бегом, миновали они длинный коридор, в конце которого Устинья Евграфовна открыла дверь. На них пахло ароматом заснувшего сада. Держась кудрявых нежных кустов, бросавших на дорожку, освещённую лунной, узорчатую трепетную тень, они добежали до беседки. Войдя в неё, Устинья Евграфовна заперла за собой дверь на ключ. Сильной рукой отодвинула она французский диванчик, под ним на широкой половице она отсчитала одиннадцатый квадрат, нарисованный масляной краской, нажала его, половица дрогнула, подалась и открыла за собой довольно большое четырёхугольное пространство.

— Иди вперёд, отче, да не спеши, считай двадцать ступенек.

Девушка нащупала привычной рукой фонарь и спички, зажгла его и спустилась сама, захлопнув за собой отверстие в полу беседки. За двенадцатую ступенью начался узкий, но настолько высокий коридор, что оба они шли, не сгибая головы. Коридор вёл под баню, там, поворачивая направо, снова новый трап, и оба вошли в большое подполье, где ещё несколько часов назад проживала Наталья Угрюмова.

Тихо, пусто было в подполье. С недоумением и тревогой осмотрелся кругом отец Афанасий и вздрогнул. Освещённые огнём большой лампы, строго и пристально глядели на него большие очи. Невольно сделал он шаг вперёд и рассмотрел потемневший лик Богородицы на старинной иконе.

— Оставайся тут, отче, пока я не вернусь, если же до утра не будет меня, смотри, вот как открывается тут западня.

Девушка показала ему отверстие, через которое час тому назад вышли Фенюшка с Натальей.

— Отсюда ты выйдешь в пустырь за банькой, а там, за кустами смороды, овражком близенько, через дорогу лес; держись тропы, что у высоких сосен, примечай кресты, что вырезаны на коре — по тем крестам придёшь ты в пасеку старца Мирония, а тот сокроет тебя от всякого глаза... прощай пока... Господь над тобою!

— Прощай, благостная моя, прощай, Устинья Евгра-

фовна, и коли что... коли... — задрожал голос отца Афанасия, сжалось сердце его, — коли не суждено больше встретиться нам на этом свете, помяни в молитвах раба Афанасия, а я век и памятью, и молитвой не забуду тебя.

— Прощай, коли так! — поклонилась ему земно Устинья.

— Прощай! — поклонился ей Афанасий и, опустившись на тот самый стул, на котором сидела Наталья Угрюмова, опёрся локтями на стол и в злой щемящей тоске закрыл лицо руками.

Устинья Евграфовна как во сне шла привычной подземной дорогой; потерялся из мыслей её исправник, наехавший, по всей вероятности, с обыском, исчезла забота о Наталье Угрюмовой, забылся холодный, обдуманый расчёт, обыкновенно руководивший всеми её поступками, и только одна дума заполонила её.

«Гордыня» — вот то слово, которого она искала, вот исходная точка пережитой ею борьбы и сердечной боли. Гордынею был тот столб, на котором зиждилась вся жизнь её, и эту-то опору расшатала в ней речами своими Наталья Угрюмова. Её страстная защита прав женщины на любовь и материнство проникли в бесстрастную душу девушки, а вопросами своими выдала она сердечную смуту свою отцу Афанасию, а тот узрел в ней гордыню. «Поколебалась я, вот откуда шаткость моя, вот с чего и тропу потеряла... не в меру сурова была я к людям, падка на обвинения, гневом палима на чужие страсти. Ох, рано быть мне судьёю ближнего, не гневаться, а молиться за падшего надо, не корить, а лечить убогого». И тут же, поставив на землю фонарь, в полной тишине и темноте тайного хода Устинька стала на колени, и горячая молитва вылилась из переполненного сердца. «О, Господи Владыко, слепотствую я, судьбы ближних вершу, грехам отпуск даю, именем Твоим суд творю, и всё от гордыни... прости, Господи, научи, охрани!» — и замолкла. Молчало и всё кругом, спёртый воздух давил грудь. С ужасающей правдоподобностью в уме её вдруг представилась картина смерти и могилы, здоровая натура её запротестовала и, схватив фонарь, девушка инстинктивно бросилась вперёд; снова в беседке хлопнула западня и, приведя в порядок французский диванчик, Устинья Евграфовна отперла беседку и поспешно направилась к дому, чтобы самолично показаться исправнику...

— Не спеши, Наталья Прохоровна, время не перего- нишь, всюду доспеем, — говорила Фенюшка, останавли- вая за руку рвавшуюся вперёд Угрюмову.

Они так близко прошли около кустов, за которыми хоронился Иволга, что Фенюшкино платье чуть не задело его по лицу.

— Тише, тише, Наталья Прохоровна, — опять остано- вила черничка громко разговаривавшую Угрюмову, — тише, Бога для, не диви ты, кого не надо, говором нашим... вот и ограда, спускайся в ложок, не круто тут, а вот гляди...

Перед шедшими, как бы вынырнув из-за оврага, на сероватом фоне летней ночи обрисовалась лошадь, коро- бок и сидевший на козлах татарин.

— Ну, садись, Наталья Прохоровна, да крестись, что- бы, значит, с Божьей помощью.

Угрюмова, ухватясь за железную скобку козел, вскочила на высокую подножку и села в коробок, за нею Фенюшка, но не успела она опуститься рядом, как через тот же лог перепрыгнула чёрная тень человека, и Иволга, вспрыгнув в коробок, пошатнулся и упал на ноги девушек. Чалый, испу- ганный мелькнувшей тенью и неожиданным толчком, рва- нул и понёс, как безумный, на дав даже Чамке время собрать вожжи. Филипп, нетерпеливо стороживший всё время у во- рот, услышав бешеный скок лошади, выбежал на дорогу и узнал пролетавшего мимо него солового коня Ситниковых, а в коробке тонкий силуэт Фенюшки. Мигом он вскочил в ко- робок исправника и, выхватив из рук оторопевшего кучера вожжи, погнался следом. Чалый, услышав за собой погоню, надал ходу и, широко выкидывая передними ногами, вих- рем понёсся вперёд по широкой пустынной дороге.

Узнав вскочившего в коробок, Фенюшка глухо вскрик- нула, и затаённая ненависть снова охватила её сердце. здо- ровая девушка, разморённая жарким летом и страстной иг- рой в любовь со Стёпочкой, бессознательно поддалась чув- ственному очарованию там, в бане, где застал её Иволга, но, едва выйдя оттуда, стыд и злость охватили её всецело.

Целый день ходила она как одурманенная, сердце в ней болело и трепетало как надорванное, а вечером проповедь отца Афанасия окончательно добила её. Она ходила, рас-

поряжалась, шутила, как всегда, но едва оставалась наедине — страдала до стона, как пришибленное животное. И вот он, этот постылый, чужой человек, насильник охальный, снова здесь как хозяин и властелин. «Еще чего надо?» — думалось ей, но язык не поворачивался спросить.

— Ахти, страсти! — взвизгнула она вдруг, распознав, что в коробке был запряжён не Петушок, а Чалый.

Чамка, собрав вожжи, натянул их, и Чалый стал сдавать ходу, но в это время Филипп, нагонявший коробок, неистово крикнул: «Стой!». Чалый снова рванул и зачесал вперёбой, лёгкий коробок, как челнок в бурю, стало бросать из стороны в сторону. Иволга, поняв по-своему значение погони, обезумел. Вмиг перелез он на козлы и перехватил вожжи из рук татарина; тот не отдавал, и между ними завязалась короткая борьба. Воспользовавшись косягом, в котором наклон был на сторону Чамки, Иволга неожиданно ударил его в бок, и татарин, взмахнув ногами, вылетел из коробка далеко в сторону. Чалый, почувствовав толчок и услышав крик татарина, лягнул задом, Иволга выхватил торчавший из-под сиденья кнут.

— Бога для, не бей! — крикнула Фенюшка, заметившая его движение, но Иволга уже ударил кнутом Чалого, конь, не привыкший к такому обращению, стал бить задом.

— Выскакивай, Наталья Прохоровна! — крикнула побелевшими губами Фенюшка и, перекрестившись, бросилась из коробка.

Каким-то чудом девушка вскочила прямо на ноги, не удержалась и, два раза перевернувшись вокруг себя, откатилась в сторону. Крестясь, обезумев от страха, бросилась за ней и Угрюмова и без движений пала недалеко от неё. Конь ещё раз высоко взмахнул задом и перекинул одну ногу через оглоблю. С перекошенным от злости лицом Иволга тоже соскочил с козел, но в ту минуту, как он уже касался земли, Чалый круто повернул коробок, хрястнула оглобля, Иволга, зажатый между коробком и бесившейся лошадью, крикнул и замолк, смятый, разбитый копытами Чалого. Налетевший было на них Филипп едва успел своротить в сторону; привычный, послушный конь исправника остановился как вкопанный, вздрагивая и косясь на бесившуюся лошадь, и Филипп, и кучер выскочили из своего коробка. Едва они распутали Чалого и выпрягли из по-

ломанных оглобелей, как тот вырвался из рук чужих людей и вихрем понёсся обратно по знакомой дороге.

Иволга был убит. Лицо его представляло одну сплошную кровавую массу, кровь смочила рыжие кудри, и смелый, весёлый парень, за минуту полный отваги и жизни, лежал на дороге, как никому не нужная падаль. Оставив его, Филипп и кучер бросились к женщинам.

Угрюмова первая пришла в чувство и привсталала.

Молодая женщина отделалась только испугом и ушибом, Фенюшка лежала как пласт, глаза сжаты, и по ним сочилась тоненькая струйка крови.

— Ради Христа, подымите её, свезём её назад, что ли, Устинья Евграфовна хорошая лекарка, может, что и сделает.

— Стойте, тут ключ неподалёку, — мигом спохватился кучер и бросился в сторону.

Филипп жадно смотрел на Угрюмову: вся драма, разыгравшаяся перед ним, исчезла в его страстном желании доказать свои способности сыщика и отыскать пропавшую без вести женщину.

— Наталья Прохоровна, — вдруг сказал он, зорко глядя в лицо ей.

— Ах, не во мне дело, — отвечала она, махнув на него рукой, и снова бросилась к лежавшей девушке.

— Фенюшка, золото ясное, открой глазки... — припав на колени, она трясла девушку за руку, приподымала ей голову.

Прибежавший кучер принёс шапку, полную студёной воды. Угрюмова, захватив её, пригоршнями стала лить на голову и мочить лицо.

Веки Фенюшки дрогнули, чуть-чуть заметный румянец появился на её губах, она вздохнула и открыла глаза.

— Фенюшка, ясынька, ластовка, жива, что ль?

Угрюмова ещё и ещё лила на неё воду. Фенюшка пришла в себя и, шатаясь ровно пьяная, встала на ноги. Только тут заметили все сцарапанную кожу за ухом, из которой и сочилась кровь, растекавшаяся по лицу, — ни ушибов, ни переломов у неё тоже не было.

— Ну, и легки ж бабы падать, что кошки, — дивился Филипп. — Думал, костей не соберут, а оне, вот те на, что встрёпанные!

— А лошадь где? — дивилась Фенюшка. — А... — и девушка замолкла, увидя распростёртый труп Иволги. Стран-

ное чувство тянуло её поглядеть в лицо убитого парня, странная смесь облегчения и жалости сжала ей сердце. Ближе подошла она, нагнулась ещё, дотронулась рукой до рыжих кудрей, смоченных кровью, поднесла руку к самому лицу своему и, увидев на ней кровавые следы, рассмеялась и вдруг, бросившись бежать от трупа, надрывисто, страшно зарыдала, припав к плечу Угрюмовой. Снова пришлось отпаивать холодной водой обезумевшую девушку. Филипп тем временем вынул из коробка ковёр, прикрыл им труп Иволги. Когда пришедших в себя Фенюшку и Угрюмову усадили в коробок исправника, Филипп сел с ними, приказав кучеру остаться на месте.

— Нашёл-таки тебя, Наталья Прохоровна! — не скрывая своей радости, вдруг выговорил Филипп, повёртываясь к ней с козел.

— А что за радость такая тебе искать её было? — спросила его насторожившаяся Фенюшка и взглянула в лицо Угрюмовой.

— Знал я, — хвастливо разболтался Филипп, — что в какой бы ни было тайности ни хоронили тебя у Ситниковых, а найду я тебя. Тебя ради сегодня и исправник пожаловал. Пирует Иван Иванович, небось, и не чует, что всё теперь ясно стало.

— Да что ясно-то, в толк не возьму! — степенно и холодно заговорила Угрюмова.

— А то и ясно, что теперь и отец твой, и Ситников попали, значит, под крышу. Нет, таких дел не скроешь, из православного храма жену повенчанную да от законного мужа отнять, да и схоронить! Хитро дело, да Филипп не дурак, разыскал.

Филипп расхохотался.

Фенюшка, бледная, не спускала глаз с Угрюмовой. У Натальи Прохоровны гневно сдвинулись брови.

— Не понять мне твоих речей! Никто не хитил меня, никого круг меня и виноватых-то нет, одно измышление твоё.

Филипп оборвал смех и с полным изумлением снова обернулся к говорившей.

— А как же жалоба, что муж твой исправнику принёс?

— А то дело особо, он принёс, он и обратно возьмёт её, коли простит меня, а только между мужем и женой плохой суд, сами разберёмся.

— Да ты теперь-то откуда явилась? — оторопел Филипп.

Фенюшка плотно прижалась к Угрюмовой, чуяла она в ней силу и защиту.

— Откуда? — протянула Наталья. — А из Зырянок, от тётки Таисии, к ней сбежала я сама, как батюшкиного гнева испугалась, а нонче тайночью сама вернулась к Устинье Евграфовне просить её заступу за меня перед батюшкой иметь, она и научила меня, что молвить, она и в провозатые дала мне Федосью Агеевну, да и лошадку свою.

— Да куда ж вы ехали?

— А к батюшке на поклон.

— Так. А упокойник-то этот кто ж будет?

Фенюшка побелела, что плат, и рада бы что-нибудь ответить, да грудь сдавило, зубы сжались — слово вымолвить не в силах.

— С него-то и горе всё приключилось, чужой он нам, незнамый человек, лиходей аль безумный... Не успели со двора выехать, вскочил он к нам в коробок, вожжи вырвал и татарина нашего с козел сбросил, а там дальше сам видел, что было.

— И ты, Федосья Агеевна, человека не знаешь?

— Незнамый он мне, — хрипло ответила девушка, глядя в сторону.

— Да не хитришь ли? Не сам ли своего соглядатая на нас наслал? Откуда бы ему такому взяться среди дороги? — продолжала Угрюмова.

— Ой, бабы, ума решили, — только и мог воскликнуть Филипп и угрюмо отвернулся от женщин.

Понял он, что проиграно дело его, что вклеился он, как слепой в пчелиный улей, и что не простит ему исправник переполоха в честном доме, загнанной лошади да теперь ещё смерти никому неведомого человека.

— Тпру, стой, стой! — крикнул он на своего гнедого, вдруг с храпом рванувшегося в сторону.

Из-за густого куста виднелся круп Чалого и слышалось его тихое, как бы жалобное ржание.

— Подержи, что ль, вожжи, Наталья Прохоровна, конь не ваш, смирный, не разнесёт.

Выскочив из коробка, Филипп направился к лошади.

Чалый стоял, опустив голову, вода ноздрями по поси-

невшему лицу распростёртого перед ним татарина Чамки. Глубоко ушло в высокую траву тело вылетевшего из коробки кучера. Голова его ударилась о пень, громадная лужа крови стояла кругом, и едкий запах её пугал дрожавшего всем телом коня. Лицо мёртвого Чамки было повёрнуто вверх, полураскрытые глаза и оскаленные зубы сохраняли то самое лукаво-ласковое выражение, с каким он глядел на своего четвероногого любимца.

Сбылось предсказание Якима — и прямо ли, косвенно ли, а нашёл он свою смерть от Чалого.

— Ну, недёшево обошлась погоня за тобой, Наталья Прохоровна, — ещё упокойник!

— Ещё, — прошептали обе женщины и уже до самого возвращения не проронили ни слова.

Когда Филипп осадил исправничью лошадь у ворот ситниковского дома, Угрюмова отвела в сторону Фенюшку.

— Поди оповести Устинью Евграфовну, чтоб встречала она меня, как гостью, и весь мой разговор с этим (кивнула она на Филиппа) передай ей. Видно, и для меня просвет наступил, теперь уж своя воля, так нечего нам и свары варить..

Глубоко вздохнув, просветлевшим лицом, ясными, твёрдыми глазами оглянулась она кругом.

* * *

Ещё не взошло солнышко, чуть-чуть поредела мгла ночи, потянулась роса, робко, в одиночку послышался в ветвях щебет просыпавшихся птиц, по лесу шёл отец Афанасий, вдыхая всей грудью свежий смолистый запах леса.

Примечая осьмиконечные кресты, вырезанные на краснокорых соснах, он направился к пасеке старика Мирона. Ясно, спокойно было у него на душе, самопоставленный архиерей покончил с мучившим его вопросом; он снова был только Афанасий — человек, ума и сердца которого коснулась рука Всевышнего; отпала от него гордыня, ложь, и страстно хотелось ему отстрадать и очиститься. Отныне возьмёт он посох в руки, пещур надвинет на рамена и как странник пойдёт в широкий мир Божий, «веру пытать», искать, где истина, где правда Божия. Голодом, холодом, страстной проповедью слова Божьего смоем он грех свой.

Переселенцы

(Бытовая картинка)

Начиная от Т-ского городского сада, скучного и заброшенного, как и сама общественная жизнь города, тянулось громадное земляное поле. Там, вдалеке, где заходившее солнце последний раз, как грудью, прижалось к земле, стояла жаркая багрово-красная полоса. Золотистые искорки пыли как мириады огненных мошек столбом играли в воздухе. Вправо и влево группами, как эффектная ярмарочная панорама, были разбросаны шалаши, четырёхугольные, конусообразные, сколоченные из досок, составленные из жердей, покрытые рогожами или войлоком. С первого взгляда пестрота красок, шумный говор и движение подкупали глаз. Догорающие лучи солнца то тут, то там ложились яркими блёстками и, как мастерской кистью художника, сочно выделяли на однотонной зелени поля то красную рубаху мужика, то жёлтый сарафан бабы, лазоревый платочек на голове бегущей девчонки, алые бусы на загорелой шее молодки или новую циновку, отливавшую на шалаш густым шафрановым цветом. Зелень, синее небо, лето, волшебный трепет догоравших лучей да мягкие сумерки, кравшиеся из-за сада, были теми волшебниками, которые из безотрадной переселенческой разнохарактерной толпы создали пёструю поэтическую картину. Выходцы сдвигали табором свои шалаши по губерниям да по сёлам, в иных — просторных, плотно закрытых от дождя — стояли кованые сундуки, узлы с разным скарбом да штуками полотна, висела или кучей лежала ременная сбруя. В других — убогих логовах, заткнутых грязной соломой, завешанных дырявыми рогожами, — стояли кое-как заколоченные ящики да громадные грубой холстины мешки, уродливо набитые всякою рухлядью. Та же разница виднелась и на переселенцах: на ком были прочные смазные сапоги, на ком лапти,

а где босые ноги, еле завёрнутые в какие-то кожаные доски, перевязанные лычком; где красовалась кумачная рубаха с синими ластовками, а где посконная, перетянутая верёвкой, игравшей роль кушака. Там здоровые ребята, беззаботные, с зажатым в руке куском ситного хлеба, с весёлым криком гонялись один за другим; а где лежали больные, изнурённые дети, завёрнутые в грязные рваные тряпки. И всё-таки это была одна людская семья, связанная безысходным горем — нуждою, заставлявшей бросить свои родные поля и идти вдаль, в туманную, чужую, страшную даль, искать приюта и куска хлеба.

В то время, как вся эта громадная толпа ютилась на открытом воздухе, в плохо сложенных шалашах, на окраине поля стояло пустое громадное барачное помещение, выстроенное городом для переселенцев — инстинкт подсказывал этим людям, что простор и свежий воздух скорее оградят их от заразных болезней, чем эти деревянные загоны без печей, со сквозняками и ослизлыми стенами, куда загоняли их, как стадо.

Только маленький домик с тремя окнами зеленоватого стекла, стоявший в самом углу большого барачного двора, был тесно связан с жизнью и страданиями этой толпы — там лежали больные, не выдержавшие трудного пути, и томилась хуже, чем от болезни, страхом отбиться от своих, отстать и разорвать стадную связь движения вперёд, которая до сих пор поддерживала их энергию.

Около самого домика на крыльце сидел бородатый унтер-офицер и, зажав между колен свои волосатые руки, апатично глядел на пёструю толпу. Из-за крайнего барака, кое-как собранного из длинных жердей, прикрытых старыми рогожами, вышла молодая девушка в тёмно-синем платье и белом платочке, глубоко, шалашиком, надвинутом на лицо. Её стройная красивая фигура отчётливо вырезывалась на фоне вечерних сумерек, ровным скорым шагом легко и свободно девушка шла одна прямо к сидевшему унтеру.

— Служивый, а служивый! — начала она, робко подёргивая узелок платка, завязанного под подбородком.

Унтер повернул к ней добродушное лицо и широко улыбнулся, подняв и опустив щетину своих громадных усов.

— Чего надо, красавица? Коли больного кого повидать — опоздала, теперича впуск окончен, завтра на пароход грузиться станете, тогда, кто в силах двинуться, того и выпустят, ну, а кто нет — тот в городскую больницу перейдёт.

Девушка продолжала стоять, глядя на солдата; её большие синие глаза были до того скорбны, что солдат, невольно повинаясь обаянию молодости и скорби, которые олицетворяла собой девушка, встал с крыльца.

— Ну, чего? Чего ищешь? Больной тут у тебя, что ли? Молодка аль девушка будешь?

— Девушка я, переселенка, да только вот никого у меня здесь, кроме отца, никого... — девушка развела руками, — а отец захворал, тут вот положили, теперь я прибиться никуда не могу — беда!

— Да отца-то как звать?

— Нефёдьев Прокофий — костромичи мы, далёкие...

— Так! Так ты чего же, красавица, справиться — осилит ли отец новую дорогу?

— Да уж одна развязка: либо в путь, либо... Да уж хоть что-нибудь одно... — и девушка отвернула в сторону свои затуманенные слезою глаза.

— Ну, коли так — присядь!.. Как звать-то?..

— Настей. Настасьей Прокофьевной, — поправилась девушка.

— Присядь, коли так, Настасья Прокофьевна, мотнись к фельдшеру, он там ещё, поспрошаю, присядь!

Унтер вошёл в домик, а девушка прислонилась к дому, глядя на далёкое поле.

Ближе всех к ней стояла группа бедных грязных шалашей — вокруг толкались мужичонки, невзрачные, как бы пыльные, с серыми лицами, серыми редкими бородками, в лаптях и грубых холщовых рубахах. Что-то приниженное, растерянное, безвольное было в этих невзрачных фигурах, в убогом скарбе, неумело, громоздко связанном длинными тюками. Это были беднейшие переселенцы из Белоруссии. Дальше шёл табор зажиточных ярославцев и нижегородцев; с ними дружили и костромичи, в одной из их палаток проживала и Настасья — там всё народ высокий, плечистый, с тёмно-русою бородою лопатой, русыми, часто выющимися волосами, там на каждую семью было два-

три кованных железом сундука, там и дети были сдержанные, крупные. Дальше шли вятичи и казанцы — скуластые, темноволосые, с широким низким лбом, напоминающие татар и других инородцев, — народ тоже крепкий, рабочий, а вот на самом краю поля в конусообразных лёгких шалашах ютятся весёлые, говорливые малороссы — правильный тонкий нос, тонкие брови и глубокие тёмные глаза, мягкий говор да частая звонкая песня делали теплее и веселее их убогий уголок; а там, без особых шалашей, притыкаясь то к одним, то к другим, бродят плотники, сапожники, шерстобиты, которым тоже тесно стало на родине, а страсть к бродяжничеству да надежда на лучший заработок в ином, новом месте, где нет конкуренции, прибили их к общему движению переселенцев.

— Иван Петрович, а Иван Петрович, — обратился унтер к фельдшеру, сидевшему в крошечной каморке, отделённой переборкой от временного лазарета переселенцев.

— Ну? — фельдшер поставил на подоконник недопитую кружку чаю и, прожёвывая баранку, обернул одутловатое плоское лицо к вошедшему унтеру.

— Иван Петрович, говорю, девица переселенческая пришла.

— Что? В шею её — часы должна знать, — и фельдшер снова взял кружку.

— Нет, оно не того... как же в шею? Совсем молоденькая...

— А, молоденькая! Так пусть, как смеркнется, в левую кухню пустого барака зайдёт... я с ней там побеседую... — и фельдшер захохотал, подмигивая.

— Нет, Иван Петрович, вы уж не того... зачем? Вы для меня, так сказать, сообщите... Прокофий, костромич, старик тут у вас... На поправку, что ли, идёт?..

— Старик Прокофий? Нефёдьев, что ли?

— Он, он самый.

— Ну, так был да весь вышел, кланяться велел, завтра на погосте поищите.

— Да что вы? — унтер даже попятился к двери.

— А что же я, лгать, что ли, стану? Тифозный был, ещё вчера в больницу перевели, теперь, гляди уж, и в гроб заколотили, утречком с другими похоронят, только ведь у нас строго — пушать к таким покойникам не велено, потому заразу разнесут. Та-та-та-та! Да я евонову доч-

ку, Настеньку, видел, лебедь-девка, так это вы вот о ком покровительство имеете? Поздравляем-с!

Но бравый унтер не слышал его слов — перед ним стояли горькие тёмные глаза, бледное личико с узеньким подбородком да кудрявая прядь чёрных волос, что выбилась из-под платочка кибиточкой.

— Ах ты, оказия! Вот оказия-то! — он медленно, всё ещё отмахиваясь рукою от писаря, вышел на крыльцо, а девушка всё стояла там же, прислонившись к балясине крылечка, и без слов с таким вопросом вся подалась к нему, что унтер сразу опешил и остановился, затем, вдруг напустив на себя равнодушие, стал смотреть на небо, покручивая усы.

— Верно, верно, — бормотал он, — ведро завтра будет. Ха-ароший денёк для отправки завтра будет!.. Беспременно, да.

Настасья, нагнувшись вперёд, с изумлением слушала его.

— Господин унтер, господин, узнали, что ли, о моём отце?

— О каком отце-то! — заорал на неё унтер, выпячивая грудь и сверкая глазами. — Есть мне время говорить о ваших отцах? Сходил, сигарку выкурил, да и весь тут... Не место здесь стоять-то, не приказано, слышь, девица, ступай, ступай! — он неопределённо махнул рукой.

Чуткое сердце девушки уловило фальшивую ноту в его голосе и скрытую жалость в добродушном лице, она всплеснула руками и бросилась к унтеру.

— Дяденька, дяденька, служивый, скажите, скажи, Христа ради, помер батюшка? Да? Да? — голос её упал, робкая мольба выразилась во всех чертах, во всей позе замершей от ожидания ответа девушки.

— Чего там кончился? Кто кончился-то? — но голос его осёкся. — Коли правду говорить, — уже тихо продолжал он, — коли знать хочешь, так оно точно... того... призывал Господь отца твоего... к себе призывал.

Девушка сжала крепко руки на груди, вся побелела до губ и, ни слова не сказав, низко-низко поклонилась служивому и двинулась было к бараку.

— Куда, неразумная? — нетути здесь твоего отца, с ночи вывезли в городской гошпиталь, да уж и схоронили — заразный он.

Шатнулась девушка, постояла секунду, закрыв глаза, повернулась и тихо пошла полем, а старик глядел ей вслед.

— Ишь, сильная девка! — думал он. — Не из крикливых, хоть бы те пискнула... а на душе-то горит, горит! Ах ты, горькая! — И, снова переводя глаза на небо, он стал глядеть на загоравшиеся звёзды.

«Вот, — думалось ему, — умер человек, а куда ж душа пошла? Пыхнула из тела — теперь, значит, куда? На звёзды аль прямо на суд? Аль уж тут перемучилась, в рай определилась? Ну, а рай-то где же будет? Ой, грехи, грехи думы такие раскидывать! А всё ж бы знать не мешало — ведь душа-то и во мне есть, а я ей, выходит, не хозяин». И, покручивая головою, вздыхая, унтер побрёл снова к фельдшеру, с которым решил выпить, потому что на сердце очень уж жёстко.

Настасья шла полем, тихо, едва передвигая ноги. Сумерки сгустились и мягким серым бархатом окутали контуры убогих шалашей. Вспыхнули огоньки небольших костров, около них задвигались тени женщин, в воздухе запахло горячим варевом; вспыхивавший огонёк освещал широко открытые жадные глаза детей, теснившихся кругом котелка. Но таких счастливых было немного: большинство переселенцев сидело молчаливыми тёмными группами вокруг холодной похлёбки из кваса с лучком да хреном и, закусывая ломтём чёрного хлеба с солью, чинно по очереди хлебали из общей деревянной тарелки.

Слёз у Настасьи всё ещё не было, тоска зажала сердце, и она бессознательно двигалась вперёд к той ставке, где был её сундук, представлявший для неё и родину, и всё, что только вещественно связывало её с жизнью.

На окраине у малороссов особенно ярко пылал костёр; оттуда слышался говор и даже порою смех.

Вот Настя остановилась и вся задрожала. Грустная нота вылетела из чьей-то груди. Не сильный, но мягкий, гибкий голос парня выводил слово за словом, захватывая, вливая в душу слушавших песню:

*Повий, витре, на в Украйну,
Де покинув я дивчину,
Де покинув кари очи,
Повий, витре, о пивночи.*

И вдруг к голосу певца пристал высокий, звучный сопрано:

Повий, витре буйнесенький...

Молодостью, радостью жизни звенели голоса, казалось, звали куда-то, сулили широкую, вольную жизнь. Вот ещё и ещё присоединились к песне, и песня росла, ширилась, захватывала всё поле. В группах замерли разговоры, всё смолкло.

Тоска по оставленной родине, тёмный лес, хата, в которой родился, друзья, враги, которых бросили там, далеко — всё проснулось в душе. Теперь в песне звучало горе, горькое нуждовое горе, что сняло этих людей с тех полей, что деды своим потом поливали, заставило бросить кресты на родных могилах, что теперь без подпоры к земле свалятся. Ой, больно-больно надрывает песня грудь! Рыдает Настя, рукой захватив сердце, корявым рукавом обтирают глаза суровые старики, жмётся молодуха к мужу, льнут дети к коленям матери. Всем-то жутка, всем-то чужда чужая сторонушка...

Замерла песня, тишина объяла поле, воздух напоён теплом, разлитым в невозмутимой синеве далёкого неба, откуда ясно, строго смотрят неподвижные звёзды на бедного мечущегося человека.

Настя подошла к своему шалашу; полы прикрывавшей его рогожи были откинуты, на пороге сидел вдовый мужик Андрей и машинально гладил рукой льняные волосы трёхлетнего сынишки, спавшего у него на коленях. Немного вправо, прикрытые ситцевым лоскуточным одеялом, лежали, обнявшись, две крошечные девочки. Около них сидел дед Захар и, охватив руками худые колена, глядел на небо.

— Что, Настасья Прокофьевна? — тихо окликнул вошедшую Андрей. — Отец что?

Девушка села рядом на порог и молчала. Андрей, высокий худошавый мужик лет тридцати пяти, с сединой в висках и в тёмных усах, пристально посмотрел на девушку.

— Помер... — проговорила она.

Андрей поднял руку, гладившую ребёнка, и, крестясь, зашептал молитву. Дед Захар протянул голову.

— Помер, баишь? Ишь ты, сподобился, — и в после-

дних словах старика слышалась радость за человека, покончившего с земным страданием. — Ты что же, горлица, плачешь? Не горе случилось, не обида, предел, значит, человеку вышел, и отозвал Бог душу, потому срок. Придёт время — и я пойду, и ты, и младенец... Вот как жена Андреева ушла, бросив своих малюток, что думаешь, легко? Аль о своём сиротстве плачешь?

— Дедушка Захар, как мы завтра поедem, а отцову могилку я здесь в безведении брошу? — зарыдала Настя.

— Ах ты, горькая! Да как же тебе здесь остаться? Нешто можно тебе от стаи отбиться? Нельзя! А как же такому миру одного человека ждать? Тоже нельзя, дитяtko, дни рассчитаны, пароход ждать не станет.

— Дедушка, а на то ль меня поил и растил отец, чтоб я ему дочь, дочь родная глаз не закрыла? Ой, дедушка, добечь разве утречком до городской больницы, кинуться в ноги дохтуру да молить, пусть могилку укажет, хоть бы крест-то поставить! — Настасья закачалась на месте с тихим рыданием и стоном.

Дедушка Захар подвинулся вперёд и положил руку на плечо Насти.

— Слушай, девушка, что я тебе сказывать буду. Звал раз Спаситель человека одного за собой, а тот и говорит: иду, говорит, за Тобой, Господи, только дай мне погребсти отца моего, что только что умер. А Господь и говорит ему: «Оставьте мёртвым погребать своих мертвецов». Ура-зумеваешь? Живому-то, значит, велел думать о своей жизни да о своём спасении. Андреева-то жена мне родной дочерью доводилась, не хотелось ей родину покинуть, да мужа послушалась, точно сердце её чуяло, не вынесла пути, схоронили мы её под чужим городом и креста не успели поставить. Попу на его священнослужительскую совесть деньги оставили. Ты взглядишь в Андрея-то, ведь пропащий мужик стал. Какая девка за него, за вдового с тремя ребятами, пойдёт? Ведь извёлся весь, день и ночь малых деток пестует, а не ропшет, потому на миру, а мир — Божье дело. Мы здесь — мир, — старик широко махнул рукой кругом погрузившегося в сон лагеря переселенцев. — Мёртвого надо предоставить Богу... Для печали да для слёз, девушка, много надо иметь свободного времени, а ни ты, ни я, ни Андрей — никто здесь себе не принадле-

жит, все мы сообча и никто особенно. Нелёгкое дело — переселиться из своей родины, от колыбели да от могилы в чужую дальнюю сторону, а потому кто на этакое дело поднялся, должен в путях Господних ходить, сердцем быгь чистым, разумом покорным, потому ты не ты теперича, а ты — мир, и о себе да и о своём горе забыть должен и одну думу иметь, как в помочь миру приспособиться. Трудись, девушка, работай, рук не покладай, каждое твоё доброе дело будет отцу поминкой. Взгляни, девушка, поле-то широкое людьми как усеяно, и что ни человек, то горе, а всё-то вместе взятое, так кабы крикнуло от боли, так до неба клич бы дошёл, а всё молчит, всё покорно воле Божьей. Так и ты, не думай о себе, потопи своё горе в мирском горе. Так я говорю, Андрей?

— Так, батюшка, — проговорил Андрей, смахивая слёзы.

Замолк старик. Молчит Андрей и снова гладит голову ребёнка; молчит и поле, а с неба звёзды ярко и ясно глядят на заснувшее людское горе.

Настя сидит, не шевелясь; слёзы её высохли. Ей хотелось ещё думать об отце, о себе, о своей сиротской доле, да слова старого Захара дали другое направление её мыслям, стыдно ей стало стонать да плакать, когда возле сидел Андрей с тремя сиротами ребятишками. Вспомнила она, как их любила мать, покойная Марья, какие приветливые да весёлые были девочки, какой говорун да песенник был сам Андрей. Она искоса взглянула на мужика, вишь ты, какой худой да понурый стал, рубаха на локте прорвана, не то что смеху, голос подавать редко стал.

— Мамка, ма-а-амка, — вдруг заплакала одна из спавших на полу девочек.

Её крик разбудил лежавшую рядом сестру; та, не открывая глаз, засунула в них кулачки и стала жалобно вторить: «Мамка, ма-амка!». На руках у Андрея зашевелился спавший мальчуган.

— Нишкни, нишкни, — шёпотом уговаривал девочек Андрей, — нету мамки у вас, чего надо-то? Пить, что ль, хочешь? — он осторожно стал класть на пол мальчика, но тот тоже проснулся и его пронзительный плач присоединился к крику девочек.

— Ах ты, Господи, Господи! — вырвалось стоном у Андрея, и он снова схватил на руки сына, а Настя броси-

лась к девочкам, напоила их, снова укутала, положила, и под её ласковым шёпотом, на её ловких руках успокоенные девочки заснули. Тогда она, ни слова не говоря, взяла с рук Андрея мальчонку, прижала к груди, запестовала и тихонько, увернув в свой тулуп, лежавший неподалёку, уложила его рядом с сёстрами и снова молча села около Андрея. Андрей сидел, не шевелясь, спрятав лицо в обе руки и тяжело дышал.

— Андрей Ильич! — начала она.

— Чего? — тихо спросил Андрей.

Настя потупилась, густая краска залила всё её лицо.

— Деток мне твоих жаль.

— Спасибо на добром слове, Настасья Прокофьевна.

— Я не то, Андрей Ильич, я не слово, а хочу твоим деткам мамкой быть.

Андрей поднял голову.

— Андрей Ильич! — девушка ближе под села к нему. — Возьми меня за себя, я за ними ходить стану...

Андрей вскочил на ноги.

— За себя? Настасья Прокофьевна, шутишь, что ли? Так грех тебе! Да нет, не шутишь! — мужик опустил ся снова на порог, закрыл лицо руками и зарыдал.

Настасья тоже плакала.

— Сироты мы, Андрей Ильич, с тобою, и дети твои сироты, так вот мы вместе...

— Так не шутишь? Верно слово пойдёшь за меня? Ребятишкам моим матерью будешь? Господи, Пресвятая Пречистая дева! Дошли слёзы сиротские до Господа, знать, жена-покойница умолила за нас. Настя, Настенька! Пташка моя златокрылая, цвет мой лазоревый! — он обнял девушку и прижал к себе. — На новые места придём — повенчаемся, вместе хату ладить станем, силы у меня — хоть отбавляй, вот как работать буду! Нужде порога коснуться не дам, а тебя... — он нагнул голову к уху девушки, — любить буду, что ангела небесного. Ах, Настюшка, Настюшка, гору ты с груди моей сняла, да благословит тебя Господь! Вместе за упокой души отца твоего молиться будем и детей молиться заставим.

И до самого утра, до светлой розовой зорьки сидели на крылечке, обнявшись, Настя с Андреем, и не страшно им было, что увидят их люди: чисты были их сердца, чи-

сты помыслы, в одну радость слили они два горя и любовь свою, что шатёр верный, над головами детей раскинули.

Когда на рассвете Захар узнал о помолвке, светло, широко улыбнулся старик; один-то человек перед горем, что былинка, что ветер с корнем вырывает, а мир-то, что скала, о которую горе разбивается.

— Ты куда же теперь, Настюшка, — спросил он, видя что девушка хлопотливо повязывает платочек на голову.

— В город, дедушка, хоть земле той поклонюсь, в которую отца зарывать будут.

— Ты не надсаживайся больно, не плачь, Настя.

Но девушка только улыбнулась.

— Отец, дедушка, знает, что мне некогда надрывать-ся, часа через три грузиться станем, а мне ещё на сирот простирнуть надо.

Двадцать лет назад

Из институтской жизни

Отрывок из жизни

I

Рамка детской жизни. — Няня.

Человеческое счастье лежит
в светлых воспоминаниях детства

Если мне не изменяют мои детские воспоминания, то в конце царствования императора Николая I Павловский кадетский корпус помещался там, где впоследствии и было Константиновское училище, а теперь находится артиллерийское.

Я родилась в этом здании и провела в нём своё раннее детство; в памяти моей навсегда сохранилось впечатление очень больших комнат, широких нескончаемых коридоров, громадных лестниц — словом, картина простора, широты, высоты и света. То же самое встретило меня и в Павловском институте, куда я поступила восьми лет, и это привило мне на всю жизнь потребность простого и холодного воздуха; в маленьких тёплых комнатах я задыхаюсь и начинаю тосковать, даже мысли мои суживаются, и я ощущаю какое-то нервное беспокойство.

Отец мой, полковник в отставке, был экономом Павловского корпуса и Павловского же института для благородных девиц. Как смотрел он на такую «выгодную» тогда службу, имел ли много побочных доходов, не знаю! Я слышала, что отца очень любили все: и офицеры, его товарищи по службе, и кадеты, и что при нём не было ни «кашных», ни «кисельных» бунтов.

История этих возмущений, за которые и был смещён его предшественник, так часто рассказывалась в нашей семье, что мне казалось долго, будто я даже сама присутствовала при том, как кадеты, возмущённые тем, что им слишком часто к ужину подавалась гречневая размазня на

воде, почти без масла, решились, наконец, отомстить эконому. Заговорщики явились в столовую с фунтиками или мешочками, свёрнутыми из толстой бумаги, и, наполнив их кашей, спрятали в карманы. Пользуясь тем, что из столовой, находившейся в отдельном флигеле, приходилось проходить в дортуар мимо квартиры эконома, они сложили всю эту кашу грудой у его двери. Проходивший в последней паре дёрнул звонок, дверь отворил на этот раз сам эконом, поскользнулся в размазне и чуть не скатился вниз по лестнице.

Так ли случилась эта история — не знаю, но такой именно она представлялась моему воображению, такой я рассказывала её всегда в институте, с восторгом представляя себе эконома, плавающего и захлёбывающегося в размазне.

Кисельный бунт выразился тем, что кадеты не притрагивались к этому блюду в течение целой недели, а эконом, ведя с ними борьбу, каждый день угощал их киселём.

Отец, наверно, кормил их порядочно. У него в Павловском корпусе воспитывались три племянника, которые впоследствии, когда приходили навещать меня уже в Павловский институт, с гордостью заявляли мне, что их никогда не били за дядю, а корми он худо — им так намяли бы бока, что — у!!!

Жила моя семья, должно быть, весело и шумно. Когда я вызываю свои самые ранние воспоминания, в памяти моей воскресают как бы две совершенно противоположные картины. В одной я вижу очень светлые комнаты с массой гостей, с зелёными карточными столами, с роялем, за которым играют, поют... Из всех деталей этого великолепия яснее всего я помню большие подносы с конфетами и себя, крошечную девочку в нарядном платье, с рыжими локонами, всегда за руку со своей няней Софьюшкой, которая подводит меня то к тем, то к другим и, наклоняясь, шепчет:

— Целуй ручку у бабушки, сделай реверанс дяденьке, теперь иди прощаться с папенькой и с маменькой.

Отца я всегда находила за карточным столом и, нисколько не боясь, дёргала его за рукав до тех пор, пока он оставлял карты, поднимал меня на руки, целовал и всегда, несмотря на восклицание няни: «Барыня не приказали давать им вина», подставлял мне свой стакан, такой

тонкий, красивый, широкий, как чашка, из которого я с гримасой и всё-таки с восхищением отхлёбывала шампанского, коньяку с лимонадом или тёплого глинтвейна, смотря по тому, что пил в это время отец.

— Стыдно, Наденька, — говорила няня, утирая мне рот, — мамашенька не велит, а вы* всё своё...

Но я целовала няню Софьюшку, которую обожала всем своим детским сердцем, и мы шли дальше отыскивать мать.

Её мы находили в том зале, где пели и танцевали. Она всегда была окружена офицерами, и я невольно пялилась, замедляла шаги и только подталкиваемая ласковой рукой няни решалась пройти в эту группу нарядных гостей и под сухим, строгим взглядом матери делала, как можно грациознее, реверанс и шептала: «*Bonne nuit, chere maman!*»¹.

Правая рука матери — тонкая, надушенная, покрытая кольцами — протягивалась мне для поцелуя, из левой я получала всегда конфетку или яблоко и, повернувшись, зная, что этим кончается всё, я раскачивающимся бегом пускалась прочь из зала.

Вторая картина рисует мне большую полутёмную кухню, тёплую, чистую и полную до сих пор дорогих для меня воспоминаний. Должно быть, днём, во время стряпни, меня в кухню не пускали, потому что я никогда не помню огня под плитой и процесса жаренья и варения, но я помню кухню всегда вечером при свете двух «пальмовых» свечей, стоящих на громадном кухонном же столе. Я представляю из себя как бы прочный кухонный элемент, потому что моя няня тут же, возле меня, сидит на табурете, чинит, шьёт или вырезывает мне из старых карт лошадей, кукол, сани, мебель; возле меня на столе же, но на байковом старом одеяле (чтобы всё-таки не поганить стол), всегда сидит или лежит мохнатая длинноухая Душка — собака, родившаяся в один день со мной, выросшая почти в моей колыбели и потому безраздельно отданная в моё владение.

Эта Душка всюду всегда сопутствовала мне и, вопреки новейшим теориям о кокках и микробах, лизала все мои детские раны в виде ссадин, царапин или ожогов и пила

* По приказанию матери няни всегда говорили нам, детям, «вы», мы родителям говорили тоже «вы», по всей прислуге «ты».

¹ Значение всех иностранных слов и выражений даются на С. 460—462.

мои слёзы, когда обида или гнев вызывали их потоки на моё лицо. Пришлый элемент кухни составляли мои братья.

Я была четвёртым ребёнком в семье, но первая дочь, братья были гораздо старше меня, но погодки между собой. Старший — красавец Андрей — сильный брюнет с цыганским типом лица, вспыльчивый, почти жестокий в своих играх, требовал всегда во всём абсолютного себе подчинения и главной роли. Два младших брата — Ипполит и Фёдор, близнецы (составлявшие совершенный контраст между собой), беспрекословно подчинялись ему во всём не только детьми, но и впоследствии, когда все трое были уже офицерами. Не знаю, было ли тут влияние отца и матери или сам Андрей сумел так высоко поставить своё первородство, но только мы безмолвно, безапелляционно признавали его и покорялись ему до тех пор, пока судьба не разбросала нас всех по лицу земли и не поставила между нами непреодолимые чисто географические преграды.

Ипполит — худенький, довольно подвижный блондин с пылкой фантазией, в играх задира и трус, чаще всех попадал под гнев матери и расплачивался не только за себя, но и за нас всех.

Когда я вспоминаю наше давно прошедшее детство теперь, когда уже ни отца, ни матери, ни брата Андрея, ни Ипполита нет в живых, мне становится горько именно за то, что в этих, встающих передо мной картинах детства слёзы, розги, сцены необыкновенной вспыльчивости матери — всё падало на белокурую голову худенького, суетливого, но доброго и милого мальчика, каким был Ипполит.

Третий брат, Фёдор, был необыкновенно толст и неповоротлив, он вёл себя примерно, ел много и в девять лет держался за юбку своей няни Марфуши, уроженки Архангельской губернии. Марфуша обожала его, защищала от всех, как коршун своего птенца, и нередко вступала чуть не врукопашную с обидчиками её красавца Хведюшки. Она собственноручно сшила ему халат и ермолочку, в которых он, на всеобщую потеху, и щеголял по утрам и вечерам. Не только у Андрюши, одиннадцатилетнего мальчика, но и у Ипполита няnek уже не было, но Фёдор надолго сохранил свою и уже кадетом, прибегая домой по субботам, прежде всего отыскивал её и кидался в объятия своей Марфуши, целовал её лицо, грудь, руки, а та, дрожа и захлёбываясь

от слёз, ощупывала всё его тело, взвешивала на руках и проклинала «аспидов», изводящих ребёнка.

Братья в нашей кухне, как я уже сказала, представляли пришлый и нежеланный элемент; Андрей и Ипполит врывались туда с шумом, гамом, требованиями и немедленно изгонялись обратно в комнаты к своей гувернантке, или та сама являлась за ними на кухню и уводила их. Федя же, опять-таки не знаю вследствие каких соображений, не разлучался с няней Марфушей и потому часто появлялся на кухне в сопровождении её; она подсаживалась к свече и тоже принималась за какую-нибудь работу, Федя примащивался на другой табурет и мирно играл со мной, причём обыкновенно уважал мои капризы и требования.

Стол, на котором я сидела, собственно представлял из себя курятник, стены его были решётчатые, пол усыпан песком, и на сделанных в нём жёрдочках спали несколько кур и небольшой красноперый петух. Изредка их движения во сне, какой-то неясный шорох или тихое хлопанье крыльев сообщали полутёмной кухне особую, таинственную жизнь, что-то невидимое копошилось подо мной, и иногда с бьющимся сердцем я, переставая играть, прислушивалась и шёпотом спрашивала няню:

— Нянечка, это кто так делает: крхакрхум?

— Петух, родная, бредит, должно, во сне...

— О чём бредит, няня?

— О деревне, небось: там хорошо, привольно, не то что в городе, в клетке жизнь-то!

— А в деревне хорошо, няня?

— И-их, как хорошо, сударыня вы моя! Зимой теперь поседки идут у нас, девки в одну избу набыются, прядут, песни поют, хохочут, парни в гости найдут, семечек принесут, жамок... Опять свадьбы теперь играют... хорошо-о...

И няня, из крепостных бабушки, доставшаяся моей матери в приданое, бросала работу и уставляла глаза в угол кухни. Сколько я её помню — она всегда тосковала о своей деревне, хотя, взятая оттуда с десяти лет, более уже не покидала Петербурга и свою дочь, родившуюся у нас, отдала впоследствии в модный магазин и вырастила полубарышней, не имевшей понятия о крестьянской жизни...

Посреди кухни была самая таинственная и привлекательная вещь — большое железное кольцо, ввинченное в

подъёмные половицы. Когда за него тянули, в полу мало-помалу открывалась чёрная четырёхугольная дыра и виднелось начало лестницы, но куда она вела — этого я никак не могла понять. Мне объяснили, что это люк, просто люк. В моём детском воображении слово это принимало самые фантастические образы: мне то казалось, что это подземный сад, потому что из него вытаскивали морковь, зелёный лук, огурцы, то, напротив, я думала, что это волшебный пряничный домик, полный сахара, миндаля, орехов и других сладостей; в то же время слово это было полно и ужаса, потому что няня моя из страха, чтобы я когда-нибудь не полезла туда вслед за ней, уверяла меня, что там живёт громадная семихвостая крыса, которая схватит меня, как только я нагнусь над открытым подпольем.

Когда мне было пять лет и воображение моё настолько развилось, что я могла делать оценку разным вещам, я часто свой страх или своё восхищение выражала одним словом — люк. Я говорила: «чёрно, как люк; страшно, как в люке; или — так много-много всего хорошего, точно наш люк!».

Во время наших вечерних сидений в кухне никогда не обходилось без того, чтобы няня не говорила Марфуше:

— Подержи детей, я слазаю в люк достать им гостинца.

И вот с замиранием сердца, охватив руками Душку, я ждала, как скрипнет подъёмная дверь, которую няня тянула за железное кольцо, как откроется чёрная громадная пасть, в которой станет пропадать мало-помалу фигура няни со свечой в руке. Мысль о семихвостой крысе, о громадном страшном подземелье какими-то бесформенными призраками носилась в моём воображении, и я не спускала глаз с люка до тех пор, пока темнота в нём не начинала снова розоветь и из неё не выплывала, наконец, возвращавшаяся фигура няни, нёсшей на этот раз, кроме свечи, ещё и решето, в котором были разные гостинцы.

Что думал в то время брат Федя, я не знаю, но мне кажется, что он так же, как и я, верил в семихвостую крысу, по крайней мере его большие голубые глаза выражали такой ужас, как и мои, и во время всей процедуры лазания в люк он сидел тихо, не шевелясь, прижавшись к своей Марфуше. Часть лакомств отсылалась в горницы старшим мальчишкам, остальное делилось нам.

— Няня, крысу видела? — спрашивала я.

— Видела, сударыня, сидит тихо, глазищи большие и семь хвостов шевелятся.

— Няня, она тебя не тронула?

— Нет, нет, голубочка, она только на детей бросается.

— Почему на детей?

— Потому что дети бывают злые, они у неё раз маленьких крысят отняли и утопили, помнишь, как Андрюшенька котёнка?

При воспоминании о том, как брат Андрей, рассердившись на какого-то дикого котёнка, притащил его домой и, несмотря на то, что котёнок, защищаясь, в кровь изодрал ему руки, потопил-таки его в водопроводе, Федя начинает плакать, Марфуша бросается к нему, утирает слёзы своим передником и прижимает к груди, шепча:

— Подь, подь ко мне, дитяtko, дай рыльце хвартуком утру, ишь, дитё сердешное, вспомнить зверства не может.

Я не плачу, но вцепляюсь в мохнатые уши Душки и, глядя в её круглые добрые глаза, шёпотом объясняю ей, что никогда, никогда не обижу её детей, и Андрюше не дам обидеть их, и няню попрошу, если можно объяснить семихвостой крысе, что я никогда бы не потопила её детей.

— Вот когда енералом будет мой Хведюшка, — продолжала Марфа, — он тогда задаст нашему черномазому разбойнику, — и она шутя трясёт кулаком в ту сторону, где предполагается Андрюшина комната.

— Ну, уж будет Феденька генералом или нет, — вступает няня Софьюшка, — это ещё бабушка надвое сказала, а вот что моя Наденька графинею или княгиней будет — это уже верно, ей сам Царь двери отпер, вот как! — И няня, смеясь, целует меня.

После этой фразы, как бы часто она ни была повторена, и я, и Федя, и даже сама Марфуша пристаём к ней с расспросами.

II

*Император Николай I отворяет мне дверь. —
Нянин рассказ о страшном былом.*

— И расскажу, и расскажу, — торжественно повторяет няня, — сто раз буду рассказывать, чтобы барышня моя, как большая вырастет, эту честь помнила.

— А, небось, спужалась? — смеётся Марфуша.

— И, Господи! Дня три тряслась, всё не верила, что так мне это и пройдёт.

— Няня, рассказывай, рассказывай, — пристаём мы. И, оделив нас лакомствами, няня начинает:

— Гуляли это мы — Надечке годок был, не больше, она у меня на руках, Душка с нами, а щенок её, Мумчик, что теперь у дяди Коли живёт, у меня в кармане. Уж это мы завсегда тогда такие прогулки делали: без щенка ни-ни, лучше и не выноси мою барышню, вся искричит-ся. Вот я и придумала: положу в карман ваты побольше, а потом посажу Мумчика. Он так привык, что, бывало, спит в кармане, пока не придём в сад, ну, а потом вынем его да к матке. Она кормит его и играет с ним, а Надечке потеха. Только это нагулялись мы и идём, и сколько раз нам барин говорил: не ходите днём по парадной швейцарской, а другим входом, тем, что в офицерские квартиры ведёт. Ну а на этот раз, как на грех, барышня моя домой запросилась, и я ближайшим ходом да через парадную. Подхожу, а к швейцарской подкатывает какой-то генерал, ну, генералов-то мало ли тут мы выдаем, я иду себе, прошла это из швейцарской в коридор, а за мной шаги, повернула я голову, вижу — приехавший генерал идёт; иду дальше, а дверь-то к нам в коридор тяжёлая. Я посторонилась, думаю: генерал пройдут, а я не дам двери захлопнуться и перейму её за ними. А барышня-то у меня на руках сидит, личиком впозад меня смотрит, и слышу — смеётся и ручонками генералу знаки делает, а он с ей играет, значит, с дитёй; только как я это остановилась и хочу переждать, а он-то смекнул, верно, что дверь тяжела, шагнул это мимо нас, весёлый такой да красивый, да высокий, ну чистый орёл, дверь сам отпер и говорит:

— Проходи, нянюшка.

Я говорю:

— Чтой-то, ваше превосходительство, мы позади. Пожалуйста вы спервоначалу...

А он говорит:

— Нет, ребёнок вперед!

И подержал нам дверь... Поблагодарила я его, дура. Спасибо, говорю, ваше превосходительство, да тут же диву и далась: генерал-то в наш коридор и не пошёл, а повернул

от дверей направо — в классы. Думаю, не знает дороги, жаль, не спросила, кого ему собственно надоть-то?.. Только подумала, а в коридоре-то как грянет: «Ура!», а кадеты-то наши все из классов гурьбой вылетели, только топот по всему дому стоном стоял. Как услышала я это... поняла! Поняла, моя головушка победная, что то был сам Государь, сам Император Николай Павлович... и мне, мне-то, рабе своей последней, двери подержал: ребёнок, говорит, вперёд! Задрожали у меня колена, просто хоть на пол садись, еле доволоклась я до дверей наших, мимо меня барин наш, Александр Фёдорович, бегом пробежали, должно, им знать дали, на нас только походя руками замахали.

Господи ты Боже мой! А за нами-то Душка, а в кармане-то у меня щенок!.. Верите, едва жива, посадила я барышню в ихнюю кроватку, выложила им в ножки щенка, да сама к барыне бегом, да в ноги, слезами обливаюсь... перепугала барыню-то нашу, она подумала, с дитёй что приключилось... рассказала я ей... Что, говорю, мне будет? А барыня-то наша горячая, по щекам меня раза четыре ударила... и поделом! Не велел барин по парадной... вот и наскочила! Я в ножки кланяюсь, молю — не выдайте!.. Думала, разыскивать станут и невесть что сделают... пошла в детскую, за барышней своей ухаживаю и всё Богу молюсь: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его»... Вернулся барин... весёлый-превесёлый: Царь-Государь в кухню ходил, прямо из котлов кушанье пробовать изволил и всем порядком остался доволен, всё похвалил!.. А про меня — ни слова!.. Барыня тут барину всё от себя и рассказала: и как мы шли, и как встретили, и как игрались барышня с Государем-то нашим, и как отворил Он нам сам двери и сказал так милостиво, весело улыбнувшись:

— Проходи, нянюшка, ребёнок вперёд!

И опосля много-много раз меня это рассказывать заставляли, целый год, бывало, как новый гость, так сейчас меня позовут и — рассказывай да ничего не упускай! И всякий гость, как прослушает, так и скажет:

— Ну, твоя барышня далеко пойдёт, коли ей сам Государь Николай Павлович двери отпер!

— Вот и я говорю, — заканчивала обыкновенно няня,

принимаясь меня целовать, — будет моя барышня княгиней, аль графиней, аль ещё чем там больше и не забудет свою дуру няньку, так, что ли?

Я обнимала её ручонками, целовала и обещала никогда не забыть!

Федя играл со мной вырезанными из карт куклами; мы сажали их в сани, возили на прогулку, сажали за столы, кормили обедом и укладывали спать на кровати за ширмами из карты, сложенной гармоникой. Обе няни шили, изредка перекидываясь словами, в промежутки которых Марфуша мурлыкала какую-то песенку; кухня точно дремала, тёплая и тихая; на тяжёлых полках блестели ряды медных кастрюль, вытянув в ряд свои прямые хвостики; нагоревший фитиль пальмовых свечей бросал временами неверный свет, дрожал, вспыхивал, и мне казалось, что кастрюли виляют хвостиками, их круглые очертания представлялись мне выгнутыми спинами каких-то странных животных, я вдруг поражала няню вопросом:

— Няня, а кастрюли живые?

— Господь над вами, барышня, кастрюли живые? Да ведь они из меди, Марфуша-то, небось, знает, как их чистят — её дело!..

— А я видела, как они хвостиками машут!

— Выдумаете тоже, — смеялась Софьюшка, — хвостом машут!.. Что они, прости Господи, ведьмы, что ли?

— Няня, ты видела ведьму?

— Наше место свято! Зачем её видеть?.. Я так, к слову... Довольно того, что я вашего дедушку видела, *вот уж не к ночи* будь помянут!..

История об этом дедушке, богатом помещике, над которым была учреждена опека «за жестокое обращение», жила в нашей семье как страшная легенда о человеческих зверствах и распущенности. Бабушку, жену его, все уважали и любили, она, к её счастью, овдовела ещё молодая и получила немедленно казённое место начальницы института; единственный сын её, дядя Коля, воспитывался в лицее, а дочь (моя мать) вышла замуж по любви за молодого полковника, который бросил военную службу и принял место, как тогда говорили, «доходное», чтобы содержать прилично свою молодую красавицу жену. Начиная с детства и до моего замужества, то есть до самой

кончины моей дорогой бабушки, баронессы Доротеи Германовны Фейцер-Фр-к, я всё слышала отрывки из истории жизни моего деда, и, когда разрозненные звенья эпизодов, наконец, связались в моём мозгу в одну страшную, мрачную картину, я пожалела то время, пожалела тех, чья жизнь невольно вплеталась в жизнь этого человека-зверя, пожалела и его самого, потому что на него смотрели, как на чудовище, а это был просто душевнобольной, может быть, даже родившийся психически ненормальным человеком, место которого было скорее в сумасшедшем доме, чем среди общества.

— Няня, дедушка был очень злой?

— Ох, родная моя барышня, волк лютой, что в стадо бросается и овец терзает, добрей дединьки вашего! Он всё-таки, коли насытится, и лютовать не будет, а тому ни день, ни ночь, ни час, ни срок отдыху не было!

— И тебя он бил?

— Меня? Не то что бил, а убил бы, да и хуже того, несчастной сделал бы, кабы не бабушка ваша, барыня моя старая Дарья Германовна; любила она меня за то, что родилась я вместе с сыном ихним Александрешкой, который теперь уже помер; мать моя и кормила его... Большой грех за меня на душу старая барыня в те поры приняла, а только без этого не спасти бы ей меня и не быть бы мне в живых. Было мне тогда годков восемь, не более, девчонка я была здоровая, бойкая да румяная, дедушка-то ваш, уезжая как-то в Питер по делам, и сказал про меня бабушке: как вернусь, так Соньку приставлю к себе трубку закуривать, ну а уж барыня знали, что значит, коли девчонку барин себе берёт для этого дела. Ничего ему не ответила Дарья Германовна, а только, как уехал он, и меня она ночью с отцом моим выслала вёрст за сорок в другую деревню, где ейная подруга замужем была, а на другой день вышла моя мать со слезами да всем и объяснила, что больна я и в барыниной комнате лежу. И дня через три гроб сколотили, чурбашку туда положили и в могилку зарыли, даже поп отпел. Приехал недели через две старый барин, и ни один человек ему не выдал, что у нас тут было. Кто и знал, так за барыню стоял. Знали, что не меня одну, а всякого, кого могла, спасала она от лютойности мужа своего. Так я два года и прожила в чужой де-

ревне, у чуждой барыни, а тем временем много делов совершилось: бабушка ваша, Дарья Германовна, в столицу сбежала, до самой Царицы-Матушки дошла, дело разбирали, именья всего лишили дедушку и так тем самым рассердили его, что он и умер.

— Детский ум мой, не умеющий разбираться в значении фактов и схватывающий только слова, останавливается, конечно, под впечатлением бегства бабушки.

— Как убежала? — спрашивала я. — Далеко убежала? Устала она?

— А вот как убежала! Маменька моя мне всё это потом рассказывала. Окромя дяденьки, Николая Дмитриевича, как я вам сказала, был ещё жив и Александр Дмитриевич! Дедушка ваш черноволосый, что цыган, был, Андриюшенька наш весь в него пошёл, и Дарья Германовна темноволосая, и маменька ваша, и братец ихний, Николай Дмитриевич, а Сашенька — ведь вот, поди ж ты! — в мае родился и, что цветочек полевой, весь светлый, волосики жёлтые, глазки голубенькие, ровно херувим и кротости безмерной. Папашенька-то говорят: старший сын и не в меня, и не в мою породу! Я, говорит, отучу его за юбки-то прятаться. А Сашенька-то и вправду, как завидит отца, задрожит весь и норовит за няньку или за мамашеньку свою схорониться... Ну и отучал! Господи Боже мой, как отучал! С ученья-то с того самого и помер Сашенька, уж подростком был... Вот его-то смерти бабушка и не вынесла — убежала.

— Да как же она убежала-то? — допытывался Федя.

— А вот всё по порядку, дойдём и до этого... Уж коли начала рассказывать, так надо всё помнить. Одно из учений Сашеньки было такое: поставит папенька его на открытое окно лицом в сад, на голову ему наденет шапку тёплую, а поверх неё ружьё положит и почнёт стрелять ворон в саду, а бабушку-то, Дарью Германовну, в спальне на замок запрёт, уж та и молит, и просит, и рыдает за дверь, а он знай себе: паф да паф до тех пор, пока Сашенька без чувств на пол скатится. Толкнёт он его тогда ногой и уйдёт, а назавтра опять за то же. Гулять пойдёт — примется ребёнка учить плавать, а как учит? Разденет да в воду и бросит, как щенка... Только раз вот так-то и доигрался... Сидел Сашенька в углу комнаты и книжку читал, а дедушка у окна трубку покуривал да вдруг и крикнул:

— Александр, ступай в мою комнату, неси ружьё!..

Барыня и взмолилась:

— Дмитрий Александрович, Христом Богом прошу, не тронь ребёнка, дай ему хоть неделю отдохнуть, извёлся он совсем, по ночам не спит, горит весь...

— Небось, — говорит, — не сгорит, а учить надо, зачем такую дрянь родила!..

А бабушка-то молит, известно — мать, встала на колени и руки целует, а Дмитрий Александрович и толкни её в грудь...

С Сашенькой ровно что случилось! Вскочил, побелел, что плат, затрясся да к отцу, глаза-то горят, как у волчонка! «Не смей, — кричит, — бить маму! Не смей!» — и кулак на отца поднял. Захохотал барин да как хватит чубуком черешневым Сашеньку по головке... упал тот... да так и зашёлся, словечка не крикнул... Что тут было, что тут было — не приведи Господи! Барыня бросилась к барину, и сорвалось тут у неё страшное слово... Коли ты, говорит, убил моего сына... и Божьим проклятием пригрозила! Маменька моя у дверей стояла и всё слышала, вбежала тут она в комнату, подхватила ребёнка на руки и бросилась вон, а бабушка за ней... А барин кричит: «Убью, убью, Дарья, убью!». Побежал он в свой кабинет, схватил ружьё и бросился за барыней, а та вместе с моей маменькой в спальню вбежали и дверь за собой на замок заперли, а дверь-то дубовая, пушкой не расшибёшь... Барин давай дверь ломать и всё кричит: «Убью, убью, Дарья!..». Сашенька-то очнулся и застонал. Маменька моя давай молить барыню бежать. «Бегите, — говорит, — матушка барыня, Христа ради, бегите на деревню, там вас спрячут, а к ночи гнев у него уляжется и вернуться можно... те дети далеко с мадамой в лесу, а Сашеньку я не выдам, да он теперь его и не тронет...».

Дарья-то Германовна знала, что Сашеньку маменька моя лучше её самоё отходит, коль Бог поможет... Перекрестила она его, да из окна и выпрыгнула, да садом, оврагами на деревню. На их счастье, барыня старосту повстречали, а тот мужик умный, как услышал, в каком раже барин находится, до того осмелился, что схватил барыню за руки да задами по огородам с нею бегом в самую бедную избу, разваливающую, бобылки старухи Афимьи. Печки-то знаете, Марфуша, небось, наши русские? По суббо-

там в них мужики да бабы парятся, так вот в эдакую самую печку и схоронили они Дарью Германовну, заставили её корчагой старой квасной и заслонку не закрыли, и в избе дверь открытой оставили; старуха-то Афимья легла на лавку в угол под образ и ну стонать, как больная... Староста убёг, а через минуту на селе уже такие страсти стояли, что не рассказать!

Барину дверь-то маменька моя как отперла, потому Сашенька опять чувства лишился, так и увидел он, что барыни там нет, на сына и не взглянул, а заметив окно открытым, сам в него прыгнул да на деревню, что лютый зверь. С ружьём из избы в избу бегал, подай ему барыню, да и только! В воздух стреляет, бабы воют, на коленях на улице стоят, ребята ревут, за матерей прячутся, девки — кто куда: которая в лес, которая на гумно, одна от тех страхов в колодезь о ту пору бросилась, так и утопла без помощи — не до неё всем было...

Забегал барин и в избу Афимьи, да та от стопа слова вымолвить не могла! Видит он — изба на все ветры открыта и, окромя больной старухи, ни души, он туда больше и не вернулся...

До ночи рыскал, пригрозил: деревню, говорит, сожгу всю, мужиков всех в солдаты, лоб забрею, а баб пытать стану — кожу сдеру!.. К ночи вернулся он домой, заперся в кабинете и начал пить; под утро стих, видно, сломился, заснул...

Барыню-то нашу, голубушку, крестьяне в ту ночь на лошадях за сорок вёрст к ейной подруге справили, где и я жила, а та её сейчас на своих заводских конях да к губернатору самому, тот её дальше да больше, да так до столицы, до самого Государя быстро дошла она, да, слышь, в самые ножки Царёвы-то и упала. Так и так — извёл... измучилась... сына убил... Сердце-то матери, известно, вешун — угадало... Сашенька-то к утру того дня преставился... Андел, мученик святой! — Няня утёрла слёзы и долго крестилась... — Эта-то смерть только барина и удержала... Слово-то страшное, что Дарья Германовна молвила: что коли убил сына... — устало, небось, и в его душе осталось... Ни деревню не сжёг он, ни людей не тронул, а заперся у себя в кабинете, в доме-то, что в могиле, — все притаились, неделю Сашенька без погребения: кто без

отца-матери хоронить господское дитя осмелится! Священник, батюшка Никанор, и тот не посмел приступить-ся, а тут гроза и грянула: сам губернатор приехал, разных властей понаехало... похоронили ребёнка... Что тут с барин-ном толковали, чем его в резонт привели — никому неизвестно, а только всё он узнал: что сама барыня до Царя дошла, что приказ есть крестьян отобрать от него и самому ему срок даден в столицу явиться... Маменька моя да мадама с детьми — нашей теперешней барыней Надеждой Дмитриевной да братцем ихним Николаем Дмитриевичем — были отправлены в Петербург.

Уж тут даже не знаю, как и говорить, — задумывалась няня, разводя руками, — разно толковали люди, и всех не переслушаешь; то ли с сердец у барина печёнка лопнула, с обиды ль да с гордости сердце не выдержало, то ли сам на себя он руки наложил, а только конец ему пришёл близкий: стал он всё пить да по ночам кричать, всё ему Сашенька покойный представлялся, и наутро нашли его в кровати у себя мёртвым.

Вот какие страшные дела на деревне у нас были и каких ужасов понагляделись люди от старого барина Дмитрия Александровича. Бывало, маменька моя, царство ей небесное, ночью вскочит, вся дрожит, потом обливается — барин ей приснится; они оттого молодые и померли, что такими страстями надышались, а то чего им не жить? Как с детьми приехали в Петербург, так Дарья Германовна их к себе и взяла, а уж характер старой барыни всем известен — ангел по доброте.

А теперь вон и барыню Надежду Дмитриевну вырастили, замуж отдали, и дочушка ейная, моя барышня ненаглядная, у меня на руках; своо мужа схоронила, свою дочку Софью чуть что уж не вырастила, время-то не лежит, а вперёд бежит, а только хоть и девчонкой я деревню покинула, всё-таки скажу — хорошо там: река, лес, опять по зорям пастух играет, ой, как хорошо!

* * *

...Так ли, теми ли самыми словами рассказывала моя няня — не знаю! Но так, именно так, в этих самых выражениях, с этими жестами, с этой ясной до мельчайших подробностей обстановкой кухни запечатлелись эти рас-

сказы в моей памяти. Теперь, на склоне моих лет, я ничего не сочиняю, ничего не придумываю; картина детства встаёт целиком передо мной, и слова льются, как подсказанные. Правда, рассказы эти повторялись при мне часто и в разное время, потому что жизнь моей няни (бывшей тогда крепостной), неотлучно связанная с моим детством, была, наверно, небогата собственными интересами, а потому память её беспрестанно возвращалась к ярким и страшным картинам её собственной юности.

III

*Моя бабушка. — Ипполитова Лыска. — Розги.
— Как меня спасает бабушка.*

Присутствие наше, то есть Федино и моё, в большой чистой кухне, вероятно, разрешалось матерью (отец, очевидно, не играл никакой роли в нашем воспитании), и мы заседали там по тем вечерам, когда не бывало дома гостей и никакой стряпни не предполагалось; обыкновенно же стряпавший на нашей кухне повар после обеда, прибрав всё с помощью Марфуши, уходил в общее помещение для всех слугителей при корпусе — мать не терпела, чтобы без дела между подчинёнными ей женщинами болтались денщики или другие лица мужского пола; даже собственного крепостного Стёпку, которого я мельком видела в голубой ливрее, она временно переуступила своей двоюродной сестре Любочке.

Самой светлой, самой красивой, самой любимой личностью в моём детстве была моя бабушка, та самая Доротея Германовна, баронесса Фейцер-Фр-к, которую когда-то старуха Афимья спрятала в своей печи.

Я слышала впоследствии, что многие называли мою мать красавицей, и никогда не могла согласиться с этим. Или мать слишком рано отцвела, или собственное моё понятие о красоте не подходило к ней: мать моя была среднего, почти маленького роста, очень худошавая брюнетка, с желтоватым цветом лица, длинным, очень тонким носом, несколько свесившимся к выдающемуся острому подбородку; глаза её были тёмные, с хорошими ресницами, но часто мигали и в них не было широкого, пря-

мого взгляда; чёрные волосы её, разделённые на бандо прямым пробором, всегда были покрыты каким-нибудь «фаншоном» из чёрных кружев; маленький рот с тонкими губами сжат с выражением горечи и обиды; очень худые тонкие пальцы унизаны кольцами... Такой я помню её в институте, куда она аккуратно приезжала ко мне по четвергам и воскресеньям, всегда с гостинцами, но и всегда с длинными строгими нотациями, превращавшими наши свидания в тяжёлые, скучные минуты; она всегда становилась на сторону классных дам, начальницы и учителей и мучила меня нравоучениями.

В годы до вступления в институт я её *почти не помню*, точно все свидания мои с ней были так же мимолётны, как рассказанные вечера, когда я в сопровождении няни Софьюшки появлялась в освещённых комнатах, причём отца заставляла за карточным столом, и он поил меня шампанским, мать — за роялем, окружённую офицерами и другими гостями.

Бабушку же свою я помню во весь её рост, с её большими карими, строгими и в то же время необыкновенно добрыми глазами. Её жесты, походка, улыбка, смех, голос — всё, всё так и стоит в моих глазах, так и звучит в памяти. Бабушка была высокого роста и так ходила, как должна была в моём воображении ходить царица; бабушку всегда все, начиная с моих отца и матери, боялись, но не страхом, а особым почётом, уважением, как высшее существо; в её присутствии все подтягивались, всем хотелось быть лучше, удостоиться от неё похвалы или поощрения. После смерти мужа, потеряв состояние, она приняла казённое место (которое оставила впоследствии, чтобы жить со своим сыном Николаем Дмитриевичем, когда тот кончил лицей) и всё-таки вращалась в самом высшем петербургском кругу, притом не она, а к ней ездили все, кто только её знал.

Я помню на бабушке платья только трёх цветов: всегда чёрное шёлковое или бархатное, смотря по обстоятельствам, перламутровое — в торжественные дни и белое — в годовые большие праздники и в дни её причастия (бабушка была лютеранка); ни колец, никаких золотых вещей я на ней никогда не видала, но кружева её вызывали кругом завистливые похвалы и удивление. Густые волосы

бабушки, мне кажется, были всегда седые, красивого цвета старого серебра, без малейшей желтизны: причёсывалась она с прямым пробором, гладкими бандо и короткими буклями, скрывавшими уши; лицо её было всегда бледно и бело, как слоновая кость, лоб перерезывала чёрная бархатка* в палец ширины; говорили, что бархатка эта скрывает глубокий рубец от нанесённого ей дедом удара. Без этой чёрной оригинальной полоски я её никогда не видела, с ней она лежала и в гробу.

К нам бабушка приезжала часто, и мы при ней всегда были особенно светлые, радостные, не плакали, не ссорились. Она всегда осуждала мою мать за чересчур модные наряды, в которых нас водили, и за розги, составлявшие один из принципов нашего воспитания. Дни, когда меня отпускали к бабушке, были днями весёлых праздников: во-первых, у бабушки был серый попугай, который говорил, как человек, и давал себе чесать головку. Была собачка Душка № 2, дочь моей Душки, такая же белая с коричневыми пятнами, мохнатая, добрая и пустолайная; потом у бабушки был волшебный шкаф... Когда его дверь открывалась, мне казалось, что он вмещает в себе всё, что необходимо для человеческого счастья: в нём были стеклянные бокалы с леденцами, бульдегом, монпансье и какими-то мелкими драже в виде коричневых бобов, они таяли во рту, оставляя на языке вкус кофейного ликёра.

Там же были книги с картинками и ящик с крупным круглым разноцветным бисером, из которого я нанизывала себе ожерелья и кольца. Я никогда не видела бабушку у себя дома без работы, и те немногие знания вышивания, вязания и шитья, которые так пригодились мне впоследствии, я получила от бабушки в те счастливые часы, которые под говор Жака и радостный лай Душки я проводила у её ног. Я никогда не слыхала, чтобы бабушка сердилась... В минуту неудовольствия она смолкала, глядя пристально и грустно на виноватого, и этого было довольно: мы, дети, в такие минуты с плачем бросались целовать её руки и просить прощения; даже непокорный, всеми балованный красавец Андрей обожал бабушку и смолкал перед ней.

Бабушка была невольной причиной большой «козвей

* Эта бархатка шла по лбу, а концы её уходили под волосы.

драмы», разыгравшейся в нашей семье незадолго до болезни отца и моего поступления в институт.

Было это так.

Не помню, по какому делу, но няня моя была отправлена матерью на несколько часов из дому. Уже одетая, Софьюшка привела меня в комнату матери и дорогой, идя по коридору, наказывала мне быть умницей, играть с куклой, которую я несла в объятиях, не надоедать мамашеньке и ждать, пока она, няня, вернётся и придёт за мной. Я тихо вошла в большую комнату.

Около окна за пальцами сидела мать и вышивала. Она была большая искусница и любительница всяких канвовых работ. Подойдя к матери, я сделала реверанс и поцеловала её руку, она погладила меня по голове.

— Ты, Софья, там лишнего не болтай у Любочки (Любочка — это была та тётя, у которой жил Стёпка в голубой ливрее), а то там как со своим Стёпкой начнёте про деревню, так тебя и к ночи не дождёшься.

— Матушка барыня, да смею ли я...

— Все вы теперь смелые, — тихо и сердито сказала мать, намекая на всё больше и больше ходившие слухи о воле. — Поддай сюда скамеечку, вот тут поставь её возле палец и посади Надину. Ты чем хочешь заниматься? — обратилась она ко мне.

А я уже увидела на её пальцах несколько пар блестящих ножниц, и глаза мои разгорелись.

— Позвольте мне, тата, ножницы и карточки, и я буду кукол вырезать.

— Ну, вот и прекрасно! Нянька, поддай там со стола разрозненную колоду карт.

Мать отобрала небольшую пачку и вместе с маленькими ножницами, имевшими тупые закруглённые концы, передала мне.

Я улыбнулась, довольная, задвинула скамеечку под самые пальца, села там, как в маленькой комнатке, поместила против себя куклу и принялась за вырезывание. Няня под предлогом поправить мне платье, нагнулась под пальца, поцеловала мои руки и, шепнув: «Будьте умницы», вышла.

Тогда от окна отошла третья особа, выжидавшая терпеливо, пока мать сядет снова за вышивание. Это была

одна из приживалок, которыми всегда окружала себя мать; бесцветная, безличная Анна Тимофеевна, дальше имени которой я ничего не помню, взяла книгу, присела около пядец и громко продолжала по-французски, очевидно, прерванное чтение.

Не понимая, конечно, ни слова, я сидела тихо, поднимая изредка голову, следя за мелькавшей внизу рукой матери и любуясь длинными концами разноцветных шерстинок, висевших книзу, как борода. Теперь мать шила фон одноцветной зелёной шерстью, а пёстрые концы шли от всевозможных цветов, которые она, вероятно, чтобы не прерывать работу, оставляла незакреплёнными. Тогда никакого подобного соображения, конечно, не было в моей голове и, считая эти висевшие над моей головой хвостики никому ненужными, я, забыв и карты, и куклу, усердно принялась отрезать их у самой канвы, чтобы получить как можно более длинными. Идиллия эта нарушилась вдруг раздавшимся в соседней комнате быстрым топотом детских ног, чтение оборвалось, мать нервно вскрикнула, когда в отворённую дверь вбежал Ипполит. Высунув голову из-под пядец, я видела его заплаканное лицо, и сердце моё забилося от страха: вбегать в комнату татап без зова, конечно, не было в наших привычках.

— Матап, татап! — кричал Поля. — Лыску убили, я сам видел — солдаты убили Лыску, мою Лыску.

Лыска была рыжая некрасивая собака, которую Ипполит давно уже притащил как-то с улицы домой. Мать была всегда добра к животным и на горячие просьбы мальчика позволила оставить её в квартире с условием, чтобы та не появлялась в комнатах. Лыска жила в кухне и, вероятно, вследствие этого обожала комнаты и пробиралась в них всегда, когда только находила возможность прошмыгнуть незаметно. За всё, в чём только могла провиниться Лыска, доставалось брату Поле, тем не менее он был нежно привязан к собаке, делился с ней всем и в отсутствие матери часами играл с ней и возился. Из окна своей комнаты он видел, как солдаты палками били что-то рыжее, мохнатое (оказавшееся впоследствии меховым ковриком генеральши). Пылкая фантазия мальчика разыгралась, и с воплем и криком он бросился за помощью и защитой к матери.

— Маман, — рыдал он, весь дрожа, — прикажите отнять от них Лыску, мою Лыску, они бьют её палками!

— Что такое? Что такое? — кричала мать, зажимая уши руками. — Где твоя гувернантка? Где mademoiselle Marie? Как ты смел так ворваться ко мне?

— Маман, Лыска...

Но в это время случилось самое неожиданное: Лыска, давно пробравшаяся в комнату и сладко спавшая под диванчиком, прикрытая его длинной шёлковой бахромой, вылезла оттуда, потягиваясь, сладко зевая и виляя своим пушистым хвостом.

— Маман, вон Лыска! — крикнула я и захохотала. Поля бросился к собаке, ухватил её за шею руками и стал целовать.

— Это он нарочно! Вас напугать хотел! — зашипела приживалка.

Этого было совершенно достаточно, чтобы мать, всегда безмерно строгая к Ипполиту, вспылила, схватила его за ухо и потащила из комнаты с криком:

— Это тебе так не пройдёт! Так не пройдёт! Розог...

Когда через несколько минут мать, усталая, красная, ещё сердитая (так как она всегда сама производила экзекуцию), вернулась, то застала меня лежащей на ковре в страшных слезах; Лыска была уже выгнана, а Анна Тимофеевна рассказала ей, как я её била ногами и руками в живот, когда она нагнулась утешить меня.

— Господи, какая тоска! Минуты нет покоя, — сердилась мать, — эту Софью только пошли, так она и провалится...

В эту минуту приживалка нагнулась поднять клубок упавшей шерсти и так ахнула, что я моментально вскочила на ноги. Мать тоже взглянула на пол и всплеснула руками: пёстрые кончики шерстинок лежали и кучечками, и вразброс. Она бросилась к вышиванию и удостоверилась, что незакреплённые крестики цветов начали уже распускаться; приходилось каждый из них распаривать до тех пор, пока нитка будет настолько велика, что ею можно будет закрепить.

— Нет, это невозможно! Это невозможно! Эта дрянная девчонка испортила мне всю работу!

Теперь она меня схватила за руку, тащила из комнаты и громко кричала: «Розог!».

Но на пороге она встретила с входившей бабушкой, из-за плеч которой виднелось бледное, перепуганное лицо няни Софьюшки.

— Бабушка, ба-буш-ка, баба милая! — рыдала я, цепляясь за её платье. — Лыску солдаты били, а Полю высекли, Лыска спряталась под диван, а я под пяльцами красные ниточки резала; не буду, не буду никогда, не буду, не надо розог, ба-ба, ба-буш-ка!

— Да что это такое? Что у вас случилось? — бабушка властно взяла меня из рук матери и передала няне, которая немедленно исчезла со мной в детской.

С леденцом во рту, обняв за шею няню, я долго ещё плакала, а Душка, забравшаяся на стол, лизала мне уши и глаза. Я рассказывала про пёстрые ниточки, висевшие вниз, просила их отдать назад маме, спрашивала, есть ли у няни ещё леденчик, чтобы передать Поле, которого больно-больно высекли, и сказать Лыске, чтобы она не ходила к солдатам... Наконец, утешенная, помытая, я заснула на кровати.

Бабушке, как всегда, удалось успокоить мать и выпросить для меня прощение. Ипполита же привела гувернантка и в силу педагогики заставила его тоже просить прощения, которое он после долгих нотаций и получил.

IV

Шесть разбойников и бабушкин подарок.

Я могла не знать, какой день был, когда стряслись все описанные события, но я хорошо знала, что на другой день была суббота. Об этом мне заявили по очереди все три брата, отправлявшиеся в кадетский корпус за тремя двоюродными братьями: Евгешей, Виктором и Сашей, проводившими у нас все праздники. Каждый из мальчиков был в эти дни горд и преисполнен презрения ко мне — девчонке.

— Нянечка, — говорил Ипполит, — не пускай к нам Наденьку: мы можем её ушибить, когда развозимся.

— Не ходи к нам, — предупреждал Федя, — а то они кадеты сильные, вздуют тебя.

— Если ты, нянька, — с расстановкой заявлял Анд-

рей, сжимая кулаки и блестя глазами, —пустишь к нам девчонку, так уж пусть она не ревёт и не бежит жаловаться, если мы ей бока намнём! Сегодня у нас будет большая война, все городские ворота (двери их классной и большой отцовской канцелярии, отдававшей на эти дни в их распоряжение) будут заперты; я сам расставляю стражу и буду обходить; женщин будем расстреливать, если будут пытаться проникнуть к нам. Слышала? — И, грозно сдвинув брови, он важно прошёл дальше.

Няня, по моим шевелящимся губам и возбуждённому лицу хорошо понимая, какую прелесть имеет для меня эта война и каких страшных усилий будет ей стоить удерживать меня в детской и не дать проникнуть туда, *за городские ворота*, старается внушить мне достоинство:

— Не больно-то мы и рвёмся к вам, как бы вы к нам не запросились! Мы с барышней в кухне сидеть будем, из люка разных гостинцев свежих достанем, сказки станем рассказывать, — и, говоря это, она наблюдает за мной, но, увы! сердце моё горит одним желанием — быть там, с мальчишками, с шестью весёлыми разбойниками, крики и хохот которых страшно заманчивы.

— Я тоже хочу играть в войну!.. — кричу я сердито.

— В войну! Ты — девочка! — Андрей оборачивается, презрительно хохочет и подходит ко мне. — Знаешь ли ты, что из каждого осаждённого города прежде всего удаляют женщин и детей! Всегда! Понимаешь? Как же я могу дозволить, чтобы мои войска, которые будут брать сегодня приступом город, где заперётся Евгеша со своим войском, стреляли по женщинам? Нянька, втолкуй ей это! — И, трясая плечами, как генерал, надевший впервые густые эполеты, он уходит, за ним, полные покорного восхищения, идут Ипполит и Фёдор.

Ничто: ни краснобокие яблочки, ни Душкины прыжки, ни нянина ласка — не могут утешить меня в том, что я не увижу, как *приступом* берут города, как Евгеша с войском будет защищаться, и я горько плачу, топая ногами от бессильного гнева.

— Натальюшка пришли и что-то принесли барышне от бабиньки Доротеи Германовны! — докладывает Марфуша, забежав в детскую.

Мигом мои слёзы высыхают, няня наскоро мокрым

полотенцем утирает мне лицо и оправляет вышитый фартучек и ленту, связывающую снопом мои густые рыжие волосы.

Натальюшка — это любимая горничная бабушки, её ровесница и наперсница, никогда не расстававшаяся с ней, даже в ту ночь бежавшая вместе с ней за сорок вёрст в чужое имение и оттуда в Петербург.

Тихая, маленькая, сморщенная, выглядевшая гораздо старше бабушки, беззаветно преданная ей, она являлась всегда к нам с подарками или приглашениями.

Натальюшка вошла степенная, помолилась на образа, поцеловала мои руки, потом уже поцеловалась с няней и расспросила её, почему у барышни личико покраснелось.

Когда я впоследствии, имея уже своих детей, приходила в столкновение с наёмной прислугой, то невольно с глубокой благодарностью возвращалась к воспоминаниям о моём детстве. Кругом были крепостные — рабыни, их, вероятно, очень редко выпускали из дома, потому что, мне кажется, няня всегда была со мной, и, между тем, я не могу припомнить ни одного грубого слова, ни одного ворчания, нетерпеливого рванья за руки или за плечи, как я часто видела это от современных нянек в садах и скверах.

Моя мать требовала от прислуги необыкновенной вежливости к нам, детям, заставляла их говорить нам «вы» и целовать наши руки, но мы, покоряясь бессознательно этой «форме», детскими сердцами нашими обожали своих нянек, и даже Андрюша, говоривший повелительно и грубо, всегда кончал тем, что бросался к моей няне, да и Марфуше на шею, душил их в объятиях, и те, называя его «наш разбойник», готовы были покориться всем его прихотям. Ипполита, почему-то не любимого матерью, защищали, прятали и после всякой экзекуции усиленно ласкали и кормили гостинцами. Вообще, между родителями и прислугой было доверие: первые верили в их любовь и преданность, вторые — в то, что материальная их жизнь обеспечена от господ до гроба, что, родившись при своих господах, они при них же и умрут. Сколько я помню, у няни была хорошая кровать, груды подушек, пёстрое одеяло, большой сундук, оклеенный в крышке картинками и всегда почему-то внутри хорошо пахнувший яблоками. Она была одета всегда в ситцевое платье (вероятно, шерстяные считались

неподходящей роскошью) и белый передник; ели няни хорошо, хотя отдельно на кухне, а за нашим детским столом служили, стоя за стульями. Ключи от сахара, чая, булок были всегда при моей няне, и в люк она ходила и брала там, что хотела, властной рукой. Брани или грубого обращения с людьми я от моих родителей не слыхала и *никогда* обратно от людей, окружавших меня, не слыхала ворчания или непристойного суждения их господских дел; напротив, нам внушались любовь и покорность: «Избави Бог, мамашенька или папашенька услышат!»; «Кабы мамашенька не увидела слёзок ваших, огорчатся они!» или: «Ох, как стыдно стало бы, если бы папашенька вдруг вошёл!» и так далее... И не у меня одной, а у многих, родившихся при крепостном праве, осталась горячая благодарность, неизгладимая признательность к вынянчившим, выхोдившим нас няням. У меня и теперь и образ моей няни, и голос её точно где-то глубоко схоронены в сердце, и в минуту усталости, тоски и того жуткого одиночества, которое знают все люди моих лет, когда так хочется участия, простой искренней ласки, обнять кого-нибудь, прижаться к груди и выплакать накопившуюся «обиду жизни», точно дверь какая откроется в груди, и без всякого намёка на прошлое из тумана выплывает лицо моей Софьюшки, и тихо внутри меня просыпаются ласковые слова, баюкающие, утешающие и успокаивающие...

Я очень любила Натальюшку и потому, усевшись у неё на коленях, пока нянечка побежала готовить гостье кофе, рассказала ей всю обиду.

— И... и... есть о чём плакать? Мало вам, моё золото, шишек-то они поставили в войнах своих; забыли, как два дня в кроватке лежали, как Викторюшка вам деревянным мячом в голову угодил, тоже вас тогда с галдареечки увести не могли, всё прыгали глядеть, как одни со двора бомбардировку вели, а другие сверху защищали крепость из карточных домиков; допрыгались... за дохтуром Карлом Карловичем посылали... А кто плакал, как они заставили своим раненым корпию щипать, а потом оказалось, что корпия-то эта самая — шерсть с вашей Душки была; весь хвост ей, все бока повыстригли, срам было собаку на улицу выпустить!.. Оставьте их, барышня ненаглядная, посмотрите лучше, что бабинька-то вам прислала, вы такой штучки и не видывали,

заграничная, в швейцарском магазине куплена... Давай, няня, развяжем диво-то, что я привезла нашей Наденьке...

Вошедшая с кофеем няня поставила на комод поднос и принялась развязывать большой пакет.

Из тонкой бумаги первыми показались золотые загнутые рожки, потом большие блестящие глаза, головка в белой шерсти с розовым длинным ртом, широкий голубой ошейник с бантом, туловище блестящей лёгкой шерсти и четыре стройные ножки козы без доски, без этой противной доски, которая отнимала всякую иллюзию: колёсики оказались вделанными в копытца...

Когда это чудо освободилось от верёвок и бумаги, Натальюшка взяла игрушку за повод и — о, чудо! коза поехала на колёсиках, передвигая ножками, а когда она нагнула ей голову... нижняя челюсть отделилась, и в комнате ясно прозвучало: «Мэ-э-кэ-кэ...».

— Живая? — спросила я шёпотом.

— Не живая — где в комнату живуюпустишь! — а сделана на манер живой... Царская игрушка! Вот как бабинька вас утешить хочет. На улицу с собой возьмёте, так все ребяташки за вами побегут, потому — невидаль!

Я села на пол возле козы, сперва молча рассматривала её, тихонько дотронулась пальцем до её чёрного носика — носик был сух и тёпл, у Душки он всегда холодный и влажный, затем я решилась потянуть её за морду, рука моя задрожала и живо отдёрнулась, когда послышалось новое «мэ-э-э-кэ-кэ», и вдруг я залилась хохотом и стала снова и снова уже смело тянуть козу за голову; храбрости придала мне Душка, влетевшая в комнату с прогулки и залившаяся лаем при виде козы. Я толкнула игрушку, та покатила на колёсиках, передвигая ногами, а Душка от страха забила под кровать и оттуда лаяла с ожесточением и в то же время с трусливым визгом.

— Барышня, мамашеньку не беспокоить бы нам! Цыц, Душка, глупая! Думает, вы себе новую собачку завели...

Я уже совершенно освоилась с козой, целовала её в самую розовую мордочку и перебирала так весело звонившие бубенчики, которыми был убран весь ошейник. Я, может быть, отдавшись вся радости новой игрушки, забыла бы и войну, и обиду, нанесённую мне братьями, но няня нечаянно указала мне новый путь к достижению заветной цели.

— Если бы теперь братцы узнали, какая у вас игрушка, сами бы поклонились, только дай поводить за поводочек!

— Нянечка, ты думаешь, они прибежали бы теперь ко мне?

— Да только бы узнали, так нам от них теперь не отвязаться, всю свою штурму бы забыли!

— Нянечка, милая, — я обняла её за шею, — нянюшка, золотая!

— Да что вы, что, моя барышня золотая, в чём дело?

— Нянечка, пойдём к ним, покажем мою козу, только покажем...

— Милая барышня, — вступилась Натальюшка, — не мальчиковская эта игрушка, все-то шестеро как налетят, так и несдобровать в ихних руках эдакой заграничной штучке, уж показывать ли? Не повременить ли денька два, куда кадеты-то не уйдут к себе в корпус?

Но мне уже так страстно хотелось идти туда сейчас и доказать им, что я вовсе не плачу, не скучаю без них, что у меня такая игрушка, какой они и не видали никогда, я продолжала умолять и няню, и Натальюшку до тех пор, пока они не согласились.

— Ну, хорошо, что с ней поделаешь! Уж коли чего захотела — не отступится... бабинькин характер, — смеясь, заметила Натальюшка, — сведи, Софьюшка, её к братьям, пусть похвастается козочкой... а я прощусь с вами да и домой, спасибо за кофе, Софьюшка, — она снова расцеловалась с няней.

— А бабиньке что сказать?

— Бабушке скажи, Натальюшка, что я к ней с козой в гости приеду, что я теперь с козочкой и спать буду, вот — Душка на кресле возле, а козочку в кровать возьму, так, — и я показала, как собираюсь спать в объятиях с козой.

V

Козья драма.

Через несколько минут я, вся сияя от предстоящего торжества, шла через коридор к дверям комнаты — папиной канцелярии, которая была по пути к половине маль-

чиков. За собой я вела козу, беспрестанно оглядываясь на неё. Душка, уже начинавшая понимать неопасность своей соперницы, шла за нами, косясь на игрушку и время от времени обнюхивая её шерсть; единственное, что ещё пугало её и приводило в сомнение, это блеяние, которое заставляло её немедленно поджимать хвост, отскакивать в сторону и заливаться лаем. За нами шла няня.

Дойдя, мы остановились и, как заговорщики, посмотрели друг на друга.

— Заперлись, — прошептала няня, тронув дверь за ручку.

— Кто там? — слышался звонкий голосок брата Ипполита. — Городские ворота заперты, и без пароля никто не пропускается. Пароль?

— Ишь ты! Воин... — улыбнулась няня, — ну-ка, Надечка, потяните козу за голову.

— Мэ-э-э-кэ-кэ! — отчётливо, громко раздалось по пустому коридору.

— Кто это? Что это? А! — слышались восклицания Поли, метавшегося за дверями, в щель под дверью раздалось фырканье и ворчанье, очевидно, этот пост защищала с ним Лыска.

— Мэ-э-э-кэ-кэ, — заливалась коза.

Дверь быстро открылась, в ней показался Ипполит, подпоясанный поверх своей серенькой курточки каким-то фантастическим красным шарфом. На голове его был игрушечный кивер Павловского полка, в руках — ружьё. Лыска, ошестившись, с открытой пастью, бросилась на козу, но тотчас же, как я двинула игрушку вперёд и та, передвигая ножками, покатила, отскочила за брата и залилась трусливым лаем, совершенно не понимая, какого рода зверь был перед ней.

— Нянечка, поддержи ружьё и каску! — и, сдав военные доспехи, Ипполит уселся самым миролюбивым образом около козы и точно так же, как и я в первую минуту, с восторгом стал осматривать ей рот, рожки, глаза, бубенчики и заставлял блеять.

В это время за противоположной дверью раздались дикие крики, команда Андрея, выстрелы бумажных пистонов, и в канцелярию вдруг ворвались Фёдор в халате и ермолке, изображавший турка, Евгеша в кадетском мундирчике с саблей, в кавалергардской каске; их преследовали Викторюшка, Саша

и Андрей. При виде Ипполита, сидящего на полу, и нашей группы Андрей разразился страшными криками.

— Измена! Городские ворота отперты, женщины впущены... расстрелять!!! Рас-стре... — он вдруг запнулся, увидев козу.

Тут же, в коридоре, у дверей, все шесть мальчиков разглядывали и тянули друг у друга невиданную игрушку. К моей радости и гордости, больше всех ею восхищался Андрей и вдруг обратился ко мне:

— Знаешь что, девочка, я мог бы забрать тебя с нянькой в плен, а козу твою отобрать как военную добычу... да ты не реви, я ведь её от тебя не отнимаю, а вот хочешь играть с нами?.. Ага, смеёшься? То-то! Нянечка, ступай к себе. Надечка останется с нами... и с козой.

— Нет, батюшка Андрей Александрович, уж этого я никак не могу: избидите вы Надечку и козочку поломаете.

— Вот выдумала! Надюшка, разве я обижал тебя когда?

И я, забыв все шишки, толчки и обиды, с просиявшим лицом и дрожа при мысли, что няня не оставит меня в таком весёлом обществе, бормотала, заикаясь: «Нет, нянечка, нет, милая, оставь, Андрюша никогда не обижает!».

— Не могу, барышня, не могу! Ишь, палок-то у них, и ружья, и сабли... нет, не могу!..

— Нянька, мы и в войну не будем играть, хочешь, к тебе в комнату снесём все наши доспехи, там арсенал сделаем? — Андрюша не выпускал из рук рога козочки. — Вот, мы будем играть в Робинзона, там без козы нельзя.

— В Робинзона! В Робинзона!

Все оказались в восторге от новой затеи.

— Мы постелим на пол зелёное сукно с канцелярского стола — это будет лужайка. Надя станет пасти на ней козу, доить и приносить нам молоко. Хочешь, девочка?

— Так-то так, Андрей Александрович, да как же без меня-то барышня?

— Нянечка, — выступил Евгеша, самый любимый из моих двоюродных братьев, — я тебе отвечаю за Наденьку, слезинки не будет у неё. Мне-то доверяешь?

— Уж если я сказал, — перебил его Андрюша, — что не трону, так не трону, слово честного солдата, я беру её под своё покровительство!

— Няня, оставь её нам, — тянули меня за руки Ипполит и Федя.

— Ну уж, хорошо, хорошо, когда вы, шесть мальчиков, таких больших и умных, обещаете мне не обидеть ребёнка, надо же поверить вашей совести; я рада заняться, мало ли у меня делов-то? Только уж ежели что, сохрани вас Боже, я за Наденьку знаете как с вами поступлю... — и няня, ещё раз оглядев всех мальчиков, наконец ушла.

Я в сопровождении козы, наконец, проникла за городские ворота, и когда Андрюша не только запер их за нами, но даже повернул ключ, мы беспечно шли вперёд, не задумываясь над тем, так ли весело и спокойно мы выйдем обратно.

Нянечка не устроила у себя арсенал и не отобрала оружия, не подозревая, какую роль будет играть оно при Робинзоне.

Как всё началось хорошо и весело!

Рассмотрев козу со всех сторон, заставив её ходить и бляеть, Андрей кивнул головой и сказал:

— Хороша штука!.. Голос-то у неё где? — он нахмурил свои красивые, правильные брови и, подумав, сам себе ответил: — Ага! понимаю... Тут, под голубым галстуком, да, он растягивается и собирается, как гармоника... Хорошо! Примем к сведению...

Ломберный стол был повален на пол ножками вверх, он изображал плот, на котором, упираясь палкой в пол, плыл одинокий, печальный Робинзон. С ним было только оружие, припасы, порох, коза и собака, которых он спас с разбитого корабля.

Мы в это время сидели все на диване, повернутом спинкой в комнату, так как он изображал скалу, а мы — диких, следивших из-за засады за приближением к нам несчастного белого. Ипполит, воображение которого всегда страшно разыгрывалось, уже воткнул в свои спутанные курчавые волосы два гусиных пера, выхваченных мимоходом из канцелярской чернильницы. Он, изображая радость дикаря, с необыкновенными кривляньями прыгал по дивану, наступал нам на ноги, получал толчки и не обращал ни на что никакого внимания. Федя то сопел, уткнувшись подбородком в спинку, то, надув щёки, изображал из себя ветер, потому что тогда, объявил он, была

буря. Евгеша пояснил мне все действия Андрея: вот он причалил, оступился, упал в воду, вскочил... коза не хочет идти, боится воды, он должен её тащить. И действительно, коза с тупым стуком повалилась на пол, и Андрей тянул её за верёвку.

— Не надо! Не надо! — визжала я во всё горло...

— Вот глупая, — заметил Робинзон, — разве ты не понимаешь, что за ветром мне ничего не слышно! Федюк, дуй сильнее!

Федя был багровый от усилия, в это время козу подняли, и я перестала волноваться.

Теперь Робинзон выстроил себе палатку из кадетских шинелей, он жил там со своей собакой (Лыска выступила на сцену), коза паслась на зелёном сукне. Наш отряд переселился в самый дальний угол комнаты, за нами лежали поваленные стулья, изображавшие те лодки, на которых мы, дикари, приехали на этот остров. Начался необыкновенный гам и шум, мы плясали воинственный танец и пели страшные воинственные песни, вроде «ого-го, съем! ого-го, всю кровь выпью! в черепе буду кашу варить!» и т.д. Всё это выкрикивали кадеты, которым я вторила с восторженным визгом, стараясь перенять голос их и жесты. Наши пленники — Ипполит и Фёдор — лежали связанными, костёр был сложен, ножи наточены... Тут произошло небольшое разногласие: Фёдор по роли был Пятница и должен был, развязанный нами, бежать и спастись у Робинзона; Ипполита же решили зажарить и съесть, но он решительно воспротивился этому, объясняя, что когда человека съедят, то его уже нет, а он желает продолжать играть. Евгеша и Виктор не могли с ним сладить — он так дрался ногами, что чуть не разбил им носы, завязалась такая свалка, что Робинзон, быстро превратившийся в авторитетного брата Андрея, перескочил стулья и объяснил, что если Ипполит не даст себя сжарить, то он немедленно выгонит его из игры; если же, напротив, он будет съеден, то никто не помешает ему продолжать играть, так как теперь его имя Боевое Перо; ну, Боевое Перо и съедят, а он будет потом продолжать играть под названием Змеиный Зуб, и это будет он же, но совсем другой дикий, который приедет с новыми лодками и начнёт настоящую войну против Робинзона. Этим объяснением было всё кончено, Ипполит

покорился своей участи, Робинзон снова мирно гулял по полю с козочкой, которая весело бляела. Игра шла дальше: Фёдор был уже Пятницей, растерзанное и помятое в борьбе Боевое Перо превратился в Змеиный Зуб, и наша партия дикарей, вооружённая палками и копьями, снова высаживалась на берег, на этот раз с тем, чтобы вступить в борьбу с поселившимся на острове белым. Мы напали, завязалась страшная схватка, имущество Робинзона было расхищено, палатка разнесена, и, наконец, всё действие сосредоточилось на козе — это была самая ценная добыча. Робинзон отбивался и уносил её, перекинув через плечо и прикрывая своим телом. Пятница помогал ему, но не успевал на своих толстых коротких ножках за быстрым шагом повелителя: бедный раб только цеплялся за бока и хвост козы, отчего в руках его оставались клочки белой шкурки. Евгеша и Викторушка с криками преследовали Робинзона, стараясь отнять добычу, Ипполит вертелся под животом у козы и, наконец, из-под низу умудрился захватить её рог. Саша тянул за задние ноги, а я, ничего не видя, с какой-то чалмой, закрывавшей мне пол-лица и залезавшей кистями в рот, с ружьём в руках всё бежала куда-то вперёд, кричала, командовала, влезая на стулья, скатывалась с опрокинутого дивана, пока, наконец, едва дыша, уселась на пол, сбросила с головы чалму и... увидела шесть мальчиков, державших каждый в руках по куску козы.

— Нянечка, нянечка! — вырывается у меня криком. — Ко-за, ко-о-за, за-за!

Крик мой был до того неистов, что мальчики очнулись и подбежали ко мне. У одного в руках была ножка, у другого — часть бока, бубенчики, рожки; Андрей держал голову с частью голубого банта, из-под которого торчала изогнутая, переломанная пружина, та самая, которую он решил «принять к сведению».

Андрей швырнул эту голову мне в ноги и крикнул оскорблённым голосом:

— Я так и знал, что эта девчонка испортит нам всякую игру, мало ли какие бывают случайности, на войне и людей убивают, — и, подняв меня с пола, он приказал: — держи передник, на, вот твоя коза... — Он сложил мне все разрозненные части, провёл за плечо через классную, канцелярскую, вывел за городские ворота, снова щёлк-

нул ключом, и до меня долетел его крик: — Ребята, по местам, начинается война!

— Нянечка, нянечка! Ко-за, ко-о-за, за-за! — огласился коридор новым воплем, и когда няня, обезумевшая от страха, подбежала ко мне, я стояла перед ней грязная, опухшая от слёз, лента исчезла с головы, и рыжие локоны вихрами торчали во все стороны; батистовое платьице, беленькое с голубыми горошинками, представляло из себя одни лохмотья, сквозь дыры передника выглядывала одна козья нога.

— Господи! — могла только вскрикнуть няня, схватила меня на руки и помчалась в детскую.

В детской было полутемно, в углу, у образа Божьей Матери, горела лампада, да на столе около няни стояла свеча, заслонённая от меня какой-то картинкой. После катастрофы с козой няня умыла меня, причесала, убаюкала и уложила в кровать, но теперь я проснулась и... снова залилась слезами.

— Господи ты Боже мой! Вот горе нажила себе, — вздыхала Софьюшка, — ну что я буду делать, захворает дитя! И барыни, как на грех, нету дома, пойду хоть папеньку просить, чтобы пришёл вас утешить...

VI

Отец. — Золотой мячик. — Волшебные кладовые. — Живая коза.

Отца мы очень любили, бесспорно, что любили и мать, но её мы побаивались: она всегда была слишком нарядна, не допускала нас ни бросаться ей на шею, ни теревить за платье, взыскивала за малейший беспорядок в туалете или за резкость манер, но что стесняло нас больше всего — это её требование, чтобы мы говорили с ней по-французски, для чего и ко мне каждый день на один час приходила гувернантка, занимавшаяся с мальчиками, и учила меня тем коротеньким, бессодержательным фразам, которыми умные дети здороваются, прощаются, благодарят и просят. Эти маленькие фразы сдерживали нас больше, чем всякие требования и наставления; по-французски нельзя

было ни кричать, ни капризничать, ни вообще распространяться, поэтому мы, дети, всегда при матери умно молчали или повторяли, как попугаи, ответы, которые она сама за нас составляла на свои же вопросы; только Андрияша, всеобщий любимец и гордость, немедленно переходил на русский язык и нередко увлекал за собой и нас до тех пор, пока строгая фраза «ne bavardez pas russe»² не сокращала наши языки. С отцом было совсем не то: встречая его в коридоре, приходя к нему в кабинет, мы вешались ему на шею, целовали лицо, волосы, требовали гостинцев, подарков, разных льгот до тех пор, пока он, наконец, не произносил:

— Ну хорошо, я пошлю за мамашей, и всё, что она позволит, я сейчас же вам дам и сделаю!..

Андрей относился к этой фразе индифферентно, Федя спокойно, потому что во всём он был чрезвычайно благоразумен; у меня и у Ипполита обыкновенно падал весь энтузиазм: он, страшно трусивший матери, немедленно убегал, отказываясь от всего, я же закладывала руки за спину и укоряла отца:

— Если вы, папаша, хотите жаловаться мамаше, так я к вам и ходить не буду, я никому не жаловалась, когда вы раздавили мой золотой мячик.

Гибель этого золотого мячика был моим постоянным упреком отцу, и хотя он всегда хохотал при этом воспоминании, тем не менее считал себя в долгу у меня и откупался за упрек всевозможными жертвами.

Дело в том, что бабушка привезла нам когда-то четыре летающих шара из тонкой резины, точно такие, как продают и теперь, привязанные за верёвочку, но те были золочёные и произвели необыкновенный эффект. Все эти шары кончили самой разнообразной смертью: мой погиб раньше, чем я успела насладиться игрой с ним. Как только я получила его и нянька привязала ему длинный хвост, позволявший летать до самого потолка нашей очень высокой комнаты, в детскую вошёл отец.

— Ого-го, какой у тебя чудный шар! Кто тебе его подарил?

— Бабушка... А он, папаша, ужасно упрямый, ни за что не хочет сидеть на полу, вот, посмотрите.

Я притянула шар за ниточку, положила на пол и при-

держала рукой, моя детская рука была слишком мала, шар подался в сторону, выскользнул и немедленно поднялся вверх.

— А вот хочешь, я сейчас сяду на твой шар и полечу к потолку?

Мысль, что мой отец — высокий, плотный, казавшийся мне громадным — вдруг сядет на шар и полетит на нём к потолку, привела меня, конечно, в восторг; я начала прыгать кругом него и кричать:

— Не полетите! Не полетите! Вам будет страшно!..

— А вот увидишь, сейчас полечу! — отец притянул шар и, придерживая его одной рукой, стал делать вид, что садится на него. И вдруг, не удержавшись, отец действительно шлёпнулся на пол, раздался страшный треск — и шара не стало.

Увидя это страшное исчезновение, я начала топтать ногами и кричать:

— Где же мой золотой мячик? Золотой мячик!

Няня, закрыв лицо передником, смеялась до слёз.

Когда отец, полетевший самым естественным образом вниз, а не вверх, встал, то полы его сюртука были местами позолочены, а на паркете лежал грязный свёрнутый комочек лопнувшей резины.

— Шар был гадкий, он лопнул, я куплю тебе другой... — сказал смущённый отец.

Но я, не желая признавать в этом комочке моего шара, долго не понимала, куда он делся, и продолжала требовать мой, тот самый, на котором сейчас сидит папаша.

Отцу оставалось одно — идти к мальчикам и постараться купить у них шар, но, увы! Андрей расстрелял свой шар, и он был в таком же состоянии, как и мой; шар Ипполита пропал без вести, потому что Андрюша научил привязать его на дворе к хвосту какого-то котёнка, а за первое покушение взять шар у Феди Марфуша так яростно набросилась на отца, «завсегда обиждающего Хведеньку», что тот быстро ретировался снова ко мне, и мы помирились с ним на его обещании брать меня целую неделю в кладовые на выдачу провизии кадетам.

В такие дни, как бы то ни было рано, стоило няне подойти к моей кровати и сказать: «Барышня, папенька идут в кладовую», — как я вскакивала весёлая, без малей-

шей сонливости, быстро мылась и одевалась, пила своё молоко и затем нетерпеливо ждала у дверей, когда раздадутся шаги, и по мере того, как звук их приближался, лицо моё всё расплывалось улыбкой, а ноги нетерпеливо начинали топтаться на одном и том же месте.

Отец входил, поднимал меня до себя, целовал, затем брал меня за руку, и мы шли.

Как я любила отца!

Его рука была широкая, большая и нежная; я шла и изредка целовала её, прижималась к ней щекой и когда поднимала при этом голову, то встречала большие серые, всегда такие весёлые и ясные глаза.

В этих глазах было столько доброты, и в то же время там, в глубине, точно скрывался смех.

Потом, когда прошло много-много лет после этих прогулок по нескончаемым коридорам, когда отец, разбитый параличом (он жил более двадцати лет после первого удара), сидел в своём кресле и писал левой рукой письма и счета, я с моими детьми, его внуками, любила сидеть у его ног и, как прежде, держала в руках его руку, бессильную, парализованную и всё-таки старавшуюся лёгким пожатием выразить мне свою ласку, я так же целовала её, прижималась щекой, поднимала голову и видела те же ясные серые глаза, полные необыкновенной доброты. И до самой смерти, пока не закрылись эти дорогие глаза, в глубине их светился всё тот же весёлый и добрый взгляд на жизнь и на людей.

Густые вьющиеся волосы отца были рыжеватого оттенка, он причёсывал их на боковой пробор; брови были тёмные, так же, как и короткие бачки; густые и мягкие усы закручивались колечками у углов рта, бороды он не носил. Эта красивая голова сидела на короткой плотной шее, роста он был большого, широк в плечах и несколько сутуловат. Доброта его была необыкновенная: отказать кому-нибудь в просьбе было для него гораздо тяжелее, нежели не получить просимого многим из тех, кто обращался к нему.

Переходя коридоры, сени, спускаясь по площадкам лестниц, мы, наконец, попадали в кладовые, около которых отца ждали какие-то люди. Тут начиналось сказочное

царство бочек, мешков, ящиков, из которых отмеривалась и отвешивалась провизия, причём повторялась одна и та же история: я, заменяя соответствующую своему весу гирю, становилась на одну доску весов, с добавлением для необходимой тяжести настоящих гирь — красивых комочков с ушами, которые мне почему-то очень нравились, а на другую доску клали отвешиваемую провизию. Возвращалась я из этих ранних путешествий всегда с кармашками фартука, набитыми изюмом, миндалём, а иногда и стручками гороха или молодой морковкой. Все эти незатейливые лакомства в изобилии хранились в нашем люке у семихвостой крысы, но это было не то: *это* давалось мне отцом, давалось с такой особой лаской и любовью, причём дозволялось в мешки и кадки погружать голые до локтя мои детские лапки и выбирать.

Няня знала, что с этих прогулок меня надо встречать с мокрой губкой, полотенцем и чистым передником, и никогда не сердилась за это.

* * *

Няня вернулась в детскую с отцом; едва заслышав его шаги, я уже выхватила из-под подушки спрятанные там козы ножки и рожки и протягивала их, не имея сил высказать своё горе.

— Это что же такое? Это от козы, что прислала тебе бабушка? — спрашивал отец, усаживаясь около моей кровати. — Ах они, разбойники! Ты говоришь, няня, Андрюша?

— Где их, батюшка барин, разберёшь, видно, все шестеро рвали, вы посмотрели бы, на что сама барышня была похожа: одних волосиков я с шейки целый пучок собрала, должно быть, и с ними-то они не лучше поступали...

— Ну-ну, няня, наши мальчики никогда не ударят сестру!..

— Ударить-то не ударят, когда они в себе, так даже с полным уважением к барышне, а уж только как они в войну заиграют, ну, тогда уж не попадайся — с меня голову сорвут, не то что с ребёнка. Как у них стены стоят — не знаю!..

— Так как же: ты играла в войну? А коза чем была? Барабанщиком, что ли?

— Мы не в войну играли, в Робинзона...

— Ну-у... и Робинзон съел твою козу?

И мало-помалу, вопрос за вопросом, отец достиг своего: он заставил меня говорить, представлять, смеяться и думал уже, что горе моё побеждено совсем, но я, дойдя в воспоминаниях до той минуты, когда, сняв чалму, увидела свою разорванную козу в руках мальчиков и Андрюшу, потрясавшего её головой, снова залилась слезами, и такими неудержимыми, что отец вовсе растерялся.

— Папенька, папаша, дайте мне козу! — умоляла я его.

— Дайте! — И я обвила руками его шею, целовала, заглядывала в глаза и продолжала рыдать: — Ко-зу-зу-зу дайте мне, ко-о-зу!..

— Ну что ж, козу? Ну, конечно, я дам тебе козу, только вот видишь, мальчики опять разломают её, я, пожалуй... только, право, раздерут...

— А вы дайте мне такую, другую, чтобы они не могли: вы мне живую дайте!

— Живую? — у отца в глазах мелькнул смех. — А ведь это можно! Ты не плачь, я тебе дам живую, маленькую такую, у ней рожки совсем крошечные

— Золотые?

— Нет... ну да мы позолотим!

Няня принимала весь этот разговор за шутку и улыбалась, но отец обратился к ней:

— Я, нянечка, как раз сегодня был у нашего огородника, а у его козы совсем маленький козлёночек, но уж отделён от матери, я за ним сейчас пошлю вестового на лошади с тележкой... через час будет козочка.

— Батюшка барин, да куда же мы с живым козлёночком денемся?

Но я уже целовала отца, прыгала, смеялась, торопила его идти посылать вестового.

Я была очень похожа на отца: у нас на левой щеке даже одно и то же родимое пятно, и потому отец никогда не мог устоять против слёз или радости маленького существа, изображавшего его самого в миниатюре.

Так и теперь: он поспешил скрыться, чтобы не слышать возражений няни, и в дверях проговорил:

— Как Лыску держите, так и козлёночка: когда в комнате, когда в кухне.

Я провела этот час, как в тумане, переходя от окна к дверям и от двери к окнам.

Отец сдержал слово: в дверь вошёл вестовой и спустил с рук на пол маленького белого, как снег, козлёночка; у него не было ни золочёных рожек, ни голубого банта, но он был живой, тёплый, прыгал, скакал, блеял и, главное, ел из рук морковку и хлеб и пил молоко.

Братья чуть не штурмом взяли мою дверь и наконец ворвались, но ни просьбы, ни гордые приказания Андриюши на этот раз не имели никакого последствия. Няня ещё раз сбегала за отцом, и тот ласково, но так твёрдо поговорил с мальчиками, что те, расцеловав козлёнка и пообещав его не трогать, торжественно вышли из комнаты. Но зато на смену им на другое утро у нас в комнате появилась Анна Тимофеевна.

VII

Суд и расправа. — Скарлатина. — Несчастный отец.

В субботу мать с утра уехала куда-то за город, где провела весь день, и, вернувшись поздно вечером, хотя и выслушала доклад своих приживалок обо всех детских шалостях, но нашла, что уже слишком поздно чинить суд и расправу; зато удивлению её не было конца, когда на другое утро к ней вбежала Анна Тимофеевна и, захлёбываясь, рассказала, как она была испугана, столкнувшись в кухне с живым козлёнком, с живым, которого, как объяснила нянька Софья, барин из-под земли вырыл да достал на утешение своей Надечке.

— Где же теперь этот козлёнок? — спросила взволнованная мать.

— В детской, он только ночевал в кухне. Вы можете себе представить, как теперь там чисто! Ведь через неделю это будет козёл — козёл в детской!.. У него вырастут рога, он может забодать детей!..

— Перестаньте говорить глупости, — раздражённо перебила её мать и послала в детскую позвать няню.

— Ну, барышня, сидите здесь смиренно со своим любимцем, всё равно вам скоро с ним расставаться иридёт-

ся; я пойду с Анной Тимофеевной, меня мамашенька к себе требует.

Мать встретила няню целой бурей упрёков и за то, что я играла с мальчиками, и за растерзанную игрушку, а главное — за появление живой козы в моей детской, от которой грязь и беспорядок. И тут же приказала отобрать её от меня.

Няня чуть не упала в ноги своей барыне:

— Матушка барыня, ради Христа, пожалуйста сами к нам в детскую... Как же я буду из ручек моей барышни отнимать козлёнка, когда они над ним так и дрожат, не дай Бог, захворают ещё.

— Глупости, нянька, избаловали ребёнка, ни на что не похоже, попроси ко мне Александра Фёдоровича и приведи сюда Надину.

Няня вернулась в мою комнату вся в пятнах от волнения.

— Пожалуйста, барышня, чистенький передник надену вам, мамашенька зовёт.

— Козу хочет видеть?

— Ну нет, золото моё, из-за козы-то вашей и весь сыр-бор загорелся... и не манер это, не манер держать таких животных в комнатах!..

— Няня, мамаша отнимет у меня козу?

И няня, почуяв в моём голосе слёзы, уже целовала мои руки.

— Бриллиантовая вы моя, ненаглядная, нельзя мамашеньку послушаться: что захочет, то и надо сделать, и никто не осмелится их послушаться, папашенька и тот наперекор не пойдут. Пожалуйста.

Уже испуганная, с дрожащими губами, с глазами, полными слёз, я вошла с няней к матери.

Против дверей в кресле сидел отец и покручивал усы.

— Ну что, Надюк, наигралась к козочкой? Пора её отпустить к её маме, там её коза-мама ждёт, ты ведь будешь умница, отпустишь?

Я смотрела исподлобья и трясла головой: «Не пущу!».

— Как не пустишь? Надюк, когда я прошу? Ну, ступай сюда... Видишь, козочка очень сегодня ночью плакала по своей маме, в комнатах ей душно, она заболела, ей нужно зелёную травку... Ну, отдашь?

Я ещё более понурила голову: «Не отдам».

Отец рассмеялся: ему, должно быть, было очень смешно, что такое маленькое существо стояло перед сильными взрослыми людьми и с упрямым хладнокровием отстаивало свои права.

— Вы кончили? — спросила мать.

— То есть как кончил? Слышала — не отдаёт, не можем покончить.

— Да что это, Александр Фёдорович, ты серьёзно хочешь дождаться, пока у меня будет припадок головной боли?

— Да Боже меня избави! Я только говорю...

Мать потрогала пальцами, униженными кольцами, свой левый висок. Анна Тимофеевна подскочила и подала ей нюхать какой-то флакончик.

— Ты так избаловал девочку, так избаловал, что ни на что не похоже! Поди сюда, Надина...

Но я быстро приблизилась к отцу, прижалась к нему плотно и взяла его за руку.

Отец не выдержал, немедленно обнял меня и одной рукой посадил к себе на колени.

— Да что же это такое? Что же это за воспитание? Что же я тут такое? Анна Тимофеевна, Анна Тимофеевна!

Мать схватилась за грудь.

— Софья, воды!

Отец вскочил на ноги, больше всего на свете он боялся истерических припадков матери.

— Да делайте вы, как хотите! Надюк, — он повернул меня за голову и поглядел мне прямо в глаза, — ты слышишь, — он говорил с расстановкой, чтобы каждое слово запечатлелось во мне, — папа тебя просит, твой папа, отдай козу, для меня отдай... — Он подержал минуту на моей голове свою руку и вышел.

Мать уже рыдала.

— Меня с ума сведут все эти истории, на один день едешь, и Бог знает, что в доме: живой козёл ходит! Завтра балованная девочка потребует лошадь, и Александр Фёдорович лошадь приведёт ко мне в зал!

Мать говорила очень много, нюхала флакон, а я всё стояла, и во мне точно кто повторял одно и то же: «Отдай козу, для меня отдай...».

— Господи, да неужели вам не жалко огорчать мама-

шеньку, — бросилась ко мне Анна Тимофеевна; она схватила меня за руку и начала трясти, но няня сейчас же была около, ни слова не говоря, освободила мою руку и заслонила меня.

Я сделала шаг вперёд, ещё подошла к матери и, не поднимая на неё глаз, проговорила:

— Матан, возьмите мою козу...

И так как подвиг этот был мне не по силам, то я бросилась бежать и очнулась у себя в детской.

Козочка была в самом весёлом настроении духа, она прыгала, играла с Душкой и делала вид, что бодает её.

— Не смей играть с козой! — крикнула я на Душку и вцепилась в неё. — Это не наша коза, не наша, её от нас отняли...

Няня, воспользовавшись этой минутой, схватила козу на руки, выбежала в кухню, передала её кому-то и вернулась обратно. Она вынула все мои игрушки, сбегала ещё раз в кухню, принесла разной провизии, сказала, что мы затопим спиртом большую кухонную плиту, подаренную мне в именины отцом, и будем жарить и печь разные кушанья и позовём Марфушку с Федей в гости, но я отвечала на всё вяло и неохотно, а затем меня ещё раз позвали к матери.

Видя меня такой тихой и покорной, она похвалила меня, дала гостинцев, долго толковала о том, как должна вести себя девочка, затем я снова ушла в детскую, и, хотя ничего не ела, к вечеру у меня сделалась рвота, жар; ночью я бредила, пела песни диких: «Ого-го съем!», размахивала руками, звала Змеиный Зуб и всё покрывала криками: «Ко-за-а-а».

Целую ночь няня просидела около меня и утром, вся в слезах, пошла доложить барыне, что со мной худо. Перепуганный отец бросился сам за нашим постоянным доктором Фердинандом Карловичем Мебес, и тот объявил, что у меня скарлатина.

Говорят, две недели я была между жизнью и смертью, всё бредила и требовала козу. Отец все свободные минуты проводил у моей постели, он считал себя виноватым в моей болезни: если бы не его безмерное баловство, заставившее привести в детскую живую козу, я, конечно, заплакав, утешилась бы, что мальчики разорвали игрушечную, и забыла бы её, заменив какой-нибудь новой кук-

лой, но живая коза была такой неожиданный подарок, тем более что, набалованная уже детьми огородника, козочка оказалась совсем ручная. Отца в особенности мучило то насилие, которое он сделал над моей волей, заставив добровольно, без слезинки, отдать моё сокровище

Мать, добрая, как всегда, когда нам случалось заболеть, забыла ради меня и вечера, и выезды.

Бабушка приезжала ко мне во все свободные минуты, она обегала все игрушечные магазины, но второй козы не было, и к счастью, потому что пора было положить конец этой, по выражению доктора, «козьей драме».

Про няню и говорить нечего: когда бы, в какую бы минуту я ни открывала глаза, каким бы тихим шёпотом ни спросила пить, она была возле меня, и мне казалось, что дни и ночи взгляд её неотлучно следит за мной.

Моя болезнь тяжело отозвалась на том, на ком, по какому-то странному стечению обстоятельств, тяжело отзывалось всё, что бы ни случилось в доме.

Я говорю об Ипполите.

Фёдора и Андрея, как не имевших скарлатину, как только я захворала, отделили и отправили к бабушке.

У Ипполита скарлатина была уже, и потому его прикомандировали ко мне.

Бедный «Зайчик», как мы его звали, попал в ловушку. При его подвижной натуре сидеть целые часы, не шевелиться и ждать, не захочу ли я лениво и капризно поиграть с ним в куклы, было, должно быть, большой мукой, но мать была тут же, и он сидел не шевелясь. Зато и ему теперь выдавались часы, полные отдыха и удовольствий: отец брал его с собой то пройтись, то прокатиться, и эти часы, полные свободы смеяться, болтать, давали ему терпение переносить ту темницу, которую изображала для него моя комната.

У каждого из нас, по желанию матери, была своя копилка, в которую мы бросали мелочь, даваемую отцом (каждому из нас) от своих выигрышей, матерью и бабушкой — на игрушки.

Из этой мелочи к каждому первому числу, когда мы имели право открыть копилку, образовывалась сумма в несколько рублей, и мы её тратили по своему произволу. Андрей покупал военные доспехи, ружья, пушки и аму-

ницию. Ипполит — краски, картинки и разные изящные вещи, которыми украшал отведённую ему в классной полочку. Фёдор копил свои деньги, долго отказываясь сказать, на что, и наконец объяснил, что он хочет купить себе дом, в котором он будет жить с Марфушей. Мы с няней шили куклам платья и делали разные подарки папаше, мамаше, бабушке и братьям. Вот на этой-то копилке и попался бедный Ипполит. Сама ли я дошла до этой идеи, внушил ли мне её кто, только я предложила Ипполиту гривенник в неделю за чтение мне Робинзона.

Сначала Ипполит принял этот проект обогащения своей копилки с удовольствием. Робинзон сидел у меня в голове, и мне очень хотелось познакомиться с его историей.

И вот когда я настолько поправилась, что могла слушать, Ипполит сидел около моей постели и читал мне удивительную историю моряка Робинзона Крузо. Когда мне что-нибудь особенно нравилось, я говорила:

— Поля, прочти это ещё раз...

Когда он замолкал с пересохшим горлом и говорил: «Ну, довольно», — я сердилась и требовала:

— Нет, ты читай, всё время читай!

— Я не хочу больше, мне надоело! — Ипполит захлопывал книгу.

— Нет, ты не смеешь, я тебя купила за гривенник!

И спорили мы до тех пор, пока приходила мать. Она строго объясняла ему, что он мужчина и должен держать своё слово. Ипполит плакал и просил позволения не только отдать мне мои гривенники, но прибавить гривенник и из своей копилки, только бы я от него отвязалась.

Даже и это не помогало — я гривенник не брала и заставляла его читать.

Бедный Ипполит! Как часто потом мы вспоминали с ним этого Робинзона и как искренне хохотали над тем, как он, заливаясь слезами, читал мне о нападении дикарей или о появлении Пятницы.

Но наконец, Робинзон ещё не был окончен, как я уже выздоровела, мне сделали ванну, и назначен был день нашего переезда в Петергоф.

Весна подкралась в то время, пока я хворала. Ипполит после катания с отцом привозил мне веточки полураспустившейся берёзы со сморщенными светло-зелёными лип-

кими листочками, привозил подснежники, первые фиалки, продававшиеся на улице, показывал пальцами, какой вышины уже выросла травка, представлял, как щебечут и прыгают воробьи, как купаются в лужицах, потряхивая крыльями, говорил, что солнышко всё розовое и улыбается, а ветер дует тёплый-тёплый, как из чайника, и наши детские сердца бились, голоса звенели и дух захватывало при одной мысли, что мы будем играть в тёплом песке и бегать по зелёной травке.

VIII

*Паршивка. — Андрюшина месь приживалке.
— Страшное горе. — Император Александр II
вступает со мной в беседу. — Институт.*

Паршивка! Кто так метко прозвал это поле, отделявшее пространство, белевшее лагерными палатками, от шоссеиной дороги, за которой тянулся ряд дач?

Поле действительно было «паршивое», местами голое, вытопанное, серое, как бы посыпанное сигаретным пеплом, местами поросшее серой же щетиной какой-то колючей растительности, среди которой вдруг появлялись оазисы молодой травки, спешившей заткать свои зелёные коврики там, где земля сохранила ещё свою жизненность, свою влагу, может быть, от подземных водяных жилок узкой полуиссохшей речонки, что вилась по одну сторону поля.

На Паршивке учились кадеты, им делались смотры, а осенью производились травли, испытания охотничьих собак на резвость и злобность. Царские ловчие привозили в ящиках волков и лисиц из зверинца, существовавшего тогда еще в Петергофе; егеря верхами приводили с собой своры узкомордых поджарых собак, зверя выпускали, и за ним гнались борзые, а кругом невысокой ограды поля живой изгородью стоял народ и кричал: «Ату его, ату!». Если волк или лисица прорывались из поля и перескакивали невысокий заборчик, то за ними перескакивал его и верховой, перелетали собаки, и, кажется, не было случая, чтобы жертва ушла.

Свидетелем этой травли я ребёнком не была никогда:

няне строго было запрещено в эти дни выходить со мной из дачного сада, но братья видели, и Андрей с необыкновенным оживлением, с жестами и криками передавал мне всю картину.

В Петергофе мы занимали всегда одну и ту же дачу — большую, красивую, с палисадником на улицу и большим садом в глубине за двором. Семья наша летом разсталась: у нас гостили кончавший курс лицеист дядя Коля (младший брат матери) и не только Анна Тимофеевна, но ещё и её две сестры — Дашенька и Лизонька. Были ли они молоды, красивы — не знаю, мы, дети, не любили их и держались совершенно отдельно.

С Анной Тимофеевной я помню только в это лето очень печальное происшествие, за которое Андрей избегнул розог только благодаря горячему заступничеству дяди Коли, бабушки и, как я думаю, колебанию самой матери, не решавшейся применить такое наказание к страшно пылкому и самолюбивому мальчику.

Дело в том, что участие Анны Тимофеевны в козьей драме, её наушничество не было забыто братьями. Наши дела (вроде игры в Робинзона) были наши, а чужим в обиду мы друг друга не давали.

Заметив, что Анна Тимофеевна необыкновенно сладким голосом разговаривает с одним корпусным офицером, часто посещавшим нас, Андрей стал её выслеживать и застал однажды, когда она, лёжа грудью на подоконнике, вся перевесившись в палисадник, необыкновенно оживлённо разговаривала со стоявшим под окном офицером. Вооружившись гибкими хлыстами Ипполита и Фёдора, Андрей, предводительствуя ими, подкрался к ней, по данному им сигналу все три хлыста разом свистнули и опустились на спину Анны Тимофеевны.

Её внезапный крик и искривлённая физиономия среди самого кокетливого разговора были, вероятно, так комичны, что офицер, не понимая, в чём дело, разразился самым неудержимым хохотом.

Отскочив от окна, она увидела убежавших младших братьев, но Андрей храбро стоял перед ней и, блестя глазами, объявил:

— Это тебе за Надину козу, не сплетничай другой раз.

— Скверный мальчишка, я тебе уши надеру! — броси-

лась она на него, но Андрей поднял хлыст и так сказал «попробуй», что она с воплем бросилась жаловаться матери.

Два дня мы не видели Андрюши за нашим столом: он был на хлебе и на воде в своей комнате и не только не просил прощения, но даже гордо отказывался от всего, что тайком таскала ему Марфуша от имени своего любимца Федюшки.

Конечно, все наши мечты и желания сосредоточивались там — за Паршивкой, где стояли ряды больших и малых белых палаток, где под полотняным навесом и в дождь, и в холодные ночи под грубым серым одеялом спали Евгеша, Викторушка и Саша. Там была страна чудес: громадные ружья, сложенные в «козлы», блестели стальными штыками; большие барабаны стояли на низеньких подставках, и палочки их, казалось, только и ждали, чтобы мгновенно подлетевший к ним барабанщик забил тревогу. К нам долетали звуки сигнального рожка, и мы, дети, безошибочно пели слова сигналов: «Колонна храбрая, вперёд, равнение — направо, кто первый на стену взойдёт — тому и честь, и слава», отбоем которому слышался сигнал: «Слышь, велят вернуться назад!».

И дробно, дробно высокими нотами: «Рассыпьтесь, молодцы, за камни, за кусты, по два в ряд».

Днём тёплый летний ветер слабо доносил хоровое пение, звуки оркестра, но зато по вечерам, когда прекращалось оранье разносчиков, несносная езда по шоссе экипажей и дребезжащих извозчичьих пролеток, жизнь точно замирала с гаснущими лучами солнца, и мы ясно и отчётливо слышали вечернюю молитву, мы знали, что это поют *наши* кадеты, *наш* корпус, против которого и стояла наша дача. И тогда, и всю последующую жизнь, и теперь я без глубокого волнения не могу слышать хорового молитвенного пения. Заслышав молитву, няня всегда складывала мои руки и, держа их в своих, говорила:

— Молитесь, барышня, молитесь, родная! Это ангелы в небесах поют славу Божию...

И, вся вытянувшись, закинув голову, я напряжённо ловила каждый звук, глядя в небо, веря, что молитва летит и оттуда, что и там теперь поют ангелы с голубыми крыльями, окружая престол Божий.

С балкончика нашей дачи нам виден был и бельведер

— двухэтажный узенький павильон с двумя входами и лестницей внутри, соединявшей две квартиры, вернее, отделенница, каждое в две комнаты. Внизу жил какой-то офицер, а наверху — отец; у него была спальня и большая канцелярия, в которой по вечерам и даже ночью долго был огонь (я это знала из гневных слов матери), и за огнём сидели не переутомлённые писари, а весёлые офицеры, собравшиеся к отцу поиграть в карты и выпить шампанского.

Наши детские сердца и мысли всегда стремились туда, в лагерь... Мальчики бегали сами в те часы, когда кадеты были свободны, в особенности часто бывал там Андрюша, который с осени уже должен был поступить в корпус. Я ходила туда с няней под вечер, в часы, свободные для отца. Ноги мои сжигали Паршивку — так торопилась я пройти это пространство, казавшееся мне бесконечным. Сторож пускал нас по нему для сокращения пути.

Подходя к лагерю, я начинала смеяться и радостно визжать, я знала, что как только с передней линейки заметятдвигающийся гриб, который я собой изображала под широкими полями соломенной шляпы, сейчас дадут знать Евгеше, и тот выбежит мне навстречу, схватит на руки и, не смотря на нянины крики: «Осторожней, Евгений Петрович! Упаси Бог, споткнётесь», — он мчался со мной, крича няне:

— Иди, Софьюшка, к дяде, мы тебе принесём её туда целой и невредимой.

И няня не протестовала, шла дальше к папашиному бельведеру, а Евгеша, передавая меня с рук на руки то тому, то другому из встречавшихся кадетов, сопровождал меня со всё возраставшей свитой до своей палатки, где все три двоюродных брата принимали меня, как дорогую гостью.

На все мои бесчисленные вопросы они отвечали подробно и торопливо, показывали мне ранцы, давали пить из «манерки», которая пахла медью, вели меня к своему маркитанту, где угощали сладкими пирожками со сбитыми сливками, оставлявшими липкие белые усики на губах, после чего надо было идти к фонтану-умывальному, стоявшему среди палаток. Вода из-под его кранов текла совсем холодная и брызгала из подставленных горсточкой рук во все стороны.

Водили меня и в столовую, где давали пить из грубой

оловянной кружки тёмный пенистый квас, казавшийся необыкновенно вкусным.

Я росла здоровым, весёлым и ласковым ребёнком, что и доставляло мне много друзей среди кадетов: они все возились со мной, как с сестрёнкой, я не помню случая не только грубости, но даже неласкового слова от кого бы то ни было за все мои частые и долгие пребывания в лагере среди кадетов без всякого надзора. Когда, наконец, я изъявляла желание отправиться к отцу, к моим услугам являлась одноколёсная тачка, в которой возили песок, я садилась в неё на набросанные шинели, и меня мчали к самому бельведеру.

В течение лета в Петергофе у нас, детей, была совсем обособленная жизнь, в которой главную роль играли наши няни, собаки, собственные грядки на огороде и, наконец, самое главное — связь жизни с лагерем и кадетами. Жизнь взрослых шла совершенно отдельно, и мы появлялись среди них только в торжественные случаи, всегда нарядные, завитые, а потому недовольные и стеснённые. Появлявшиеся гости нас не интересовали, и я из всех помню только одного старого, щетинистого, необыкновенно худого чиновника Осипова, появление которого наводило на всех ужас. Мать, как докладывали ей, что из города прибыл чиновник Осипов (его никто почему-то иначе не называл), в ужасе махала руками и даже закрывала глаза.

— Ради Бога, ради Бога, — говорила она, как будто ей делалось дурно, — не допускайте его до меня, Александр Фёдорович со своими благодеяниями с ума меня сводит; мало того что в городе нет отбоя от всяких нищих, ещё и сюда приходят. Софьюшка, пошли сейчас денщика в лагерь, прикажи принести несколько солдатских порций каши, шей и хлеба, а пока вели ему посидеть где-нибудь на огороде, да дай ему скорее хоть кринку молока.

Этот ужас матери и немедленная заготовка такого количества провизии не могли не возбудить нашего любопытства. Один за другим мы проникали в огород и останавливались на почтительном расстоянии от того места, где кормился Осипов. Глаза его необыкновенно блестели, очевидно, стыдясь своего недуга, он заискивающе улыбался нам, кивал головой и даже называл нас по имени, но мы не поддавались и никогда, никогда близко не подходили к

нему; даже Андрей не трогал его, не смеялся над ним, но подолгу пристально следил за тем, как щёлкали большие белые зубы чиновника и неустанно двигались челюсти.

— Несчастный! — говорил всегда Андрей и уходил, уводя нас за собой. — Ну, и чего сбежались глядеть на то, как человек ест, значит, голоден!..

— А почему же ты называешь его несчастным? — приставали мы к нему.

— А потому, что где бы он ни служил, даже у самого царя в адъютантах, никогда ему не дадут такого жалования, чтобы он был сыт.

— Ну? Что ты? Почему? — приходили мы в ужас.

— Потому что у него волчий голод.

То же самое говорила нам и няня на все наши вопросы. Что это такая за болезнь и существует ли она в действительности — я не знаю, но только этот факт остался у меня в памяти. Мы смотрели, смотрели на Осипова, как в его громадной пасти исчезали молоко, щи, каша, краюхи хлеба, жареный картофель, и как глаза его блестели всё той же ненасытной жадностью, и руки дрожали, хватаясь за новое блюдо, когда его взгляд скользил по нас, мы вздрагивали и, наконец не выдержав, разбежались, кажется, из страха, чтобы он не съел и нас.

Накормленный, но, кажется, как будто ещё не сытый, он уходил от нас, забирая с собой всё, что только прислуга накладывала ему в клеёнчатый мешок, который он всегда носил с собой. Взрослые не думали о нём, как только он исчезал с нашей дачи, но мы, дети, часто толковали о чиновнике Осипове, жалели его и уговаривались, когда вырастем, посылать ему от себя хлеба и всего другого, чтобы он не ходил по домам. Часто отказываясь от какого-нибудь блюда, я шептала Софьюшке:

— Нянечка, спрячьте это для чиновника Осипова.

И няня никогда не смеялась над этим.

— Непременно, милая барышня, никогда не забываете голодных...

У больших были разговоры о заре с церемонией, великолепных праздниках в Петергофском саду, о царской семье. Мы видели, как все собирались в экипажах на какие-то далёкие прогулки, но для нас это тогда не представляло ещё никакой прелести, нас вполне удовлетворяла наша

собственная жизнь, и если я грустила по чему-нибудь, то это только по отсутствию отца.

На даче он бывал очень редко, а там у него, в бельведере, я всё заставляла его или за карточным столом, или в большой компании дам и офицеров.

Он всегда радовался, видя меня, брал на руки, целовал, но это был не тот мой любимый «зимний» папаша, который находил время и шутить, и играть, и выслушивать историю нашего детского горя и радостей.

* * *

Так прошло ещё четыре года, и мне минуло восемь. Я училась, у меня была гувернантка, которая, по счастью, больше служила компаньонкой матери, а меня оставляла с моей ненаглядной няней. Мы так же коротали с ней наши вечера в кухне, но уже вдвоём, потому что и Поля, и Федя поступили в корпус, третьим лицом являлась четырнадцати-пятнадцатилетняя Соня, дочь моей нянечки, которая училась в каком-то французском модном магазине и училась делать шляпы. Это была высокая, стройная, очень красивая девочка, такая же высокая и ласковая, как сама няня; она шила наряды моим куклам и рассказывала нам о житейке девочек в ученье.

По мере того, как я подрастала, мать чаще требовала меня в комнаты к гостям, заставляла меня декламировать французские стихи, брала меня изредка в гости с собой, но подруг того времени я не помню, вероятно, их у меня не было, и, в общем, жизнь моя изменялась мало.

Отец, летом почти не принимавший участия в нашей жизни, зимой был всё тот же необыкновенно добрый и весёлый, баловавший и даривший всевозможные игрушки.

Субботы и все кануны праздников имели для меня теперь ещё больше значения, потому что появлялась целая гурьба мальчиков, которые теперь охотнее переносили моё присутствие, потому что, подрастая, я более подходила к их взглядам на «хорошего товарища».

Летом мы по-прежнему переезжали в Петергоф, я так же бывала в лагерях, делала визиты кадетам, но событие последнего нашего петергофского лета наложило на все мои дальнейшие воспоминания такое неизгладимое тяжёлое впечатление, что перед ним ступеньвается и забывается всё.

Это было в 1859 году; накануне я была с няней в лагере, и отец объявил нам, что на завтра офицеры устраивают у нас на даче праздник: будет музыка, иллюминация и фейерверк (по какому поводу это назначалось — я не знаю, но помню, что это была или суббота, или канун какого-то праздника, и братья были дома).

Мы легли спать, наболтавшись вволю о предстоящем удовольствии, и все просили разбудить себя как можно раньше, чтобы мальчикам сбегать в ближайший лес принести мху, еловых ветвей и устроить триумфальную арку.

Была тёмная июльская ночь... я проснулась, слыша голос няни, будившей меня.

— Барышня, Наденька, родная, вставайте... — Необычная тревога, страшный шум, голоса разбуженных братьев, вопросы, торопливые ответы — всё заставило меня быстро вскочить в кроватке.

— Что, няня? Отчего темно? Пора вставать?

— Голубушка, миленькая барышня, давайте скорей одеваться, надо к папеньке скорей бежать в бельведер...

— Зачем к папе? Разве праздник будет там?

— Не праздник для нас, а горе... папенька захворал, мамашенька уже там, а братцы вон уже оделись, бегут, давайте, ножки скорей обую.

Дрожащими руками няня всё-таки заботливо одела меня, закутала, и мы побежали с ней, во дворе нас ждал дворник, няня велела ему взять меня на руки, так как ночь была тёмная и я не могла бежать по полю.

В бельведере была страшная суматоха, нас не пустили в комнаты отца, а ввели вниз, в те комнаты, которые занимал живший с ним офицер. Люди входили, выходили, кричали, требовали, я видела нашего доктора Фердинанда Карловича и другого, корпусного, Степана Алексеевича, который бывал у нас; оба они говорили с фельдшером о том, что надо немедленно пустить кровь, потом пошли все наверх, я сидела на большом, обитом тёмной кожей диване, без слёз, без вопросов и только глядела на всё, что происходило кругом.

Мать входила несколько раз, но не обращала на меня никакого внимания. Она плакала, бросалась в кресло, ей подавали пить воду и нюхать какой-то флакон, уговаривали не падать духом, и кто-то спросил её:

— Детей он благословил?

Она зарыдала ещё громче:

— Ах, он без языка, без движения, детей и нельзя туда...

Я вдруг вскочила с дивана:

— Я хочу к папе... — объявила я и побежала к лестнице.

Няня перехватила меня, но страх того неизвестного, что окружало меня с той минуты, когда я проснулась, теперь охватил всё моё существо, непонятные слова матери, слышанные мной сейчас, вызвали у меня образ отца, и уже никто, ничто не могло остановить меня. Я вырвалась от няни с криком:

— Папа, мой папа! — и вбежала по лестнице.

Но там мне загородил дорогу Фердинанд Карлович, в открытую им дверь я всё-таки успела разглядеть отца, лежащего на кровати, фельдшера на коленях около него и на полу большой таз, полный какой-то тёмной жидкости.

— Нельзя к папе. Нельзя... Он очень болен; походи и скажи маме, что он жив и будет жить, слышишь, будь умницей, теперь не время капризничать, а главное, нельзя кричать — папе нужен полный покой... — и негромкий голос его был так внушителен, что я перестала биться, стихла, позволила подоспевшей няне свести себя с лестницы и передала матери слова доктора.

С отцом был апоплексический удар, и хотя жизнь его была спасена, но служба стала невозможна. В эту ночь погибла вся весёлая, беспечная жизнь нашей семьи.

Он не только не скопил никаких средств, но всё то небольшое, что имел сам, было роздано им в долг приятелям и друзьям без расписок, и на уплату его собственных долгов, на приведение в порядок казённых счетов пришлось продать всё, что имелось. Отца на излечение взял в своё имение один из братьев бабушки — богатый помещик, а мать, получив из корпуса вспомоществование и собрав последние крохи, переселилась в крошечную квартирку и жила, едва сводя концы с концами. Но всё это я узнала и поняла потом, а в ту ночь, когда с отцом случился удар, конечно, ни я, ни братья не придавали этому никакого другого значения, кроме прямого сожаления об отце.

Где я спала эту ночь и спала ли вообще — не помню,

наутро нас пустили к отцу... Он лежал на кровати, лицо его было странно, одна половина темнее другой, и правый глаз закрыт, но левая рука его приподнялась и слабо погладила меня по волосам. Затем нас сейчас же вывели, и так как няня была занята уходом за отцом, то я и отправилась с братьями в лагерь.

Андрей, которого, жалея, обманывали и офицеры, и доктора, сообщил мне, что папа выздоровеет, что у него просто кровь бросилась в голову, но что теперь глаз правый открылся, смотрит, что папа через несколько дней встанет, ему дадут отпуск, и он переедет к нам на дачу. Мысль, что папа и летом будет с нами в одном доме, обрадовала и развеселила меня. Мало-помалу я очутилась на самом краю палаток передовой линейки у двоюродных братьев, бывших уже в старших классах.

Евгеша, чтобы отвлечь мои мысли, дал мне чистить свои пуговицы, показав при этом, как покрывают бумагой борт сюртука, чтобы не испачкать сукно.

Я принялась за дело, как вдруг во всех концах лагеря барабаны забили тревогу — общий сбор, и, как электрическая нитка, по палаткам разнёсся крик:

— Государь!

Все выскочили; оставшись одна, я, не замеченная никем, тоже вышла из палатки и прижалась к колу, кругом которого обвязывались верёвки, натягивающие полотно.

Государь Император Александр II (уже четыре года как вошедший на престол) обходил лагерь со свитой, здоровался с кадетами, принимал рапорты и, дойдя до конца линии, вдруг обратил внимание на мою голову, выглядывавшую из-за палатки.

— Это что за ребёнок? — спросил он.

Перепуганный дежурный офицер оглянулся, тоже увидел меня и принялся, заикаясь, объяснять, что сегодня в ночь случилось несчастье: их эконома разбил удар паралича, жена с детьми была при больном, и никто не заметил, как девочка, прибежав к братьям, пробралась на переднюю линейку.

Расспросив подробно обо всём, Государь велел меня позвать.

Зная хорошо Государя по виду, так как мне в Петергофе часто указывали его высокую красивую фигуру и няня,

и родные, слыша от всех кадетов восторженные похвалы его доброте, я подошла спокойно и доверчиво глядела в его глаза.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Надя...

— А зачем же ты, Надя, здесь, где нет ни одной девочки, а только офицеры и кадеты?

— Я здесь у папы... папа захворал, меня к нему не пускают, а мама и няня там... я пошла к братьям, я тут всегда бываю, всегда!..

Государь засмеялся:

— Ну, если всегда, то, конечно, это твоё место.

Затянутой в белую перчатку рукой он погладил меня по голове. Несмотря ни на какие знаки офицера, я не догадалась поцеловать эту руку и всё продолжала смотреть в большие глаза Государя, которые мне очень нравились.

Командир корпуса, воспользовавшись добротой Государя, объяснил ему, что отец не в состоянии будет продолжать службу, что положение его признано врачами безнадежным и что семья его, состоящая из жены, трёх сыновей и дочери, остаётся без всяких средств.

— А где же мальчики? — спросил Государь.

— Все в нашем Павловском корпусе, но пока свои коштные.

— Так перевести их на казённый счёт, а девочку отдать в Павловский институт. Передайте больному, что я надеюсь на его выздоровление... — и Государь ещё раз погладил меня по голове.

Этими милостивыми словами была решена моя участь: через несколько месяцев, когда отца увезли в имение деда, меня приняли в Павловский институт.

IX

Последний день дома

Была ночь. Я лежала в кроватке и видела во сне, что идёт дождь, с ветки какого-то высокого-высокого дерева капали крупные тёплые капли, текли мне по щекам, шекотали шею, и было так смешно, что я громко и весело хохотала во сне.

И я никогда не забывала этот сон, никогда, потому что это был последний сон, который я видела у себя дома, в моей детской кроватке накануне того дня, когда меня отвезли в институт.

Я проснулась от собственного смеха, открыла широко глаза, видя нагнувшееся ко мне нянино лицо.

В комнате горела лампада, все вещи казались такими знакомыми, ласковыми друзьями, всё было как всегда: тихо, тепло, спокойно, а моё маленькое детское сердце почему-то стучало громко.

Я охватила няню руками за шею.

— Нянечка, ты плачешь? — и сейчас же, оторвав одну руку, я провела по щекам и по шее.

Так это не дождь и не с дерева! Это нянины слёзы...

А няня уже укладывала меня опять, приговаривая дрожащим голосом:

— Спице, барышня, спице, красавицы... какие там слёзы!.. Это вы во сне с ангелами смеялись, вот я и подошла посмотреть. Спице, родная...

Но я уже сидела на кровати.

— Нянечка, завтра уже сегодня?

— Нету, нету, золотая! Видите — ещё темно и все спят, завтра-то ещё когда придёт...

Я уже помнила, что «сегодня» я ещё дома, а «завтра» меня повезут в институт.

И снова, охватив её шею, я притянула к себе няню, та встала на колени, положила голову ко мне на подушку, и мы обе плакали уже без слов. Только моё детское горе ещё не умело подчинять себе физическую потребность покоя, всхлипывания мои стали реже, тише, и я снова заснула, а няня, верно, до утра просидела в низеньком кресле около моей кровати, и утром, едва открыв глаза, я снова увидела её милое лицо, наклонённое надо мной.

— Сегодня? — спросила я.

А она вскочила и заговорила весело, быстро, как будто мы готовились на одну из весёлых прогулок.

— Золотая моя барышня, глядите, какое вам платье сегодня! Белое да всё вышитое... кушак голубой... башмачки жёлтенькие, а шкатулочка-то, шкатулочка-то! И ключик к ней... Это уже своя собственная! И чего только в ней нет! — няня поставила ко мне на кровать довольно боль-

шую деревянную шкатулку, открыла её... В ней была действительно масса сокровищ: и туалетные принадлежности, и мелкие игрушки, и конфеты, и толстый, крупный разноцветный бисер.

У меня сразу полились слёзы.

— Я хочу к бабушке!

— Господи, барышня, миленькая вы моя, не огорчайте вы маменьку сегодня, не сердите вы их, ради Бога, им и так тяжело... К бабеньке вас вчера возили прощаться, бабенька и так вчера сами плакали, Натальюшка утром приезжала сегодня, пока вы ещё спали, этот самый бисер привезла и канву толстую, и шерсть, чтобы вы бабеньке коврик под лампу вышили... и попка вам кланяется, и Амишка... Бабенька в это же воскресенье приедут к вам в институт, привезут игрушек, гостинцев...

— Я хочу к папе!

— К папеньке нельзя, вы ведь знаете, как они нездоровы, доктор не позволяет, ни-ни, ни одним глазком, им покой нужен больше всего...

Я замолкла... Мои требования не были настойчивы и серьёзны — это была проба... Я хорошо сознавала, что всё в нашем доме давно переменялось... Мы доживали последний месяц в казённой квартире отца, которому было несколько легче, и его собирались увезти в родовое имение богатого дяди Оттона Германовича Франка. Бабушка совсем осунулась с болезнью любимого сына, сама хворала и редко бывала у нас. Братья были уже в корпусе. Мать была печальна, раздражительна, всем в доме распоряжалась Анна Тимофеевна, и её скрипучий голос и сладкоедкие замечания, придирки, выговоры давно навеяли печаль даже на нашу детскую. Разлука с домом и институт уже не пугали меня, если бы... если бы туда можно было взять с собой двух особ — нянечку Софью и мохнатую Душку. Как только мысль о разлуке с ними становилась ясна моему пониманию, сердце сжималось, ручки слёз текли по лицу, и я страдала, страдала как ребёнок, привыкший любить и понимавший весь ужас разлуки.

Отца, бабушку, братьев — всё отнимали от меня постепенно, и всё заменяла мне няня. Её милое лицо стояло передо мной с той минуты, как сознательно стали глядеть мои глаза. Её неизменно добрый, весёлый голос проник в

мою душу с первым пониманием людской речи, её мягкие, ласковые руки баюкали меня, одевали, укладывали, кормили, и с потерей каждой из моих привязанностей, с отпадением шумных игр с братьями, баловства отца ещё дороже, ещё необходимей становилась няня, и вдруг её... возьмут её, оторвут от меня...

Я, восьмилетний ребёнок, страдала так же сильно и глубоко, как страдала потом взрослым человеком, когда жизнь отнимала у меня другие радости, другие привязанности.

Туманно, как во сне, помню я всё, что было дальше: чай, в который падали мои слёзы, мои пальцы, судорожно вцепившиеся в мохнатую шерсть болонки, которая, визжа, облизывала моё лицо. Затем карета... мать, печальная и строгая, а напротив — няня, руку которой я не выпускала... потом — институт, громадная швейцарская, красный, с орлами швейцар Яков... приёмная мама³... И вот под предлогом показать мне много-много девочек меня ввели в громадный зал с портретами царей и цариц во весь рост в простенках окон... Действительно, толпы девочек, окруживших меня, затормозивших и мой отчаянный, истерический крик: «Мама, мама! Няня... нянечка... ня... ня», когда я поняла, что все оставили меня, уехали, бросили, заперли среди чужих.

Прошли дни... ночи... ещё дни... ещё ночи... лазарет... жар... бред... слёзы... так же призывы няни... Наконец обещание, если я буду умницей, пустить ко мне няню...

Свидание короткое, с отчаянным рыданием на груди преданной, милой няни, а потом смирение... тишина и торжество рутинной институтской жизни...

Я потеряла свое имя Надя, потеряла свою индивидуальность, стала Франк, воспитанница П-ского института, и дальнейшую институтскую эпопею уже поведу не от своего лица и вообще не от себя, а так, в общей картине, где среди других жила и действовала бедная рыжая впечатлительная девочка Надя Франк.

Часть вторая

I

*Чёртов переулок. — Бал. — Наказание. —
Закат солнца. — Прощение. — Приём родных.*

Их было три: Корова, Килька и Метла. Они были сёстры, девицы благородного немецкого происхождения, и все три занимали места в N-ском институте. Корова была инспектриса, Килька — классная дама, Метла — музыкальная. Жили они во втором этаже, в «чёртовом переулке», то есть узеньком коридорчике, который составлял как бы рукав большого коридора, проходившего между классами.

Корова была роста маленького, с выдающимися лопатками и с вечно нагнутой головой, как бы готовой боднуть; она была ворчлива и зла. Килька действительно напоминала своей точно вымоченной и сплюснутой головой эту многострадальную рыбу, была придирчива, мелочна и изводила нотациями. Метла, худая, длинная, с головой, покрытой бесчисленными рыжими кудельками, издали легко могла сойти за новую швабру, но была добра, сентиментальна и хронически обижена. В том же коридоре жил еще Хорёк — безобидная «рукодельная дама» с собственным, очень сильным и очень скверным запахом.

Воспитанницы всех трёх старших классов, выходявших в большой коридор, без нужды заходили в «чёртов переулок», только если которой-нибудь надобно было плюнуть или выбросить какой-нибудь сор. В минуты рекреации, когда шумные волны бежали из каждого класса и сливались в коридоре в один общий бурный поток, обитательницы переулочка, казалось, сторожили за своими дверями, и не успевала воспитанница сделать туда шаг, как чья-нибудь дверь открывалась и, как из чудо-коробочки, выскакивала обитательница.

— Вы куда? — спрашивала она строго на немецком или французском диалекте.

Захваченная воспитанница «обмакивалась», то есть быстро приседала, и отвечала невинно:

— Никуда, я видела, что ваша дверь отворяется, думала, вы зовёте...

— Дерзкая! — шипела дама, захлопывая дверь, а девочка, быстро опустив руку в карман, бросала в воздух горсть мелких-мелких, тщательно нарванных бумажек, и те летели, как белые мухи, усеивая собой чистый, как стекло, пол коридорчика.

Только в восемь часов вечера, когда воспитанниц уводили ужинать и оттуда в верхний этаж спать, в большом коридоре наступала полная тишина. В «чёртовом переулке» открывались двери, и обитательницы его, как крысы, выходили на свободу, гуляли по коридору, изрезанному полосами лунного света, заходили в классы, шарили у «подозрительных» в пюпитрах, найдя что-нибудь запретное, долго шептались, качали головой, хихикали и уносили скорей добычу к себе, чтобы завтра сообщить о ней дежурной классной или даже татап, смотря по важности открытия.

Иногда Корова и Килька делали ночную облаву на учениц. Поход почти всегда оканчивался удачей. Неприятеля захватывали на биваке за запретной книжкой или за роскошным пиром из сырой репы, огурцов и пеклеванником с патокой (любимое лакомство девиц). Двух-трёх, не успевших улизнуть по кроватям, захватывали в плен, то есть со всем оставшимся имуществом уводили в первый этаж и расставляли в «чёртовом переулке» по углам на полчаса или на час.

Словом, между коридором и его рукавом ненависть была горячая, и велась ожесточённая ежечасная борьба...

Утро. В коридоре тишина. Изредка сквозь закрытые двери классов доносятся неясные звуки вопросов учителя или не в меру звонкий ответ. Во втором классе идёт урок рисования. Чахоточный красивый учитель с большими блестящими глазами и потными руками подсаживается то к той, то к другой парте, причём девочки встают, и «подделывает» рисунок, потому что вообще рисование проходит небрежно, и, кроме двух-трёх талантливых, остальные не делают ничего.

С первой скамейки, там, где виднелась чёрненькая, как

уголёк, головка Наташи Вихоревой — Чернушки, по классу пошла циркулировать маленькая записочка. Получавшие расписывались на ней тонко, как мушиной лапкой, и, сложив крошечным шариком, перекидывали дальше. Записочка щёлкнула в нос Бульдожку — толстую тупоморденькую Катю Прохорову, сердитая девочка заворчала, а две-три подруги фыркнули и уткнулись носами в рисунок. От Кати записка упала на парту Баярда — Нади Франк, рыженькой, живой, подчас неудержимо дерзкой и смелой девочки; та, расписавшись, перекинула ее Пышке, добродушной Маше Королёвой.

Килька, дежурившая в классе, сидела смиренно на своём стуле и вязала чулок, но глаза её, как у кошки, искоса следили за бумажным шариком. Когда записочка долетела до Пышки, сидевшей у края класса, почти рядом с её стулом, она вдруг схватила девочку за руку со словами «Geben sie ab», но Пышка быстро перекатила шарик из одной руки в другую и затем сунула его себе в рот.

— Отдайте, — зашипела Килька. — Geben sie gleich ab⁴.

Но Маша усердно жевала бумажку и когда выплюнула её на пол, то это была плотная, маленькая клёцка, которую она ещё придавила ногой.

— Gut⁵, — злобно сказала только Килька и нервно застучала спицами чулка.

Бумажка, обежавшая весь класс, возвещала, что сегодня вечером после ухода Кильки из дортуара Чернушка задаёт бал с приличным угощением и приглашает господ кавалеров, дам, лакеев и музыкантов быть на своих местах. Приятная весть и без дальнейшего хода бумажки стала теперь известна всем...

День прошёл по обыкновению со всеми перипетиями институтской жизни, и наконец настал час, когда все девочки уже лежали в кроватях.

Дортуар второго класса, в котором был назначен на сегодняшней вечер бал, был теперь как раз на привилегированном положении. Килька ради своих сестёр обитала внизу, в «чёртовом переулке», а француженка m-lle Нот, болезненная миниатюрная старушка, захворала, дверь её комнаты была заперта, занимавшая её дама спала в другом дортуаре, и, таким образом, девочки на ночь оставались совсем без надзора.

Килька обошла ещё раз кругом дортуара и посмотрела подозрительно на тридцать головок, заснувших как-то необыкновенно быстро и покорно. Тридцать кроватей, поставленных в два ряда изголовьями одна к другой, прерывались ночными шкапиками. В ногах у каждой стоял табурет, и на нём лежали аккуратно сложенные принадлежности дневного туалета. Высокая ночная лампа под тёмным зелёным колпаком тускло освещала тридцать серых байковых одеял с голубыми полосами. Все девочки, как куклы, лежали на правом боку в ночных кофтах с руками поверх одеяла и ещё раз удивлённой Кильке показались спящими.

— Gute Nacht!⁶ — проговорила она и вышла.

Пройдя большую умывальную комнату, где горничная стлала себе постель в нижнем раздвижном ящике комода, она остановилась и минуты две слушала. Полная тишина! Тогда она наконец вышла в коридор и спустилась к себе во второй этаж.

Через четверть часа все девочки, кроме самых вялых, сонливых или безнадёжных парфёшек, были на ногах. Три музыканта сидели на шкапиках и, обернув тонкой бумагой гребёнки, настраивали свои инструменты. Кавалеры, запрятав панталоны в высокие чулки, прихватив их подвязками поверх колен, застегнули на груди кофточки, отогнули назад их передние полы, отчего сзади получилось подобие фрака, и углём нарисовали себе на верхней губе чёрные усики. Дамы сняли кофты и остались в рубашках-декольте и *manche-courte*⁷ и коротеньких нижних юбочках. Лакеи, на обязанности которых лежало разносить угощение, в отличие от кавалеров, были без усов, в сюртуках, то есть в кофточках навыпуск. Кое-где на шкапиках появились свои свечи, с лампы был снят абажур. Бал начался. Кругом кроватей летали пары. Дамы томно склонили головки на плечо кавалерам, обдавая их по самой физиономии растрепавшимися длинными волосами. Музыканты надрывались, играя какой-то вальс из любимых мотивов шаха персидского. Лакеи уже разносили вторую перемену — свежие огурцы с сахаром. Дирижёр Надя Франк вела танцы: «*Rond des dames! Cavaliers solo! En avant!*⁸ Стой, стой, Бульдожка, ты опять танцуешь с лакеем...».

В это время дверь из умывальника приотворилась, за-

гораживавшая её пирамида из табуретов, надетых верхом один на другой, рухнула. Кавалеры, дамы, музыканты, лакеи разлетелись кубарем по своим кроватям, не только свечи, но и лампа потухла. Корова и Килька, отодвинув табуреты, вошли в дортуар, погружённый во мрак. Горничная, задаренная девочками, едва через пять минут могла отыскать спички, и, когда лампа была зажжена, на тридцати кроватях лежали тридцать девочек, все на правом боку с руками поверх серого одеяла с голубыми каймами. Только, о ужас! несколько девочек были без кофт, с распушенными волосами, тогда как строго-настрого было приказано заплетать их на ночь в одну косу. У других на верхней губе ещё виднелись чёрные тонкие усики, на шкапиках всюду лежали явные признаки запрещённого пиршества.

Килька с перекошенным от злости лицом дотрагивалась своими сухими пальцами до ног виновных и говорила только: «Du, du, du und du, steht auf!⁹». И, как после арии Роберта «Восстаньте из гробов!», из кроватей появились шесть белых девочек, которые начали сконфуженно приводить в порядок свои шутовские наряды, вытирать полотенцем лица и кутаться в зелёные байковые платки (платье при ночных экскурсиях не надевалось), затем покорно двинулись в путь за классной дамой.

— Und morgen werde ich alles «maman» erzählen!¹⁰ — громовым голосом добавила Корова.

Это была действительная угроза. Маман докладывались только большие преступления, и кара за них полагалась серьёзная, например, «без родных», то есть без допуска на свидание с родственниками в ближайшее воскресенье.

Девочки стихли, не пойманные привели себя в должный порядок, убрали всё и улеглись. Вскоре дортуар погрузился в настоящий глубокий сон. Провинившиеся, дойдя до «чёртова переулка», были расставлены почётным караулом по углам и у дверей обитательниц. Баярд попала на часы у дверей Метлы. За спиной девочки был кувшин с большим букетом цветов. Девочка вдруг с необыкновенной злостью выхватила цветы из воды, своими тонкими нервными пальцами развязала шнурок, стягивавший толстую связку корней, затем смяла, скомкала все головки цветов, туго перетянула их шнурком и сунула

в воду, освобождённые же корни безобразной щетиной топорщились наверху.

— Метле нужна метла, а не цветы! — сказала Надя на одобрительный смех, послышавшийся из всех углов.

Дверь комнаты музыкальной дамы тихоночко отворилась, и на пороге показалась Метла. Она подошла к окну, протянула руку к цветам и быстро отдернула её, видя взъерошенное чудовище, затем, поняв злую шутку стоявшей возле девушки, она обернулась к ней. Выцветшие, но добрые глаза старой девы встретились в упор со злым взглядом серых глаз Баярда.

— Вы поступили очень скверно, — сказала она по-немецки, — эти цветы мне прислала моя старуха мать из своего сада. Она слепа, но каждый цветок она сорвала своими слабыми старческими руками и сама связала их в букет.

Слёзы закапали из глаз музыкальной дамы, и она бережно, как больного, унесла к себе в комнату изуродованные цветы.

— Воображаю себе маменьку этих трёх граций! — начала в своём углу Бульдожка.

— Молчи, дура! — вдруг крикнула ей Надя Франк.

— Mesdames, mesdames, — захохотала Чернушка, — не ссортесь, Bayard, ne montez pas sur vos grands chevaux!¹¹

Но Надя Франк вдруг двинулась из своего угла и смело открыла дверь в комнату музыкальной дамы. Она вошла в крошечную прихожую и из неё увидела в комнате стол, на нём лампу с большим самодельным абажуром из сухих цветов, затем большой поднос, на котором лежал пёстрый букет, и бледные руки Метлы, старавшейся спасти менее пострадавшие цветы. При входе Нади она подняла голову и, узнав девочку, глядела на неё с недоумением и почти со страхом.

Девочка сделала ещё несколько шагов и вдруг, подняв голову с тем ясным и честным взглядом, который дал ей прозвище Баярда, заговорила:

— Mademoiselle Билле, Вильгельмина Фёдоровна, простите меня...

Руки, державшие цветы, затряслись, бедная музыкальная дама, так несправедливо, так беспричинно травимая всем этим молодым поколением, слышала в первый раз искрен-

ний, мягкий голос, называвший её по имени. Она подошла к девушке и обняла её. Рыжая головка припала к её иссохшей груди, и горячие молодые губы девушки прижались к её жёлтой, сморщенной щеке. Затем Надя круто повернулась, выбежала в коридор и спокойно встала в свой угол.

Девочки не успели прийти в себя от её выходки, как открылась вторая дверь и появилась Килька.

— Ну, большой благовоспитанной девушке, который через год будет in старший класс, может теперь идти наверх и спайт, а завтра тамап будет знайт, что ви вели себя, как глупый маленький мальшик...

Классная дама всегда по ночам, по выражению Чернушки, «приходила в христианскую веру», то есть говорила почему-то, на потеху девочек, по-русски.

Девочки сделали торопливый книксен и, бормоча какое-то извинение, побежали вверх, без разговоров разделась и легли спать.

На другой день в первую же рекреацию, когда классная дама ушла в свою комнату выпить чашку кофе, девочки вернулись в свой второй класс и заперли двери.

Тридцать голосов гудели и жужжали, как рой раздражённых пчёл. Всем был смутно известен поступок Баярда, и класс хотел знать окончательно, зачем девушка ходила к музыкальной даме — «оборвать» её или извиняться?

Бульдожка, получившая вчера «дуру», лезла из себя и находила последнее «подлой изменой», «подлизываньем».

— Если извинилась, — кричала она, — то класс должен наказать её — перестать с ней говорить.

Надя Франк вдруг отделилась от толпы и взбежала на кафедру. Рыжеватые волосы её, попав в луч солнца, горели червонным золотом, лицо её с тонкими чертами было бледно, серые глаза с расширенными зрачками глядели сухо и злобно.

— Вы хотите знать, в чём дело? Извольте: я просила прощения у Вильгельмины Фёдоровны, да, за тем и ходила, вот что!

— Вильгельмина Фёдоровна! Это ещё что за новости?! Скажите, какие телячьи нежности! Ах, дрянь этакая Франк, да как она смеет? Рыжая, хитрая! Франк вечно из себя разыгрывает рыцаря.

Девочки окружили кафедру и кричали все разом. Факт

унижения был чудовищным явлением и злил всех, как измена традициям. А Франк стояла на кафедре и повторяла: «Да, да, просила прощения, и она меня простила, пусть теперь сунется кто-нибудь её травить!..». Резкий звонок прервал ссору, в класс вошла классная дама и почти вслед за ней — учитель русской словесности Попов.

Это был уже далеко не молодой человек, маленького роста, с большими и выпуклыми, как пуговицы, глазами, в очках, с носом попугая, но толстым и красным от постоянного нюхания табака. Пёстрый фугляр, засморканный и пропитанный табачными пятнами, всегда, как флаг, болтался у него в левой руке или висел из кармана. Говорил он ясно и витиевато, стихи читал прекрасно и, в сущности, был добрый человек и хороший, полезный учитель. Сочинения были его коньком, и он их задавал на всякие темы. Войдя в класс, он положил на кафедру связку тоненьких синих тетрадок с последним сочинением класса на тему «Восход солнца».

— Ну-с, — начал он, семена по обыкновению коротенькими ножками, разгуливая между кафедрой и первым рядом парт. — Сегодня сочинения меня не обрадовали. Как, никто из вас не видал восход солнца? Никто не наблюдал величественную картину оживления природы?

*«Вот на скале новорождённый луч
Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,
И розовый, по речке и шатрам,
Разлился блеск и светит там и там»...*

— Вы не знаете этого стихотворения? Это Лермонтова, оно мне сейчас пришло на память. Вот как поэты описывают восход солнца, а вот как пишут у нас. Вот возьмём, например, сочинение m-lle Вихоревой, — и он раскрыл одну синенькую тетрадку.

«Восход солнца.

Я никогда не видела восхода солнца, в институте мы всегда в это время спим, а потому, когда меня отпустили летом домой на неделю, я обратилась вечером к своей маман: «Маман, позвольте мне завтра утром глядеть восход солнца, мне надо писать на эту тему сочинение». Маман посмотрела на меня с удивлением. «Ты напиши лучше «Закат солнца», дружок, закат — это у нас бывает каждый

вечер на пуанте Елагина острова, и я могу свезти тебя посмотреть. Но восход, я право не знаю, где его смотрят. Надо спросить папа!». Я обратилась к папа, но он сказал мне, что при восходе солнца в Петербурге даже собак ловят арканами, чтобы они так рано не бегали, а порядочные люди все спят. Вот почему я не видела восхода; я поехала смотреть закат, для которого татап себе и мне купила новые шляпки. Мы приехали на Елагин в прекрасную аллею и сели на мысике, открытом к морю. Там много скамеек, у татап оказались знакомые, все они обратили на меня внимание, и потому мне было очень стыдно. Я всё время глядела вперёд, вдалеке были какие-то точки и чёрточки, татап сказала, что это Кронштадт. Когда мы приехали, то солнце уже почти сидело, то есть было очень низко, как раз между далёкими, неясными очертаниями и Петербургом; оно садилось прямо в воду всё глубже и глубже и, наконец, нырнуло совсем, а вода стала такая красивая, золотая и красная. Я заметила много лодок, которые плыли по тому же направлению, вероятно, они хотели видеть, куда именно солнце село. Когда мы ехали назад, татап сказала мне: «Восход солнца — это совершенно одно и то же, только теперь оно шло сверху вниз, а утром оно идёт снизу вверх, я думаю, ты можешь описать это».

Вихорева».

— Что это такое, я вас спрашиваю, и где тут восход солнца? Или вот сочинение г-жи Солоповой...

Солопова, кривобокая, подслеповатая девочка, густо покраснела и замигала. Она имела дар плакать по поводу всего и всегда, потому заранее уже начала вытаскивать носовой платок.

«Аврора розовым перстом развязала свой пояс, а Феб выехал на огненной колеснице. Тогда взошло солнце, и на земле всё стало светло, молодая поселянка с венком из душистых васильков вышла на поле и с громкими песнями начала убирать хлеб».

— Что это такое? Во сне вы, что ли, видели что подобное?

Но Солопова уже всхлипывала и сморкалась: «Г-н Попов, я тоже никогда не видела восхода солнца, только не смела этого сказать».

— Матап идёт, татап! — пронеслось вдруг по классу.

Дежурная, сидевшая у входной двери, бросилась её отворять. В класс вошла маман. На её апоплексически толстой особе было надето синее шёлковое платье с большой пелериной сверху, белый кружевной чепчик был подвязан под третьим подбородком жёлтыми лентами, за маман шёл её неразлучный спутник — толстый, невероятно важный мопс. Девочки встали, присели плавно и низко, проговорив в голос: «Bonjour, maman»¹², дежурная подала ей рапортчку, отчеканив ясно: «J'ai l'honneur de vous presenter le raport du jour. La seconde classe contient 30 eleves, pour le present toutes en bonne sante»¹³. Маман кивнула головой, но не сказала, как всегда: «Bonjour, mes enfants!»¹⁴. Затем величественно ответила на поклон учителя и села на стоявший у стены стул; на втором, рядом, с которого вскочила классная дама, поместился мопс.

Маман была в чепце с жёлтыми лентами — плохая примета, как были убеждены институтки. Сердца многих забились, вчерашняя угроза Коровы пришла на ум.

Попов немедленно вызвал одну за другой трёх хорошо декламировавших девочек. Одна продекламировала оду Державина «Бог», всегда приводившую маман в умиление, другая сказала, звонко отчеканивая на рифмах:

*«Отуманилася Ида,
Омрачился Илион,
Спит во мраке стан Атрида,
На равнине мёртвый сон...».*

Третья очень мило проговорила любимую басню маман «Кот и повар». Но всё было напрасно: маман сидела как истукан, и на её добром широком лице был теперь виден гнев. Попов не знал, чем больше занимать редкую посетительницу и, боясь начать скучный диктант, стал вдруг проводить параллель между Пушкиным и Лермонтовым. Он говорил хорошо, живо и даже с пафосом продекламировал «Пророк» того и другого... Наконец раздался ожидаемый звонок, и учитель, быстро раскланявшись, исчез.

Маман встала, за ней и все девочки.

— Mesdemoiselles! (Она почти всегда говорила по-французски) Мария Фёдоровна Билле мне передала вчера ваше недостойное поведение, я очень недовольна, и завтра, в воскресенье, весь класс без родных.

Мамап вышла. Плаксы заплакали, но буйные головы молчали — надо было дать мамап время убраться из коридора, зато потом, когда посланные лазутчики донесли, что мамап «закатилась», гвалт поднялся невообразимый. Наказание было настолько серьёзно, что голоса разделились, и половина начала робко заявлять о прощении.

Теперь торжествовала Надя Франк: вот к Корове уж она не пойдёт просить прощения, пусть хоть весь класс пойдёт, а она не пойдёт, хотя бы её совсем, навсегда, до конца жизни оставили «без родных»!

Весь остальной день девочки были неузнаваемы, рассеянны, отвечали невпопад, многие совершенно неожиданно получили «кол», никто не говорил по-французски, и бедная «чужеземка» (дама, дежурившая временно из чужого класса), заменявшая m-lle Нот, охрипла и уже с каким-то сипением время от времени повторяла только как во сне: «*Mais parlez donc français, mesdemoiselles, parlez français*»¹⁵.

В шесть часов началась всенощная, и после обеда в четыре часа девочек повели наверх поправить волосы и вымыть руки. Церковь была домовая, в верхнем, третьем этаже, в глубине средней площадки лестницы, разделявшей два широких коридора с дортуарами младших и старших классов.

Когда стали строиться, класс укоротился на две пары — три девочки отказались идти в церковь под предлогом мигрени, Бульдожка без всяких объяснений залегла под кровать: она предпочитала пролежать там всю всенощную, разостлав под собой тёплый байковый платок.

Из церкви девочки вернулись усталые и в ожидании чая расселись по табуретам — на кроватях сидеть запрещалось. Разговор шёл всё о том же, чуть не все перессорились, смеха и шуток не было слышно вовсе. В восемь часов по звонку отправились в нижний этаж ужинать и вернулись опять наверх спать. Классная дама не могла дожидаться, чтобы они улеглись. Девочки раздевались лениво, плели друг другу волосы, молились подолгу, каждая своему Боженьке, прищипленному в головах к чехлу кровати, и, наконец, легли. «*Parlez donc français!*»¹⁶ — подошла еще раз классная дама к Наде Франк, спорившей о чём-то с соседкой. «Ну уж я не могу спать с чужим языком, — отрезала ей, рассердившись, девочка, — после молитвы я все-

гда употребляю свой, русский». «Vous serez punie»¹⁷, — начала та, но два-три голоса крикнули: «Чужеземка, вон!», и классная дама, не желая поднимать новый скандал, сделала вид, что не слышит, и вышла.

На другое утро, в воскресенье, девочки встали несколько позже, все были в корсетах и перетянуты в «рюмочку». Надевая уже передник, девочка обыкновенно обращалась к двум-трём другим: «Mesdames, перетяните меня», и те, завязав ленты первым узлом, тянули их, сколько могли, затем, смочив посередине, чтобы затяжка не разошлась, быстро завязывали бантом.

Кровати уже были постланы, покрыты пикейными белыми одеялами, в трёх углах громадной комнаты топились в первый раз печи. Килька вошла в дортуар, все были готовы, кроме Пышки, тянувшей ещё свой корсет.

— M-lle Королёва, не стыдно ли вам стоять раздетой при мужчине!

Девочка взвизгнула и присела в промежутке между кроватями.

«Где мужчина? Какой мужчина?» — кричали другие, осматриваясь кругом. — «Да разве вы не видите, что топят печи!». — «Так ведь это солдат, m-lle», — отвечала Пышка, вылезая и спокойно продолжая шнуроваться. Солдата, прислуживавшего в коридоре и при печках, ни одна девочка не признавала за мужчину и никогда его не стеснялась.

После общей молитвы и чая девочек привели в класс, и всем был роздан шнурок с кисточками, который они повязывали кругом головы, оставляя кисточки болтаться над левым ухом. Красный шнурок обозначал хорошее поведение, за дурное шнурка лишались, а самая «парфёшка» получала синий шнурок. Второй класс был весь лишён шнурка.

После обедни пошли завтракать, после завтрака, в два часа, начинался приём родных. Волнение девочек росло. Составлялась партия, решившаяся сдать на капитуляцию, с каждой минутой к ней примыкали всё новые члены. Скоро на стороне оппозиции осталась только рыженькая Франк да ещё пять-шесть девочек, к которым и без того никто не приходил.

У бедной Баярд было страшно жутко на сердце — сегодня должен был к ней прийти старший брат её, красавец Андрюша, и, может быть, он придёт уже прощаться,

потому что отпуск его кончался и он уезжал далеко в свой полк. Девочка, бледная, взволнованно ходила по коридору — прощение она просить не станет ни за что, и вот других простят, а её накажут ещё и на четверг за упрямство и дерзость.

Слёзы навёртывались на её глаза, и она всё ходила и ждала. Вот раздался звонок, возвещавший о начале приёма. По коридору мимо Франк пробежала дежурная со списком девочек, к которым пришли. Во втором классе слышались сморкания и всхлипывания, нервы были напряжены донельзя. Килька, видимо, не желала делать никаких уступок, с каждой минутой на лице её яснее выражалась злорадная усмешка.

— Медамочки, пошлём депутацию к тапан, может, она простит!

— Пошлём, пошлём! — подхватили все сделанное кем-то предложение. — Пошлём Франк, пусть объясняется по-французски, Бульдожка, иди ты, ты так похожа на её Боксика, что она разнежится!»

— Дура, ты сама похожа на обезьяну!

— Mesdames, mesdames, вот нашли время браниться! — кричала Чернушка, утирая слёзы.

В это время по коридору прошла Корова. «Вы зачем здесь? — крикнула она Франк. — Ступайте в класс!» — и вслед за девочками вошла туда и сама. Девочки все вскочили со своих мест, один приход Коровы зародил в их сердцах надежду.

Корова сказала длинную речь, сводившуюся всё к тому, что кто грешит, тот и должен терпеть. Минуты, дорогие минуты из двухчасового свидания уходили, родные и посетители ждали в большом зале, а у детей надрывались сердца от нетерпения и тоски.

— Сестра моя Вильгельмина Фёдоровна, — заключила Корова, — пришла сегодня утром ко мне и со слезами упросила меня идти к тапан и ходатайствовать за вас; моя добрая и кроткая сестра, с которой вы всегда обходитесь так дерзко, ей вы обязаны радостью видеть сегодня ваших родных. Мапан вас простила!

— Merçi, m-lle, merçi, m-lle, nous remercions m-lle votre soeur!¹⁸ — раздались радостные голоса, и девочки толпой ринулись к дверям.

— Подождите, — торжественно заявила Корова, — вам дадут ещё шнурки.

Эта «награда» задержала их ещё пять минут. Девочки готовы были кричать, плакать, топтать ногами со злости, но, как укрощённые дикие зверьки, метали только злобные взгляды, ловили, чуть не рвали «награду» и торопливо повязывали её на голову, затем построились в пары и вышли в зал.

В это воскресенье, как и всегда, к двум часам громадная швейцарская института была уже полна родными. Швейцар Яков в красной ливрее с орлами, в треугольной шляпе с булавой стоял как великолепный истукан и только изредка приветствовал коротким «здравия желаю» особенно почётных посетителей. Помощник его Иван отбирал «большие» гостинцы и, надписав имя воспитанницы, укладывал их в бельевые корзины. В зал позволялось проходить только с коробками конфет или мелочью, помещавшейся в ручном саквояже.

Ровно в два часа раздался звонок, и родные поднялись по лестнице на второй этаж. В дверях приёмного зала они прошли, как сквозь строй, между стоявшими по обе стороны входа двумя классными дамами, двумя пепиньерками, двумя дежурными воспитанницами и двумя солдатами, стоявшими «на всякий случай» в коридоре.

Входившие обращались направо или налево и называли фамилию. Классная дама передавала имя пепиньерке, та — дежурной девочке, которая и бежала по классам вызывать к родным.

В зале всегда преобладали матери, тётки, вообще женщины. Отцы приходили реже, они чувствовали себя как-то не в своей тарелке в этом чисто женском царстве. Посетительницы, за очень небольшим исключением высокоаристократических дам, принадлежали все к кругу небогатого дворянства средней руки; все для этих визитов одевались как могли лучше. Неопытному глазу девочек трудно было уловить тонкие оттенки туалетов, а потому все матери и подходили под общую массу. Отцы — другого рода дело. Отцами и братьями девочки гордились. Их восхищали ордена и ловко сшитые чёрные пары, осанка и важность.

Даже сами отношения между мужчинами были им ясны.

Иной отец входил и небрежно кивал головою двум другим, торопившимся встать и поклониться при его входе. Молодые офицеры, братья, конечно, привлекали к себе взгляды.

Андрюша, брат Нади Франк, красивый, стройный брюнет в стрелковом мундире, соскучился, ожидая сестру. Он давно рассмотрел всех хорошеньких и дурнушек и решил, что первые имеют конфетный вид, а между вторыми есть преинтересные рожицы. Два раза он уже обращался к пепиньерке с талией стрекозы, прося её вызвать сестру, и, наконец, обозлился и уже тоскливо поглядывал на большую коробку конфет, лежавшую рядом с ним на скамейке. «Если ещё пять минут Надя не придёт, — решил он, — сделаю скандал! Поднесу конфеты вот той кисявке, что так лукаво поглядывает из угла, и уйду. Надоело!».

В это время как раз в зал попарно вошли прощённые девочки. Чернушка первая, разорвав пары, бросилась к своей матери и, повиснув ей на шее, вдруг зарыдала. Это уже было совсем неприлично! Дежурная дама подошла к ней, солдата, стоявшего у дверей, послали за водой. Все родственники и девочки обернулись на голос классной дамы, объяснявшей сухо и методично, что m-lle Вихорева ведёт себя нехорошо, что она на замечании у мамы и что теперешнее её поведение показывает всю её неблаговоспитанность.

Мать Чернушки, женщина опытная и с тактом, качала головой, делала строгое лицо, глядя на девочку, и говорила только: «Ай, ай, ай! Как нехорошо!». А рука её любовно ласкала чёрненькую головку и, нагнувшись ей к уху, она шептала: «Перестань, дурочка, а то она не уйдет, мне с тобой и поговорить не удастся». Чернушка смолкла, отпила воды и, сев на скамейку, прижалась к матери чёрненькой головкой, точно цыплёнок, прячущийся под крыло наседки.

Бульдожка, дойдя до матери — толстой нарядной дамы, поцеловала ей руку и сейчас же схватилась за её саквояж, открыла его, достала какие-то сдобные лепёшки и принялась их жевать. Обыкновенно они разговаривали мало. Дочь уплетала, а мать с обиженным и высокомерным видом доставала из разных карманов новый провиант. Весь её вид говорил: «Ведь вот плачу 250 руб. в год, а дочь-то

голодна — какво?». Она гладила жирные плечи девочки, осматривала её пухлые, с ямочками руки и тоскливо думала: «Худеет, на глазах худеет, и к чему это только ведёт такое долгое ученье!».

Маша Королёва, хорошенькая Пышка, рассказывала матери всю эпопею «бала» и «прощения». Её не обсохшие от слёз глаза блестели, и по временам на всю залу слышался милый, заразительный смех девочки. Несмотря на строгие взгляды классной дамы, мать невольно смеялась с нею, хотя ласково зажимала ей рукой рот. Пышка целовала её в ладонь и смеялась ещё веселей.

— Рыжик, ты это чего сегодня такая?.. И отчего ты не выходила так долго, а? — спрашивал Андрюша Надю Франк.

Девочка сидела бледная, со злым, раздражённым лицом и потемневшими глазами.

II

*Андрюша. — Проблеск любви. — Луговой. —
Богомолье и батюшка.*

Андрюша был старше Нади на восемь лет и очень любил своего «Рыжика», как он называл сестру. Когда девочка необыкновенно тихо подошла к нему, вложила в его руку свою маленькую холодную ручку и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его, у него сжалось сердце. Их отец, полковник в отставке, был уже много лет разбит параличом и лечился далеко на юге в имении у какого-то богатого родственника. Мать, урождённая немецкая баронесса, была женщина добрая, но в то же время взбалмошная. Разорившаяся аристократка, она была полна какой-то обиды и горечи, которую изливала на всех. Дети не понимали её и не сочувствовали. При полном повиновении и вежливости в их отношениях к ней не хватало искренности.

Зато с тех пор, как глазки Нади стали сознательно смотреть на свет Божий, она начала отлично узнавать светлые пуговицы кадетского мундирчика Андрюши. Она тянулась к брату с рук мамки-няньки, и первое слово, сказанное ею, было «Дуся», как она прозвала Андрюшу. Мальчик не

мог наглядеться на рыжие волосики и серые глазки сестры. Когда он учил уроки, ребёнок сидел у него на столе. Никакие капризы и шалости подраставшей девочки не выводили его из терпения. Ему особенно нравилось, что девочка росла весёлая и здоровая, как репка. Он играл с нею, как с котёнком, а позднее сам приготовил её к институту и посещал её там каждое воскресенье. День, когда Надю увезли в институт, был первым днём его жизненного горя. Комната опустела, квартира затихла. Когда он в ближайшую субботу пришёл домой из корпуса и позвонил у дверей, сердце его заныло. Вместо резвых ножек, несшихся в карьер по коридору, он услышал тяжёлые, медленные шаги прислуги.

В воскресенье он отправился в институт, и когда Надя вышла к нему, он побледнел и, потеряв всю свою мужскую сдержанность, схватил ребёнка на руки и крепко прижал к груди. А девочка рыдала и лепетала: «Дуся, Дуся, возьми меня домой!». «Рыжик» преобразился. Густые непокорные локоны были обрезаны коротко и зачёсаны назад, под грубую гребёнку. Такова была форма для младшего класса. Большой лоб девочки, прикрытый обыкновенно волнами спускавшихся волос, был совершенно открыт и придавал недетскую серьёзность личику с большими глазами. А эти глаза, эти милые детские глаза, светящие Андрею как звёздочки, впервые были заплаканы и потухли, как у зверька в неволе. Вместо короткого светлого платья и передника с пышными голубыми бантами на плечах на ней было грубое камлотовое платье тёмно-коричневого цвета, длинное, до полу, форменный передник, безобразная пелеринка и узкие подвязные рукава белого цвета.

С тех пор, в последние годы корпуса, Андрюша каждое воскресенье, каждый праздник посещал Надю. Он был поверенный всех её шалостей, надежд и мечтаний. Каждый грош он употреблял на покупку Наде какой-нибудь «штучки», которые девочка обожала. Штучки эти были: картинки, изящные коробочки, фарфоровые безделушки и т.д. Когда Надя переходила уже в третий класс, Андрюша кончил курс, вышел в офицеры и уехал в полк. Разлука была тяжела обоим, но они покорились ей. Время всё-таки сделало своё: хотя дружба их не уменьшалась, но у

каждого появлялись свои жизненные интересы, и прежней неразрывной связи между сестрой и братом уже не могло быть. Полк Андриюши стоял в Одессе, и этот год, когда Надя была во втором, предпоследнем классе, брат приехал на два месяца в отпуск и сегодня приходил прощаться с сестрой.

— Рыжик, — начал Андриюша, желая развлечь сестру, — я к тебе завтра вечером приду проститься.

Девочка встрепелась и взглянула на брата.

— Ну да, я уже просил Якова (швейцара) передать вашей маме записку, в которой прошу её позволить мне проститься с тобой. Так как я уезжаю надолго. Ты не бойся, я написал по-французски «j'ai l'honneur...»¹⁹ и так далее. Ну так завтра я приду сейчас после вашего обеда в четыре часа и пробуду, если можно, хоть до восьми — до самого вашего ужина. Уезжаю я в 11 часов вечера. Довольна?

Девочка молча кивнула головой и ближе подвинулась к нему. Вот эта самая молчаливая ласка, её вечное желание «притулиться» к брату и хватало его за сердце. В этих инстинктивных движениях ярче всего высказывалось одиночество девочки и её потребность в защите и поддержке.

— Мама тебя целует, — продолжал Андриюша, — она придет к тебе в четверг. А какую я тебе «штучку» принёс, Рыжик! — И Андриюша вынул из кармана крошечную обезьяну из *parier mache*²⁰. — Надя оживилась. Она повертела штучку в руках, улыбнулась, потом отложила игрушку и, вздохнув глубоко, начала говорить брату пониженным голосом.

— Вот что, Андриюша, у меня с классом выходят серьёзные неприятности, мы не ладим: видишь, командовать собою я не дам и покориться уже тоже не покорюсь. Они меня, ты знаешь, прозвали Баярдом, ты не думай, что это так хорошо — это насмешка. Я, по их мнению, видишь, «изображаю» из себя рыцаря без страха и упрёка. Только это неправда, я ничего не изображаю — я как я, а вот они все плоские.

— Как плоские?

— Да вот такие, мелкие все, как одна. Так вот, Андриюша, я хотела поговорить с тобой серьёзно. Возьми меня к себе в полк, там у твоих старых офицеров верно есть дети, я их буду учить читать и писать по-русски и по-французс-

ки, отчасти даже... по-немецки, мне будут платить. Мы так и проживём, только, пожалуйста, пожалуйста, возьми меня отсюда! — сдвинув брови, открыв от волнения ротик, девочка сидела смиренно, не сводя глаз с брата.

— Рыжик ты Рыжик! — вздохнул Андрюша. — Не говори ты пустяков, разве мама согласится взять тебя, не окончив курса, и отпустить со мной? А она-то как же останется? Или тебе её не жаль? Ведь она только живёт надеждой на твой выпуск. Ведь, окончив курс, тебе, может, и в самом деле придётся давать уроки и получать деньги, чтобы жить с мамой. Ведь тебе всего полтора года осталось до выпуска, подумай-ка это?

Глаза девочки раскрылись широко, в первый раз ей пришла в голову мысль о том, что на ней лежат обязанности, что мать и брат ждут, чтобы пришло время, когда она должна их выполнять.

— Да-а, правда, — сказала она. — Ну да я перетерплю. Но у нас вышла странная история с Коровой...

И она рассказала брату весь эпизод.

Брат хохотал от души, и голосок Нади уже звенел весело, она снова вытащила из кармана «штучку» и даже поцеловала обезьяну в самую мордочку.

— Ну, сейчас будет звонок, осталось всего пять минут, — сказал Андрюша. — Вот тебе конфеты, тут две коробки.

— Одна мне, а другая... — и Надя сделала хитрую рожицу... — Людочке?

— Пожалуй, отдай Людочке!

— А записки ты туда никакой не положил?

— Рыжик, ты дуришь, ты знаешь, что я этого никогда не сделаю.

— Напрасно, Андрюша. Люда обожает тебя и очень просила, чтобы ты перед отъездом объяснился ей в любви, ну хоть в стихах!

— Господи, какая ты глупая!

— Нисколько не глупая. Люда старше меня на год, ей уже 16 лет, через полтора года мы выйдем из института, и она может обвенчаться с тобой.

— Надя, да кто тебе сказал, что я хочу жениться на ней?

— Ах, Андрюша, как это будет нечестно! Ведь она прислала тебе сказать через меня, что она тебя обожает. Весь

класс знает, что она «за тобою бегаёт». Люда — красавица, ты сам сколько раз привозил ей конфеты.

— Так ведь это потому, что вы с её семьёй знакомы, я товарищ её брата.

— Ну, вот видишь, Андрюша, и она моя подруга. Нет уж, ты, пожалуйста, не осрами меня, женись на ней!

Резкий звонок прервал эту оригинальную просьбу, и Андрюша, расцеловав сестру, вышел вместе с другими родными.

Нарочно или нечаянно, но, выходя из коридора, на лестнице молодой человек остановился, натягивая перчатки, а сверху с лестницы сбежала девушка, вся белокурая, как хлебный колос, с глазами синими, как два василька. Почти пробегая мимо офицера, она присела, проговорив «*Bonjour, monsieur Andre*», затем скользнула рукой по его рукаву и оставила за его обшлагом записочку.

Андрюша покраснел и, не оглядываясь, пошёл вниз.

В записочке было:

«Вы уезжаете, но помните, что:

Забуть того, кем сердце дышит,

Кем мысли заняты всегда,

Кого душа повсюду ищет,

Забуть того — сойти с ума!

Ваша Людмила Галкина».

После приёма родных девочек повели обедать. По институтским традициям, в воскресенье ни одна из тех, у кого были родные, не дотрагивалась до обеда. Если девочка, не дождавшись раздачи гостинцев, соблазняясь пирогом к супу и начинала его есть, немедленно её соседка толкала локтем другую и замечала: «Смотри, у неё были родные, а она ест казёнщину!». С какого-нибудь конца раздавалось сейчас восклицание: «Медамочки, глядите, у неё были родные, а она ест!».

Как только пропели «Очи всех на Тя, Господи, уповают», двери столовой открылись настежь, и четыре солдата внесли две громадные бельевые корзины. Одну поставили к столам младшего отделения, другую — к столам старшего. От каждого класса сейчас отделились две дежурные и пошли помогать разбирать гостинцы. Все корзины, коробки и пакеты носили на себе билетки с фамилией. Дежурная

забирала всё, что причислялось к их классу, несла к своим столам и раздавала по назначению. Классные дамы иногда развёртывали и осматривали присылки. Девочки при этом часто просили: «M-lle, prenez quelque chose, prenez, je vous en prie»²¹, и классная дама больше из желания угодить девочке, чем полакомиться, брала конфету или «кусочек». Если гостинцы были «домашние», то часто слышалось из уст дамы презрительное замечание: «Ma chere, ваши родные, право, думают, что вас здесь не кормят. Что это такое — булки, котлеты? Кофе в бутылке? — говорила она одной девочке. — Ну уж это совсем мещанство, я вас прошу, чтобы таких кухарочьих присылок не было», — и бедная девочка, которая так просила свою маму прислать ей кофейку варёного со сливками, теперь краснела, стыдилась и готова была провалиться со своей бутылкой.

А между тем часто случалось так, что девочки, поделив между собой гостинцы, наедались конфетами, шоколадом и драже до тошноты и в то же время были буквально голодны, отказавшись из принципа от казённого обеда.

Прошло несколько дней, в институтском муравейнике всё обстояло благополучно. Второй класс был в особенно мирном настроении. «Помещице» Тоне Петровой прислала мать из имения в Боровичах мешок толокна, мешок сушёной малины, пуд масла и бочонок мёда. Четыре раза в год аккуратно, как государственную подать, она высылала своей дочери этот провиант, и за то всё остальное время по воскресеньям и четвергам все делились своими гостинцами с Тоней Петровой. Масло и мёд всегда оставались у классной дамы и выдавались скупно, но толокно и малина, как вещества безвредные, прятались в большой классный шкаф и, насколько их хватало, отдавались на расхищение желающим. Девочки ели толокно с водой, с сахаром, с квасом, когда удавалось его купить. Набирали сухое в рот и начинали говорить, причём белая пыль летела во все стороны, что было так смешно, что одна половина класса, глядя на другую, хохотала, делавшие же опыт давились, кашляли до слёз, до хрипоты. Малину ели на ночь сухую и заваривали как чай, уверяя, что очень здорово вспотеть, и потели. Словом, было очень весело.

Но вот в одну из рекреаций старшие классы облетела сенсационная новость, что Владимир Николаевич Луго-

вой уходит и на его место назначен новый инспектор. Одного Лугового девочки называли по имени и отчеству, всех остальных — по фамилиям с прибавлением: господин, *monsiur* или *herr*.

Лугового любили все. Это был ещё молодой человек лет тридцати пяти, высокий, худой, несомненно чахоточный, с красивым профилем и большими добрыми глазами. Каков он был как инспектор, Бог его знает, но девочек положительно любил, знал каждую по имени, разговаривал ласково, случалось, встретив большую уже девочку, он останавливал её за руку или, разговаривая с которой-нибудь, проводил рукой по волосам. Он делал это, очевидно, из доброты: женатый и отец семейства, он обращался с воспитанницами, как с детьми, и девочки были страшно отзывчивы на эту ласку. Они чувствовали, что тут не фамильярность, не пошлость, но именно отеческая ласка, которой так жаждали их маленькие сердца. Луговому стоило появиться в коридоре, как девочки из всех классов бежали ему навстречу, окружали его, осыпали вопросами и смеялись.

Если в свободные часы или вечером по каким-нибудь делам он заходил в «скелетную» (комнату за вторым классом), где стояли два скелета и два шкафа с убогой институтской библиотекой, девочки проникали туда.

Если Луговой говорил им что-нибудь, часто поясняя из ботаники или зоологии — а он говорил очень хорошо, — девочки окружали его стул, усаживались кругом прямо на пол и слушали с радостным вниманием.

Именно за это-то его и не любили классные дамы и начальство. Он нарушал дисциплину, он «неприлично» обращался с девицами.

Потерять Лугового девочкам казалось большим несчастьем.

Узнав, что инспектор в «скелетной», девочки бросились туда, их набралась целая куча, остальные ждали известий в коридоре. Девочки заговорили все разом, но Луговой, смеясь, махнул им рукой, и все сразу смолкли.

— В чём дело? — обратился он к одной.

— Правда ли, Владимир Николаевич, что вы уходите от нас?

Минуту Луговой молчал, он глядел на эти ясные глаза — чёрные, синие, зелёные, серые — и во всех видел одно

и то же выражение доверия и привязанности. Ему жаль было расставаться.

— Да, дети, правда, — сказал он. — Я плох здоровьем, хочу отдохнуть, полечиться. Завтра вас соберут всех в большой зал и вам представят нового инспектора Виктора Матвеевича Минаева.

— Мы не хотим нового инспектора! Мы никого, кроме вас, не хотим! Вы не должны оставлять нас, мы при вас должны кончить курс! — кричали девочки.

— Довольно, дети, будет! Спасибо за чувства, но... я не могу остаться... Да на то и не моя одна воля.

— Мы так и знали! Вас выжили из-за нас, вы были слишком добры к нам!

— Дети, дети, вы забываетесь!

Но волнение уже охватило детей, стоявшие в коридоре узнали печальную новость и тоже кричали: «Мы не хотим нового инспектора, мы не примем его, не станем разговаривать!».

В другое время Луговой, пользуясь своим авторитетом, мгновенно успокоил бы детей и прекратил бы шум, но теперь, взволнованный сам, видя, что детские страсти расходились, он взял свою шляпу и направился из «скелетной» к большой лестнице, говоря только на ходу:

— Нехорошо, дети, нехорошо, вы меня огорчаете!

Луговой шёл по лестнице, за ним вразброд, вопреки строгому запрещению, бежали девочки обоих старших классов. Многие плакали.

— Владимир Николаевич! Владимир Николаевич! Неужели мы вас больше не увидим?

Луговой, дойдя до швейцарской, остановился.

— Дети, вы сделаете мне неприятность, вас из-за меня накажут, и это отравит мне наше расставание. Мы увидимся в общем зале, и помните, ваше поведение отзовется на мне: всё другое могут приписать моему влиянию. Слышите? Я хочу расстаться с вами с мыслью, что до последней минуты вы были послушны мне.

Девочки молчали, понутив головы.

Он вошёл в швейцарскую и, надевая пальто, глядел сквозь стеклянные двери на опечаленную группу.

Когда он вышел, девочки бросились наверх, ворвались в учительскую (центральную комнату на втором этаже) и

бросились к трём окнам, выходящим в палисадник. Это опять было большое нарушение дисциплины. К счастью, в эту минуту в учительской находился только Цапля — неизмеримо худой и длинный немец, учитель музыки Herr Це. Скромный немец оторопел при виде влетевшей толпы «Fräulein» и скромно отошёл к роялю. Луговой, обогнув длинную дорожку палисадника, дошёл почти до ворот и инстинктивно обернулся. Он увидел у каждого окна учительской группу головок и отчаянные сигналы рук, посылавших ему поцелуи. Он только покачал головой и скрылся за воротами. Звонок заставил девочек соскочить с деревянных скамеек, стоявших у окон, и быстро вылететь вон. Снова пробегая перед ошеломлённым учителем музыки, они не только не «обмакнулись», но чуть не свалили его с ног. Бульдожка со всего размаху налетела на него и ткнулась головой в то место, где у немца за художество отсутствовал живот. Немец дрогнул в коленях, едва устоял на ногах, а резвая стая, кто ещё со слезами, кто уже с хохотом от пассажа с Цаплей, разлеталась по классам.

Весь остальной день разговоры вертелись на одном: Луговой уходит!

Вечером кривобокая Солопова шепнула что-то «помещице» Петровой, та подозвала ещё двух-трёх, наконец, интересное совещание расширилось, и скоро образовалась таинственная группа человек в десять—двенадцать. Девочки решили ночью идти босиком на богомолье. Это была уже совсем экстренная мера помочь горю. Охваченные религиозным рвением, они не шалили. Ложась на кровать, избранные делали друг другу какие-то франкмасонские знаки, обозначающие предостережение — не заснуть. Наконец злополучная Килька ушла, поверив на этот раз, что огорчённым девочкам не до шалостей.

Минут через десять Солопова встала, а за нею и все собиравшиеся на богомолье. На этот раз не было никаких переодеваний. Все девочки ходили на Красную Шапочку, исключая того, что были одеты все в белое. У всех на голове был чепчик из довольно грубого полотна, подвязанный тесёмочками под подбородком, прямая кофточка, тоже с тесёмочками у ворота, и нижняя короткая бумазейная юбка.

Ленивые, парфёшки и трусики — потому что были та-

кие, которые ни за что на свете не решились бы пойти ночью в церковь, — лёжа на кровати, тихо наблюдали за обрядом. Солопова пошла вперёд, за нею — остальные по парам, как монашки. Голые ножки вступили в холодный коридор, а затем на каменные плиты церковной площади.

Церковь имела две громадные двери. Наружные глухие только притворялись на ночь, а внутренние стеклянные заперались на ключ. В этом пространстве между дверями и поместились богомолки. Сквозь стеклянные двери они видели широкую тёмную церковь. Два клироса — направо и налево. Высокие хоругви по углам. Перед закрытым алтарём у царских врат таинственно мерцали две лампы, освещая лик Богоматери и Спасителя. Наверху, у Тайной вечери, как звёздочка в небесах, сиял огонёк в синей лампадке.

В этом узком пространстве между громадной лестницей, погружённой во мрак, и слабо освещённой церковью девочкам казалось, что они отрезаны от всего мира. Суеверный страх чего-то холодного, неизвестного за спиной, чего-то таинственного перед лицом заставил их горячо молиться с тем религиозным экстазом, который охватывает детей в пятнадцать—шестнадцать лет. И каждая из них в душе повторяла одну и ту же наивную молитву: «Господи, не отними от нас нашего доброго инспектора Владимира Николаевича Лугового и не допусти к нам нового!».

Чернушка поднялась первая.

— Не могу, медапочки, ноги застыли!

За нею вскочили и другие, только Солопова стояла на коленях. Её некрасивый рот шептал молитвы, костлявая рука замерла на лбу в крестном знамении, слезливые глаза светились глубоким чувством молитвы и веры.

Девочки махнули рукой на Солопову, которая часто простаивала так на церковном притворе целые ночи. Отворив двери, они стали выходить на площадку. Кругом было темно.

— Душки, я слышу чьи-то шаги! — шепнула вдруг Пышка.

Вся стая богомолков шарахнулась в кучу, как испуганные овцы. На гулкой каменной лестнице действительно что-то прошуршало. Кто-то слабо вскрикнул, и вдруг вся стая, охваченная паническим страхом, понеслась в коридор, хватая друг друга, цепляясь за юбки, с подавленными рыданиями они влетели в свой дортуар.

— Медам, медам, что с вами? Чего вы кричите? — посыпались вопросы от проснувшихся девочек.

«Пилигримки» тряслись и, щёлкая зубами, ложились и прятали свои застывшие ноги под одеяло. Когда в дортуаре настала уже тишина, Чернушка потянула тихонько Пышку за одеяло.

— Пышка, ты спишь?

— Нет ещё, — отвечала та тоже шёпотом, — а тебе что?

— Пышка, душка, скажи мне, ты ничего не видела на лестнице?

Пышка нагнулась в промежуток между кроватями.

— Знаешь, Чернушка, я видела «его», он катился шаром...

— Ай! ай! ай! — завизжала Чернушка. — Дрянь этакая, зачем ты говоришь мне такие страсти! — И, завернувшись одеялом с головой, свернувшись клубочком, она зашептала: «Да воскреснет Бог...».

На другое утро второй класс был очень разочарован. Богомолье не принесло желанных плодов. Всё шло раз предназначенным порядком. Классная дама (всё ещё чужая за болезнью m-lle Нот) объявила, что второй урок (как говорилось «класс») кончится на полчаса раньше и что до завтрака всех поведут в зал прощаться с Луговым и знакомиться с новым инспектором. Впрочем, ночные богомолки не роптали, но только были смущены. Солопова растолковала им, что это справедливое наказание им за их дурное поведение: испуг, крик и бегство из церкви... такую молитву Бог не принимает.

Первый урок был сегодня священная история. Преподаватель, институтский духовник отец Андриан, был молодой, красивый священник, он носил щегольскую шёлковую лиловую рясу.

Когда он вошёл в класс, все встали и пропели молитву перед учением. Затем он взошёл на кафедру. Одна из девочек немедленно подошла к классной даме.

«Permettez moi de parler avec Monsieur la prêtre»²².

Затем, получив позволение, подошла к кафедре и начала говорить священнику тихо, как на исповеди.

В институте было принято, что если которая из девочек видела «божественный сон» или имела видение, то должна была рассказать это батюшке. Чаще всех рассказывала Со-

лопова. Сны её были удивительные, длинные и наивные, как средневековые легенды. Случалось и так, что если класс не знал катехизиса, то Надя Франк или Чернушка импровизировали сны и по очереди чуть не весь час занимали батюшку религиозно-фантастическими бреднями.

Класс кончился, девочки окружили отца Андриана.

— Батюшка, вы пойдёте сегодня в зал смотреть нового инспектора?

— Новый инспектор не есть зверь диковинный, чтобы идти смотреть на него, я так полагаю, а пойти... ай, ай, ай, — закричал вдруг батюшка и даже присел. — Вы опять за волосы драть меня? — Он схватился рукой за голову и обернулся — за ним стояла группа девочек, и Катя Прохорова, вся красная, смущённая, старалась пробраться сквозь них. — Это что же, девицы, вы опять вырывать у меня волосы? Ведь этак я облысею.

— Батюшка, это Катя Прохорова, она вас обожает, и у неё нет ни одного вашего волосика, она на память.

— Нет уж, увольте. Я сердиться начну! Разве возможно такое обращение с лицом духовного звания?

— Батюшка, да я, право, только три волосика, — оправдывалась Катя Прохорова, уже отбежав в сторону и разделяя добычу на три части с двумя другими обожательницами.

— Катя, душка, — молила одна из них, — достань мне волосок из его бороды!

— Вот бесстыдница! Да как же я его за бороду потяну? Я из головы и то со страхом вырвала, ты видишь, он чуть не рассердился! Нет, медапочки, уж лучше я в следующий раз клинчик из его рясы вырежу...

III

Новый инспектор и сказка о принцессе с золотой головкой

— Mesdemoiselles, rangez vous. Rangez vous, mesdemoiselles²³, — слышалось во втором классе, и девочки становились по парам, чтобы идти в зал прощаться со старым инспектором и знакомиться с новым.

Второй класс строился угрюмо и неохотно, пары бес-

престанно размыкались, и девочки снова собирались кучками. На общем собрании они решили «травить» нового инспектора при первом же случае.

— Петрова, наколи себе палец булавкой или обрежь немножко, да скорей! — шептала маленькая Иванова.

— Зачем я тебе стану свои пальцы резать, вот ещё выдумала!

— Да ведь ты друг Евграфовой, ну а я — её пара. Евграфову класс послал «выглядеть» нового инспектора, так ты понимаешь, что и мне надо «испариться»? Дай мне скорей крови на носовой платок, и я убегу, скажу: кровь идёт носом.

— А-а, для Евграфовой? Хорошо!

Не успела Петрова геройски ткнуть себя булавкой в палец и выдавить из него крупную каплю крови, как в класс влетела Евграфова.

— Приехал! Приехал! — шептала она взволнованно. — Матап с Луговым сейчас идут.

— Ну что, какой он?

— Ах, душки, это цирюльник!

— Как цирюльник, почему цирюльник, откуда ты узнала, что он цирюльник?

— Ах, непременно цирюльник, рукава у него короткие и держит он руки, точно несёт таз с мыльной водой...

Как мелкие ручьи впадают в большое озеро, так пара за парой, класс за классом стекался весь институт и поглощался громадным рекреационным залом. Там по обе стороны девочки строились рядами, оставляя в середине пространство ровное, длинное, как коридор.

В перерывах, отделявших класс от класса, стояли «синявки» и дежурные «мыши», то есть классные дамы, носившие всегда синие платья, и пепиньерки в форменных серых платьях. Сдержанный гул голосов наполнил высокую комнату.

— Тс! Тс! Тс! — шипели «синявки».

— Silence!²⁴ — крикнула, появляясь в дверях, Корова в синем шёлковом платье и «в седле», т.е. в парадной мантилье, делавшей её совершенно горбатой.

Всё смолкло, все глаза обернулись на классную дверь. Вошли матап, Луговой и новый инспектор — бледный злой человек среднего роста с большими светло-серыми

глазами, осенёнными тёмными ресницами, с неправильным, но приятным и кротким лицом, русыми волнистыми волосами, без усов, в чиновничьих бакенбардах котлетами. Он производил впечатление весьма вежливого и старательного чиновника, но детский глаз сразу остановился на несколько коротких рукавах его виц-мундира и на округлённых, неуверенных жестах его рук. Кличка «цирюльник» осталась за ним.

За торжественным трио вошли батюшка отец Андриан и несколько учителей, затем двери закрыли.

Маман прошла во всю длину залы, и каждый класс приседал пред нею с общим ровным жужжанием: «Nous avons l'honneur de vous saluer, maman»²⁵.

Сказав несколько милостивых слов классным дамам, сделав кое-какие замечания, маман остановилась посреди залы.

— Mademoiselles, наш многоуважаемый инспектор Владимир Николаевич Луговой покидает нас. Здоровье не позволяет ему более занимать эту должность. На его место поступает к нам новый инспектор Виктор Матвеевич Минаев. Я надеюсь, что под руководством нового инспектора ваши занятия пойдут так же успешно, как и при прежнем, а ленивые должны стараться не дать себя угадать и вперёд получать лучшие баллы. От сегодняшнего дня все классные журналы Виктор Матвеевич Минаев будет просматривать каждый день.

Всю эту маленькую речь маман проговорила по-французски и затем, утомлённая, опустилась в кресло.

— Mesdemoiselles, remerciez²⁶ m-г Луговой, — запетали «синявки» и «мышы».

— Nous vous remercions, monsieur l'inspecteur²⁷.

Глаза многих девочек старших классов были полны слёз, и голоса их дрожали, выговаривая холодную, казённую фразу.

Луговой обратился к девочкам, речь его была проста и сердечна. Он сказал, что знает не только массу, составляющую институт, но в старших классах, выросших при нём, и каждую девочку отдельно. Он доволен был всегда общим уровнем девочек, но были многие, которые могли сделать гораздо больше, чем хотели, вот к этим-то некоторым, называть которых он не хочет, он и обращается, чтобы они не обманули его надежд, что издали до самого

выпуска третьего класса (старшего курса) он будет следить за успехами своих бывших воспитанниц.

После Лугового сказал свою речь Минаев. Он говорил, очевидно, подготовившись, цветисто и длинно, но речь его, как и вся фигура, оставили на всех впечатление чего-то расплывчатого, нерешительного. После них, уже без всякого повода, начал речь и отец Андриан. Он говорил о вреде своеволия и о пользе послушания. Очевидно, со стороны старших девочек побаивались какой-нибудь демонстрации и заранее старались обуздать их.

За каждой речью девочки, как манекены, приседали, тоскливо ожидая, когда же конец.

Наконец татап под руку с Луговым выплыла из залы. Минаев пошёл со священником, учителя за ними, и девочки, выстроившись парами, спустились боковой лестницей вниз и снова длинным ручьём перелились из залы в столовую.

— Опять пироги с картофелем? Вот гадость! Кто хочет со мной меняться за булку вечером? — спрашивала Вихорева, держа в руке тяжёлый плотный пирог с начинкой из тёртого картофеля с луком.

— Я хочу! — закричала Постникова, обожавшая всякие пироги. — Я его к вечеру спрячу и буду есть с чаем, а ты бери мою булку.

— Душки, сегодня у нас в дортуаре печка топилась, кто пойдёт хлеб сушить?

— Я, я, я пойду! — отвечали голоса.

— Так положите и мой, и мой, и мой, — раздалось со всех концов большого обеденного стола.

— Хорошо, только пусть от стола каждая сама несёт свой хлеб в кармане, — отвечали вызвавшиеся нести.

— Ну, конечно!

— Иванова, смотри: я свой хлеб крупно посолю с обеих сторон.

— Хорошо.

— А я отрежу верхнюю корочку у всех моих кусков.

— А я нижнюю.

— А я уголки.

— Mesdames, уговор, чтобы у всех хлеб был отмечен, тогда не будет никогда спора при разборке сухарей.

И все отметили свои куски. Хлеб, не завернув ни во

что, клали прямо по карманам с носовым платком, перочинным ножом и другим обиходом. Затем в дортуаре хлеб этот наваливался в отдушник, на выюшки, прикрывавшие трубу, и к вечеру он обыкновенно высушивался в сухарь. Дети грызли его с вечерним чаем или даже просто с водой из-под крана.

Нельзя сказать, чтобы дети голодали, их кормили достаточно, но грубо и крайне однообразно, вот почему они и прибегали к разным ухищрениям, чтобы только выйти из наскучившей им рутины.

— Ну и речь сказал Минаев! Ты заметила, как он странно говорит? — спросила Евграфова своего друга Петрову.

— Заметила, у него язык велик для рта — плохо вертится.

— Петрова, вы говорите глупости, — заметила ей Солопова. — Бог никогда не создаст языка больше, чем может поместить во рту. Промысел Божий...

— Ну, поехала наша святоша... довольно, Солопова, а то опять нагресишь и станешь всю ночь отбивать поклоны... Он, душки, просто манерничает и потому мажет слова, — решила Чернушка.

— Ну, теперь синявка Иверсон всё платье обошьёт себе новыми бантиками, ведь она за всеми холостыми учителями ухаживает.

— А ты почём знаешь, что он холостой?

— А кольцо-то где? Я глядела — кольца у него нет!

— Вот смотри, ещё на которой-нибудь из наших выпускных женится.

— Ну да, так за него и пойдут! Там все Лугового обожали, ни одна не захочет ему изменить.

Словом, когда после завтрака шли обратно в классы на большую перемену, во всех парах только и было разговору, что о новом инспекторе.

Войдя в свой коридор, второй класс вдруг оживился и обрадовался: оказалось, что у них в классе за лёгкой балюстрадой, отделявшей глубину комнаты, расхаживал учитель физики и естественной истории Степанов. Учитель этот был тоже общий любимец; молодой человек, невероятно худой и длинный, «из породы голенастых», как говорили девочки, огненно-рыжий, с громадным ртом, белыми и крепкими зубами и серыми весёлыми глазами.

Преподавал он отлично. Самые тупые понимали его, ленивые интересовались его опытами, потому что он сам любил свой предмет, а главное, во время урока был всегда оживлён и, чуть заметив сонное или рассеянное личико, немедленно вызовет или хоть окликнет. Пересыпая шутками и остротами своё изложение, он всё время поддерживал внимание девочек. Потом с ним можно было улаживаться «на честь». Девочки иногда подкладывали ему в журнал бумажку, где под чёткой надписью «не вызывать» значились фамилии тех, которые не выучили урок, с пометкой: «обещаются знать к следующему разу», и он не вызывал их, но долгов не прощал. Память у него была хорошая. На следующий раз или через два-три урока он всё-таки вызывал отказавшихся, спрашивал просроченный урок и без пощады влеплял не знавшей круглый «нуль». Кроме того, он ставил ещё баллы «на глаз», и опять-таки безошибочно. Какая-нибудь девочка, прозевавшая весь час или читавшая какой-нибудь роман, держа незаметно книжку под пюпитром, вдруг узнавала, к своему ужасу, что Степанов поставил ей во всю клетку «нуль».

— Павел Иванович! Павел Иванович, вы нечаянно в мою клетку отметку поставили, ведь меня не вызывали. За что же?

— Как же я смел вас тревожить, ведь вы книжку читали, — отвечал он совершенно серьёзно. — «Нуль» я поставил вам за невнимание, мы его переправим, как только вы снова станете присутствовать в классе и следить за уроками. — И переставлял, если того заслуживали.

Весной и ранней осенью он хоть один раз в неделю брал детей в сад, чем тоже доставлял им громадное удовольствие. Дети в хорошую погоду уже встречали его криком: «Сегодня по способу перипатетиков?», — и он весёлым басом отвечал: «Будем последователями школы перипатетиков!». Бывало и так, что он приносил в класс угощение, т.е. сухого гороха, бобов, овса, разных хлебных зёрен, всё в отдельных фунтиках; он передавал гостинцы девочкам, объявляя громко: «Слушайте и кушайте, изучайте и вкушайте», — и девочки слушали, изучали и усердно жевали весь класс. Словом, это был баловник и забавник и в то же время образцовый учитель. Экзамены по его предметам сходили без фальши и без запинки.

Застав Степанова убирающим физический кабинет, дети остановились у балюстрады.

— Павел Иванович, пустите меня к себе помогать! Пустите меня! — просили многие.

— Вас? — обратился он к Пышке. — А кто у меня стащил ртуть в последний раз?

— Я? Никогда не брала!

— Не брали? Ну, смотрите мне в глаза — не брали?

— Немножко... — тихонько отвечала девочка, краснея.

— Ну то-то, язык лжёт, а глаза не умеют!

— Вас? — говорил он другой. — Да ведь вы наивная девица: колбы от реторты отличить не умеете, нет, вы сперва учитесь у меня хорошо, тогда и за загородку попадёте. Вы, господин «рыцарь», пожалуйста! — Пригласил он Баярда. — Вы, Головёшечка, ступайте, — позвал он Чернушку. — Вы, Шотландская королева, — обратился он к стройной, серьёзной Шкот, — удостойте. А вы, ангел Божий, отойдите с миром, а не то всё крыльями перебьёте! — отстранил он Солопову. Девочки хохотали — им нравилось, что он знал все их прозвища. — Почтенное стадо, где же ваш синий пастух?

— У нас всё ещё чужеземка, она к себе «вознеслась»*.

— Хорошо сделала, если бы я мог вознестись тоже до какого-нибудь завтрака, то был бы очень доволен.

— Павел Иванович, хотите пирог? — предложила ему Постникова, жертвуя выменным пирогом для любимого учителя.

— А с чем?

— С картофелем и луком, вкусно!

— Редкое кушанье, давайте!

Девочка вытащила из кармана своё угощение. Степанов взял его и спокойно, в три глотка, справился с ним.

— Ну, барышни, теперь воды, — попросил он, — а то я чувствую, что «элемент» не проходит.

Девочки бросились в конец класса и чуть не передрались за удовольствие подать ему кружку воды.

— Минаев! Минаев! — закричали в коридоре.

Девочки сразу смолкли, насупились и молча, недоброжелательно глядели на дверь.

* «Возносился» тот, кто жил наверху, а кто жил внизу, тот «закатывался».

Вошёл Минаев, на лице его было искательное, ласковое выражение. Он был смущён, так как чувствовал глухую оппозицию и ещё не определил ясно, как держать себя. Он поздоровался со Степановым, который сразу понял положение и пошёл ему на помощь.

— Милости просим, пожалуйста в наш физический кабинет, тесновато у нас да и небогато, а посмотреть не мешает.

Минаев рад был выбраться за загородку из толпы девочек, разглядывавших его бесцеремонно и недружелюбно. Войдя туда, он, однако, обратился к классу.

— Как ваша фамилия? — спросил он Евграфову, стоявшую ближе всех.

— Иванова, — ответила она без запинки.

Девочки переглянулись. Начиналась травля.

— Ваша фамилия? — спросил он Кутузову.

— Александрова.

Итак, подряд у двадцати девочек, дерзко столпившихся кругом балюстрады, оказались именнные фамилии, весь класс состоял из Ивановых, Николаевых и Александровых. Высокий лоб инспектора покрылся краской, он взглянул на учителя, тот щипал свою козлиную бородку и молча серьёзно глядел на девочек.

— Ваша фамилия? — спросил инспектор, глядя в упор на Баярда.

— Франк, — ответила девочка отчётливо и громко.

Инспектор вздохнул с облегчением.

— Вы из Курляндии? Я там слыхал эту фамилию.

— Да, дед оттуда.

— А как ваше имя?

— Надя, — наивно отвечала девушка.

Инспектор улыбнулся.

— А ваша фамилия?

— Шкот.

— Кто ваш отец?

— Отец мой умер давно. Меня воспитывает мой дед, адмирал Шкот.

Минаев повеселел. Эти простые ясные ответы успокоили его нервы, он почувствовал, что своим хладнокровием одержал победу над детской тупой злобой. Поговорив ещё с учителем, пообещав ему выписать

новые аппараты, он просто и вежливо поклонился девочкам и ушёл.

Франк была спокойна. Если бы она сказала свою фамилию после Шкот, то все назвали бы её «подлой обезьяной», но вышло наоборот. Поведение Шкот, считавшейся в классе авторитетом порядочности, подчёркивало и уясняло всем справедливость её поступка. После ухода инспектора многие пробовали обидеться, слышались насмешки, угрозы, но партия была неравная — сила оказалась за решёткой, на стороне меньшинства.

Степанов поглядел на всех и сказал только: «Стыдно и не остроумно!».

Шкот холодно и в упор бросила горячившейся Бульдожке: «Девчонка», а Франк, как всегда, вспыхнула и перехватила через край:

— И буду, и буду обожать Минаева! Да, вот так и знайте, с сегодняшнего дня я обожаю Минаева, отвечаю на его вопросы, держу для него мел в розовых юбках, бумагу с незабудкой и всё, и всё как надо.

Степанов хохотал, глядя, как у рыженькой Баярд от волнения прыгали за плечами косы. Его тоже, вероятно, обожал кто-нибудь, потому что и для него концы тонких мелков пышно обёртывались розовым клякс-папиром и бумага для каких-нибудь записок также появлялась всегда с незабудкой.

Класс всё-таки перессорился, но поведение Минаева пристыдило многих. Он не побежал «с языком» к татап, но, напротив, пришёл ещё раз во второй класс, сам взял с кафедры журнал и сделал перекличку. Каждую вызванную девочку он оглядел серьёзным взглядом и запомнил почти всех.

Вечером, моя под краном умывальника шею, Шкот сказала тихо Франк: «Приходи сегодня ко мне на кровать». Франк радостно кивнула головой. «Прийти на кровать» дозволялось только друзьям. Хозяйка лежала под одеялом, а гостья, одетая в кофту и юбочку, забиралась с ногами на кровать, и между ними велась откровенная беседа.

Франк хорошо рассказывала сказки, и потому к ней «на кровать» часто собирались гости, но Шкот вообще держалась особняком. Детство её по каким-то семейным обстоятельствам прошло в Шотландии, поступив двенадцати лет

в институт, она сразу заняла первое место как по наукам, так и по уважению среди своего класса. Все одноклассницы говорили друг другу «ты», но редкая из них не сбивалась на «вы», говоря с нею. Богатая и гордая девушка никого в классе не достаивала своей особой дружбой. Она ни от кого ничего не принимала и ни с кем не делилась гостинцами. То, что оставалось у неё, она отдавала горничной. Весь класс относился к ней с особенным почтением, больше всего из-за того, что «у неё были свои убеждения». Что собственно обозначала эта фраза — никто, конечно, не знал. В одну из институтских «историй» она сама сказала это, и весь класс проникся глубоким уважением и верой в то, что у Шкот есть «свои убеждения».

Классная дама ушла, перессорившимся девочкам ничего не оставалось, как спать, в дортуаре скоро настала полная тишина. Только Солопова в своем промежутке била поклоны, стоя на голом полу босиком, в одной рубашке, да Евграфова с Петровой, соседки по кроватям, поставили в свой промежуток между кроватями табурет, на него — деревенский мешочек с сушёной малиной и жевали её, лениво переговариваясь. Франк явилась в гости к Шкот и чинно уселась у неё с ногами на одеяло.

— Ты отчего Минаеву сказала прямо свою фамилию? — спросила хозяйка гостью.

— Не знаю, стыдно стало, язык не повернулся.

— Так! А зачем ты себя назвала не Надежда, а Надя?

— Да, вот это нехорошо, не подумала!

— Тебе пятнадцать лет, а ты не знаешь даже, что нельзя называть себя, как ребёнок — Надя.

— Ах, хорошо тебе говорить, ты всегда знаешь, как себя держать, потому что у тебя есть свои убеждения, а мне где их взять? — отвечала грустно Франк.

— Не говори пустяков, всякий должен знать, как себя вести. Расскажи мне лучше сказку, только волшебную, хорошую.

— Ах, хорошо, постойте, Шкот, я расскажу вам сказку, которую никогда никому не рассказывала...

«Далеко, на самом берегу синего моря, стояла высокая скала, а на ней, как орлиное гнездо, лепился большой волшебный замок. В этом замке жила молодая принцесса, окружённая многочисленным штатом — мамками, нянь-

ками. Ни отца, ни матери у неё не было. По годам ей давно было бы пора сделаться самостоятельной, а она всё ещё ходила на помочах. Причина этому была совсем особенная. Принцесса никогда не могла быть самостоятельной. У принцессы была голова золотая, сердце бриллиантовое, руки мочальные и ноги глиняные. Мысли её были возвышенные, сердце влекло её ко всему прекрасному; она была так отзывчива и чутка, что нередко понимала, о чём ветер шелестит в деревьях, о чём бабочки шепчутся с цветами, и в то же время была непрактична и, благодаря глиняным ногам, делала самые фальшивые шаги. Она ничего не могла удержать, деньги так и сыпались у неё из мочальных рук, и это было так глупо, что даже те, кто подбирал их, смеялись над нею и называли её дурой и хвастуньей. Люди, которые жили в деревне у подножия скалы, особенно едко и больно насмеялись над нею, а иногда обвиняли её. Видя её золотую голову и бриллиантовое сердце, они многого ожидали от неё, они верили в её силу и могущество и на этом строили планы собственного благополучия, но как только они убеждались, что она не может отколоть куска золота от своей головы или выдавить бриллиант из своего сердца, они разочаровывались в ней, обвиняли её во лжи, обмане, толковали в дурную сторону все её поступки, и так как действительно она часто со своими мочальными руками и глиняными ногами бывала смешна и поступала не так, как все люди, то многие и верили всему, что говорили о ней дурного. А принцесса плакала, грустила, простирая к небу свои бессильные руки и продолжала идти в жизни неверными, колеблющимися шагами.

Время от времени принцессе казалось, что и она может быть счастлива, но её счастье было призрачно. Время от времени у подошвы скалы звучал рог, возвещавший приезд какого-нибудь соседнего рыцаря. Из замка через ров с грохотом спускался тяжёлый подъёмный мост. Пажи и слуги спешили навстречу гостю. Мамки и няньки бросались наряжать принцессу, нашёптывая ей о женихе.

И всегда, всегда все подобные приезды кончались одинаково!

Рыцаря вводили в роскошный зал, где по стенам висели щиты и шлемы предков принцессы, а сама она сидела в

золочёном кресле. Принцесса приветствовала рыцаря, и голос её очаровывал, как звук арфы. Принцесса глядела, и глаза её были тихи и ясны, как лесные фиалки. Принцесса смеялась, и смех её был нежнее воркования горлицы.

Рыцарь забывал все слухи, ходившие про принцессу, он пел ей баллады, рассказывал о крестовых походах и под её балконом устраивал турниры.

Принцесса чувствовала себя счастливой и сильной и, уносясь в мечтах, обещала ему не только идти с ним ровным шагом по жизненному пути, но ещё и поддерживать его в трудные минуты.

В замке готовились к свадьбе, и не было человека, начиная от замкового министра до последнего поварёнка на кухне, который не ждал бы себе выгоды и пользы от этого брака. Все просили чего-нибудь, а принцесса, счастливая, обещала всё, даже то, чего она и не могла бы никогда исполнить. Накануне свадьбы все приближённые собирались в замок, и каждый униженно, в льстивых выражениях просил обещанное. Принцесса раздавала деньги, раздавала подарки, места, назначения, ордена, и чем больше она давала, тем больше от неё требовали. Руки её были до того слабы, что то, что она протягивала одному, у неё по дороге выхватывал другой, тяжёлые вещи падали у неё из рук и разбивались, ноги её спотыкались, и шаги были такие неверные, что вместо того, чтобы подойти к вельможам, она подходила к дворцовым сторожам, и кругом снова начали смеяться и осуждать её. Все были недовольны, а принцесса, видя себя непонятой, осмеянной и обиженной, начала горько плакать, жаловаться на судьбу и послала за своим женихом. Рыцарь вошёл, придворные расступились, принцесса бросилась к своему избраннику, но глиняные ноги её споткнулись, и она чуть не упала, она хотела схватить его шею руками, но руки её махнули только около его лица и упали как плети. Первое движение рыцаря было подхватить её на руки, прижать золотую головку к своему сердцу и успокоить её, но маленький поварёнок, протиснувшись впереди всех, визгливо крикнул: «Эх ты, лыцарыша с глиняными ногами, обещала мне живую лошадь, а дала деревянную!». А за поварёнком подхватили все, и в общем шуме только и слышал рыцарь: хвастунья — весь свет осчастливить хо-

чет, а стакан воды раненому в руках не донесёт. Лгунья — обещает весь свет обойти, чтобы каждому достать, что только он просит, а сама трёх шагов не сделает, чтобы не споткнуться. Рыцарь слышал все эти речи и думал: «Голос народа — голос Божий. Может быть, и в самом деле эта золотая принцесса с фиалковыми глазами — простая интриганка. Что мне с её золотой головой, с её бриллиантовым сердцем, когда этого люди не замечают; вот её молчаливые руки, её глиняные ноги видят все и все смеются над нею».

Рыцарь стал говорить с нею холодно, рассудительно и так умно советовал ей «переменить» или «исправить» свои ноги и руки. Бедная принцесса плакала, страдала, но переменить руки и ноги не могла, потому что она родилась с ними.

Так было с первым женихом, так было со вторым, так случилось и с третьим, а третьего — чернокудрого, статного и, казалось, такого доброго рыцаря — принцесса полюбила, но и он тоже стал просить её «исправиться», а не предлагать ей беречь и любить и понемногу лечить её бедные руки и ноги. Этого никто не брал на себя!

«На что мне моя золотая голова, когда у меня нет здоровых ног, на которых я могла бы догнать уходящего чернокудрого рыцаря. На что мне моё бриллиантовое сердце, когда нет у меня цепких рук, чтобы охватить шею любимого и удержать его у себя. Зачем я вся — лучше и хуже людей, а не такая, как все, — так сказала принцесса, взбежала на самую верхнюю башню замка и оттуда, взглянув на дорогу, увидела в последний раз вороного коня и на нём чернокудрого рыцаря. — Прощай рыцарь!» — крикнула она ему и бросилась с башни.

Разбилась в прах золотая голова, в алмазную пыль превратилось бриллиантовое сердце. Люди, жившие внизу, сбежались, чтобы воспользоваться хоть кусочком золота или осколком бриллианта, и не нашли ничего. Не нашли ничего и снова бранили бедную умершую принцессу: поделом ей — человек, который так не похож на всех других, и не должен жить на свете!».

— Странная сказка, — сказала Шкот, выслушав сказку. — Откуда ты её выкопала?

— Это Андрюша, мой брат, сочинил её и принёс мне написанную, а я выучила её наизусть.

IV

Новенькая. — Украденная ложка.

Как в детском калейдоскопе сотни стёклышек самой разнообразной формы и величины, сбегаясь беспорядочным потоком, составляют всё те же правильные рисунки, так институтская жизнь бежала, на вид полная волнений и шума, и складывалась всё в те же утомительно-однообразные рамки.

Чужеземка отбыла срок своей ссылки «в места не столь отдалённые», то есть во второй класс, и вернулась на родину к «кофулькам», где за неё пока справлялась дежурная «мышь».

M-lle Нот, жёлтая, худая, с видом тоскующего попугая, снова дежурила у вторых и вполне заслуживала того, чтобы ей, как набожной католичке, дежурства эти сочлись «чистилищем». Шум и гам тараторивших девочек мучительно бил ей по нервам, но едва она обращала на которую-нибудь свои умоляющие бесцветные глаза, как девочка вскакивала с вопросом:

— Mademoiselle, вас тошнит?

И три-четыре других, сорвавшись с места, бежали за водой, повторяя: «M-lle Нот тошнит!».

— С чего вы взяли? — спрашивала с раздражением классная дама.

— Ах, m-lle, вас непременно тошнит, это видно по лицу, вы бы вышли!

Минаев мало-помалу спокойной, но твёрдой рукой стягивал бразды правления, и девочки начинали держать себя с ним вежливо, хотя всё ещё с подавленным недоброжелательством.

Надя Франк торжествовала. Шкот, хотя и не одарила её своей дружбой, но приблизила к себе. Франк читала ей громко Белинского и, хотя понимала в книге только общие места, всё-таки гордилась, что читает серьёзную книгу. С инспектором у неё установились курьёзные отношения. Девочка покровительствовала ему, и её весёлый голосок, кричавший ему при всякой встрече «bonjour, monsieur», её предупредительность подать ему в классе вовремя журнал, мел или карандаш не раз выручала его от умышлен-

ной неповоротливости других. Приводя в порядок шкафы с жалкой институтской библиотекой, он назначал к себе в помощницы Франк и Ермолову из старшего (первого) класса. Ермолова, из парфёшек, жеманно, но безучастно сортировала книги и записывала авторов. Надя Франк относилась к книгам с каким-то жадным трепетом, ей бы хотелось их все унести к себе и читать хоть по ночам; она задерживала работу, потому что беспрестанно развёртывала книги, перелистывала их, читала отрывками и обращалась к Минаеву с тысячей вопросов. Минаев отвечал охотно, и ответы его большей частью удовлетворяли девочку. Раз, открыв широко свои серые глаза, она подошла к нему близко и, глядя в упор, сказала с восхищением:

— Я никогда, никогда не предполагала, что вы такой умный!

— Почему? — спросил её Минаев.

— Не знаю, вы выглядите таким... — девочка чуть не сказала «цирюльником», но покраснела, опомнилась и добавила: — тихоней.

Минаев рассмеялся, его вообще забавляла безыскусная, переполненная институтским жаргоном болтовня девочки. Часто из её метких слов он составлял себе ясную картину отношений между детьми и учителями и мало-помалу разбирался в лабиринте характеров и событий.

Второй класс уже неделю как ждал события: им было объявлено о поступлении новенькой. Это было новостью, выходящей из ряда: никто не помнил, чтобы поступали в институт прямо в «зелёное» отделение, а тут меньше чем на полтора года, потому что уже подходила весна, время близилось к каникулам, а значит, и к выпуску старшего класса, на место которого передвигался второй.

В одно из воскресений во время приёма родных в зал вошёл высокий худой старик генерал, с ним под руку молодая, красивая и очень нарядная дама, перед ними выступали два мальчика, прелестные, как средневековые пажи. Длинные белокурые локоны их ложились на широкие воротники жёлтых кружев, чёрные бархатные курточки, короткие, такие же панталоны буфами, чёрные чулки и башмаки с большими пряжками дополняли изящный костюм. Рядом с ними шла девочка лет пятнадцати—шестнадцати в бледно-зелёном лёгком шёлковом платье с мас-

сой мелких зелёных лент, разлетавшихся у пояса, на плечах, у связанных пучком длинных светло-пепельных волос. Необыкновенно изящная девочка была белокура и нежна, как Ундина.

Эта семья обратила на себя общее внимание, разговоры смолкли, родственники и воспитанницы с любопытством разглядывали гостей, а гости ходили по залу между скамеек так же спокойно, как если бы они гуляли одни в поле; мальчики смеялись, девочка громко болтала с ними по-французски.

Дежурные «синявки» вдруг стали тревожно оправлять свои воротнички и рукавчики, «мыши» побежали к входной двери и встретили маман.

Маман вошла в дорогом синем шёлковом платье и в «весёлом» чепце с пунцовыми лентами.

Зелёная нимфа и её хорошенькие братья бегом побежали через весь зал и стали обнимать и целовать маман, объясняя ей наперерыв по-французски, что *c'est très joli, le salon, les grands tableaux, et Paulixine s'est décidée de rester aujourd'hui pour tout de bon*²⁸.

Не только все девочки, но и все родные, поддаваясь невольному движению, встали. Маман просила их всех садиться и направилась прямо к гостям.

Генерал звякнул шпорами, молодая дама протянула обе руки. Маман с гостями прошла ещё раз весь зал и затем направилась в четвёртый класс, соединённый дверью с залом.

«Вторые» сразу сообразили, что Поликсена была та самая новенькая, о которой им уже говорили. Едва перед обедом пропели молитву, как в столовую снова вошла маман, и на этот раз уже с одной новенькой. Подойдя к первому столу второго класса, маман обратилась к почтительно вставшей Кильке: «Вот дочь генерала Чиркова, она поступит во второй класс, прошу вас приучить мою маленькую *protegee* ко всем нашим порядкам. *Mesde noiselles, volia une nouvell amie pour vous*»²⁹.

Новенькую посадили на край стола около самой классной дамы. Маман ещё раз поцеловала её в лоб со словами: «*Bonjour, mon enfant*»³⁰ и вышла. Такой новенькой институт ещё не видал. На её прелестном и недетском личике не было ни слёз, ни смущения, а лишь холодное самоуве-

ренное любопытство, она, казалось, пришла в театр посмотреть, что здесь происходит, и была уверена, что как только представление надоеет ей, она уйдёт домой. Никто из сидевших за столом не решился заговорить с нею, но все с нескрываемым любопытством разглядывали её. Новенькая была высокая, тонкая, грациозная девочка; её густые пепельные волосы лежали крупными волнами и завитками кругом овального личика. На темени они были связаны зелёной лентой и локонами падали до плеч. Узенькие брови, темнее волос, лежали правильной дугой. Глаза — большие, зеленовато-серые, дерзко-холодные — выражали что-то непонятное и неприязненное девочкам. Рот, довольно большой, бледный, не совсем правильные и белые зубы портили общую красоту лица. Платье, вырезанное у ворота, открывало длинную нежную шею с такими же голубоватыми жилками, какие виднелись на лбу и на висках. Руки новенькой удивляли более всего: узкие, нежные, с длинными крепкими ногтями, отполированными до блеска.

— *Vous ne dînez pas avec ces demoiselles?*³¹ — спросила Чиркова классную даму, увидя, что перед нею не поставлен прибор.

— Я обедаю в своей комнате, *chere enfant*³², — ответила ей очень кротко Килька. — После обеда у нас часовая рекреация, меня сменяет дежурная пепиньерка, а я иду к себе обедать и отдохнуть.

— *C'est ça, я тоже буду ходить к вам или к другой даме обедать и пить mon chocolat по утрам, je n'aimerais pas à diner à cette table*³³, — отвечала спокойно новенькая.

Девочки переглянулись.

Швейцар Яков и его помощник внесли в столовую корзину с гостинцами, за ними второй солдат принёс громадную корзину и шкатулку и поставил их на скамейку второго класса, проговорив: «Г-же Чирковой».

— *Ça ce sont mes articles de toilette et mes sucreries*, — новенькая указала на шкатулку. — *Vous me ferez porter ça dans le dortoir!* — Почти приказала она огорошенной Кильке. — *Et ça ce sont des petites friandises pour ces demoiselles*³⁴, — и она указала рукой на класс.

Гостинцы были разделены, каждая девочка получила фрукты, конфеты и *petits fours*³⁵. Шкот отказалась наотрез

от угощения. Франк тоже не взяла под предлогом, что у неё сегодня много своих гостей. Солопова отдала свою порцию горничной, потому что любила «истязать свою плоть» и отказываться от искушений. Зато Буракова и Неверова, оказавшиеся соседками новенькой по кроватям, ухаживали за нею, как могли.

Вечером, ложась спать, девочки с немым любопытством и затаённой завистью глядели на тонкое бельё, батистовую с кружевами кофточку новенькой. Затем она открыла свою шкатулку, и оттуда посыпались чудеса: духи, кольд-крем, кожаные папильотки, перчатки, жирные внутри, которые Чиркова надела на ночь на руки.

Девочки, отданные с восьми—десяти лет в институт, привыкли к спартанскому образу жизни. Мыло и холодная вода были их единственной косметикой. Чистота, красивый бант у передника да разве ещё тонкая талия были единственным проявлением кокетства.

— Зелёная ящерица влезает на ночь в новую шкуру, — объявила с презрением Чернушка, глядя на ночной туалет новенькой.

А «ящерица», за которой так и осталось это название, не обращала никакого внимания на окружающих. Буракова и Неверова сразу подпали под её очарование. Неверова помогала ей раздеваться и даже сняла с неё чулки, что возбудило негодование многих. После ухода Кильки Буракова пододвинула к изголовью Чирковой табурет, надела на него второй и третий и, образовав таким образом стол, поставила на него хорошенький подсвечник с зажжённой свечой, зеркало и конфеты.

Новенькая болтала громко, ей было холодно, и она велела Бураковой достать из корзины, которую заранее поставили ей под кровать, тёплый пушистый плед и укутать ей ноги, затем она рассказала, что её папа *est tres riche*³⁶, что братьев её зовут Анатолий и Авенир, что молодая дама — её мачеха, и что именно из-за неё она захотела на год, пока будет совсем большая, уйти в институт; ей тут будет хорошо, потому что «*maman est une grande amie de la maison*»³⁷, затем, как только она кончит курс, она выйдет замуж за «*petit Basil*»³⁸ — папиного адъютанта: у них это давно решено.

Ночью Чиркова просыпалась два раза, ей было страш-

но, она будила то ту, то другую свою соседку и, наконец, приказала девочкам выставить из промежутков шкапики, а кровати свои приблизить вплотную к её кровати.

Со дня поступления новенькой класс разделился на три партии. Одна, стоявшая всегда на стороне от всякого движения, — группа ленивых, слабых здоровьем, парфёшек и ханжи Солоповой. Вторая составила штат Ящерицы: они угождали ей, дежурили около неё по очереди, одевали её, рассказывали сказки и получали от неё щедрые подачки не только конфетами, пирожками, но и разными тонкими закусками и винами, которые ей нередко тайком приносили братья и её прислуга. Не в пример всем прочим, мальчики допускались в дортуар. По вечерам, после ухода классной дамы, там устраивались маленькие оргии, слышались смех и шептание, кровати сдвигались вместе, и в тесном кружке шла какая-то особенная, не детская, не институтская жизнь. Там были и слёзы, и сцены ревности, и ссоры со злыми, странными намёками. Кружок этот вскоре определился в пять человек и держался отдельно, уже более не сливаясь с классом до самого выпуска. За Ящерицу этими подданными делались все письменные уроки, шустрые ей читали громко, вдалбливали, как роль неграмотному актёру. На уроках ей подсказывали и помогали всеми силами. Смелая, дерзкая девчонка помыкала своими пятью приближёнными; она целовала одну, чтобы возбудить ревность другой, шепталась с третьей, чтобы поссорить её с четвёртой, и полновластно, с презрением третировала всех. Но были минуты, когда она бледнела со злости и рвала в клочки свои тонкие батистовые платки, — это были минуты отпора, который она получала от третьей части класса. Там стояли Шкот, Назарова, Франк, Вихорева и другие девочки, презиравшие её в силу своего здорового детского инстинкта. Всё в ней казалось им ломано, лживо, противно; они не брали её гостинцев, звали её в глаза Ящерицей, брезгливо сторонились от её «приживалок» и зло смеялись над всеми её хвастливыми рассказами о «*petit Basil*».

Авениру и Анатолию вскоре запретили появляться в дортуаре.

Двенадцатилетний Авенир с распущенными по плечам локонами, как у девочки, особенно льнул к Чернушке;

его карие глаза глядели на девочку с лукавой нежностью, он прижимался к ней, проводил рукой по её пушистой, как персик, щёчке. Эти непрошенные ласки смущали и злили девочку. Однажды, подкравшись к Чернушке, Авенир протянул руки под её пелеринку и обнял её за голую шею, девочка грубо вывернулась и вдруг со всего размаха ударила его по лицу.

Вся кавалерская смелость слетела с Авенира, и он заревел, как простой уличный мальчишка.

Рука у Чернушки оказалась очень тяжёлая — все её пять пальцев отпечатались на щеке мальчика. Чиркова бросилась на кровать и хохотала до слёз над ревушим братом. Шум и гвалт ссоры дошли до ушей m-lle Нот, и по её просьбе вход в дортуар мальчикам был запрещён.

Кроме явных получек через посредство классной дамы, Петрова получала ещё и тайно разные деревенские гостинцы. Рыжая Паша, спавшая при дортуаре второго класса, была родом из Новгородской губернии, Боровичского уезда, и каждый раз, как её родичи появлялись в Петербурге, они по поручению помещицы Петровой привозили всевозможный провиант её дочери. На этот раз, между прочим, Паша передала ей банку варенья фунтов в десять. Хлеб для еды с вареньем Паша доставляла, но беда была в том, что ни у кого не было большой ложки, чтобы доставать варенье.

— Петрова, если ты дашь мне варенья, я достану тебе столовую ложку, — предложила Маня Лисицына.

— Надолго достанешь?

— Ну, пока не съешь варенье, дня на три достану.

— Хорошо, я тебе дам три полные ложки варенья.

— Идёт.

В этот день перед обедом Маня Лисицына, проходя в паре между столами, незаметно взяла с края стола пятого класса столовую ложку и опустила её в карман. В большую рекреацию Лисицына с Петровой побежали вверх в дортуар; Лисицына чисто-начисто вымыла под краном свою фарфоровую мыльницу и с торжеством принесла её и столовую ложку Петровой. Помещица приняла ложку и щедрой рукой наложила полную мыльницу варенья. Ложка весьма облегчила дело, варенье черпалось из большой банки и раздавалось друзьям. Между тем пронажа столовой

серебряной ложки не прошла незамеченной. Классная дама потребовала дежурившую у стола горничную и приказала подать недостающую ложку, та кинулась к дежурному по столовой солдату, солдат сбегал в буфетную. Девочки обменялись ложками, давно поели и ушли из столовой, а пропавшая ложка не была найдена. После обеда оказалось, что одна ложка исчезла, об этом донесли эконому.

Девочкам пятого класса был сделан допрос, результатом которого было только то, что слух о пропавшей ложке распространился по всему институту и встревожил тех, которые знали участь злополучной ложки. Классные дамы объявили во всех классах, что будет сделан в шкапиках и партах обыск.

— Бери ложку, Лисицына, и подсунь её как-нибудь обратно на стол, — просила Петрова, вымыв ложку и отдавая её назад.

— Нет, душка, я боюсь, как стану класть на стол, меня и поймают.

— Так брось её в такое место, где её никто не найдёт, — советовала Евграфова, — мы не выдадим.

— Уж если вы не хотите сознаваться, что взяли ложку, то покайтесь Богу в вашем поступке, а на ложку навяжите билетик «для бедных» и спустите из окна прямо на улицу.

— Блаженная Солопиха, ты сперва сотвори чудо, чтобы у нас была улица под окнами, ведь у нас со всех сторон сад да дворы, ложка непременно упадёт на кого-нибудь из учителей и пробьёт ему с благотворительной целью голову.

— Вы всегда, Франк, обо всём спорите, — покорно отвечала Солопова, — если бы вы больше верили, то поступали бы не рассуждая, а полагаясь во всём на Провидение.

— Слушай, Лисичка, — посоветовала маленькая Иванова, — возьми ты эту ложку, прячь её в карман, а затем в первую же перемену лети вниз, в столовую, клади её на ближайший стол и удери назад, ведь в перемену в столовой не бывает ни души.

— Знаешь, душка, я так и сделаю, — и Лисицына сунула ложку в карман.

— Вы помните, Лисицына, — снова вступилась Солопова, — что вы всё-таки украли ложку.

— Как украли? Ты с ума сошла! Я её взяла, потому что нам нечем было есть варенье, мы так и решили поддержать её и отдать.

— Да ведь ложка серебряная, она, говорят, очень дорого стоит, за неё, вы знаете, солдата могли сослать в Сибирь.

— Это ты теперь пугаешь меня, противная Солопиха, отчего же ты раньше не говорила ничего?

— А разве я знала, что вы возьмёте со стола ложку?

— Медамочки, не ссорьтесь, — умоляла Петрова, — и не говорите такие страсти. Мы с Лисичкой будем целый месяц бить по пяти поклонов утром и вечером.

Бедная Маня Лисицына сидела весь первый урок с ложкой в кармане, и ей было так тяжело, как если бы у неё там была пудовая гиря. В первую же перемену, как только все выбежали из класса в коридор, она улучила минутку и, бормоча: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его», бросилась по боковой лестнице вниз. Благополучно достигнув столовой, она вошла на порог громадной пустой комнаты, как вдруг на другом конце нижнего коридора скрипнула дверь «белевой» комнаты, и из неё показалась Корова. Лисицына выхватила ложку из кармана и бросила её прямо на пол, но вместе с ложкой выкинула из кармана и свой носовой платок, затем накинула на голову белый передник и понеслась, как дикий жеребёнок, обратно по лестнице, взбежала в самый верхний этаж в пустой дортуар и моментально легла под далёкую кровать. Сердце её колотилось, в висках стучало, а губы всё шептали: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Корова, как старый боевой конь, слышавший звуки трубы, помчалась тоже к столовой и к ужасу своему увидела лежащую на пороге ложку и носовой платок. Она схватила всё на лету, как коршун хватает добычу, и помчалась тоже на лестницу за девочкой. Верным указанием ей был номер на носовом платке и мелькнувшее зелёное платье.

Лисицына, отлежавшись минуту, выползла из-под кровати, оправила волосы, передник, выпила из умывальной воды и тихонько, скромно по коридору вышла на церковную площадку, положила на паперти пять поклонов и спустилась по парадной лестнице прямо в класс. На

последней ступеньке она лицом к лицу столкнулась с Коровой. Девочка остановилась вся бледная, а Корова глядела на неё глазами сыщика.

— Это вы украли ложку и потом подбросили её в столовую? — грубо спросила она.

Девочка отшатнулась.

— Нет, *mademoiselle*, я ничего не знаю, какая ложка? Я ходила в дортуар вымыть руки, — лепетала девочка.

— Вы просили позволения у *m-lle* Нот идти мыть руки?

— Нет, *m-lle*, я не просила, я сама...

— А вы зачем накинули передник на голову, когда меня увидели, а это что? — Корова показала ей носовой платок с меткой № 141.

Лисицына едва стояла на ногах.

— Я не знаю, *m-lle*, право, не знаю, может быть, это я потеряла платок...

Корова схватила девочку за руку и потащила в класс. Второй класс, узнав уже об «истории», как испуганное стадо столпился в конце комнаты за партами. Все притихли, когда отворилась дверь и Корова втащила дрожащую и бледную Лисицыну.

— *Mesdemoiselles*, таких поступков, какими отличается ваш класс, ещё никогда не было в стенах института, вы просто не девицы, а разбойники: каждый день у вас истории, грубости, самые непростительные шалости, а теперь, наконец, преступление — воровство! Мне даже страшно сказать это слово: среди вас, христианок и благородных девиц, есть вор! Вот она, — и она тряхнула Лисицыну за руку. — Из столовой с чужого стола она крадёт серебряную ложку! В краже этой заподозрили несчастного солдата, у него решили вычитать из его скудного жалованья стоимость ложки. В зачерствелом сердце этой преступницы не шевельнулось раскаяние, она не решилась сознаться, хотя вы все знали, что пропавшую ложку ищут, об этом в каждом классе сообщали ваши добрые классные дамы. Теперь, движимая не раскаянием, а страхом обыска, она подкинула ложку в столовую и думала избежать наказания. Но Отец Небесный не допустил этого, Он уличил нераскаявшуюся грешницу, она сама, своей рукой вместе с ложкой выгащила улику своего преступления — платок с меткой, вот он, № 141. — Корова трясла в воздухе бедным носовым платком с яв-

ным признаком чернил по всем четырём уголкам, куда украдкой вытиралось перо. — Если бы я доложила маман, то Лисицыну выгнали бы из института, да, выгнали бы с позором, потому что такие преступления поощрять нельзя. Я пощажу маман, мне стыдно сказать ей: «Маман, у нас в институте среди любимых вами девочек есть воровка!».

Корова закрыла лицо руками. Солопова, Петрова и маленькая Иванова рыдали. Чиркова безучастно сидела на задней парте, ещё в своём тёмно-синем платье, и с улыбкой глядела на всю эту мелодраму; на лице Франк, Шкот, Чернушки и нескольких других лежало недоброе выражение, сознание жестокости и несправедливости закрадывалось в их сердца, девочки были близки к явному возмущению.

— Я сама примерно накажу вас, m-lle Лисицына, подайте мне лист бумаги! — приказала Корова.

Ей подали чистый лист, она оторвала от него четвертушку и крупными буквами написала: «Воровка».

— Mademoiselle Лисицына, я вас спрашиваю, и помните, что Господь Бог слышит ваш ответ. Вы унесли ложку из столовой?

— Да, я унесла, нам нечем было кушать варенье, я не знала, что она серебряная, что она дорогая.

— Значит, вы сознаётесь? Подите сюда.

Корова пошарила на своей сухой груди и достала булавку, повернула девочку к себе спиной и пришпилила ей к пелерине билет: «Воровка».

Лисицана рыдала судорожно: «M-lle, простите, простите меня!».

Надя Франк и Вихорева бросились вперёд.

— Этого нельзя, нельзя, — кричали девочки.

К ним присоединились ещё человек десять.

— Нельзя, снимите билет, мы старшие, мы переходим в первый класс, с нами нельзя так обращаться, она не воровка, она не крала, мы скажем нашим родным, мы заплатим этому солдату, мы купим дюжину новых ложек, — кричали девочки, и чья-то рука сорвала билет «воровка». — Скажите маман, скажите маман, пусть она сама рассудит!

— А, так вы бунтовать! — визжала Корова. — Так я же вот что, я вот как!..

Но она не могла ни так, ни эдак, она видела, что заш-

ла слишком далеко, что история могла скверно разыгаться. В эту минуту обезумевшая Лисицына бросилась целовать её руки. Солопова встала на колени и умоляла Корову быть христианкой... Корова сделала вид, что её трогают эти просьбы.

— Ну, Бог вас простит, я не могу видеть ваших слёз, я вас прощаю, но за дерзости Франк, Вихоревой и других весь класс будет сегодня стоять за обедом.

За обедом весь класс стоял, но зато ночью в дортуарном коридоре лежала Корова с вывихнутой ногой. Окна дортуаров, выходящие в коридор, были снизу до половины закрашены белой краской. Чтобы поглядеть в дортуар, надо было поставить по крайней мере два табурета — один на другой. Девочки, зная это, всегда по вечерам утаскивали все табуреты из коридора в спальню. Они знали, что если Корова редко является ночью в дортуар, то часто подсматривает в окна и записывает читающих или разговаривающих. Уверенные, что сегодня Корова непременно захочет подсмотреть, нет ли у них ночного заседания по поводу ложки, девочки приготовили под окном дортуара второго класса как бы забытую пирамиду из трёх табуретов. Нижний был только на трёх ногах и, чуть-чуть прислонённый к стене, держался равновесием. Девочки не ошиблись. Часов в двенадцать в пустом гулком коридоре раздался страшный грохот. Корова влезла на табуреты, но едва нагнулась к окну, как равновесие было потеряно и табуреты полетели, а с высоты их полетела и Корова. На её крик в дортуаре отвечали неистовым криком. Бедная m-lle Нот выбежала из своей комнаты в одной рубашке и, как отвратительное привидение, металась по дортуару, горничные выбежали в коридор. Крик второго класса отозвался в соседнем дортуаре третьего класса, там с какой-то «слабенькой» сделался припадок. Корову почти отнесли вниз, она едва могла ступить. Никто хорошенько не знал, отчего произошёл весь шум, но все уже таинственно передавали друг другу, что Корова встретила в коридоре чёрта и упала в обморок. «А кричал чёрт, — утверждала Пышка, — и тоже с испугу, когда увидал Корову в ночном чепце».

Корова пролежала неделю, девочки каким-то чудом узнали, что мама сделала ей строгий выговор и запретила по ночам ходить подсматривать за детьми.

Каникулы. — Спасение погибавших.

Прошёл Великий пост с длинными службами и запахом постного масла, заполонившим все коридоры. Прошла весёлая Пасха: кончились все экзамены с вечными мелкими подлогами, долблением по ночам, сотенными поклонами на паперти перед церковными воротами; промелькнул волшебным сном публичный экзамен, надели выпускные свои воздушные белые платья, пропели последний благодарственный молебен в институтской церкви и разлетелись по домам на горе, на радость, на роскошь, на нужду — словом, вступили в действительную жизнь.

В опустевший первый класс перешёл второй, а в седьмой, младший, набрались новые маленькие кофульки и пока ходили ещё с красными носами и заплаканными рожицами, и все каждый вечер просились домой.

М-lle Нот, еле живая, всё по-прежнему завивала свои тридцать шесть волосиков и прикрывала их фантастическим тюрбаном из кружев. Корова, Килька и Метла «оселись», оставили в покое старший класс. Тут уже не годилась их система облавы и постыдного наказания «на часы». Корова вообще с последней экскурсии у «помещичьего» бунта, как девочки окрестили эпизод с вареньем и ложкой, «обломала рога». Килька набиралась силы, чтобы через год начать «прессовать» кофулек, так как после «своего» выпуска, получив награду, должна была принять самый младший класс. Минаев был всё так же справедлив, вежлив, но не завоевал симпатий старшего класса. Пришли каникулы. Этот раз много поговаривали о том, что начнут распускать девочек на лето по домам, а не имеющих родных перевезут на казённую дачу, но ничего подобного ещё на этот год не произошло. Из каждого класса, как и всегда, отпустили двух—трёх «слабеньких», между ними уехала и Чиркова, о ней пожалела только её кучка, теперь перегрызшаяся между собой и распавшаяся. В каникулы институт всегда переправлялся по этажам, начиная с верхнего. В громадном институтском саду были две крытые галереи, в них помещались во время каникул классы, то есть

переносились парты и ставились с интервалами по классам. В средний же этаж, где были классы, переносились тюфяки, и девочки спали на полу, кровати же в то время красились и чинились. Когда дело доходило до второго этажа, девочки переходили спать наверх, а когда парты снова устанавливались на своих местах в классах, в галереях устраивалась столовая. Эти перемены разнообразили институтскую жизнь и нарушали утомительную дисциплину. Больше было открытых дверей, окон, больше предлогов сбегать туда и сюда, «синявки» не торчали вечно за спиной, родных принимали в саду и с ними можно было свободнее болтать. Да, наконец, сад, старый громадный сад доставлял девочкам так много радости. Передняя площадка, усыпанная светлым песком, была удобна для всяких игр. Направо и налево на ней стояли два высоких столба «гигантских шагов», лежали колеблющиеся брёвна, закреплённые одним верхним концом, и другие гимнастические игры. В центре сада была большая круглая беседка (на месте которой впоследствии вырыли большой пруд для купания), направо и налево шли куртины немудрёных цветов, затем аллеи, большие лужайки, окаймлённые группами густых кустов, внутри которых можно было прятаться, играя в разбойников; задняя аллея, обсаженная старыми ивами, была всегда темна и прохладна. Прелесть сада составляли также птицы и кошки. Птичьи гнёзда дети отыскивали и по секрету показывали друг другу. На пение какой-нибудь немудрёной пташки сбегались кучами и слушали её с замиранием сердца. Природа, вечно влекущая к себе человека, очаровывала девочек и вознаграждала их летом за длинные-длинные месяцы, когда они не видели ничего, кроме классных стен, скамеек да ландкарт.

Кошек в саду была масса; голодные, ободренные зимой, они за лето отъедались и обрастали шерстью. Девочки разделяли их между собой, у каждой было по две—три хозяйки. Каждой кошке давалось имя. Пол животного определялся весьма оригинально.

— Душка, пусть у нас будет кот, мы назовём его Napoleon и наденем ему жёлтую ленту.

— Ну, хорошо, — кричала другая, — у нас будет m-me Roland, ей надо розовую ленту.

— А моя, душки, будет молодая девушка, я назову её

m-lle Mars, была такая знаменитая артистка, я ей надену бледно-зелёную ленточку.

Хозяйки приносили своим кошкам от обеда говядину в кармане, покупали им молоко и, налив его в большой лист лопуха, сзывали гостей. Кошки, подняв хвосты, бежали со всех концов сада, и девочки были в восторге.

— Душки, какой у Наполеона маленький ротик и язык совсем розовый, а носик, носик, ах, какая прелесть!

— Якимова, позволь поцеловать мне твою Леди?

— Ах, пожалуйста, не целуй, ведь я не трогаю твоего Людовика!

Это лето «первые» много читали, Франк выпрашивала у Минаева книги; рассевшись группами по ступенькам лестницы большой галереи, девочки читали громко по очереди Диккенса, Теккерея, Писемского, Аксакова «Семейную хронику» и др. Лето было тёплое, перепалили весёлые обильные дожди. Одним из острых наслаждений было, сняв пелерину и рукавички, промчаться под проливным дождём вдоль по задней аллее и назад. Ходили девочки и на богомолье, то есть, приняв круг сада за полверсты, они узнавали расстояние от Петербурга до какого-нибудь монастыря и, собрав желающих, отправлялись. Дорогой велись только благочестивые разговоры, привал можно было делать после пяти вёрст; доходя до места, становились на колени и молились. За это лето Франк получила от класса две медали «за спасение погибавших». Медали клеила и рисовала Женя Терентьева, замечательно талантливая девочка по лепке и рисованию.

Первой была спасена ворона. Кто ухитрился поймать ворону и учинить над ней суд и расправу — неизвестно, но только по институтскому саду летала с отчаянным криком ворона, на вытянутой лапке её была верёвка с привязанным лоскутом жести. Ворона летала всё ниже и ниже, а над нею со страшным карканьем, как бы призывая небо в свидетели людской жестокости, вились стаями другие вороны. Ворона спустилась на ветку дерева, верёвка с жестяной запуталась, ворона, желая снова подняться, метнулась вправо, влево и вдруг, обессиленная, разинув рот, повисла на своей вытянутой ноге вниз головой.

— Ворона, ворона повисла! Давайте ножницы! Несите стол под дерево, так не достать! Где Франк? Где Франк? Зовите её, она ничего не боится!

— Здесь, я здесь! Что надо? Какая ворона? — и Франк отчаянным галопом понеслась на место происшествия.

— Стол, стол скорей!

Из галереи девочки, запыхавшись, тащили тяжёлый садовый стол.

— Низко, тащите табуреты!

На табурет, поставленный на стол, влезла Франк и поймала ворону, начавшую снова биться при приближении девочки; а стая ворон теперь с угрожающим криком носилась низко, над самой головой девушки. Стоявшие внизу кричали и махали сорванными ветками, боясь, как бы вороны не бросились на Франк. Девочка, быстро подсунув острые ножницы под верёвку, перерезала её, и освобождённая ворона, взмахнув крыльями, слетела на лужайку. Немедленно, без всякого страха перед толпой сбежавшихся девочек, к больной вороне спустилось штук десять из стаи. Спасённая прыгала на одной ноге, волоча другую.

— Надо её поймать и осмотреть её ногу, — решила Франк.

Но едва девочки двинулись на лужайку, как вороны с особым гортанным криком сбились в кучу и поднялись, причём всем было ясно видно, как здоровые поддерживают под крылья больную. Группа, как чёрная туча, поднялась и, перелетев высокий забор, опустилась в соседний громадный огород, прилегавший к саду.

— Женя Терентьева, класс поручает вам выбить медаль с изображением: на одной стороне вороны, а на другой — надпись: «Храброму рыцарю Баярду за спасение погибавшей!».

Талантливая Женя Терентьева вылепила из красного воска медаль, украсила её надписью и орнаментом, проделала в ней дырочку, и выбранная от класса Вихорева торжественно надела её на шею Франк.

Второй спасена была маленькая белая мохнатая собака.

Девочки читали, до обеда ещё оставался час, хотя в противоположной галерее уже начинали накрывать столы и расставлять приборы. В задней аллее слышался протяжный жалобный вой.

— Медамочки, в саду воеет собака! — вскричала Евграфова.

— Ври больше, — остановила её Назарова, — это разве на огороде! Ты знаешь, у нас здесь нигде нет собак.

Протяжный жалобный вой повторился.

— Душки, вот, право, у нас воет, — закричал ещё кто-то, и все, повскакав с мест, бросились по аллее.

Посреди аллеи, с края, примыкавшего к забору, была старая заржавленная, покрытая плесенью железная решётка, вделанная в деревянную четырёхугольную раму; из-под этой-то решётки шёл вой. Девочки бросились на землю, нагнулись к решётке и там в тёмной яме рассмотрели что-то беловатое, барахтавшееся и визжавшее. Собака, брошенная Бог знает кем и куда и какими-то неведомыми путями проползшая под эту отдушину в институтском саду, сразу почувствовала, что на помощь ей сбежались друзья — отчаянный вой её перешёл в жалобный, тихий визг.

— Mesdames, у кого есть ножи, тащите скорей сюда!

Вмиг принесли несколько ножей и даже один столовый, схваченный прямо от прибора.

— Бульдожка, смотри, опять скажут украла!

— Ах, брось, ведь нож-то не серебряный, да я и скрывать не стану, что взяла, только Франк, душка, работай скорей, спаси собачку!

— Копай землю здесь, Лисичка, с этой стороны, подкапывай решётку, а я тут буду подрывать.

Перегнувшее дерево уступило быстро, рама под усилием ножей резалась, как гнилушка. Решётку подняли, и Надя Франк без малейшего страха, без мысли, что собака может быть бешеная, больная, почти легла на край ямы и, протянув вниз обе руки, вытащила оттуда неимоверно грязную, мокрую, дрожавшую собачонку.

— Собаченька, милая, бедная, кто тебя бросил туда? — твердила девочка со слезами, окутывая передником собачонку и прижимая её к груди, а животное судорожно лаяло и только старалось лизнуть руку или лицо наклонившихся к ней девочек.

— Господи, что мы с ней будем делать? — плакала Евграфова.

— Франк, Франк, что тебе будет, ведь у тебя передник, пелеринка, рукавчики — всё в грязи! Вот подымет-ся опять история!

— Mesdames, — воскликнула Франк, — знаете, что я вам скажу? Снесём собачку прямо маман и признаемся ей во всём, она простит, она любит собак, а?

— Снесём, снесём! — подхватили все, и по аллее слышался топот бегущих ног.

Мимо удивлённых «синявок», сидевших на одной из скамеек площадки, девочки пробежали прямо в подъезд и исчезли в нижнем коридоре налево, где начинались апартаменты маман.

— Ну, m-lle Нот, спешите, — сказала старуха Волкова, дама третьего класса, — наши сорванцы опять что-то выдумали. Вы не заметили, Франк что-то несла на руках.

— M-lle Нот, Франк вынула из трубы ребёнка и понесла его маман, — доложила какая-то девочка.

— Как ребёнка? Un enfant³⁹ — в трубе! Вы с ума сошли! — классные дамы окружили девочку.

— Ах, m-lle, я не знаю, мне так сказали, только это ничей ребёнок, он был выкинут в колодезь и пищал.

— M-lle, они что-то резали, потому что Евграфова и Лисицына бегали за ножами.

С m-lle Нот на этот раз действительно сделалось дурно, и никто из девочек не побежал за водой.

— Барышни, барышни, что вам надо? — спрашивала горничная маман Наташа, выйдя в коридор.

— Наташа, милая, хорошая, что маман делает?

— Баронесса книжку читают, сидят у окна.

— А какой на ней чепчик? — спросила Евграфова.

— Барышни, не шумите. Господи, да вы что это держите, мамзель Франк?

— Наташа, душечка, доложите маман, что первый класс пришёл к ней, что мы спасли собаку и умоляем, просим маман принять нас.

Наташа пошла докладывать.

— Назарова, ты будешь говорить по-французски?

— Пустяки, Франк, говори сама, у тебя и собачка на руках.

— А какая она хорошенькая, глазки чёрненькие, — и дети снова кинулись целовать бедную грязную собачонку.

— Маман идёт, маман!

Маман вышла в чепце с пунцовыми лентами и с ласковым лицом.

— Маман, маман, — дети бросились целовать её руки, — мы спасли собачку и принесли её подарить вам.

Франк выступила вперёд и, протягивая собачку, рас-

сказала, как они спасли её. Матап рассмеялась, поцеловала детей и дала слово оставить у себя собачку.

— Франк, пусти её на пол.

Собачка на полу имела самый жалкий вид. Маленькая, белая с жёлтыми пятнами, лохматенькая дворняжка дрожала и, поджав хвост, глядела умоляющими глазами на Франк, которую признавала своей спасительницей.

— Франк, снеси собачку Наташе, скажи: я велела её накормить и закутать во что-нибудь, а вечером вымыть её. Завтра я вам позволю прийти посмотреть её, а потом, Франк, иди в белевую и скажи, я велела выдать тебе всё чистое. *Adieu, mes enfants, conduisez vous bien — cette fois je ne vous gronde pas*⁴⁰.

С неистовым восторгом дети влетели в белевую и авторитетно, от имени матап, потребовали для Франк всю чистую перемену.

Звонок к обеду давно уже собрал в столовой всех девочек. Перед прибором m-lle Нот стояли склянки с эфиром, валерианой и мятой, она нюхала их по очереди и тоскливо глядела на сад. Наконец оттуда появилась весёлая группа девочек. Надя Франк шла вся в чистом и выделялась белым пятном среди уже запылившихся девочек, носивших третий день свои передники.

— *Mademoiselle Франк!* — накинулась на неё Нот. — Вы опять бунтовать! Куда вы бегали? Какого ребёнка вытащили? Да говорите, ради Бога.

Девочки в десять голосов рассказали классной даме о своей находке и доброте матап. Затем, не слушая больше её восклицаний и угроз, что собака могла быть бешеная, девочки бросились на свой остывший обед, а разговор вертелся на том, как назвать собачку: *Trouvé, Ami* или *Cadeau*⁴¹.

Матап сдержала своё слово: собачонка, вымытая, накормленная, оказалась ласковой и весёлой. После выпуска первого класса она ещё жила на попечении Наташи, а затем, когда матап, баронесса Ф., оставила свою службу директрисы и уехала в имение к дочери, собачка *Cadeau* уехала вместе с нею.

Женя Терентьева изготовила ещё медаль с надписью «За спасение *Cadeau*».

VI

*Конец каникул. — Первые розы. — L'Égypte. —
Русалочка.*

Август подходил к концу. Клён зарумянился, а на липе золотыми пятнами пошёл жёлтый лист. Погода стояла ещё тёплая, и девочкам жаль было расставаться со своим старым садом, не хотелось снова запереться в душных классах, взяться за книги, словом, войти в монотонную рутину зимней институтской жизни.

Для первого класса это была последняя зима. Снова придёт весна, зазеленеет старый сад, налетят в него знакомые птицы вить гнёзда, сбегутся с чердаков и из тёмных подвалов голодные, исхудалые «Наполеоны» и «Ристори», но первому выпускному классу будет уже не до них. Первого мая, как в волшебной сказке, раскроются перед ними каменные стены, и тридцать белых девушек выйдут в широкий свет, и пойдёт каждая из них искать в нём свою долю земных радостей и страданий.

— Надя Франк, в приёмную! Франк! Где Франк? К ней приехал брат, её зовут в маленькую приёмную!

— Иду, иду! Тут я! Кто пришёл ко мне, не видели?

Франк бежала из сада, вся запыхавшись, её толстые косы, ещё по-летнему распущенные за спиной, на бегу били её по плечам, передние волосы густой волной сбегали на лоб, пелеринка была на боку, а в переднике она держала завёрнутую куклу.

В старшем классе была мода играть в куклы, и куклы у всех были одинаковые — фарфоровые, вертящаяся головка, фарфоровые же ручки и ножки и лайковый животик с пищалкой. При выпуске каждая, обладавшая таким *babu*, дарила его своей обожательнице из младшего класса.

— Кто ко мне пришёл?

— Должно быть, брат. Яков сказал: офицер.

— Андрюша! — и Франк опрометью бросилась на каменный подъезд, хлопнула тяжёлой дверью, промчалась мимо швейцарской в коридор налево, рванула дверь приёмной и чуть не бросилась на шею совершенно незнакомому ей белокурому офицеру.

— Ах! — и девушка остановилась как вкопанная.

Яркое солнце, врывавшееся в окошко приёмной, целым снопом лучей легло на её рыжую головку, покрыло розовым блеском взволнованное, смущённое личико и предательски осветило фарфоровую куклу, голова и руки которой выглядывали из скомканного передника девушки.

Молодой офицер, стоявший у окна спиной к двери, обернулся, услышав торопливые шаги, и тоже чуть не ахнул, увидя перед собой девушку. Ему казалось, что старый сад, которым он только что любовался, послал к нему одну из своих нимф, всю сотканную из свежего аромата зелени и ярких лучей солнца...

— Простите, — начала девушка, — я ошиблась, меня вызвали к брату...

— Mademoiselle Франк? — спросил офицер.

— Да, я Франк...

— Так я к вам от вашего брата, я его товарищ по полку. Я был здесь в командировке и завтра уезжаю обратно в Одессу... Он взял с меня слово повидать вас.

— А когда он приедет?

— Он не может быть раньше, как зимой, но он сам хлопочет скорее перевестись в Петербург, он знает, как его здесь ждут, ведь он теперь совсем сюда к вам.

— Совсем? — переспросила девушка и рассмеялась; в её тихом детском смехе было столько радости, что, глядя на неё, улыбался и офицер.

— Ну да, совсем... Он вам прислал... — офицер торопливо обернулся и взял с окна бонбоньерку, завернутую в тонкую атласную бумагу, и большой букет белых роз в венке из незабудок.

— Это мне? — с недоверчивым восторгом обратилась девушка.

— Да, конечно, Андрюша поручил мне...

Лицо девочки сияло, не дотрагиваясь до конфет, она взяла букет в правую руку, но он был велик, и она прижала его к груди.

— Подержите baby! — она протянула молодому человеку свою куклу и тогда, взяв букет в обе руки, вдруг поднесла его к лицу и поцеловала в самую середину. Это были в её жизни первые поднесённые ей цветы, первый настоящий букет, который притом ей дарил молодой красивый офицер.

Поцеловав цветы, она подняла голову и, взглянув на

офицера, который стоял перед нею с конфетами в одной руке и с куклой в другой, снова рассмеялась. На этот раз рассмеялся и офицер, и точно какая-то преграда, стоявшая между ними, рухнула.

— Вы мне позволите положить вашу даму-baby с конфетами на рояль?

Франк кивнула головой.

— Только осторожно.

Затем они сели на скамейку приёмной и начали болтать, как старые знакомые.

— Вы знаете, что я здесь всех обманул, чтобы добратсья до вас, впрочем, меня научил Андрюша.

— А как вы обманули?

— Я сказал швейцару, начальнице вашей, двум почтенным особам в синем и одной тоненькой барышне в сером...

— Это «стрекоза».

— Как?

— Это пепиньерка, они, видите, в сером и очень тянутся, это у них мода быть тоненькими, пелериночки у них широкие, вот их и зовут «стрекозами».

— А! Так вот, всем этим особам я сказал, что я вам двоюродный брат и приехал из Одессы, чтобы именно повидаться с вами.

— Это хорошо, а то, пожалуй, вас не допустили бы, ведь сегодня последний день каникул, завтра, двадцатого, начало классов. А я, как только узнала, что меня в приёмной ждёт офицер, я была уверена, что это Андрюша, я так бежала, что меня никто не мог бы удержать. Ах, как я обрадовалась!

— А потом разочаровались?

— Да, конечно, я чуть не заплакала, как вы повернулись ко мне... Только вот эти цветы, — девочка снова с нежной лаской поднесла цветы к лицу. Они до того нравились ей, что хотелось бы гладить их, целовать, но теперь уже было стыдно.

— Надежда Александровна...

— Ах, как смешно!

— Что смешно?

— А вот вы меня так называли — это тоже в первый раз в жизни.

— Что значит тоже?

— А вот цветы мне подарили в первый раз и так назвали, как, как... в жизни.

— Как же я могу вас звать?

— Как? *Mademoiselle* Франк!

— Мне так не нравится.

— А вас как зовут?

— Евгений Михайлович.

— Евгений, *Eugene* — это красиво, мне нравится. Так вы завтра в полк? Поцелуйте за меня Андрюшу, тысячу раз поцелуйте, скажите ему, что я его жду и Люда ждёт его. Она молчит, но я знаю, что она страшно ждёт его.

— Кто это Люда?

— Это моя подруга. Ах, какая она душка, если бы вы её видели, вы бы тоже начали её обожать, только нельзя: она «бегает» за Андрюшей, и я просила его жениться на ней; жаль, она дежурит у кофулек, я не могу её вызвать к вам. Я бы показала вам тоже *Eugenie*, вот прелесть!

— Это тоже ваша подруга?

— Ах нет, это была кошка Петровой и Евграфовой, но какая милка. Когда же вы приедете снова в Петербург?

— Я буду здесь к весне, то есть как раз к вашему выпуску.

— Да? Вот это хорошо! Приезжайте прямо в церковь, мы все в белом, батюшка нам читает проповедь, и мы все плачем. Очень, очень интересно видеть наш выпуск!

Дверь приёмной скрипнула, и в комнату крадучись пролезла *m-lle* Нот.

— Пора, *ma chere enfant*⁴², идти обратно в сад. Маман позволила принять вашего брата только на полчаса. Вы знаете, что сегодня неприёмный день.

Франк встала.

— Прощайте, «*cousin Eugene*»! — и она лукаво поглядела на молодого человека.

— Прощайте, кузиночка, — отвечал он, улыбаясь.

— Смотрите не забудьте десять тысяч раз поцеловать за меня Андрюшу.

— Вот ваши конфеты, вот *baby* в целости и сохранности, — передавая бонбоньерку и куклу, он подошёл ближе к девочке и сказал ей тихо: — Я уезжаю надолго, подарите мне на память цветок из вашего букета.

— Цветок? Хорошо! — девушка вынула из букета небольшой пучок незабудок и одну розу из середины, без всякого кокетства, забыв, что это та самая, которую она в восторге поцеловала, затем она быстро сдёрнула с кончика одной косы маленький синий бантик и этой лентой связала свой крошечный букетик. — Смотрите, когда он завянет, высушите его в книге или в толстой тетрадке, но не бросайте: говорят, нехорошо бросать или жечь подаренные цветы.

Офицер наклонился взять цветы и поцеловал маленькую ручку, державшую их.

Надя Франк вспыхнула и невольным движением отдёрнула руки. И это тоже было в первый раз, всё личико её покрылось краской...

В дортуаре первого класса на ночном шкафике Франк в большой грубой кружке из-под кваса стояли остатки прелестного букета: пять-шесть распутившихся роз и пучок незабудок, остальные цветы были розданы подругам. Ложась спать, Франк не болтала ни с кем, не шла ни к кому в гости «на кровать»: она на коленях молилась больше обыкновенного перед своим Боженькой, прикреплённым к чехлу её кровати. Минуту она постояла перед цветами, и личико её было грустно и бледно, как будто она предчувствовала, что в жизни из цветов нередко вырастают жёсткие тернии. Затем она по привычке легла на правый бок, положила под щеку правую руку и заснула. Трепетный сладкий аромат разносился над её головой, ей снился офицер, но он строго, сурово спрашивал у неё сравнительную хронологию семнадцатого века, из которой она не знала ни слова...

Кругом висячей ночной лампы, на табуретах, поставленных верхом один на другой (чтобы быть поближе к огню), сидели три девочки; их голые ноги болтались в пространстве, юбочки доходили только до колен, широкие бесформенные кофты и белые чепчики придавали им вид отдыхающих клоунов, все три вполголоса долбили «Египет». Завтра первый класс был Дютака, учителя всеобщей истории, которую в институте проходили на французском языке. Это было очень трудно, потому что никто не рисковал рассказывать, а все как попугаи долбили от слова до слова.

— Душка Пышка, спроси меня, — просила Маша Евграфова.

Пышка, вся красная от усиленной долбни, обернулась к ней.

— Разве ты знаешь?

— Да, кажется, хорошо знаю.

— Ну, только не очень громко, не мешай мне, — просила Иванова.

— А ты пока зажми уши и повторяй сама, что знаешь.

Маленькая Иванова поджала под себя ноги, положила на колени книгу и, заткнув уши, продолжала шептать урок.

— Ну, говори, не смотри в книгу, уже теперь поздно.

— Ты, Пышка, не перебивай только меня, а то как сорвусь, так и кончено, ничего не помню. Слушай: «L’Egypte se trouve dans la partie du N. E. de l’Afrique sur les bords du Nil, qui par ses débordements annuels rend cette contrée très fertile. Du mois d’Août, jusqu’au mois de Novembre, les eaux du Nil inondent les contrees d’alentours et les couvrent de limon, de manière que l’agriculteur sansse donner beaucoup de peine confit ses semences à la terre et dans l’espoir d’une bonne moisson oublie ses champs pour quelques mois»⁴³...

Маша Евграфова нанизывала фразу за фразой, и Пышка только следила за нею с открытым ртом.

— Вот так хорошо! Когда это ты так выдолбила?

— Летом, я все каникулы долбила, я много параграфов так знаю, только меня сбивать не надо! — с гордостью отвечала Маша.

— Mesdam’очки, кто меня пустит на своё место? Я ничего не знаю к Дютаку, — просилась Чернушка, стоя внизу тоже босиком и поджимая под себя, как цапля, то одну ногу, то другую. Своих туфель иметь не полагалось, кроме как для танцев, а надевать ночные грубые кожаные башмаки дети не любили.

— Вот Евграфова тебя пустит. Вот выдолбила l’Egypte — назубок!

— Прощайте, душки, я спать, — Евграфова слезла, а Чернушка, как обезьяна по веткам, по выдающимся углам табуретов поднялась наверх, и снова все трое уселись неподвижно вокруг лампы, губы их шептали, от усердия запомнить трудную фразу они закатывали глаза в потолок.

Бедные девочки сидели так полночи, как три факира, стерегущие священный огонь.

В одном из углов дортуара на трёх сдвинутых кроватях сидела кучка институток. Там было весело, две свечи горели в бронзовых подсвечниках, в маленьких хрустальных кружечках было налито какое-то сладкое вино, на середине кровати стоял поднос, и на нём навалены вместе куски всего: паштета с говядиной, копчёные рыбки, пирожное, фрукты. Чиркова угощала свой двор, она только сегодня вернулась из отпуска.

Тут шёл тихий смех и разговор с недоконченными налёками, имена Авенира, Анатолия и Basil'я так и пересыпали всякую фразу.

Чиркова лето провела в Крыму, каталась верхом — какие там есть красивые проводники-татары! — и снова шёпот и смех. Кучка Чирковой за лето сильно уменьшилась, теперь их было только четыре, между ними одна, Быстрова, ходила за Чирковой всюду как тень. Её большие синие глаза, обведённые тёмным полукругом, не отрывались от подруги, её длинные чёрные волосы, впалая грудь, узенькие плечи и белые тонкие руки дали ей прозвище Русалки. Русалка училась неровно, как неровно и нервно делала всё. Родные её были далеко, на Кавказе; она на груди носила образок св. Нины, бредила Демоном, замком Тамары и пела романсы надорванным, но замечательно приятным голосом, произнося слова с захватывающим выражением. До самого поступления Чирковой девочку все любили, баловали, ласкали, но теперь она отшатнулась от всех, стала резка, и её синие чудные глаза делались влажными и ласковыми только тогда, когда Чиркова обнимала её и уводила с собой.

Шкот, лёжа в кровати у своей зажжённой свечи, писала письмо на свою далёкую родину; некрасивое, но симпатичное и серьёзное лицо девушки было освещено, и по нему легко было понять, как одинока она, как далеко от неё стоят и три «обезьянки» на высоких табуретках, долбящие l'Egypte, и кучка Чирковой, и все эти беспечно сидящие девочки.

Мало-помалу всё стихло, все разошлись по кроватям, чья-то рука потушила лампу, дортуар погрузился во тьму, и только слышно было, как Русалочка, лёжа на кровати Чирковой, о чём-то тихо и жарко шепталась с подругой.

А лето идёт всё к концу, и скоро запрутся распахнутые окна, и скроется из глаз девочек старый сад. Надя Франк точно дорожит каждой минутой и целые ночи сидит, забравшись с ногами на подоконник, и болтает со своим другом — белокурой Людочкой. Кончив курс, Людочка, не колеблясь, приняла предложение татап остаться пепиньеркой при младшем классе. Мать её была без средств, и девушке всё равно предстояло идти в гувернантки и, может быть, ехать в далёкую провинцию, а у Людочки там, в глубине её кроткого сердечка, лежал образ красивого офицера Андрюши Франка. Она знала, что молодой человек вернётся к Надиному выпуску, и бессознательно, в силу какого-то непобедимого инстинкта желала непременно дождаться его в институте.

Сегодня, кончив дежурство, серенькая пепиньерка неслышно, как мышь, пробралась по коридору и явилась на назначенное ей Надей свидание.

Под окном глубоко в плане лежал их любимый старый сад, среди чёрных кустов и деревьев громадным серебряным пятном вырисовывалась площадка, усыпанная светло-жёлтым песком; лужайка и дорожки, залитые лунным светом, отражали на себе трепещущую тень. Изредка то тут, то там таинственно кралась кошка, замирала на месте, медленно поводила хвостом и снова, эластично крадучись, пропадала в кустах. Прохлада и ненарушаемая тишина шли из сада в открытое окно.

— Люда, когда ты смотришь вниз, тебе не хочется броситься из окна?

— Господь с тобой, вот выдумала!.. Отодвинься, Франк!

— А знаешь, меня так и тянет, только я вовсе не хочу упасть, разбиться, нет, мне почему-то кажется, что меня какая-нибудь невидимая сила подхватит и поставит на землю.

— Вот чушь! Самым исправным образом разобьёшь себе голову.

— Нет, я убеждена, что со мной ничего не случится. Хочешь, попробую? — и Франк вскочила на подоконник.

— Франк, сумасшедшая! Сиди смирно, или я сейчас уйду, я даже говорить с тобой не хочу!

— Ах, Люда, отчего у тебя нет такой веры... а у меня, ты

знаешь, бывает, именно вот так: в сердце горит, горит, и чувствуешь в себе такую силу, что, кажется, весь дом, вот весь наш институт возьмёшь на руки и подымешь.

— Неужели ты, Франк, бросилась бы из окна? — Франк засмеялась. — Нет, конечно, не бросилась бы — это я так, тебя поугагать хотела, а только правда, что мне иногда почему-то кажется, что со мною ничего не может случиться и что я всё могу! Ты знаешь, мне говорил Минаев, что в древности христиане умели желать и верить, и от этого происходили чудеса, и я знаю, что он говорит правду. Только всегда и всего желать нельзя, так желать можно только очень редко. Знаешь, я раз желала, чтобы солнце сошло ко мне. Я была одна-одинёхонька в дортуаре, окно вот так же было открыто, и солнце стояло как раз против меня. Я протянула к нему руки и так желала, так желала обнять его! Мне стало холодно, в глазах шли круги, под волосами ползали мурашки, и вдруг я почувствовала, как что-то тёплое, круглое, чудное легло мне на руки и ослепило меня. Когда я открыла глаза, у меня болела голова, из глаз текли слёзы, но, я тебя уверяю, солнце сходило ко мне!

— Господи, Франк, да ты совсем сумасшедшая! Ведь солнце более чем в миллион раз больше Земли, лучи его, доходя с высоты ста сорока миллионов, жгут и высушивают почву, а ты говоришь, что оно сошло к тебе на руки!

— Ах, Люда... я чувствовала!

Девочки помолчали. Надя глядела в сад и снова теряла чувство действительности: и сад, и луна, и блуждавшие тени кошек казались ей сказкой, но не такой, которую рассказывают, а которую переживаешь во сне длинным рядом странных фантастических картин. Людочка нахмурилась: ей хотелось совсем о другом говорить с подругой.

— Ты когда писала Андрюше? — спросила она, беря Франк за руку.

— Дусе? Я буду писать завтра. У тебя есть симпатичные чернила?

— Есть, я всегда беру их для этих писем, да только теперь тебе зачем? Ты пиши завтра в саду, когда Нот уйдёт завтракать, а после обеда я отпрошусь в гостиный двор и сама опущу письмо. Как ты думаешь, когда он приедет?

Франк вдруг вскочила с подоконника и схватила Люду за голову.

— Он приедет, он приедет, — пела она тихонько, — он приедет к сентябрю и навсегда, он переводится на службу в Петербург, мне это сказала вчера мама, он писал ей.

Людочка громко рассмеялась и начала целовать Франк.

— Кто это хохочет и спать не даёт! — ворчала Бульдожка. — Это очень глупо!

Франк и Людочке вдруг стало очень смешно, они уткнулись в подушку на пустой кровати и хохотали, как безумные.

Был утомительно-жаркий августовский день, и, несмотря на запрещение бегать на «гигантских» до обеда, первый класс, воспользовавшись отсутствием Кильки, бросился на качели.

Ирочка Говорова, хорошенькая брюнетка с замечательно толстой и длинной косой, была особенно весела; она перетягивала всех, кто хотел, то есть подпускала вниз свою верёвку, и тот, кто был наверху, летал особенно легко и высоко. Когда дежурный солдат, седой Савелий, появился на каменном подъезде института и, подняв высоко руку, три раза ударил огромным колоколом, Ирочка сбросила с себя лямку и раньше, чем на площадку стеклись все классы, влетела в галерею и, схватив свою порцию холодного молока, выпила до дна свою кружку.

За завтраком с Ирочкой сделалось дурно, она побледнела, её начало трясти, и в два часа её отправили в лазарет, затем в класс проникли какие-то лихорадочные, тревожные слухи; шёпотом передавали, что Ирочке хуже, что у неё холера. Килька три раза бегала в лазарет, и к вечеру, не успела она ввести класс в дортуар, как её потребовали к татап. Девочки, обрадовавшись отсутствию классной дамы, шалили. Бульдожка, напенив мыла, достала откуда-то соломинку, пускала мыльные пузыри и любовалась перламутровым отливом, который им придавал свет лампы. Евграфова, намылив руки, гонялась за Петровой, громко напевая:

*Чёрт намылил себе нос,
Напомадил руки
И из ледника принёс
Ситцевые брюки.*

— Да полно вам, барышни, — крикнула, не выдержав, рыжая Паша, — молитесь лучше за упокой души рабы Божьей Ирины, ведь барышня Говорова-то скончалась...

Минуту в дортуаре царила полная тишина. Казалось, смерть распростёрла свои крылья и дохнула холодом на эти тридцать девушек-детей, полных здоровья и силы. Затем жизнь взяла перевес и все разразились бурным отчаянием.

— Ирочка умерла! Ирочка, такая здоровая, весёлая, ласковая!.. Ирочка, хохотавшая сегодня на весь сад, перетягивавшая всех на «гигантских»?.. Не может быть! Разве так быстро умирают? Значит, сегодня Ирочка, завтра — другая, третья... — девочки кричали, громко перебивали друг друга, почти все плакали, некоторые молились.

— Паша, милая, ты наверно знаешь, что она умерла?

— Знаю, барышня, потому что, так как они были моего дортуара, так меня приставили обмывать их.

— И ты обмывала? — девочки отшатнулись и со страхом глядели на её руки.

— А то как же, разве я дам другим? Они были «моя барышня», и мёртвая-то барышня, как живая: беленькая такая, а волосы, что вороново крыло, как положили в гроб, так по обе стороны, как покрывало, до самых ног лежат...

— Её уже и в гроб положили?

— Да, они померли в самый обед, в четыре часа, а в семь их уже в гроб положили, — Паша заплакала, за нею заплакали слушавшие её, а за ними зарыдал и весь класс.

Смерть вообще была редким явлением в институте. За два—три года умирало не больше одной, а тут так страшно, грубо была вырвана взрослая здоровая девушка. Смерть являлась каким-то страшным насилием, и девочки рыдали не только от жалости к подруге, но и от страха перед неведомой грозной силой.

— Со святыми упокой душу рабы Твоея, иде же несть ни болезнь, ни печаль, ни плач, ни въздыхания... — запела громко Солопова, став на колени и подняв руки вверх.

За ней и другие девочки бросились на колени и хором дрожащими голосами подхватили молитву.

Надя Франк упала на кровать лицом в подушку и, заткнув уши, судорожно рыдала.

— Молчать! — крикнула на весь дортуар Шкот. — Мол-

чать, сумасшедшие! Солопова, не смей юродствовать! — Авторитетный, здоровый голос отрезвил девочек, как струя свежего воздуха, разогнал кошмар. Девочки повскакали с колен и начали раздеваться. Солопова уткнулась головой в пол и продолжала молиться тихо. — Франк, перестань, перестань, опомнись... — говорила Шкот, ласково отрывая её лицо от подушки. — Иди ко мне!

— Ах, Шкот, Шкот, ведь мы все умрём, все: и я, и вы, и мама, и Андрюша, и Кадошка — все, все, кто только живёт, как это страшно!

— Да, но ни ты, ни я, ни Андрюша, ни твой Кадошка — никто не будет знать заранее, когда именно, и потому, если тебе, например, суждено умереть лет восьмидесяти, то ты слишком рано начала оплакивать себя. Ирочку жаль, очень жаль, но она сама виновата: вся в поту, запыхавшись, выпила холодного молока, у неё сделалось, говорят, острое воспаление. Ну, молчи, иди ко мне, сегодня я буду рассказывать тебе сказки, хочешь? — и Шкот увела к себе уже тихо всхлипывающую девочку.

— Медамочки, ради Бога, чтобы сегодня всю ночь горела лампа, — молила маленькая Иванова.

Дортуар погрузился в тишину. Шкот убавила в лампе огонь и легла. В ногах у неё сидела печальная Франк.

— Франк, сколько дней нам ещё осталось до выпуска?

— Сегодня, Шкот, 19 августа, выпуск 1-го мая... да у меня записано, только верно не помню.

— Ах, как я жду выпуска, я уеду в Шотландию. Если бы ты знала, Франк, как там хорошо! Горы, знаешь, высокие, до неба, и наверху всегда снег; теперь, когда я большая, я непременно с проводником пойду туда. В горах озёра глубокие, тихие, вода в них синяя, как и небо тёмно-синее, а какая там зелень, какие цветы в горах, совсем особенные! У нас там большой коттедж, знаешь, ферма. Дом, господский наш, стоит на выступе горы — совершенный замок! В нём есть высокие залы, а в них огромные камины, туда навалят толстых дубовых чурок, и огонь горит целый день. У нас есть башни, оттуда из верхних окон видно далеко-далеко на широкие ровные, как зелёный бархат, поля, там ходят стада; у коров на шее большие звонки, и подобранные под тон звенят, как музыка; мохнатые, с длинными мордами горные овчар-

ки, они очень умные и злые. Церкви там всегда стоят в саду, часто церковь соединена галёркой с домом пастора, а пасторы там живут хорошо — сады у них, цветы... В четыре часа со всех сторон несётся такой особенный звон к молитве, и где бы кого ни застал этот звон: в саду, на дороге, в поле — каждый католик становится на колени и читает про себя ту же молитву, которую в то время читает и священник. Ты понимаешь, это их объединяет.

Франк слушала, вперив в говорящую свои широкие серые глаза. Слова ложились перед ней картинками, живое воображение девочки схватывало все вызываемые образы.

— Счастливая, Шкот! А с кем ты туда поедешь?

— С дедушкой и бабушкой, только они у меня уже старенькие... — девушка потупилась, — а впрочем, никто, как Бог, может, ещё и проживём вместе годков десять...

Эти слова снова навели их на мысль о разлуке и смерти, обе стали говорить тише.

— Ты знаешь, — продолжала Шкот, — почему я учусь так хорошо, а особенно языки: я открою школу в нашем имении и сама буду учить мальчиков и девочек, то есть я и соседний пастор.

— А разве ты замуж не пойдёшь?

— Какая ты смешная. Почём я знаю! Хотя вернее не пойду. Пока старики живы, я не расстанусь с ними ни за что, а потом, когда их не будет, Бог даст, я и сама буду уже немолодая, и меня никто не возьмёт.

— Ах, Шкот, не говори так! Когда я думаю, что никто на мне не женится, я всегда плачу, мне становится так страшно, вот как умереть!

— Вот так Баярд, рыцарь без страха и упрёка! Ай-да Франк, не ожидала я от тебя такого признания, — смеялась Шкот, — да ты это с чего же?

— Ах, Шкот, как же вы не понимаете? Посмотрите кругом. Кто у вас из классных дам добрые? Старая Волкова, вдова и мать — добрая и такая она... мягкая... почтенная... Её дочь, старая дева, сухая, жёлтая, злая... Ленина? Ведь это одна прелесть! Вдова. Нот? Холера ходячая, старая девица. Возьмите всех трёх Гилле... Кулакову возьмите: хорошенькая, молодая, всего пять лет из института — девица без надежды выйти замуж, потому что кто возьмёт «синявку»? И злая, злая! А вот маман! Старуха, вспыль-

чивая, а вот была замужем, есть дети, и ведь какая добрая! Да, наконец, возьмите наших всех матерей — все, все добрые! Вот я всё думала и поняла: кого любят, кого берут замуж, кому Бог даёт детей — они все добрые, им и нельзя сердиться, им надо любить! А вот кого никто не берёт — они одиноки, им Бог не даёт детей, любить им некого, они становятся худые, жёлтые и злые. Ну, разве не правда?

— Пожалуй, по-твоему выходит и правда, а только это глупости, не может же быть, чтобы все старые девы были злые!

— Ах, все, все, Шкот! Вот уже на наших глазах: кончит курс — ангел, останется в пепиньерках — её обожают, а пройдёт года три — наденет синее платье, и сейчас готово — ведьма!.. Нет, Шкот, я непременно хочу выйти замуж и иметь детей.

— Ну, дай Бог! А за кого бы ты пошла из наших учителей? За Минаева пошла бы? Ведь ты его обожаешь!

— Нет, я за Минаева не пошла бы...

— Почему?

— Да я не знаю почему: во-первых, он инспектор — этак вечно будешь его бояться, а во-вторых, у него глаза такие... серые, пронзительные, точно он вас поймал в чём-нибудь, а сам при этом ужасно вежлив. Обожать-то я его обожаю так, назло другим, а только я бы за него не пошла! Знаете, Шкот, за кого бы я пошла?

— За кого? Да говори откровенно, ведь я-то попрекать не буду!

— Знаю, вы не «мелочь»! Я бы пошла за Зверева...

— Франк, дура! Ты с ума сошла! Да ведь он старик, у него чёрные зубы, лицо всё в морщинах, как ножом изрезано, да и он злой!..

— Мне его жаль, Шкот, у него, говорят, чахотка, вот отчего он и злой, потом, вы знаете, говорят, у него померла жена и есть маленькие дети, он очень несчастный! Вы знаете, как я у него учу русскую историю, — назубок, даже по ночам учусь. Он как вызовет одну, другую — врут, врут, а он сердится, кричит и, как намучается, сейчас вызовет меня. Я говорю и гляжу ему в глаза, а он так молчит и успокаивается: глаза у него станут добрые, лицо разгладится, вот точно я ему воды дала напиться! А мне его так жалко, так жалко, что

я сказать вам не могу! Да и притом у него уже есть дети... подумайте, как приятно выйти замуж, и уже есть дети!

— Ступай спать, Франк, ты совсем, совсем дура! Спокойной ночи, поцелуй меня!

Франк горячо поцеловала Шкот, которую буквально обожала в душе, и пошла к своей кровати молиться и ложиться спать.

— Франк, — сказала Шкот на другой день, — я переименовала твоё прозвание, ты не Баярд, весёлый рыцарь без страха и упрёка, ты рыцарь, но рыцарь-мечтатель, ты — Дон Кихот!

Последний год за Франк так и укрепилось прозвище Дон Кихот!

VII

*Выпускной класс. — Разборка кузенов. —
Беседа с рыжей Пашей. — Гадание.*

Двадцатого августа в институтской церкви отец Андриан отслужил молебен для начала занятий и поздравил девушек с переходом в старшие классы. Затем снова весь институт собрался в большом зале, снова вошли туда начальница, инспектор и несколько учителей.

Было произнесено несколько речей, сводившихся к тому, что надо хорошо себя вести и учиться. Девочки благодарили, приседали и, наконец, разошлись по классам, и начались занятия.

Первый класс был почти пропущен — Дютак мог заниматься только полчаса. *Les jardins suspendus de Semiramis*⁴⁴ и *L'Egypte* одними были пробарабанены, другими — исковерканы до неузнаваемости. Солопова — та прямо объяснила, что иностранные языки «Богу не угодны», и не учила, и не отвечала, а так как все знали, что, кончив институт, она идёт в монастырь, то её оставляли в покое и переводили из класса в класс.

Грушецкая — Дромадер — высокая, сутуловатая, с поднятыми лопатками, так и вышла из института, называя своего брата, гарнизонного офицера, «Кискенкин», язык у неё был действительно суконный; она кончила курс, буквально не умея ни читать, ни писать по-французски и

по-немецки. Во втором классе с ней был анекдот, которому трудно поверить. Зная, что её должен вызвать немец к доске писать перевод, она с утра упростила Бульдожку за булку написать ей перевод. Бульдожка согласилась, добросовестно съела булку, написала ей бумажку и не велела никому показывать. Вызванная к доске, Грушецкая встала храбро и к ужасу целого класса начала чётко и ясно выводить на доске мелом: «Die kuri, murif lurì, ich gab ir arpleurì»⁴⁵... Тут весь класс покотился со смеху, и, услышав крики: «Сотри, сотри!», оторопелый Дромадер успела стереть свою кабалистику раньше, чем учитель встал с кафедры и прочёл написанное ею.

Весь последний год старший класс «тренировали», как скаковых лошадей: тут была одна конечная цель — выпускной экзамен. Экзамены эти были не так важны для девочек, уходивших навсегда из институтских стен, как для учителей, преподавательская деятельность которых оценивалась именно этими испытаниями. Девочек старшего класса в последнем году делили на три категории: их, как золотой песок, фильтровали и просеивали, составляли отборную группу солисток, на которых и обращалось всё внимание; затем хор, с которым занимались тоже, так как они годились для отдельных ответов, чтобы усилить общее впечатление, и, наконец, статистов, вроде Солоповой, Грушецкой, которые уже никуда не годились и фамилии которых каким-то фокусом даже не всегда попадали в экзаменационные списки. Всё искусство инспектора, вся ловкость классных дам, вся опытность преподавателей сводились к тому, чтобы ни один из самых язвительных «чужих» не нашёл возможным определить себе *настоящую степень невежества* выпускных девочек.

Корифеями выпускных экзаменов являлись: Лафос — француз, у которого четыре—пять девочек с чисто парижским акцентом разыгрывали сцены Мольера и декламировали из Виктора Гюго и Ламартина; Попов — с блестящими отрывками из русской словесности, стихами и всем, чем угодно, *кроме правописания*, которого не знала *ни одна*; Степанов, у которого девочки действительно знали хоть что-нибудь в границах преподаваемого им курса естественной истории и физики; затем учителя пения, танцев, гимнастики и музыки, у последнего учителя девочки играли на стольких роялях

зараз, сколько могли найти в институте, и во столько рук, сколько хватало. Мучениками последних экзаменов явились: учитель рисования, которому надо было приготовить собственных тридцать недурных картин акварелью и карандашом и дать подписать каждой ученице свою фамилию, и учительница рукоделия, которая ночи просиживала за институтскими работами роскошных капотов, чепчиков и других «ouvrages fins»⁴⁶, которыми восхищались все зрители...

В этом году стараниями инспектора для первых двух классов прибавился новый предмет и новый учитель: его брат Николай Матвеевич Минаев начал преподавать педагогику и дидактику. Признано было, что девочкам, треть которых готовится быть гувернантками, надо знать науку воспитания и обучения детей. Насколько педагогика послужила к развитию умственных способностей девочек — это вопрос, но для классных дам наука эта стала «bete noire»⁴⁷, потому что дала повод критиковать все их поступки, так сказать, на законном основании.

Бежали дни и слагались в недели, недели вводили за собой месяцы, и незаметно среди занятий и мелких институтских событий наступило Рождество, близился годово́й бал, который давал от себя каждый выпускной класс...

Девочки делали складчину, устраивали буфет и приглашали на этот бал только кого хотели. Таковы были традиции, что приглашения писались самими воспитанницами и только тем лицам, которые, по общему мнению, заслуживали того. Приглашительное письмо писалось коллегиально от всего класса — это был, так сказать, первый акт гражданской свободы выпускного класса. Разговор об этом бале и приготовлениях к нему была масса. Кавалеры могли приглашаться и «с воли», но список их с пометками: «frère, officier de la garde», «cousin-cadet», «oncle procureur»⁴⁸ и так далее передавался на обсуждение начальнице, и она по каким-то высшим соображениям ставила у иных крест согласия, а других вычёркивала.

— Mesdames, кто хочет кузена, у кого нет? — спрашивала Назарова.

— А какой у тебя кузен — военный или штатский? — обращались к ней.

— Это товарищ брата, правовед, брат говорит, un charmant garçon⁴⁹, он очень хочет быть на нашем балу.

— Ну, дай Ивановой. Иванова, возьми кузена, ведь у тебя никого нет!

Иванова летит к концу класса.

— Кузена? Давай, только с условием, чтобы он со мной танцевал! Слышишь, Назарова?

— Ну да, конечно, я скажу ему, давай записку.

Иванова пишет: «Екатерина Петровна Иванова, дочь надворного советника, 17 лет». Назарова прячет записку, а ей отдаёт данную ей братом: «Сергей Николаевич Храбров, правовед, 19 лет, сын действительного статского советника».

Такие записки необходимы. Маман может вдруг спросить: «Кто ваш кузен, *ma chère enfant?*» — «*Sèrge Храбров, maman, élève de l'école de droit, son pere général tel*»⁵⁰... Или его при входе могут спросить: «Кто ваша кузина?» — «*Catiche Iwanoff*», — отвечает он без запинки...

Чтобы не ошибиться в лицо с кузенком, которого никогда в глаза не видела, условливались, с кем войдёт, или где встанет, или такой-то цветок вденет в петличку. Молодым людям было труднее разбирать своих кузин, потому что те, как в сказке о тринадцати лебедях, на первый взгляд, со своими форменными платьями и одинаковыми пелеринками, все казались на одно лицо.

В этом году бал назначен был на четвёртый день Рождества, а теперь приближался канун сочельника, и девочки сговаривались гадать, и наряжаться, и ходить по классным дамам. Раздобыв часть костюмов из дома, часть смастерив сами из разных тряпок, девочки составляли пары: цыган и цыганка, франт и франтиха, пастух и пастушка...

* * *

— Шкот, не знаете ли вы гадания, только очень верного? — спрашивала Франк свою авторитетную подругу накануне сочельника.

— А ты веришь в гадания?

— Да я не знаю, я никогда не гадала, но, видите, теперь мне хотелось бы... вы скажите, ведь вы, верно, знаете?

Шкот задумалась.

— Нет, право, не знаю, читать читала, только всё неподходящее; вот Татьяна у Пушкина идёт на двор в от-

крытом платье и наводит на месяц зеркало, или вот Светлана садится перед зеркалом в полночь. Ведь это всё тебе не подходит? Вот что, Франк, ты спроси лучше нашу дортуарную Пашу, она, наверно, всё знает и посоветует тебе.

— А ведь это правда, Шкот. Паша, наверно, всё знает!

Франк дождалась вечера сочельника и, когда все легли спать, отправилась в умывальную к Паше. В выдвинутом нижнем ящике комода толстая рыжая Паша спала крепким сном.

Франк тихонько тронула девушку за плечо.

— Паша, а Паша! Паша, милая!

— Ладно, отвяжись, сама знаю, что милая, — и Паша, грезившая ламповщиком Егором, дёрнула плечом.

— Паша, зачем вы такая грубая, я с вами только поговорить хочу. Паша, проснитесь.

— Да чего тебе? — девушка очнулась, села на своём тоненьком тюфяке и увидела перед собой Франк в чулках, короткой юбке, без чепчика, закутанную в тёплый зелёный платок. — Ах, это вы, барышня, а я было во сне видела... Вам чего, милая барышня, нужно?..

— Паша, милая, я вам сделаю подарок на праздник, я у мамы попрошу, она принесёт вам ситцу на платье.

— Покорно благодарю, барышня, я и так вами довольна...

— Только вот, Паша, — девочка села на край выдвинутого ящика, — пожалуйста, научите меня гадать.

— Гадать? — Паша кулаками протёрла себе глаза. — Вы гадать хотите, милая барышня? Вам что же, о женихе, что ли?

Франк покраснела.

— Нет, Паша, какой там жених, у меня нет его, а так, я теперь большая, скоро выпуск, вот я и хотела бы погадать эти святки. У вас в деревне гадают?

— Я, барышня, не деревенская и настоящей деревни русской не знаю, я у чухон росла, так там всё иначе...

— Зачем же вы у чухон росли, Паша, ведь вы русская?

— Я шпитонка, барышня.

— Это что значит «шпитонка»?

— Из незаконных, значит, из брошенных.

— Как это, Паша, из незаконных, кто же вас бросил, куда вас бросили?

— Эх, барышня! — Паша совсем уж очнулась от сна. —

Не след вам всего допытываться, вот услыхала бы наша Марья Фёдоровна, и-их, как досталось бы мне, да и вам не сладко бы было!

— Паша, Корова не придёт, ведь теперь уж мы старшие, вы знаете, что теперь не очень-то любят к нам соваться, что им за охота со старшим классом воевать?

— Это-то правда: уж как перешли в старший класс, так школа-то кончилась — шабаш, теперь куда вам не в пример свободнее!

— Так вы, Паша, расскажите мне, как же вас бросили?

— Бросили, милая барышня, меня так же, как и многих, и многих бросают; ведь мы здесь все девушки — прачки, белевые — все, почитай, из шпитонок, все брошенные. Мать-то, как меня родила, не была венцом покрыта; значит, отца у меня и не было, ну так на что же я ей — на горе да на стыдобушку? Мужчине что — «был молодцу не укор», погулял, да и в сторону, а девке-то с ребёнком куда деваться? Одна дорога — либо в прорубь, либо в шпитательный. Дом такой на Гороховой есть, туда всех таких детей и бросают, так, значит, ничья — ни отца у ребёночка, ни матери, казённые шпитонки, отдадут такое дитё деревенской бабе или чухонке, навесят на шею ему нумерочек такой жестяной либо косточку с нумером, и платит казна за его прокормление, а как вырастет, вот куда ни на есть в казну и определяют, отслуживать, значит, казённые денежки.

— Так у вас и брата нет?

— Да нешто у таких, как мы, братья бывают? Никого нет, барышня. Может, я так от гулящей какой родилась, а может, от распрекрасной семьи: какая-нибудь деликатная барышня обманута была, был милый, обещал жениться, не соблюла себя барышня, а милый ау!.. а барышня-то в стыдах родит где по тайности да ребёночка и бросит. Да что барышня — одно горе по свету ходит!

Паша утёрла слезу грубым рукавом своей кофты. А Франк сидела на ребре ящика вся бледная и взволнованная — грубая рука приподняла перед ней завесу жизни, и вместо счастья и любви, которыми, казалось ей, полон свет, перед её глазами стояла стена какого-то громадного дома, большие железные ворота, и к ним кидают, кидают всё маленьких несчастных детей. Отцов нет, а матери

кинут и бегут! Из рассказа горничной она не поняла и десятой части, но она ясно сознавала, что та говорила какую-то страшную правду, какое-то безысходное горе, что-то постыдное и ужасное, чего она никогда не слышала и не знала.

— Паша, какие вы страшные вещи говорите!

— Эх, барышня, не мне бы говорить — не вам бы слушать. Забудьте, голубушка, всё, что я, дура, наболтала вам, не повторяйте никому, а то достанется мне, я всегда спросонья несуразная. Вы что, милая барышня, гадать, что ли, хотите?

— Да, Паша, я хотела бы гадать, мы все хотели бы, да не умеем.

— Вот что, барышня, я об гаданиях много знаю, слышала от подружек, да только ведь гадание — вещь страшная, неровён час и не отчураться. Вот так-то одна гадала, пошла в овин...

— Это что такое — овин, Паша?

— Не знаете? Ничему-то вас, барышня, не учат, вот институт покидаете, на волю выходите, а несмыслёныш вы, как дитё малое, только что каля-баля по-французски да трень-брень на рояле.

Паша даже вздохнула. Вздохнула и Надя Франк — а ведь правда, кроме нотаций, выговоров и уроков, никто-никто за все семь лет не говорил с ними; ни одной беседы, вот такой, простой, дружеской, как с этой рыжей Пашей, не было у неё никогда ни с кем из старших. Никто не вздумал хоть немножко разъяснить массу смутных вопросов, догадок, зарождавшихся в душе. Напротив, на каждый смелый вопрос был один ответ: «*Ayez honte de demander des choses pareilles. Taisez vous, mademoiselle, ou vous serez punie!*»⁵¹.

— Овин, барышня, это сарай такой в поле стоит, один, под осень в нём хлеб молотят, ну, а зимой он пустует. Так вот, одна девка, Марьей её звали, надумала гадать, сволокла она втихомолочку в овин скамью, расстелила на ней полотенце, а на него поставила поддон с хлебом, солью крупной. В полночь прибегла она к овину, вошла в него, жутко таково, ветер-то кругом воймя воет, мороз от угла в угол щёлкает, а в овине темно, потому окон нет, одни ворота широкие, а она за собой их примкнула.

Стала она вызывать: «Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный!». Ну и пришёл...

— Как же он пришёл, Паша, скажите, что же дальше-то, потом? — вся похолодев, упрасивала её Франк.

— Так, на утро хватились в избе девки, девки нет, где да где, а подружки и проговорились: в овин, мол, гадать ходила. Ну, туда. А овин-то заперт, и вход самый завалило, замело, снегу — страсть, горой стоит, видно, сам замёл и ход туда. Мужики за лопатами, едва снег отгребли, входят, а девонька у самого входа лежит вся белая-белая, глазыньки закрыты, и душенька вон вылетела. Скамья опрокинута, хлеб далеко валяется. Крест-то, барышня, как гадать, она сняла с шеи, вот он её, видимо, и придушил...

— Господи, какие страсти! — Франк перекрестилась.

— Да, бывает... А то тоже гадают: в баню пойдут, платье снимут да голой спиной к окну и станут, а окно отперто, ну он и погладит: коли лохматой рукой — к богатству, коли гладкой — к ласке, ну а то так огреет, что только спина трещит.

— Паша, да ведь холодно спину-то на мороз выставлять?

— Это вам холодно, а у нас ничего, из бани-то, бывало, до избы босиком по снегу лупишь, и хоть бы тебе што, только это всё не для вас. Гадать можно, барышня, и так: надо пойти в двенадцать часов, ну, хоть на двор, а не то так в комнату, только где молодец-месяц в окно смотрит. Взять надо с собой белое полотенце и разостлать его так, чтобы луч-то месяца лежал как раз на нём, и одного только стеречься надо, чтоб ни своя, ни чужая тень не легла на холст. Завернуть этот луч да и нести его к себе под подушку. Во сне как на ладони вся будущность так и привидится, только уж разговаривать, как идёшь назад с лучом-то, нельзя ни слова, а то чары пропадут. А то вот вам, барышня, деликатное гадание. Пойдите вы в полночь к часам и, как пробьёт двенадцать часов, послушайте кругом, может, и услышите чей голос.

— Куда же я пойду, к каким часам? Ах, стойте, стойте, Паша, я пойду по парадной лестнице на среднюю площадку, там ведь у нас большие круглые часы, и быют так звонко, что в классах слышно.

— Вот-вот, барышня, это и есть, что вам надо.

— Вот спасибо, Паша, только как я узнаю, когда мне на площадку идти часы-то слушать?

— А вот постойте, барышня, у меня спички есть, я спущусь сперва сама и посмотрю, какой теперь час.

Паша стала обуваться и кутаться в платок, а Франк отошла к окну умывальной и села на подоконник; прижавшись лбом к холодному стеклу, она снова глядела вниз, в старый сад. Молодой месяц стоял на небе и сиял серебряным полурогом, сад лежал под белой пеленой, а деревья в фантастических ватных одеяниях тянули друг к другу ветвистые руки, кусты стояли роскошными шатрами, покрытыми ярко-белыми сводами. Крыши галерей казались белой нескончаемой дорогой, и всё было тихо, ни живой души, как в заколдованном зимнем царстве. «Где-то теперь кошки, где Eugenie?» — подумала Франк, и вдруг густая краска покрыла её лицо. Она вспомнила: у Eugenie летом были котята, Назарова первая нашла их в кустах шиповника, все сбежались, котята были маленькие-маленькие, слепые. Тогда как раз косили большой дуг. Девочки натаскали сена в кусты, устроили мягкое гнездо и переложили в него котят, их было четверо. Кто-то сказал им, что не надо их трогать до девяти дней, пока они слепые. Через девять дней было решено котят крестить, то есть дать им имена и надеть ленты. Все новорожденные безраздельно принадлежали Евграфовой и Петровой, потому что Eugenie была их кошка, но хозяйки решили разыграть их в лотерею. Билет стоил утренней булки. Многие согласились. Но когда на другой день девочки вбежали в сад и гурьбой бросились к кусту шиповника, котят не было, и кошка, худая, ошестинившаяся, встретила их жалобным мяуканьем. Дети бросились к косившим солдатам: «Где котята?» — «А мы, барышни, их закинули, куда же лишних-то разводить, и так экономя бранится, на кухню шляются». Закинули! Так вот и детей так же, как котят, кидают, чтобы лишних не разводить. Паша говорит, отца у неё не было, у котят Eugenie тоже не было отца. Сердце девочки билось, она вдруг встала на колени на подоконник, протянула руки к ясному свету месяца: «Я никогда не кину ребёнка, если у меня будет, никогда, если даже у него и не будет отца». Пятнадцатилетняя девочка бессознатель-

но, под гнетущим впечатлением непонятной ей тайны склоняла голову и покорно бралась нести самый тяжёлый из крестов, который только жизнь возлагает на плечи женщины...

— Ступайте, барышня, пора, через семь минут часы будут бить полночь.

Франк заволновалась. Запахнувшись плотнее в платок, как была в юбочке и одних чулках, она вышла из умывальной в коридор, на церковной площадке сделала земной поклон перед закрытыми воротами, спустилась по широкой лестнице в средний этаж и, едва дыша, с бьющимся сердцем присела на полукруглую скамейку, стоявшую в нише под часами. Сквозь два круглых окна по бокам стены шёл серебристый луч месяца и, робкими полосами струясь, как вода, бежал по ступеням лестницы вниз. Едва девочка немножко успокоилась, как в конце классного коридора стукнула дверь, послышались тихие голоса, шаги приближались к лестнице. Франк неслышно, как мышь, соскользнула со скамейки и, обойдя кругом, присела за её высокой деревянной спинкой. Чуть-чуть выглядывая, она увидела трепетный свет свечи, бежавший к лестнице, и услышала мужской голос.

— Не беспокойтесь, ради Бога, тут светло! — голос был Минаева: очевидно, у Коровы в «чёртовом переулке» было какое-нибудь совещание насчёт праздников, ёлки и бала.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, мы сойдём. — Это говорил бас толстого эконома Волкова. — Вот как мы за сиделись у вас, Мария Фёдоровна!

— Что делать, днём-то некогда поговорить. Так вы как думаете, Виктор Матвеевич, свадьба-то их состоится?

— Да, наверно, только счастья-то мало в этом, тут и Сорренто не поможет!.. Слышите, двенадцать бьёт.

Часы густо и звонко пробили полночь...

— Свадьба состоится. Счастья не будет... Сорренто, — повторяла Франк в уме. — Неужели это и есть пророчество?

Гадание так понравилось Наде Франк, что на другой день она сообщила всему классу о том, как ловят луч месяца. Девочки пришли в восторг, даже Русалочка оживилась и объяснила, что и она пойдёт ловить месяц в два полотенца и принесёт одно для себя, другое для Поли-

ксены Чирковой. Людочка тоже объявила, что пойдёт вместе с Франк.

Солопова пробовала объяснить, что гадание есть «бесовское наваждение», но её никто не слушал, и ночью весёлая компания опять в чулках, юбочках и тёплых платках отправилась гадать.

Девочек собралось всех тринадцать, но они сразу не определили своё феральное число; гурьбой вышли они в половине двенадцатого из дортуара, прошли тихонько коридор и спустились по второй лестнице, но, дойдя до среднего этажа, нашли запертой стеклянную дверь. Это была первая неудача, пришлось вернуться обратно, пройти снова мимо погружённых в сон дортуаров других классов, выйти на церковную площадку, в средний коридор, миновать все тёмные, молчаливые классы и войти в зал.

Жутко было девочкам, шаги их глухо шуршали по коридору, из открытых настежь дверей классов глядели на них еле освещённые месяцем ряды пустых парт, в рекреационном зале кое-где блестело золото рам, сверкали перья на головах, и ясно смотрели глаза громадных портретов царей и цариц, уставленных друг против друга по парам, как если бы они собрались танцевать французскую кадрили. Паркетный пол точно колебался от движущихся лучей куда-то спешившего по небу месяца.

Молча разостлали девочки свои полотенца. У Бульдожки месяц три раза убежал с полотенца. Петрова посадила свою тень на полотенце Евграфовой в то время, как та уже завёртывала в него свой луч. Девочки толкнули друг друга и поссорились. Иванова бегала на четвереньках, а Русалочка, разложив на окне свои два полотенца, стояла сама вся облитая лунным светом, её большие глаза сияли, лицо было прозрачно-бледное, а тёмные длинные волосы прямыми прядями, как смоченные водой, падали почти до полу.

— Русалочка, Нина Бурцева, уйди от окна, я тебя боюсь! — крикнула Екимова.

Нина вздрогнула и, схватив свои два полотенца, отшатнулась от окна.

Молчаливой гурьбой бежали девочки назад и прижимали к груди таинственные полотенца. При повороте из классного коридора из-за двери выдвинулось длинное бе-

лое привидение, кто-то вскрикнул, но остальные сразу узнали подкараулившую их Нот.

— Это ещё что за новости? Откуда? — и она схватила за руку Бульдожку.

Девочка молча, угрюмо рвалась из её рук, но костлявые пальца m-lle Нот уже уцепились за полотенце.

— Что вы несёте? Я должна знать...

Бульдожка с отчаянием рванула полотенце, которое и раскрылось перед классной дамой, как пустая длинная лента.

— Ну, теперь ничего не несу! — вскричала она с отчаянием. — Когда вы нас оставите в покое, ведь уж, кажется, и выпуск на носу!

— Что вы несли? Что вы несли? — приставала к ней Нот.

— Луну несла! — крикнула ей Бульдожка и, махая пустым полотенцем, бросилась наверх за убежавшими туда девочками.

Счастливицы, успевшие заснуть молча на подушках, под которыми спрятан был пойманный луч месяца, рассказывали на другой день друг другу удивительные сновидения.

VIII

Приглашение на бал. — Настоящее письмо. — Ряженые. — Бал.

В день Рождества Христова после завтрака старшие сидели в своём классе. Уроков не было. Нот ушла, и девочки все, сгруппировавшись посередине класса, сидели на скамейках и на партах. Было важное общее заседание.

Екимова держала карандаш и бумагу.

— Ну, кого приглашать? Слушайте. Батюшку?

— Коллегиально, все-все!

— Попова?

— Пиши тоже от всех, он славный.

— Степанова?

— Все, все, все.

— Дютака?

— Я не хочу!

— И я не хочу!

— Ну его, меня ещё тошнит от его Egypte, — кричала Евграфова.

- Нет, я хочу!
- И я хочу!
- Руки вверх, кто хочет приглашать Дютака! Раз, два, три... шесть, ну хорошо, значит, от шести.
- Зверева?
- Не надо, не надо, он злоющий.
- Как не надо? Я хочу.
- И я! И я!
- Трое, ну хорошо, запишу.
- Минаева?

Общее молчание.

- Mesdames, кто хочет Минаева?
- Я хочу!
- Франк?
- Ну да, я.
- Ещё кто?
- Никто, пиши одна!
- И напишу, разумеется, напишу!
- Медамочки, да ведь это неловко, — попробовал кто-то запротестовать, но класс зашумел.
- Неловко, так и пиши с Франк, кто тебе мешает. Бульдожка, иди в Санчо Панса к Дон Кихоту, ты, право, похожа!

— Отстань, ты сама на Росинанту смахиваешь.

— Да бросьте, душки, ну время ли теперь ссориться? Значит, Минаеву одна Франк. Дальше?

Итак, перечислены были все учителя и классные дамы чужих классов, многие были совсем забракованы.

Франк отделилась от группы, села к своему столу и, вынув большой лист бумаги, на углу которого был наклеен белый голубок с письмецом в клюве, начала выводить по-французски:

«Monsieur l'inspecteur, vu le bal annuel, que donne la premiere classe ce 27 décembre, j'ai l'honneur et le plus vif plaisir de vous inviter...»⁵² — рука писала, а кончик языка от усердия высовывался и поводил в такт перу.

Конверт с голубкой запечатал письмо, и Надя чётко вывела адрес:

a Monsieur

Monsieur

l'inspecteur de l'Institut.

И, моментально сбежав вниз, она тайком вызвала из швейцарской швейцара Якова, сунула ему в руку двугривенный и письмо. «Это Минаеву приглашение на бал, как он придёт, Яков, так и отдайте».

В этот день Яков получил много двугривенных и много писем для раздачи и рассылки учителям.

На другой день после утреннего чая в первый класс швейцар Яков принёс письмо. «M-lle Франк», — сказал он и вышел. Письмо было от Минаева. Классная дама отдала его ей, не читая. Франк открыла, прочла и густо покраснела; с ней положительно в этом году происходили чудеса: её принимали за большую, ей писали такие серьёзные письма:

«Mademoiselle!

J'ai reçu votre aimable invitation, que j'accepte, en vous priant de m'accorder la première contredance. J'ai bien compris les sentiments, qui vous ont dicté la massive...»⁵³.

Так начиналось письмо, и в нём были целые две страницы. Уж, конечно, никто из всего класса такого письма не получит! Письмо ходило по рукам и вызывало насмешливые замечания, в которых, однако, чувствовалась жилка зависти...

Вечером в этот день девочки наряжались. Чирковой прислали из дому два прекрасных костюма — рыбака и наяды. Подобрал свои пепельные волосы под красный фригийский колпак, перетянув талию широким красным шарфом, Чиркова казалась хрупким, грациозным мальчиком. Её зеленоватые большие глаза глядели лукаво и задорно, засученные рукава обнажали белые нежные руки с голубыми жилками.

Нина Быстрова — наяда — оправдывала своё прозвище Русалочки. Кожа её лица и открытой шеи была бела, как матовый фарфор, распущенные волосы, густые и длинные, резко-чёрные, прикрывали всю её спину. Глаза синие, точно ушедшие в себя, и ярко-красные губы. Белое платье и длинная зелень, спускавшаяся с её волос до земли, придавали ей вид утопленницы. Она, как очарованная, ходила за своим рыбаком и едва отвечала на вопросы, предлагаемые ей другими.

Оторванная от далёкой семьи, брошенная с роскошного юга в холодный туманный Петербург, перенесённая от полей, цветов и фонтанов в четыре стены института,

она тосковала и чахла. Потребность ласки и любви жила в ней, может быть, сильнее, чем во всех других, а между тем, кого любить в институте? Подруги насмешливы и резки, классные дамы назидательны, придирчивы и недоступны. Учителя ещё более далеки. Нет у детей ни птички, ни животного, ни даже цветов, не на чем вылить им потребность ласки, нежности, и растёт девочка, создавая себе искусственную, чуть не истерическую атмосферу обожания; и вот встречается подруга, которая отвечает на ласку горячими поцелуями, которая ходит, обнявшись, шепчет на ухо о какой-то любви, страсти, приносит запрещённые романы, стихи, в которых говорится недомолвками, недосказками о чём-то запретном и страшном — такая подруга становится кумиром для Быстровой; на неё перенесла бедная Русалочка всю накопившуюся болезненную потребность любить...

— Это где застёгивается: спереди или сзади? — приставала ко всем Бульдожка, нося на руке необходимейшую принадлежность костюма турка.

— Я почём знаю, — кричали ей в ответ, — спроси ламповщика Егора, вон он стоит в коридоре.

— Ну да, знает он, дурак, как турецкий паша одевается, он, я думаю, таких бархатных штук ещё и в жизни не видал.

— Так застёгивай сзади.

— Узко.

— Ну, так спереди.

— Пузырём сидит.

— Так иди без них.

— Дура!

— Иванова, Иванова, смотрите на Иванову, она *incroyable*⁵⁴, очень, очень мило, кто тебе устраивал?

— Брат — по рисунку.

— Франк, Франк, ах, какая прелесть! Тебе кто дал костюм?

— Мне Шкот достала, правда, хорошо?

Франк была одета пажом: вся в светло-зелёном атласе, в красивой шапочке, длинное страусовое перо которой падало ей между плеч; за поясом её был небольшой кинжал и охотничий рог, в правой руке она несла бархатный шлейф своей королевы — Шкот, на которой был костюм Марии

Стюарт. Все ряженые, составив пары, отправились вниз к маман; по коридорам они шли в сопровождении тесной толпы девочек всех классов, сбежавшихся глядеть ряженных. У маман были гости, девочек впустили. Музыкальная дама Вильгельмина Фёдоровна Гилле села за рояль, а ряженые танцевали кадрили, польку и даже несколько характерных па. Между гостями были генерал Чирков и его адъютант Базиль... Поликсену позвали, Базиль говорил с нею, нагнувшись близко к белокурой головке, почти на ушко. Поликсена смеялась. Базиль подошёл к маман и просил её позволения вмешаться в танцы. Заиграли вальс, и офицер, звеня шпорами, понёсся по залу, держа в объятиях, почти приподнимая с земли, грациозного рыбака.

— Пустите меня, пустите, — шептала Русалочка, пробиваясь сквозь толпу вон из зала в коридор. Глаза её потухли, губы побелели. Её пропустили, и, закрыв лицо своими чёрными волосами, перепутанными зелёными водорослями, она опустилась в коридоре на первую попавшуюся скамью и судорожно рыдала. Её почти унесли в лазарет, где с ней сделалась истерика.

Паж танцевал со своей королевой, и лицо его дышало такой удачью, здоровьем и весельем, что, очевидно, в воспоминаниях Франк не укрепился ещё ничей образ и чёрные мысли не гостили подолгу в её душе; затем паж подхватил Чернушку, одетую цыганкой, и они под звук польки танцевали какой-то танец, который, как уверяла Шкот, мог бы быть и индийским...

Наступил день выпускного бала. В шесть часов, немедленно после обеда, старший класс был в дортуаре, к ним допущен был парикмахер. Весь красный, в поту, во фраке ради такого торжественного случая, он метался из одного промежутка между кроватями к другому. Девочки, все в белых кофтах, сидели, как куклы, на табуретах перед зеркальцами и покорно позволяли проделывать со своими волосами, что было угодно этому «Фигаро» с Невского. «Г-н, парикмахер, теперь ко мне!» — говорила очередная. Фалдочки летели кверху, и, растопырив локти, с щипцами в одной руке, гребёнкой — в другой, парикмахер летел на зов.

Девочки с его помощью все подурнели сразу. Вместо милых головок с пробором ниточкой и гладко зачёсанных висков всюду получались какие-то вихры, торчки; вместо

сложенных узлом, заплетённых кос явились хитрые крендели и булки. Причёсанные ходили красные из страха испортить причёску, держали головы так неподвижно, как если бы им в шею загнули большую булавку. Корсеты стягивались так неумолимо, что многих тошнило, они жевали мятные лепёшки, тоскливо поводили кругом глазами, но ни за что не решились бы распустить корсеты. По-бальному снятые пелеринки и рукава обнажали посиневшую от холода кожу. Бедные маленькие мученицы были, как и всегда, в сущности, предоставлены самим себе; классная дама, во-первых, была занята своим туалетом, а во-вторых, она существовала для того, чтобы не нарушался порядок, а порядок не нарушался тем, что неразумные девочки создавали себе муку из предстоящего удовольствия.

Ботинки и перчатки у большинства были безобразны. Домой не отпускался никто, а потому всё покупалось родными на глаз; девочки удовлетворялись, если только влезало, но и в этом они ошибались: сгоряча всё казалось хорошо, но потом у иных ботинки так жали, что ноги ныли, затекали, и они ходили, «как мученицы по горячим угольям». Перчатки, напротив, у большинства сидели, как рукавицы на дворнике, но всё-таки ни одна не решилась бы снять эту «бальную принадлежность» и показать свою маленькую хорошенькую ручку. И несмотря на всё это, молодость брала своё; во время бала разгоревшиеся личики сияли, блестели белые зубки, декольтированные шеи и обнажённые руки, большей частью ещё несформированные, показывали тонкую, нежную кожу. Забыв институтскую привитую чопорность манер, они становились весёлыми, счастливыми девочками с нежным смехом и милой болтовнёй. Завитки их, к счастью, распустились, растрепались и придали им более естественный вид. Все казались хорошенькими, каждая жаждала танцевать и прививала веселье своим кавалерам.

В зал девочки вошли попарно, в глубине за роялем сидел тапёр и ударил туш, как только открылись входные двери. Направо стояла тучная матан с целым штатом «синявок», затем — инспектор, учителя и все приглашённые. Вошедшие тридцать девочек под предводительством m-lle Нот, разукрашенной бантиками и лентами, как призовая мачта, стали налево. Франк взглянула на группу гостей, тихо-тихо

вскрикнула и подалась вперёд. В первом ряду, не сводя с неё весёлых, немного насмешливых глаз, стоял её красавец Андрюша. «Приехал! Приехал!» — пело сердце девочки, и она вся засияла. Людочка, пышная, перетянутая, замечательно красивая, стояла в группе приглашённых «стрекоз» и тоже вся вспыхнула и засмеялась, увидя статного офицера. Начался обряд представления: слева двигалась девочка, справа выходил кавалер, брались за руку и шли к маман.

— Maman, c'est mon cousin — tel⁵⁵...

Cousin кланялся и бормотал какое-то *enchante*⁵⁶... Две девочки-таки перепутали кузенов, но утомлённая маман уже всё равно ничего не понимала и, сидя в глубоком кресле с тупым и страдальческим видом, подставляла свою жирную руку для поцелуя cousin'ам.

Наконец, все вступления кончились! Тапёр ударил вальс. Первым двинулся Андрюша и, низко нагнув голову, стоял, улыбаясь, перед сестрой; девочка, забыв, что она «дама», прыгнула ему на шею с лепетом: «Дуся, Дуся», но он, смеясь, отвёл её руки, взял за талию, и брат и сестра, как воплощение здоровья, молодости и веселья, царствовавших в этом зале, понеслись первой парой в плавном вальсе. За ними замелькали другие пары. Все девочки, кроме Солоповой, танцевали, ту оставили в покое, она одна в пустом дортуаре сидела на табурете и, заткнув себе уши, закрыв глаза, пела высоким и резким голосом псалмы.

Степанов, учитель естественной истории, высокий, худой и рыжий, зашагал, как на ходулях, из угла залы и остановился перед только что севшей Бульдожкой.

— Mademoiselle, un tour de valse?⁵⁷

— Не пойду я с вами ни за что! — отрезала девочка.

— За что такая немилость?

— Да вы такой длинный, мне не положить вам руки на плечо, ни за что не пойду! — девочка начинала злиться.

Степанов нагнулся к её стулу:

— Бульдоженька, первое правило светской дамы на балу — не отказывать кавалеру, вот теперь я стану за вашим стулом и не позволю вам танцевать ни с кем, а если примете предложение, то я должен буду убить кавалера.

Бульдожка завертела глазами. В эту минуту к ней разлетелся правовед.

— Mademoiselle...

Бульдожка поглядела на Степанова, тот сделал ей страшное лицо.

— *Je ne danse pas*⁵⁸, — пробормотала девочка.

Правовед полетел дальше.

— *Mademoiselle*, — перед Бульдожкой стоял кадет.

Девочка не выдержала и обратилась к Степанову:

— Я пойду скажу маман, что вы хотите драться, если я буду танцевать.

Степанов хохотал: его всегда забавляла сердитая девочка.

Но кадет, к счастью, оказался из бойких и сразу смекнул положение.

— Вам угодно драться, — обратился он весело к Степанову, — я к вашим услугам, завтра на шпагах, а теперь, *mademoiselle*, *un tour de valse*.

Бульдожка тоже обернулась к Степанову.

— А, что взяли, а? Нашлись и похрабрее вас, а завтра сами убежите, — и она пошла с кадетом, упрашивая его серьёзно, чтобы он не дрался со Степановым, потому что если он убьёт его, то ведь ей же и достанется.

— *Monsieur André*, *monsieur André*, как я рада, что вы приехали, — шептала Людочка, склонив голову на плечо офицеру.

Молодой человек глядел на девушку, на её девственную красоту, глядел в синие глаза и видел в них нежность и доброту, слушал её лепет и в нём, как и во всём её существе, находил что-то тихое, разумное, и все его теории колебались — перед ним было несомненное счастье, счастье первой чистой любви!

— Людочка, вы ждали меня!

— Ждала, *monsieur Andre*, и каждый день молилась за вас.

— Люда, понимаете ли вы, что вы говорите?

Он глубоко глядел в глаза девушки, и та не вынесла вопроса чёрных, властных глаз, личико побледнело, она как-то тяжелее опустилась на руку офицера, а губки её были так близко-близко от него. Он сделал несколько туров и, очутившись в углу зала за группой высоких перистых пальм, поцеловал полуоткрытые губки и посадил на стул девушку, почти лишившуюся чувств.

— Люда, Люда, я хочу, чтобы вы опомнились, на нас смотрят, — шептал он, становясь за её стулом.

Люда сразу пришла в себя, села прямо и обернулась к нему лицом.

— Люда, ждите меня ещё, ждите, пока я приду за вами, как за своей невестой, дайте слово не выходить из института хотя бы ещё год!

— Даю, Andre, даю слово ждать вас хотя бы всю жизнь.

— Хорошо, Люда, даю и вам слово, что, кроме вас, у меня не будет ни любви, ни невесты... А теперь... *un tour de valse*.

И, как в волшебном сне, счастливая, красивая пара носилась по залу под чарующие звуки штраусовского вальса.

— *Mesdames et messieurs, à vos places. Messieurs, cherchez vos dames*⁵⁹, — надрывался адъютант Basil, звеня шпорами и описывая круги по скользкому паркету, как по льду на коньках.

— Поликсена, Поли, не танцуй с ним, — шептала Русалочка, дёргая за передник Чиркову.

— Отстань, ты мне надоела, — грубо отвечала Чиркова.

— Поликсена, умоляю...

— Ты с ума сошла, Basil — мой жених, — и она рванулась навстречу адъютанту, толкнув подругу. Глаза Русалочки закрылись, синеватая бледность разлилась по её лицу, и она упала бы, если бы не поддержал Степанов, слышавший весь разговор.

Пользуясь бальным правом, он продел руку девочки под свою, вывел её из танцующих пар и направился в соседний открытый класс, там он усадил её на скамейку, сам сел напротив.

— Ну-с, Русалочка, уж теперь вы от меня не уйдёте, так какие насекомые принадлежат к жесткокрылым, а?

Девочка улыбнулась — это был последний плохо выученный ею урок.

— Жужелицы... — начала она.

— То-то, жужелицы! — и, заметив, что девочка делает попытку повернуться лицом к залу, чтобы видеть танцующих, он взял её тоненькую руку и начал снимать с неё перчатки.

— Ну, можно ли такие лапки прятать в такие рукавицы, ведь это мне будет впору, право! Русалочка, то-то теперь на Кавказе хорошо, я думаю? Что, в Тифлисе спят теперь и не думают, что вы танцуете?

Девочка оживилась при одном слове «Кавказ». Он начал расспрашивать её, говорить сам, а сердце его сжималось от жалости: «Бедный ты, бедный ребёнок, — думал он, — бедный ты кипарис, пересаженный прямо в снег. Унести бы тебя куда-нибудь в деревню, на приволье, подалее от всех этих ложных фантазий, потолстела бы ты, Русалочка, и какая бы славная бабёнка из тебя вышла».

— Русалочка, вы были когда-нибудь в настоящей русской деревне, в помещичьем доме?

— Никогда не была.

— А там хорошо! — и он начал рассказывать ей о лунных ночах, о лесе с соловьиными трелями, о снежной бесконечной дороге и лихой тройке с валдайскими колокольчиками. Он прочёл ей отрывок из поэмы «Мороз», и девочка сидела очарованная, вся порозовевшая, не спуская с него глаз.

— У вас нет деревни?

— Нет, Русалочка, но у меня есть кафедра, с которой я в следующий раз спрошу вас о жестоккрылых! — сказал он голосом волка в «Красной Шапочке».

Минаев во фраке, в белом галстуке танцевал с Надей, визави их были Андрюша и Люда. Минаев держал себя просто и мило, но Надя, чувствуя, что танцует с начальством, старательно выделявала все па.

— Вам весело? — спросил он.

— Страшно! — отвечала девочка.

— Вы любите танцевать?

— Ужасно! Дуся, Дуся, — сказала она, хватая брата за руку в *chasse croise*⁶⁰, — у меня был Евгений Михайлович осенью! Ты знаешь?

— Знаю! Рыжик, говори же со своим кавалером.

— Вы, кажется, очень любите своего брата, — спросил Минаев.

— Я? Брата? — девочка посмотрела на него. — У вас что самое-самое дорогое на свете?

Минаев замялся.

— То есть как самое дорогое? Я не знаю...

— Как не знаете? Ну кого вы любите?

— Да я... пока никого не люблю, так сильно.

Его очень забавляли и вид, и вопрос девочки.

— Да вы сами-то знаете, что значит любить?

— Я? Конечно, знаю!

— Ну, пожалуйста, скажите, как же, по-вашему, любят?

— Rond des dames! Balancez vos dames! Saluez vos dames! Remerciez!⁶¹

Кадриль кончилась, Минаев подал руку Франк.

— Так вы мне всё-таки скажите, как вы понимаете слово «любовь».

— Я вот так, — девочка остановилась и глядела ему прямо в глаза. — Если очень-очень хочешь кушать, а тот, кого любишь, придёт голодный, надо не только отдать ему своё кушанье, а забыть даже, что сам был годный; если хочет спать — положить его на свою кровать, а самому не чувствовать никакого неудобства, если заснёшь на стуле или на полу. Словом, всё, всё отдать, сделать для другого и никогда, никогда не чувствовать, что тебе тяжело, что ты чего-нибудь лишён. Я думаю так!

Весёлая, здоровая, смелая девочка говорила о полном самоотречении, и Минаеву казалось, что сквозь её детский лепет прорываются струны женского сердца, способного действительно к полному самопожертвованию.

— Трудно вам будет жить на свете, — вырвалось у него.

Но девочка, к счастью, не слышала его слов: положив руку на плечо правоведа и весело смеясь золотом своих рыжих волос, пурпуром губ, блеском серых глаз, всей свежестью своей молодости, она неслась по залу, как воплощение беззаботного счастья.

В час ночи кончился бал. Гости пошли ужинать вниз, в апартаменты тапан, а девочек отвели в столовую, где для них был накрыт чай с фруктами и печеньем.

Долго не могли заснуть в эту ночь счастливые выпускные, долго передавали они друг другу свои впечатления, и у каждой в сердце сильнее разгоралась жажда жизни, каждая ещё больше рвалась к выпуску. Этот бал был только преддверием таких настоящих балов, о которых каждая читала и слышала от подруг.

Но никого не было счастливее Людочки. Теперь её служба и её обязанности будут казаться ей лёгкими и приятными. Ведь должна же она чем-нибудь заслужить громадное счастье, предстоящее ей. Институт будет для неё тем монасты-

рём, в котором в средние века заключались добровольно дамы, ожидавшие своих рыцарей, ушедших в крестовые походы. Мысль, что Andre её жених и что она в свои выпускные дни будет его видеть, гулять с ним, наполняла восторгом её сердце. В дортуаре пятого класса, где она была дежурная, все девочки спали. Она зашла за ширмы, отделявшие её узенькую пепиньерскую кровать, и стала раздеваться, но, едва расстегнув лиф, бросилась на колени, закрыла глаза и замерла в экстазе без слов, без молитвы: перед её внутренними очами разливалось целое морево счастья и света.

VIII

*Великий пост. — Солопова в роли духовной
путеводительницы. — Ужасный сон Бульдож-
ки.*

Прошёл Новый год с приёмом родных и новогодними подарками, прошло Крещение, накануне которого Солопова в полночь ходила, как привидение, по классам, дортуарам, коридорам и всюду с молитвою ставила мелом крест. Почернел снег в старом саду, повеяло весной, под окном громко зачирикали воробьи, настал Великий пост. Старший класс говел с особенным благоговением, почти все давали какой-нибудь обет и строго исполняли его. Ни ссор, ни шалостей не было.

Если с горячего сердца у которой-нибудь срывалось обидное слово, то она шла просить прощения у обиженной, и та смиренно отвечала ей: «Бог тебя простит». В день исповеди все девочки ходили торжественные и задумчивые.

— Душки, кто помнит, не совершила ли я какого особого греха за это время? — спрашивала маленькая Ивановна.

— Ты на масляной объелась блинами... — отвечал ей из угла укоризненный голос Солоповой.

— Правда, правда! — Иванова хваталась за грудь и вытаскивала из-под выреза платья «память» — длинную узкую бумажку, на которой отмечала все свои грехи.

Девочки вообще записывали перед исповедью все свои грехи на бумажку, чтобы не «утаить» чего-нибудь перед священником.

— Солопова, должна я сказать батюшке, что я его «лиловым козлом» назвала, когда он пришёл в новой рясе? — спрашивала тихонько Евграфова.

— Должна, непременно должна, плакать и каяться надо тебе за твоё сквернословие.

— Солопова, поди сюда, — молила её Бульдожка, — у меня есть секретный грех.

Солопова шла с нею за чёрную доску.

— Душка Солопова, только мне стыдно, ты никому-никому не говори.

— Всё равно, Прохорова, там, — Солопова указала на потолок, — всё тайное станет явным! Лучше скажи теперь.

— Солопова, мне очень стыдно, нагнись, я тебе скажу на ухо. — Солопова нагнулась. — Вот видишь ли, — шептала Бульдожка, — я видела во сне, что я иду по лестнице в одной юбке нижней и босиком и встречаю Дютака, а он будто, вот как мой папа дома, в халате и туфлях, мне так стало стыдно, я от него, а он за мной, я от него...

— Да дальше-то что?

— Дальше ничего, я проснулась вся в поту, и так мне стыдно стало, ужас!

— У тебя всё, Прохорова, шалости на уме, вот мне всегда что-нибудь божественное снится, а ты в одной юбке перед учителем! Была на тебе кофта?

— Не помню, Солопова, но кажется, что не было...

Солопова всплеснула руками.

— Без кофты перед мужчиной! Скажи непременно батюшке и положи сегодня вечером от себя двадцать поклонов...

Вообще, в течение недели говения Солопова приобретала вес и значение, становилась авторитетом. Она знала всё: какому святому молиться, от каких грехов, как отгонять козни дьявола и к какой категории принадлежит грех — к лёгкой или тяжкой.

Наконец, бедный отец Андриан, весь красный, потный, вышел из церкви, оба кармана его рясы оттопырились, потому что в них он нёс грехи всего класса, написанные на длинных листках. Кроме устной исповеди, девочки ещё трогательно просили его взять и «память».

IX

*Черчение карт. — Последнее слово учителей.
— Первые туалеты. — Публичный экзамен. —
Обед выпускных.*

После Пасхи в старшем классе принялись чертить карты. Это было дело серьёзное, и поручалось оно «людям сведущим». Чтобы хорошо вычертить карту на чёрной классной доске, надо было обладать многими побочными знаниями, не имеющими ничего общего с географией. Каждую карту чертил мастер при помощи двух подмастерьев. Тяжёлую доску снимали с мольберта, клали на стулья и губками мыли тёплой водой с мылом, затем, дав просохнуть, обливали её сахарной водой, отчего она делалась блестящей. Затем мастер распределял географическую сетку и ставил градусы долготы и широты, а подмастерья толкли мел и разводили его молоком, причём получалось мезиво густоты манной каши.

Мастер чертил тонким мелом контуры карты, подмастерья с помощью кисти обводили их, тщательно повторяя все извилины толстым слоем меловой каши; затем рисовались речки и снова обводились — тонко у истока и толсто в устьях, причём в кашницу для рек подмешивалась берлинская лазурь, потом города, обозначались они крупными красными лепёшками. Горы чертились особенно бугристо, с разветвлениями, вроде ёлочки. Карта получалась цветная, оригинальная и, на первый взгляд, красивая. Так готовились пять частей света и шестая — Россия, с разделениями по губерниям; тут царствовала пестрота невообразимая, так как каждая губерния имела свою краску. Целый день по всему институту гремели инструменты, в каждый час дня репетировались пьесы для экзамена. По вечерам в учительской пели хоры. Попов надрывался из-за декламации с завываниями на все лады. Лафос бегал по классу и шипел про себя: «*Sacristi pristi...*»⁶², слушая, как девочки перевирали Расина и Корнея. Зверев бранился больше прежнего.

— Ну, чего вы, как угорелая кошка, мечетесь, — говорил он Екимовой, когда та бегала палочкой по карте, отыскивая «стольные» города.

В рекреационном зале раздавались по целым часам: «un,

deux, trois, un, deux, trois, saluez, trois pas en arriere, trois pas en avan»⁶³. Там учили девочек стоять, сидеть, подходить к столу, брать билет и уходить. Ни на один любительский спектакль не делается столько репетиций, как их делали тут, задолго перед публичным экзаменом. По вечерам весь институт выводили в коридор и на парадную лестницу и там расставляли все классы по очереди на каждой ступеньке от швейцарской, по второму этажу и до самой залы стояло по две воспитанницы. Корова бегала взад и вперёд, равняла девочек, сходила вниз и снова поднималась наверх, изображая из себя высокопоставленную особу; она хлопала в ладоши на тех ступенях, когда пора было девочкам приседать, и те опускались низко-низко с ровным жужжанием: «Nous avons l'honneur de vous saluer»⁶⁴ и т.д.

Один Степанов смеялся надо всем, вёл класс как всегда и самым слабым грозил: «Вот, честное слово, именно вас-то и вызову!».

— Не вызовете, Павел Иванович: ведь вам же стыдно будет!

— Как мне? Как мне? Я добросовестно занимался, а вот на вас так все ассистенты ахнут, я им так и скажу: вот поглядите — чудо-девица, три года умудрилась слушать курс и не запомнить из него ни слова.

Ленивые трусили, они считали его способным на такую выходку.

С Русалочкой у Степанова завязались самые дружеские отношения; он, видясь с девочками по несколько часов в неделю, подметил и угадал то, чего не видали классные дамы, не разлучавшиеся с детьми, так сказать, ни днём, ни ночью. Он обрывал Чиркову, выставял напоказ её невежество, её чёрствость и эгоизм, говорил с презрением о дружбе, которая порабощает и развращает, фразы его были всегда безукоризненно приличны, но метки и злы, как удары хлыста. Русалочку он, напротив, поддерживал, умел возбудить в ней самолюбие: он ласково глядел ей в глаза, смешил её, давал ей массу поручений, спрашивал каждый класс, чем заставлял учиться, и девочка под его влиянием выправлялась, расцветала и крепла.

Весь класс без слов понимал и одобрял поведение Степанова: девочку снова приняли в свою среду, начали баловать её и всеми силами мешали оставаться с Чирковой,

даже под каким-то предлогом сумели перевести её на другую кровать, а к Чирковой положили Солопову, которая молитвами и акафистами изводила балованную генеральскую дочь.

Наконец, занятия в первом классе кончились, вывели расписание экзаменов и девочкам дали свободу, назначив для приготовления к каждому экзамену известное количество дней. Учителя прощались последней лекцией, в которой каждый как бы резюмировал занятия целого года и говорил последнее напутственное слово. Все речи были напыщенны, шаблонны, только Зверев сказал правду: «Учились вы почти все скверно, и это стыдно, потому что я преподавал вам вашу отечественную историю, часто я был раздражителен и зол, но вы могли и ангела вывести из себя. Спасибо Франк, Вихоревой, Назаровой, Быстровой — эти были добросовестны. А впрочем, для жизни вам хватит и тех верхушек сведений, которых вы нахватались».

Степанов взошёл в последний раз на кафедру и, когда все утихло, начал так:

«О, вы, чувствительные души.

Разиньте рты, развесьте уши...».

Весь класс покатился со смеху.

— А затем, — говорил он серьёзно, переждав смех, — прощайте, мои большие-маленькие девочки, жил я с вами ладно и занятиями вашими я, за исключением нескольких, доволен. Идите в жизнь смело и помните одно: Майков сказал: «Где два есть только человека, там два есть взгляда на предмет». А я вам скажу: есть предметы, на которые у всех может быть только один взгляд, один и абсолютный, это во всём, что касается чести и нравственности, в этих случаях не торгуйтесь с собою, не спрашивайте ничьего внимания, не затемняйте себя никакими рассуждениями, прямо спросите свою совесть — честно это или нет? И каждая из вас найдёт в себе ответ, поступайте согласно этому ответу.

— Ну, прощайте, дай вам Бог всего хорошего, не поминайте лихом своего учителя!

Степанов смахнул действительную тёплую слезу и вышел из класса.

Наконец начались экзамены и рутинно, благополучно шли один за другим. Выпускные были теперь почти без надзора. Они в пределах института были свободны, ходили без спроса в дортуары, лежали днём на кроватях с книжкой, уходили учиться в «скелетную», в рекреационный зал и, занятые, уже более не придумывали никаких шалостей. Приготовлялись девочки большей частью по двое — одна читает, другая слушает. По какому-то молчаливому соглашению было принято, чтобы хорошая ученица брала себе в пару слабую и таким манером невольно подгоняла её.

В швейцарскую то и дело являлись маменьки в сопровождении портних и модисток. По лестницам проносили узлы и картоны. Девочки в минуты роздыха, собравшись целой гурьбой, рассматривали модные картинки, выбирали материи из кучи нанесённых им образчиков. Когда звали одну к примерке, за нею бежал чуть не весь класс. По стенам в дортуарах на наскоро вбитых гвоздях появились пышные белые юбки с оборками и кружевами. Многие уже носили своё бельё, спали в тонких шитых кофточках, но главный восторг девочек возбуждали цветные чулки. Жёлтые, чёрные, красные, синие ножки бегали по вечерам в дортуаре, стройные пёстрые ножки прыгали на табуреты, взлезали на шкапики и, конечно, с восторгом побежали бы показывать себя учителям, инспектору, всему свету, если бы только дисциплина не сдерживала восторга.

Различие бедных и богатых при выпуске, как и при приёме родственников, выделялось мало. Выпускные платья у всех были одинаковы — белые кисейные или тюлевые, воздушные, с одинаковыми широкими голубыми кушаками. Двадцать лет тому назад в таком платье девушка могла ещё появиться на любом балу. Визитные платья были разные, но качество материи, кружева, отделки ещё не имели значения для неопытных институток, а потому каждой нравилось своё, выбранное по собственному вкусу. Затем следовало третье, повседневное платье, и выпускной гардероб большей частью кончался этим. Остальные наряды предполагалось уже шить дома. Корсетница, m-lle Emilie, приготовляла для всего класса корсеты по шесть рублей за штуку. Шляпки выпускные опять-таки были белые и очень сходные по фасону.

Баронесса Франк появилась тоже в дортуаре. Наде шили очень хорошенький гардероб, потому что Андрюша отдал на это все свои скопленные гроши. Он бегал сам к модистке, сам приходил примерять сестре ботинки и перчатки, сам выбирал ей шляпу. Ему хотелось получить своего Рыжика нарядную, как куколку. В маленькой квартирке матери, состоявшей всего из трёх комнат, он таки ухитрился отнять у столовой уголок и устраивал там для Рыжика кунсткамеру из «штучек».

Баронесса была хронически печальная и обижена: раз у неё не было ни экипажа, ни лакеев, то свет, конечно, стоял неправильно и ничего в нём хорошего не было. Она всегда была в чёрном, шею её и голову всегда окутывал чёрный шарф из крепдешина, на платьях её были остатки дорогих кружев, и потому, высокая, с гладко зачёсанным ещё чёрным бандо волос, укутанная, она казалась элегантной аристократкой. Пальцы на руках у неё были жёлтые и длинные, глаза полужакрытые, губы бледные, говорила она всегда по-французски и на Надю производила подавляющее впечатление, ей всегда было и жалко, и страшно мамы.

В детстве Надя видала свою маман только в те дни, когда она умирала, а умирала баронесса непременно раз шесть в год, когда ей нужны были деньги на туалеты, дачу или поездку куда-нибудь; тогда бежала нянька, приводила девочку в порядок и вела к маман, по дороге уговаривая её, что она должна плакать, потому что маменька умирает и она останется сиротой, а папенька «тиран». Надя входила, робко держась за передник няньки. В комнате было полутемно, пахло уксусными примочками и лавровишневыми каплями. Баронесса лежала бледная, с распущенными волосами, барон стоял на коленях у кровати и нежно уговаривал жену успокоиться. Няня подталкивала упирающуюся девочку и подводила её к кровати. Баронесса протягивала руку, находила как бы ощупью головку дочери и слабым прерывающимся голосом начинала умолять барона быть добрым и не покидать ребёнка. Барон всхлипывал, Надя рыдала, а няня вставляла свои слова, умоляя матушку барыню не беспокоиться и не помирать. Баронесса слабо стонала и просила увести девочку, а «тиран» целовал руки жены, обещая ей сделать всё-всё, лишь бы она поправилась.

Эти и многие другие воспоминания навсегда закрыли в Наде живой источник искренности и простоты в отношениях с матерью. И теперь присутствие баронессы, оглядывающей с презрением всё кругом, смущало Надю и делало её особенно покорной в отношении всего, что ей шили и покупали.

Екимова и Аистова оставались пепиньерками, им шили бельё, корсет и выпускное платье от казны в счёт будущего жалованья и всё делали так же, как у других. Обе девочки не имели родных, а потому не скучали своей переменной, а, напротив, радовались той относительной свободе и авторитету, который они приобретали, поступая в пепиньерки. Солопова уезжала прямо в монастырь в Новгородскую губернию, где у неё какая-то дальняя тётка была настоятельницей. Ещё две уезжали в гувернантки. К каждому выпуску в канцелярию института приходили письма с требованиями гувернанток. Начальство вступало в переписку, выговаривало жалованье, получало задаток, на который справляло первый необходимый туалет девочки и её отъезд. И эти не скучали. Происходило это оттого, что девочки, воспитанные семь лет на всём казённом, в сущности, ещё смутно понимали различие «своего дома» от чужого, а слово «нужда» не имело пока для них *никакого смысла*. Это было стадо канареек, которых держали в клетке, поили, кормили, чистили и вдруг выпустили на волю. Жизнь и смерть бедных, обрадованных свободой птичек зависели от случая и судьбы. Встретится готовый корм и новые открытые клетки — будут живы; останутся предоставлены самим себе — погибнут от нужды или будут заклёваны птицами, выросшими на воле. Ни одна ученица не была способна бороться, защищаться или даже заботиться о себе. Их мысль даже не была приучена работать в этом направлении. Если бы любую из них спросили, что думаете вы делать в будущем, ни одна даже не поняла бы вопроса. Каждая ответила бы: «Я буду жить с татап и рара». — «А дальше?» — «Дальше?.. У меня есть рара и татап», — то есть каждая указывала на ту руку, которая будет ею руководить, на ту стену, о которую она рассчитывала опереться. Все понятия о жизни сводились к одному — не будет звонка, по которому надо вставать и ложиться; не будет классных дам, которые пилят и ворчат;

не будет обязательных уроков, однообразного обеда, словом, они хорошо знали, чего не будет. А что будет? Гулянье, шляпки, балы, свобода, свобода! И дальше этого миража ни мечты их, ни понятия не шли...

Наступил страшный и желанный час. Встали девочки в утро своего последнего институтского дня и в последний раз надели казённые праздничные платья, тонкие передники, рукава, пелеринки, причесались особенно тщательно, последний раз пошли они на общую утреннюю молитву, в столовую и оттуда, еле напившись чая, бросились в классы, в большой зал, где всё было приготовлено к последнему акту институтской комедии.

От входной двери вдоль был оставлен широкий проход, устланный мягким красным ковром. Направо и налево крылом шли по семи рядов красных бархатных кресел. В первом ряду посреди каждого крыла стояло одно золочёное кресло, выдвинутое несколько вперёд. Перед первым рядом — столик с программами и золотообрезными билетами. Направо и налево — по два мольберта и на них большие чёрные доски с географическими картами. Затем лицом к креслам, такими же двумя крылами, с проходом посреди, стояли стулья для экзаменуемых девочек, а глубже — скамейка для второго класса и разных лиц, которым дозволялось присутствовать при публичном экзамене выпускных. Натёртый, как зеркало, паркет зала, большие портреты царей в золочёных рамах; столы вдоль боковых стен, убранные розовым коленкором, с разложенными на них работами и картинами кисти институток — всё придавало торжественный вид громадной комнате. А в окна глядело уже яркое майское солнце, мелькала тень пронесившихся птиц, там, в глубине, старый сад трепетал распускающимися почками лип и берёз, и жизнь звала свои новые жертвы и обольщала их всеми весенними чарами... Зал наполнился классными дамами в шёлковых синих платьях, забежали перетянутые «стрекозы», появились учителя в мундирах с узенькими фалдочками и треуголкой под мышкой; на ходу они беспрестанно поправляли тонкую, бессмысленную шпажонку, бившую их по ногам. Раздался густой звонок. Девочки, не становясь в пары, гурьбой понеслись на лестницу, и каждая заняла давно и хорошо известное ей место. От самой швейцарской по обе стороны нижнего ко-

ридора и по всему среднему классному коридору вплоть до актового зала стояли две живые стены институток, и каждая из них в душе повторяла ответ по-французски и по-немецки на три традиционных вопроса: который вам год? в каком вы классе? кто ваш отец?

Все взоры были устремлены в широкие стеклянные двери швейцарской. Швейцар Яков в парадной красной ливрее с орлами, в треугольной шляпе, с громадной золочёной булавой стоял в наружных открытых дверях.

В самой швейцарской у вешалок разместился целый отряд старых, увешанных крестами гвардейцев. На площадке у самых дверей в швейцарскую стояли инспектор, Корова и учителя. Классные дамы и пепиньерки, как пастух и собака, стерегли каждая свой класс.

Мамап сидела у себя, у её двери стояла девушка Наташа, готовая бежать за ней по первому зову.

Яков ударил раз булавой, к подъезду подкатила карета, из неё вышел худенький старичок и стал сейчас сморкаться и кашлять перед носом невозмутимого Якова, затем прошёл в открывавшуюся перед ним дверь швейцарской. Ближайший солдат снял с него пальто, и старичок оказался в зелёном фраке, маленький, с большой звездой на груди. Старичка провели прямо к мамап. Карета подъезжала за каретой, выходили ордена, ленты, выплывали шлейфы и перья, и всё это направлялось в приёмную мамап.

Яков стукнул три раза булавой, и всё колыхнулось, зашумело, как рожь в поле под напором набежавшего ветра, а затем вдруг всё замерло, зацепенело. Дверь от мамап открылась, мамап появилась вся в пятнах от волнения, в шумящем синем шёлковом платье, белой кружевной мантилье и в воздушном тюлевом чепце с белыми же лентами. Высокие посетители вошли в швейцарскую и через настежь распахнутые двери вступили на первую площадку.

После приветствия и обмена слов с мамап и другими вся толпа во главе с высокими особами двинулась к лестнице. Ряды безукоризненно под рост подобранных девочек присели низко, плавно, с гармоническим жужжанием: «*Nous avons l'honneur...*»⁶⁵. По мере того, как поднимались гости, приседали белые переднички, и сияющие счастьем глазки детей провожали редких гостей.

За главной группой шли инспектор, учителя, Корова, а за ними двинулся и хвост процессии — два старших класса, стоявших на самом низу.

Все пошли в зал, и двери закрылись. Хор свежих голосов пропел гимн, затем молитву, и все сели.

Первый экзаменовал батюшка. Красивый, высокий, в новой шёлковой рясе, он встал направо, налево поместился инспектор. Вызвали пять учениц. (На публичном экзамене каждого предмета вызывали по пять). Названные выходили и ровно глубоко приседали. Потом подходили к экзаменационному столу, брали билеты, отступали на три шага от стола и снова так же глубоко приседали.

Первой экзаменовалась Солопова. Подмигивая своими добродушными, подслеповатыми глазами, она без запинки отвечала на все трудные вопросы катехизиса, наизусть в каком-то экстазе декламировала псалмы Давидовы и отвечала с таким полным знанием всех текстов, что высокопоставленное духовное лицо, слушавшее её, пришло в восторг. «Поистине умирительно слушать эту отроковицу», — сказало оно. А Минаев, нагнув голову, возразил на это с чувством: «У нас, Ваше Высокопреподобие, духовное развитие стоит на первом плане».

За Солоповой шла Назарова, она рассказала о «лестнице Иакова» и о чуде с пёстрыми и белыми ягнятами, и, наконец, маленькая Иванова так наивно и трогательно передала историю Иосифа, проданного братьями, что зелёный старичок со звездой даже прослезился.

Вторым предметом были педагогика и дидактика. Вышел Николай Минаев и вызвал пять учениц.

Высокая, стройная и спокойная Екимова взяла первый билет.

— Важнейшие науки воспитания суть: дидактика и педагогика, — начала она. — Педагогика есть новейшая наука, основанная на наблюдениях и записках лучших воспитателей — людей, всецело посвятивших себя этому святому делу. Педагогика учит правильно распределять и направлять как физические, так и нравственные способности ребёнка...

— А дидактика? — спросил её старый важный генерал, не в шутку заинтересовавшийся такими мудрёными, по тому времени, науками.

— Дидактика есть наука обучения, то есть подготовки умственных сил к восприятию научного обучения...

— Прекрасно, — отозвался снова генерал. — Весьма приятно слышать, что в институте проходят такие важные науки.

Минаев снова сделал шаг вперёд: «Это науки, введённые в преподавание только в этом году ввиду того, что многим, как именно и отвечающей девице Екимовой, доводится быть, в свою очередь, воспитательницей»...

Опять все были тронуты.

Третьим предметом была русская история. Вышел Зверев и вызвал Франк, Быстрову и других. Франк подошла с быющим сердцем. «Всё-всё, что хотите, — повторяла она в душе, — только не хронологию». Билет был трудный: «Удельные княжества», но девочка вздохнула свободно... Справимся!.. Она взяла мел, подошла к пустой чёрной доске, смело нарисовала на ней фантастическое дерево, положила в его корне Ярослава, затем на каждую ветвь повесила, как яблоки, его сыновей и внуков и пошла распределять их по всей тогдашней Руси.

— *Charmant, charmant*⁶⁶, — кивала головой дама с перьями.

А Зверев думал: «Эк, чертёнок, жарит, врёт местами, а всё-таки хорошо».

За Франк Быстрова, открыв свои большие синие глаза, подкупая всех своей хорошенькой поэтичной головкой, рассказывала Отечественную войну.

— Москва пылала, пылали храмы Божьи, осквернённые неприятелем, и враг, теснимый со всех сторон голодом и холодом, отступил и бежал...

И щёки нервной девочки пылали тоже, и голос её звенел.

— *Charmante enfant*⁶⁷, — сказала о ней вполголоса высокая покровительница института и сделала ей знак. Быстрова, обезумевшая от счастья, как во сне, сделала несколько шагов, отделявших её от золочёного кресла, опустилась на колени и с восторгом поцеловала протянутую ей руку.

Так шли предмет за предметом, сменялись учителя, чередовались девочки, и, наконец, экзамен по научным предметам кончился. Посетители встали и вышли в соседний класс, где им был приготовлен роскошный завтрак. Девочкам был принесён на подносах бульон в кружках и пирожки с говядиной.

После получасового перерыва все снова заняли свои места. Началась музыка. Играли на шести роялях, пели, декламировали. Затем преподносили свои работы и показывали свои картины. Наконец были розданы медали, похвальные листы и аттестаты, и высокие гости уехали. Девочки провожали их бегом, врассыпную до швейцарской и остановились в палисаднике, ослеплённые солнцем, охваченные живительным весенним воздухом. Свободой, жизнью пахнуло им в лицо...

«Обедать, обедать, выпускные, обедать!» — классные дамы и пепиньерки бегали и собирали рассыпавшихся по всему институту выпускных. «Обедать, обедать», — кричали, бегая всюду, и второклассные. Выпускные сгруппировались и бежали по лестнице вниз.

Обед для них был сервирован в нижних приёмных, в отделении тамак. На столах были вина и фрукты, прислуживали лакеи, в ближайшей комнате играл хор военных музыкантов, присланный, как оказалось, генералом Чирковым. Обе классные дамы, Билле и Нот, обедали в отдельной комнате у тамак, с девочками же обедали учителя и пепиньерки. Все садились, кто где хотел. Дисциплины не было никакой, девочки беспрестанно вскакивали из-за стола и передавали тарелки, доверху наложенные кушаньями, второклассницам, стоявшим в коридорах.

Выпив немного вина, девочки дурачились, говорили наивные глупости, выслушивали от учителей комплименты и иногда смелые шутки, отвечая на всё смехом. В конце большого стола было особенно оживлённо. Там сидели Степанов, Франк, Русалочка (весёлая, здоровая с тех пор, как с Кавказа за ней приехала её мать), Шкот, Чернушка, Попов, Евграфова, Зверев. Тут говорились даже речи, стихи, тут чокались от души.

— Русалочка, я к вам приеду на Кавказ, — говорил Степанов, — примете меня?

— Приму, приму, Павел Иванович, я уже маме говорила, что я вас ужасно люблю!

— Русалочка, можно ли таким маленьким ротиком говорить такие большие слова?

— Я, ей-Богу, говорю правду, спросите маму, когда она завтра приедет за мной.

— Я приеду через год вас самих спросить об этом, Русалочка, и тогда, если вы подтвердите, поверю.

— Хорошо, будьте все свидетелями, через год, весной, я жду к себе Павла Ивановича. Запишите мой адрес!

— Хорошо, а вы завяжите узелок на носовом платке, чтоб не забыть меня до тех пор.

— Да у меня платок казённый, ведь я его должна отдать, — наивно объяснила Быстрова.

— М-ле Франк, выпьемте за здоровье того, кого вы обожали, — подошёл к девочке Минаев.

— То есть за ваше? — отвечала, не смущаясь, Франк. — Ведь я вас обожала. Разве вы не знали?

Минаев не нашёлся сразу, что отвечать.

— Я очень польщён, очень тронут, — начал он.

— Нечем! — перебила его Надя. — Ведь это я так, назло классу: в душе я никогда не изменяла Ивану Дмитриевичу Звереву.

— О, Господи! — проговорил болезненный суровый учитель и поглядел с удивлением на радостное, цветущее личико девушки, сиявшее ему в упор. — Вот наваждение! Это вы меня-то обожали? Да вы, верно, не рассмотрели меня, m-lle Франк, ведь я вам в деды гожусь!

— Уж этого я не знаю, а только я три года подряд обожала вас, училась для вас, сколько раз плакала, когда вы были больны, не приходили или... когда очень сердились.

— Отцы родные! Вот не ожидал такого признания, — и Зверев комично развёл руками.

Х

Последняя ночь в институте. — В широкий свет.

В ту ночь в дортуаре не спал никто. Девочки группами или попарно сидели на своих кроватях. Они открыли окна. Май смотрел к ним из старого сада и дышал на них весенним теплом. Над огородом стояли первые белые ночи. Старый сад покрылся нежной листвой, как зеленоватой дымкой. Редкая ажурная тень кустов и деревьев переходила, как живая, по жёлтым дорожкам. Франк и Люда сидели на окне и говорили об Андрюше.

— Прощай, Люда, ты не будешь скучать обо мне? — спрашивала Надя.

— Нет, я буду ждать тебя, ведь ты будешь приезжать ко мне часто-часто? Да?

— Конечно, Люда, каждую неделю, каждое воскресенье, непременно! Я и Андрюша будем приходить к тебе. Люда, Люда, смотри, это Eugenie! — Надя показала на белую кошку, вышедшую из кустов и кравшуюся по дорожке. Надя вдруг обняла Люду за шею и заплакала. — Люда, Люда, знаешь, мне стало жалко нашего старого, милого сада, жалко этого дортуара, классов, тебя, Eugenie, всех, всех жалко. Что там дальше будет, какая это такая жизнь? Кто её знает?

— Я выйду замуж этой зимой, — ораторствовала Бульдожка в своём кружке.

— Разве у тебя есть жених? — спрашивала её Евграфова.

— Нет, но это всё равно: у папы много чиновников, есть даже столоначальник неженатый, папа сказал, что не отдаст меня за какую-нибудь дрянь, потому что у меня хорошее приданое.

— А если тебе не понравится жених?

— Как не понравится? Ведь папа плохого не выберет! Да и мама наведёт справку, она уже говорила со мной об этом.

— У меня будет красный бархатный зал и голубой шёлковый будуар. Каждый день в четыре часа я буду гулять на Невском и на Морской под руку с мужем. Детей у нас будет двое: мальчик и девочка. Мама говорит, больше не надо. Потом у меня будет большой хороший мопс, лакей его будет водить за мной в красной бархатной попонке...

— Смотри, как бы он не ошибся, Бульдожка, и не надел на тебя попонку.

Кругом раздался хохот.

— Это очень глупо, Евграфова, лакеи никогда не бывают такие дерзкие!

— Солопова, а ты куда?

— Я? — Солопова встала и подошла к той группе, откуда послышался вопрос. Её сутуловатая спина, длинное вытянутое лицо со светлыми подмигивающими глазами, жёлтые зубы — всё потеряло в эту ночь свой непривлекательный, жалкий вид. Точно свет какой разлился по чер-

там её некрасивого лица, что-то необыкновенно мягкое и женственное было во всей её фигуре. — Я прямо в монастырь, в Новгородскую губернию: там у меня тётя настоятельница в одном монастыре, она за мной и приедет. Ах, медапочки! Я как подумаю, что там звонит церковный колокол!... Рано, в четыре часа, уже звонит к заутрене. Как только глаза откроешь, уж кругом все крестятся, молитву творят. А службы долгие, поют там хорошо. Я ведь убогонькая, ни шить, ни работать не могу, вот я и буду целый день молиться.

— Шемякина, ты куда идёшь на место?

— Ой, душка, далеко, куда-то в О. губернию.

— Да неужели ты одна поедешь?

— Что ты, страсть какая! Ведь это, говорят, по железной дороге, разве я сяду одна, я даже не могу себе представить, как это — одна ходить. Нет, за мной эта помещица какую-то ключницу прислала.

— А ты, Синицына?

— А я, шерочка, здесь где-то, у какой-то генеральши на Большой Конюшенной буду жить, меня к ней Нот отвезёт завтра.

— Тебе не страшно?

— Чего?

— Да как же ты там учить будешь?

— А очень просто: мне Минаев программу дал и все книги выписал. Я так по книгам и начну. Как у нас, распишу по часам уроки, буду задавать, а они пусть учат.

— Тс... тс... молчите! — разнеслось по дортуару.

Русалочка влезла на табурет, с него на ночной шкапик. Подняв голову вверх, опустив руки, вся беленькая, тоненькая, она стояла и пела:

*«Хотя я судьбой на заре моих дней,
О, южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз.
Как сладкую песню, люблю я Кавказ».*

Она замолкла, всплеснув руками, и только тихо повторяла: «Кавказ, Кавказ!».

Мало-помалу утомление взяло своё, все прилегли по кроватям, дортуар погрузился в полную тишину. Окно давно было заперто, но белая ночь глядела сквозь стекло

и мягким светом ложилась на белокурые и тёмные головки, ласкала своим бледным лучом и, казалось, шептала им: «Спите, дети, спите, бедные дети, своим последним беззаботным сном!».

На другое утро с девяти часов дортуар наполнился маменьками, родственницами, портнихами, горничными. Всё это суетилось и толкалось. Девочки преобразились: в высоких причёсках, в белых пышных платьях с голубыми кушаками они казались выше, стройнее.

В десять часов началась обедня, выпускные стояли впереди всех, а за ними родные и родственники, приехавшие за девочками. После молебна отец Андриан вышел из алтаря, стал перед аналоем и обратился к девочкам:

— Белый цвет, — начал он, — есть символ невинности. Институт выпускает вас из стен своих невинными душой и телом. Да почиет на вас благословение Божие и да не сотрёт с вас жизнь печати невинности, наложенной на вас институтом...

Девочки плакали... Речь кончилась, стали выходить из церкви; когда Надя Франк проходила уже церковные двери и здоровалась с Андрюшей, то услышала сзади себя:

— А вы таки плакали?

Она радостно обернулась — рядом с нею стоял Евгений Михайлович, сдержавший своё слово и приехавший к её выпуску.

— А цветы засушили? — весело спросила она его.

Вместо ответа молодой человек просунул пальцы за борт сюртука и между двумя пуговицами осторожно потянул синюю ленточку.

— Цветы здесь, — сказал он.

Надя покраснела, засмеялась и пошла за подругами.

Снова весь институт собрался в актовом зале. Маман сказала небольшую речь, ту же, которую говорила каждый год. Затем все девочки по очереди подходили благодарить её и целовали руку. Потом сказал свою речь Минаев, затем все классы, кроме второго, ныне первого, ушли, и девочки снова разбились группами. Теперь шло сердечное прощание с классными дамами, с любимыми учителями, просьбы о фотографических карточках. Прощаясь с остающимися подругами, записывали адреса. Давали клятвы писать, не забывать.

Наконец шляпы надеты. Последние объятия и поцелуи кончены. Девочки двинулись в сопровождении родственников в швейцарскую; надеты пальто, накидки, карета за каретой подъезжают к крыльцу, и девочки разъезжаются по домам.

— Прощайте, Шкот, прощайте, моя королева, — шепчет Франк своей подруге, и в первый раз обнимаются девушки и горячо целуют друг друга.

— Прощай, Люда, не плачь, не плачь! — обращается Надя к пепиньерке.

— Не плачь, моя Люда, — слышит девушка с другой стороны, и слёзы её высыхают, глаза сияют, и она весело говорит: «Я не плачу, m-eur Andre!».

— Прощайте, Надежда Александровна, желаю вам счастья! — говорит Евгений Михайлович, подсаживая в карету Надю Франк.

— Счастливо оставаться! — говорит Яков, захлопывая дверцы последней кареты и кладя в карман последнюю полученную трёшницу.

Двери швейцарской закрылись, и воспитательная фабрика, только что бросившая в свет отчеканенные ею тридцать экземпляров благовоспитанных девиц, пустила вновь свою на минуту приостановленную машину.

Примечания

- «Очерки из жизни в Сибири». Публикуется по изданию: *Н.А. Лухманова*. Очерки из жизни в Сибири. — СПб., 1896. — 406 с.
- «Переселенцы: Бытовая картинка». Публикуется по изданию: *Н.А. Лухманова*. Психологические очерки. — СПб.: Издание М. Попова, 1897. — С. 3–30.
- «Двадцать лет назад». Публикуется по изданию: *Н.А. Лухманова*. Двадцать лет назад: Из институтской жизни. — М., Издание книжного склада Д.П. Ефимова, 1903. — 338 с.

¹ Доброй ночи, маменька!

² Не говорите по-русски.

³ Директриса.

⁴ Отдайте же (*нем.*).

⁵ Хорошо (*нем.*).

⁶ Спокойной ночи (*нем.*).

⁷ С короткими рукавами.

⁸ Дамы в круг! Кавалеры поодиночке! Вперёд!

⁹ Ты, ты, ты и ты, встаньте! (*нем.*).

¹⁰ А утром я все расскажу госпоже директрисе! (*нем.*).

¹¹ Медамочки, медамочки, не ссорьтесь, Баярд, не очень-то заноситесь!

¹² Здравствуйте, госпожа директриса!

¹³ Честь имею представить вам рапорт дня. Во втором классе 30 учащихся, в настоящее время все в добром здравии.

¹⁴ Здравствуйте, дети!

¹⁵ Говорите же по-французски, барышни, говорите по-французски.

¹⁶ И всё-таки говорите по-французски!

¹⁷ Вы будете наказаны.

¹⁸ Спасибо, мадемуазель, спасибо, мадемуазель, мы признательны вашей сестре!

¹⁹ «Честь имею...».

¹ Перевод с французского за исключением оговоренных случаев.

- 20 Папье-маше.
- 21 Мадемуазель, возьмите что-нибудь, возьмите, прошу вас.
- 22 Позвольте мне поговорить с господином священником.
- 23 Барышни, стройтесь. Стройтесь, барышни.
- 24 Тишина!
- 25 Честь имеем приветствовать вас, госпожа директриса.
- 26 Барышни, поблагодарите...
- 27 Мы благодарим вас, г-н инспектор.
- 28 ...Что здесь все красиво, и салон, и огромные картины, и Поликсена решила на самом деле остаться сегодня здесь.
- 29 Барышни, вот вам новая подруга.
- 30 Приветствую тебя здесь, мое дитя.
- 31 Вы не обедаете с девочками?
- 32 Милое дитя.
- 33 Хорошо, я тоже... и пить мой шоколад... мне не нравится обедать за этим столом.
- 34 Это мои туалетные принадлежности и мои сладости... — ...Отнесите всё это в дортуар! — ... А это небольшие лакомства для (этих) девочек.
- 35 Печенье.
- 36 Очень богат...
- 37 Директриса большой друг их дома.
- 38 Славный Базиль.
- 39 Ребенок.
- 40 Прощайте, дети, ведите себя хорошо — в этот раз я не буду бранить вас.
- 41 Найденыш, Дружок или Кадо (*калька с французского: «cadeau» — подарок*).
- 42 Моя деточка.
- 43 «Египет находится в северо-восточной части Африки на берегах Нила, который своими ежегодными разливами делает почву этого края необычайно плодородной. С августа по ноябрь воды Нила затопляют окрестные земли и покрывают их илом таким образом, что земледелец без особых усилий как бы передоверяет свои семена земле и, уверенный в хорошем урожае, даже забывает о своих полях на несколько месяцев...».
- 44 Висячие сады Семирамиды.
- 45 ...Я дала ему оплеуху... (*нем., искаж.*).
- 46 «Истинных шедевров».
- 47 Здесь: «страшным зверем»...
- 48 «Брат, офицер гвардии», «кузен-кадет», «дядя прокурор».

- 49 Замечательный юноша.
- 50 Г-жа директриса, учащийся школы правоведения, его отец генерал...
- 51 Постыдитесь спрашивать о подобных вещах. Извольте замолчать, мадемуазель, или вы будете наказаны!
- 52 «Господин инспектор, ввиду того, что приближается ежегодный бал, который 27 декабря сего года даёт первый класс, я имею честь и истинное удовольствие пригласить вас...».
- 53 «Мадемуазель!
Я получил ваше любезное приглашение, которое я принимаю, и прошу вас даровать мне право пригласить вас на кадрили. Прекрасно понимаю чувства, которые продиктовали вам...».
- 54 Неподражаема.
- 55 Госпожа директриса, это мой кузен...
- 56 Очарован, рад.
- 57 Мадемуазель, тур вальса?
- 58 Я не танцую.
- 59 Дамы и господа, займите ваши места. Господа, ищите ваших дам...
- 60 Фигура в танце.
- 61 Дамы в круг! Кружите ваших дам! Приветствуйте ваших дам! Благодарите!
- 62 Господи, прости (*лат.*).
- 63 «Раз, два, три, раз, два, три, приветствуйте, три шага назад, три шага вперёд...».
- 64 «Честь имеем приветствовать вас»...
- 65 Честь имеем.
- 66 Замечательно, замечательно.
- 67 Милое дитя.

Содержание

<i>К. Лагунов. Неистовая Надежда</i>	5
<i>Очерки из жизни в Сибири</i>	
В глухих местах. <i>Очерки</i>	16
Кержаки в тайге	176
Белокриницкий архиерей Афанасий	204
<i>Приложение</i>	
Переселенцы	278
<i>Двадцать лет назад</i>	
Отрывок из жизни. <i>Часть первая</i>	290
<i>Часть вторая</i>	348
Примечания	460

Надежда Александровна Лухманова

Очерки из жизни в Сибири.

Художник А. Кухтерин.
Дизайн серии В. Дыба.

Художественный редактор В. Дыба.
Технический редактор Ю. Мандрика.
Корректор М. Дистанова.

Сдано в набор 18.06.97 г.
Подписано в печать 14.08.97 г.
Формат 84x108/32. Гарнитура «Times ET».
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.
Уч.-изд. л. 21,84. Усл. печ. л. 24,36.
Тираж 3000 экз. Заказ № 251.

Лицензия ЛП №063670 от 24.10.94 г.

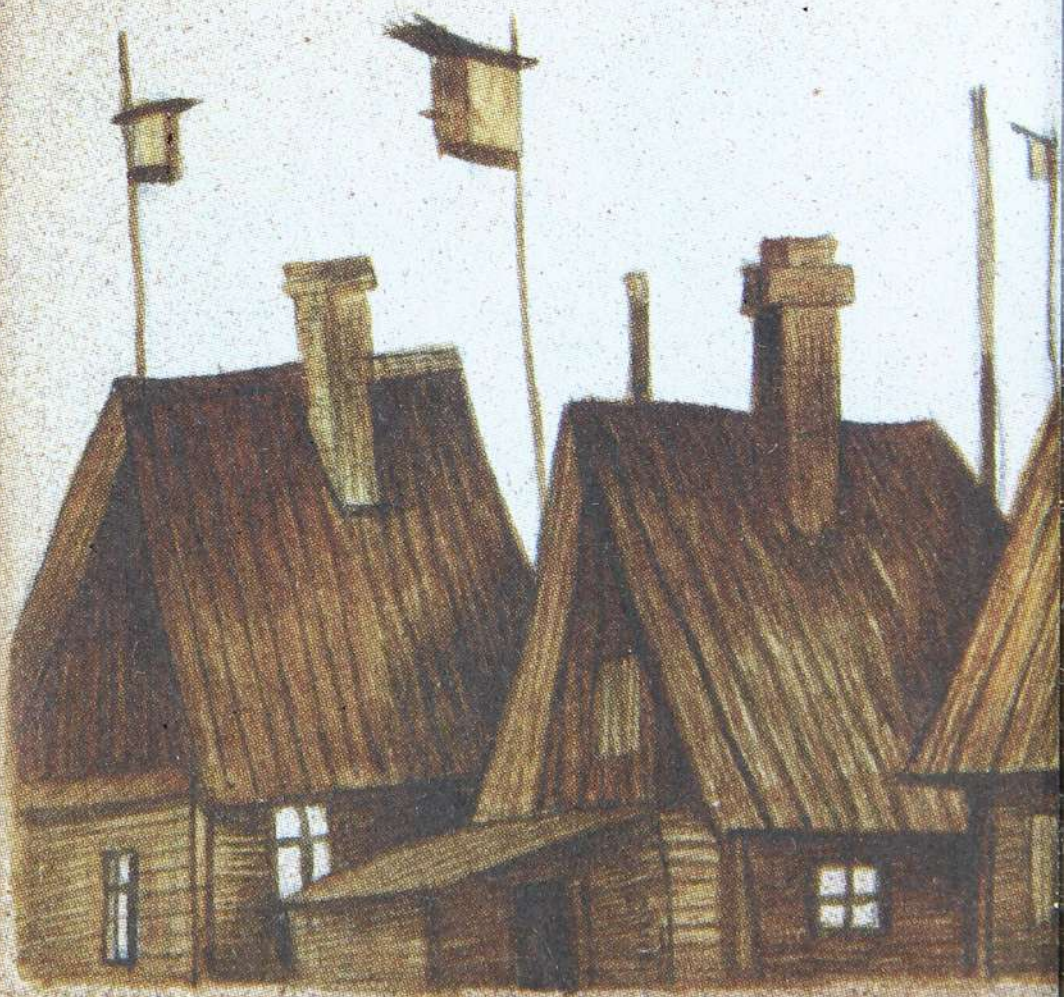
Издательство «СофтДизайн»

Адрес для переписки: 625002, г.Тюмень, а/я 5579.
Тел. (345-2) 25-12-84.

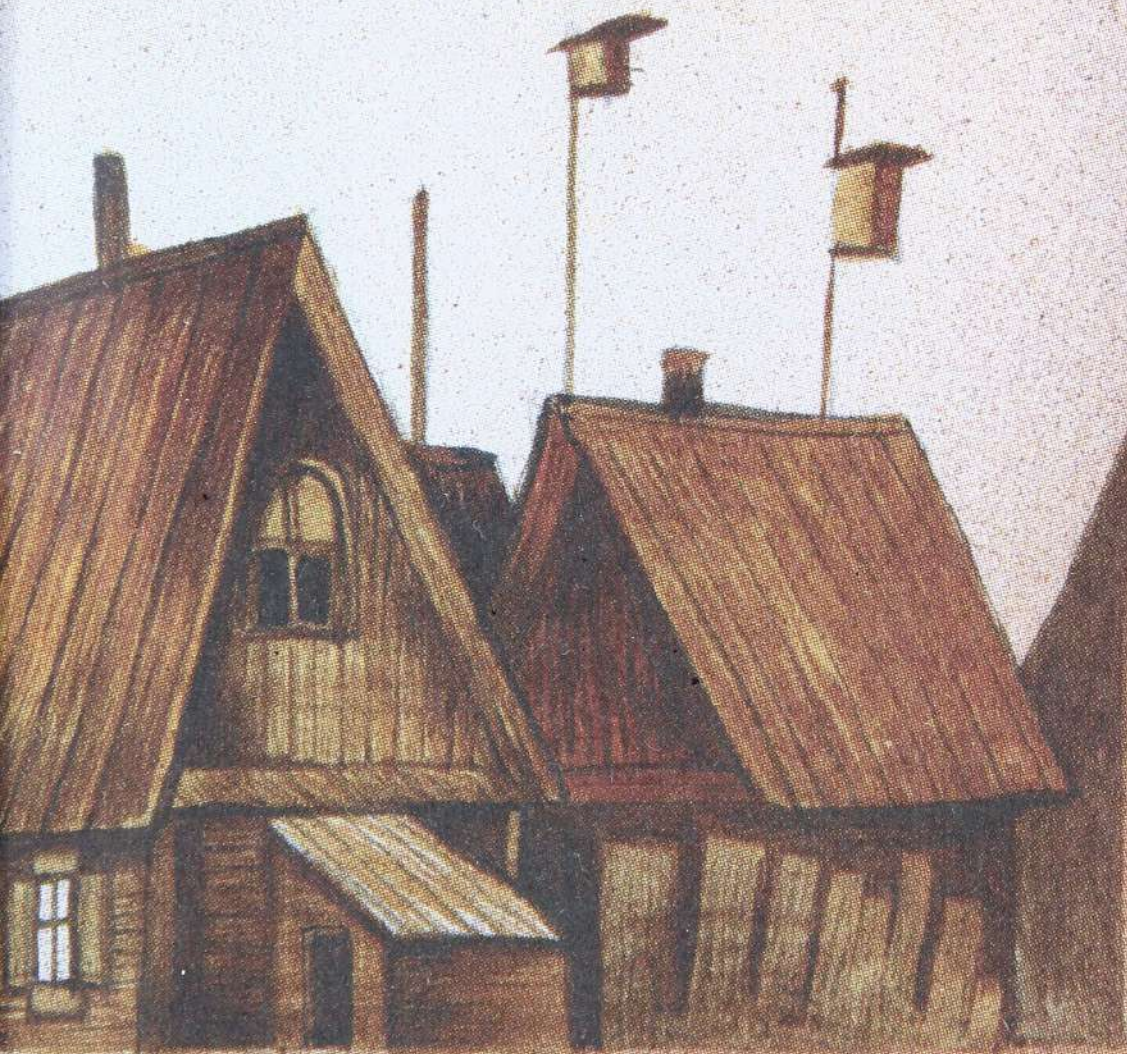
Отпечатано с готовых диапозитивов
на ИПП «Уральский рабочий»,
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

НОВАЯ ЦЕНА

25 руб — коп



25p



Невщдѣлѣ
Времѣна

